

ГИЛБЕРТ РАЙЛ

ПОНЯТИЕ
СОЗНАНИЯ



АДМ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
КНИГИ
ИДЕЯ/ПРЕСС

GILBERT RYLE

the concept
of mind



BARNES &
NOBLE,
INC.
New York

ГИЛБЕРТ РАЙЛ

понятие сознания

Общая научная редакция
В.П. Филатов

ИДЕЯ ПРЕСС

ДОМ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
НИГИ
МОСКВА 2000

Ва 598642

ЮЗ (48ед) 6-641.22 +
Ю212.2

ББК 87.3

Р 18

Издание выпущено при поддержке Института "Открытое общество"
(Фонд Сороса) в рамках мегапроекта "Пушкинская библиотека"

This edition is published with the support of the Open Society Institute within the
framework of "Pushkin Library" megaproject

Редакционный совет серии "Университетская библиотека":

Н.С. Автономова, Т.А. Алексеева, М.Л. Андреев, В.И. Бахмин, М.А. Веденяпина,
Е.Ю. Гениева, Ю.А. Кимилев, А.Я. Ливергант, Б.Г. Капустин, Ф. Пинтер,
А.В. Полетаев, И.М. Савельева, Л.П. Репина, А.М. Руткевич,
А.Ф. Филиппов

"University Library" Editorial Council:

Natalia Avtonomova, Tatiana Alekseeva, Michail Andreev, Vaycheslav Bakhmin, Maria
Vedeniapina, Ekaterina Genieva, Yuri Kimelev, Alexander Livergant, Boris Kapustin,
Francis Pinter, Andrei Poletayev, Irina Savelieva, Lorina Repina, Alexei Rutkevich,
Alexander Filippov

РАЙЛ Гилберт

Р 18

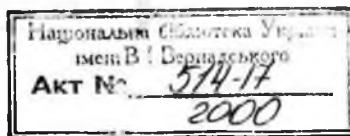
ПОНЯТИЕ СОЗНАНИЯ. Перевод с англ. — М.: Идея-Пресс, Дом
интеллектуальной книги, 1999. — 408 с.

Книга является первым на русском языке изданием избранных работ известного английского философа Г.Райла. Целый ряд его идей, прежде всего относящихся к философскому анализу сознания и действия, пониманию природы категорий и дилемм, раскрытию заблуждений, возникающих в результате «категориальных ошибок» оказали значительное влияние на развитие современной философии. Книга Райла несомненно привлечет внимание не только философов, но и психологов и всех, кто интересуется загадками человеческого сознания и языка.

ISBN: 5-7333-0011-6

ББК 87.3

- Перевод с англ. яз. Коллектив авторов
- Общая научная редакция, предисловие Филатов В. П.
- Художественное оформление Жегло С.
- Идея-Пресс, 1999
- Дом интеллектуальной книги, 1999



СОДЕРЖАНИЕ

<i>“Философский путь Гилберта Райла”</i> (В. П. Филатов).....	7
<i>От научного редактора</i>	14
ВВЕДЕНИЕ	19
ГЛАВА 1. МИФ ДЕКАРТА (перевод В.А.Селиверстов; науч. ред. В.П.Филатов).....	21
ГЛАВА 2. ЗНАНИЕ “КАК” И ЗНАНИЕ “ЧТО” (перевод В.А.Селиверстов; науч. ред. В. П. Филатов).....	34
ГЛАВА 3. ВОЛЯ (перевод Д.А.Симонов; науч. ред. В. П. Филатов).....	70
ГЛАВА 4. ЭМОЦИИ (перевод Д.А.Симонов; науч. ред. А. Б. Толстов).....	90
ГЛАВА 5. ДИСПОЗИЦИИ И ЯВЛЕНИЯ (перевод З. А. Сокулер).....	122
ГЛАВА 6. ЗНАНИЕ О СЕБЕ (SELF-KNOWLEDGE) (перевод З. А. Сокулер).....	157
ГЛАВА 7. ОЩУЩЕНИЯ И ВОСПРИЯТИЕ (перевод В.А.Селиверстов; науч. ред. А. Б. Толстов).....	197
ГЛАВА 8. ВООБРАЖЕНИЕ (перевод Д.А.Симонов; науч. ред. А. Б. Толстов).....	239
ГЛАВА 9. ИНТЕЛЛЕКТ (перевод Е. Крупенина; науч. ред. В. П. Филатов).....	271
ГЛАВА 10. ПСИХОЛОГИЯ (перевод Е. Крупенина; науч. ред. В. П. Филатов).....	309
ПРИЛОЖЕНИЕ:	
КАТЕГОРИИ (перевод Н. Примаков, науч. ред. В. Н. Порус).....	323
ОБЫДЕННЫЙ ЯЗЫК (перевод И. В. Борисова).....	339
<i>“О книге Г. Райла “Дилеммы”</i> (М. С. Козлова).....	357
ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ “ДИЛЕММЫ” (перевод М. С. Козлова).....	370
СЛОВАРЬ ЛАТИНСКИХ И ИНОСТРАННЫХ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ	401
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ	402

Vertical line on the left side of the page, possibly a binding edge or a margin line.

Faint, illegible text covering the majority of the page, likely bleed-through from the reverse side or a very low-quality scan of a document.

ФИЛОСОФСКИЙ ПУТЬ ГИЛБЕРТА РАЙЛА

Гилберт Райл (1900—1976) родился в Брайтоне, обучался философии в Оксфордском университете, где затем в 1945—1968 гг. работал профессором. Он был также главным редактором журнала "Mind" в 1947—1971 гг. Философия Райла малоизвестна в российской философской и интеллектуальной среде, данный сборник его избранных сочинений — первый выходящий на русском языке. Между тем его работы, прежде всего "Понятие сознания" (1949), относятся к классике аналитической философии XX в., а такие его достижения, как метод анализа заблуждений, возникающих в результате "категориальных ошибок"; последовательная критика картезианского дуализма ментального и телесного с его догмой о "духе в машине"; обоснование специфики и важнейшей роли "знания как", отличающегося от "знания что", оказали значительное влияние на развитие современной философии. Мы надеемся, что данное издание, в которое включены некоторые основные работы Райла, позволит в достаточной мере ознакомиться с содержанием его идей.

ФОРМИРОВАНИЕ ВЗГЛЯДОВ РАЙЛА

Хотя в ранний период своего творчества Райл не создал значительных работ, по своей философской направленности существенно отличающихся от его более поздних произведений, его философская мысль прошла ряд этапов, прежде чем достигнуть той формы, которой он последовательно придерживается в своих основных трудах, написанных уже в послевоенное время.

На его ранние взгляды повлиял аристотелизм, обусловленный его учебой в Оксфорде. В отличие от другого главного философского центра Великобритании — Кембриджа, где более популярно было имя Платона, в Оксфорде философия изучалась в тесной связи с курсом античной классики, центральное место в котором занимал Аристотель. Интерес к аристотелевскому логико-философскому наследию, в том числе к использованию в нем апелляции к "обычному языку", Райл сохранил во всем своем творчестве.

Определенную роль в развитии взглядов Райла занимает второй этап, выразившийся в интересе к феноменологии. Он изучал работы Гуссерля и Мейнонга,

что нашло отражение в статье "Феноменология"¹, которая, правда, была написана уже в то время, когда феноменология почти перестала его привлекать. В ней Райл соглашается с феноменологами в том, что они рассматривают философские высказывания как априорные, а феноменологию рассматривают как часть философии. Вместе с тем он оценивает феноменологию как особый способ анализа обыденного сознания, которому Гуссерль дал не очень удачное название. Вероятно, свой ранний аристотелизм и особенно увлечение феноменологией Райл и имел в виду, когда в конце предисловия в книге "Понятие сознания" писал: "Допущения, против которых я выступаю наиболее горячо, это те, жертвой которых мне довелось быть самому".

В начале 30-х гг. Райл перешел на позиции аналитической философии. Он сначала воспринял концепцию логического атомизма и теорию языка как образа, родственную теории языка "Логико-философского трактата" Витгенштейна, а позже примкнул к британской философии "обычного языка", став ее крупнейшим представителем наряду с Дж. Уиздомом и Дж. Остином.

Взгляды зрелого Райла отмечены печатью заметного влияния позднего Витгенштейна. Отличительной чертой этого является интерес к философии сознания и внимание к всевозможным концептуальным ловушкам и замешательствам, вызываемым механизмами действия языка. Вместе с тем в отличие от Витгенштейна и многих других представителей аналитической философии Райл — философ основательной академической выучки с широким историко-философским кругозором, в этом смысле он — "традиционный" философ при всей неортодоксальности его методов анализа и его работ.

ПОНИМАНИЕ РАЙЛОМ ПРИРОДЫ ФИЛОСОФСТВОВАНИЯ

В работах Райла, в том числе и включенных в этот том, можно найти немало рассуждений о природе и задачах философствования. Это не случайно, поскольку аналитический подход подразумевает, что задача философии состоит не в установлении неких истин или в обосновании определенного мировоззрения, но в самом осуществлении философского анализа, в прояснении того, что до этого принималось некритически, что запутывало мышление людей, заводило в тупик, приводило к парадоксам.

В очерчивании особенностей философского исследования Райл отдает должное классикам аналитического стиля — Расселу и Витгенштейну. Хотя философы много рассуждали о природе философствования, все же, по Райлу, лишь введенное Расселом "различие между истинностью и ложностью, с одной сто-

¹ Ryle G. Phenomenology // *Proceedings of the Aristotelian Society*. Supplementary vol. XI (1932).

роны, и бессмысленностью — с другой" во многом позволило прояснить современное понимание специфического характера философского исследования². Научное исследование ориентировано различием между истинностью и ложностью; философское — различием между смыслом и бессмыслицей. Неопозитивистский способ различения этих вещей не вполне устраивает Райла, он отмечает, что попытка отождествить в свете этого значение высказывания со способом его проверки оказалась неудачной, хотя и помогла выявить разнообразие типов высказываний. Сам он, что нашло отражение и во включенной в настоящее издание статье "Категории", предпочитает говорить не о "бессмысленности" высказываний или о том, что они "лишены значения", а о том, что они ведут к абсурду. Поскольку такая характеристика устанавливается в большинстве интересных случаев далеко не просто, одним из важнейших методов философствования, согласно Райлу, является метод *reductio ad absurdum*, который "из высказывания или комплекса высказываний выводит следствия, несовместимые ни друг с другом, ни с исходным высказыванием"³. Прекрасное применение этого метода обнаруживается уже в диалоге Платона "Парменид", где метод сведения к абсурду подводит также к тому, что Райл называет теорией типов и категорий⁴.

Таким образом, философская аргументация не является ни индукцией, ни дедуктивным доказательством; философ имеет собственные методы рассуждения, в основном это методы критические, и *reductio ad absurdum* — наиболее характерный из них. Но несмотря на преимущественно негативный характер философских методов, Райл не считает, что философские аргументы носят чисто деструктивный характер. Эти методы дают и положительные результаты, указывая границы очищенных понятий, уясняя "логическую силу идей, методически определяя и проверяя правила адекватного употребления понятий"⁵. Достигая положительных результатов негативными средствами, эти методы похожи на процесс отделения зерен от плевел через сито или на испытание прочности металлов посредством деформации.

К возникновению бессмыслицы часто ведут обманчивые "подсказки" языка. Чтобы обнаруживать и избегать этого, полагал Райл, философ должен научиться переформулировать предложения таким образом, чтобы четко выявить "фор-

² Ryle G. The Verification Principle // *Revue Internationale de Philosophie*. Vol. V (1951). P. 245.

³ Ryle G. *Philosophical Arguments*. Oxford, 1945. P. 6. Более подробный разбор этого метода можно найти в написанной под заметным влиянием Райла работе Дж.Пас-смора «Философское рассуждение» («Путь», 1995, № 8).

⁴ Ryle G. Plato's "Parmenides" // *Mind*. Vol. XLVIII (1939). P. 304.

⁵ Ryle G. *Philosophical Arguments*. P. 10.

му фактов, которую исследует философия". Здесь он опять-таки отдает должное Расселу с его теорией дескрипций. Однако работа философа не совпадает с работой логика — хотя некоторые философы в то же время являются и логиками, — так как в отличие от выводов логика философские аргументы никогда не могут стать доказательствами и не предназначены быть ими. В отличие от доказательств они не имеют посылок. В той мере, в какой работа философа является позитивной, она схожа с попыткой хирурга описать студентам свои действия и затем подкрепить свои описания путем медленных повторений этих действий. При этом философы в отличие от логиков формулируют свои собственные выводы преимущественно на обычном, неспециализированном языке. Но их работа отличается от задачи филолога. Тот аспект языка, которым интересуется философ при анализе понятий, — это не просто употребление слов, изучение чего в основном составляет предмет филологии, но вопрос о том, как и для чего используется язык.

Этот вопрос волновал Райла еще в ранний период его творчества. В статье "Выражения, систематически вводящие в заблуждение" (1931) он заявляет, что задачей философии является "нахождение в лингвистических идиомах истоков устойчивых неверных конструкций и абсурдных теорий". Многие выражения повседневного языка, науки и философии благодаря своей форме "систематически вводят в заблуждение", что и приводит к возникновению парадоксов и антиномий. В дальнейшем Райл развил эти идеи в своей концепции "категориальных ошибок", т.е. неоправданного отнесения фактов, соответствующих одной категории, к некоторой другой категории. В вошедших в данное издание работах читатель найдет множество приводимых Райлом примеров такого рода выражений. Здесь, конечно, заметно влияние Витгенштейна, который усматривал в ловушках, порождаемых механизмами языка, едва ли не главный предмет философствования, да и понятие "категория" у Райла в этом плане сходно с понятием "языковая игра" у Витгенштейна. В духе этих идей Райл считал, что философия призвана демонстрировать, какие способы выражения и понятия и в каких границах имеют смысл, а какие приводят к категориальным ошибкам. С этих позиций в своей главной работе "Понятие сознания" он подверг тщательному анализу язык, используемый в философии и психологии для описания сознания и объяснения его работы.

ФИЛОСОФИЯ СОЗНАНИЯ РАЙЛА И ЕГО ЛОГИЧЕСКИЙ БИХЕВИОРИЗМ

Книга "Понятие сознания" посвящена анализу логических возможностей понятий, описывающих "ментальное поведение". В обычной жизни, отмечает Райл, у нас практически не возникает трудностей с использованием таких понятий. Как правило, мы знаем, умеем или глуп какой-то человек, фантазирует ли

он или размышляет над математической проблемой и т. п. Вопросы и затруднения появляются тогда, когда, перемещаясь в теоретическую сферу, мы пытаемся понять, к какой категории можно отнести ментальные понятия и выражения. Поэтому возникает задача выявления логики использования этих понятий, определения границ их применимости, т. е. задача построения в чем-то схожей с географической "карты" различных понятий, описывающих разумное поведение людей и всевозможные действия сознания.

Но чтобы выполнить эту задачу, считает философ, сначала необходимо разрушить старый и широко распространенный "официальный миф", систематически искажающий наши представления о сознании. Этот миф, по мнению Райла, восходящий к Декарту и обросший с течением времени различными дополнительными учениями вроде теории "чувственных данных", постулирует, что выражения о сознательном поведении людей свидетельствуют о существовании наряду с телесным, физическим миром иного, принципиально отличного от него мира — внутренней сцены сознания, на которой разыгрываются и взаимодействуют между собой "ментальные события". Согласно Декарту и многочисленным его последователям в эпистемологии, психологии и в других теоретических областях, человеческое существо состоит из двух отдельных сущностей — сознания и тела. Если события телесного, физического мира пространственны и доступны внешнему интерсубъективному наблюдению, то события, происходящие в "сознании", в "душе", непространственны, не доступны публичному наблюдению и могут сознаваться и познаваться посредством внутреннего опыта или интроспекции самим обладателем сознания.

Вместе с тем сторонники этой доктрины, убежденные в том, что события и процессы телесного мира подчинены точным механическим причинным законам, предположили, что и ментальные понятия обозначают сущности, подчиняющиеся сходным по своему каузальному характеру с механическими, хотя и немеханическими — духовным законам. В результате картезианский миф стал "парамеханическим мифом": постулированием двух изолированных миров в рамках общего каузально-механистического концептуального каркаса. А само человеческое существо предстало в критикуемой Райлом доктрине как "дух в машине".

Совершив в результате всего этого целый ряд принципиальных "категориальных ошибок", сторонники картезианского мифа оказываются перед множеством парадоксов и псевдопроблем. Как нематериальное сознание может воздействовать на материальные тела? Как оно может "наблюдать" из телесной машины окружающий мир? Такого рода вопросов невозможно избежать, но на них невозможно и ответить. Можно, конечно, ускользнуть от ответов, полагая, как это делали идеалисты, что человеческая личность есть только "дух", или, как утверждали материалисты, что он суть лишь "машина". Но Райл считает, что это не выход из положения. Нужно разрушить данный миф и признать нако-

нец, что человеческое существо в принципе не является "духом в машине", а, скорее всего, оно есть разумное животное, способное к различным видам ментального поведения, т.е. способное вести себя то разумно, то неразумно, то подражая действиям других или обучаясь этим действиям, то действуя спонтанно или творчески и т.п. В плане этой общей идеи Райл и предпринимает в своей книге "Понятие сознания" переинтерпретацию основных ментальных понятий — от ощущения до интеллекта и самопознания.

Трактовке сознания как особой субстанции или внутренней сцены, на которой разыгрываются ментальные события, Райл противопоставляет "диспозициональную" концепцию сознания. В ее рамках описываемые ментальными понятиями явления нужно трактовать не как внутренние, тайные процессы и события, но как предрасположенности и способности к совершению определенного рода действий, вполне доступных для внешнего наблюдения. В качестве диспозиции, доказывает Райл, можно истолковать и "знание", что особенно важно, поскольку в рамках "официальной доктрины" обычно принимается когнитивистский подход, а именно утверждается, что в основе всех ментальных актов лежат те или иные когнитивные акты, т.е. определенное знание. С этой целью он вводит различие между "знанием как" и "знанием что".

Действия, описания которых включают ментальные понятия, по большей части включают в себя "знание как" — знание, как довести некое действие до его завершения, знание, как играть в шахматы, как говорить по-французски и т.п. Для некоторых целей, например дидактических, мы можем формулировать "знание что", то есть некую теоретического типа информацию о планировании действий, шахматных правилах или о французском языке. "Знание как", утверждает Райл, носит диспозициональный характер. Для того, чтобы удостоверить в его существовании, нам не нужно предполагать неких скрытых от всех процессов и событий на внутренней, приватной сцене сознания. Мы говорим, что некий человек знает (умеет), как читать по-французски, в том случае, если его действия совпадают с теми, каких мы ожидаем от читающих по-французски, что ребенок знает, как умножать числа, если он демонстрирует это на листе бумаги, и т.п. Говорить, что некто "знает как", значит утверждать, что он способен к определенным действиям и его поведение в этом смысле законосообразно, т.е. следует определенным правилам.

Философия сознания Райла в стремлении перевести высказывания о внутренней жизни сознания на язык внешних, доступных наблюдению действий вызывает в памяти такое психологическое направление, как бихевиоризм. Это признает и сам философ, когда в заключительной главе "Понятия сознания" пишет: "Общее направление этой книги, вне всякого сомнения, а также без обиды для меня, будет признано "бихевиористским". Хотя сам Райл отрицает, что он бихевиорист, его неприятие дуализма "души и тела" на том основании, что

такой дуализм порождает образ сознания как особой нефизической субстанции, его аргументы в пользу того, что наши ментальные состояния могут анализироваться через наше поведение и отражают прежде всего предсказуемый способ поведения, заставляет несколько внимательнее присмотреться к этому вопросу. Дело в том, что на 40—50-е гг. приходится пик интереса философии к бихевиоризму, и ряд философов, среди которых наиболее известными были Витгенштейн и Куайн, стремились более конкретно применить его идеи в философии сознания.

Как известно, бихевиоризм — это психологическое направление, исходящее из того, что ментальные состояния человека идентичны наблюдаемым актам его поведения или же проявляются через его действия. Его сторонники стремились превратить психологию в строгую науку, имеющую дело лишь с объективно наблюдаемыми свойствами и характеристиками человеческой активности. Наряду с психологическим можно говорить и о философском бихевиоризме, который восходит к доводам Т. Гоббса о материальной природе ментальных состояний. Некоторые интерпретаторы считают, что в "Понятии сознания" Райл предложил современную форму философского или логического бихевиоризма. Дело в том, что Райл отстранялся от того, что в современной философии сознания называют "строгим" бихевиоризмом, — от онтологической позиции, утверждающей, что нематериальных "душ" или сознаний не существует. Этот взгляд является полностью материалистическим, согласно ему человеческие существа являются лишь чрезвычайно сложными материальными устройствами, которые не обладают нематериальной душой или сознанием. "Слабая" версия философского бихевиоризма, не отрицая самого существования сознания, полагает, что ментальное не может быть описано независимо от внешне проявляющегося телесного поведения. Подобную версию Райл вполне разделяет, но главное состоит в том, что он связал подобный подход с философией языка, переведя проблему в логико-лингвистический план. Здесь важна не только доступность разумного поведения объективному внешнему наблюдению, но и то, что мы обучаемся применять для фиксации наших ментальных действий общий с другими людьми язык и интерессубъективные критерии его применения в ситуациях, вызывающих эти действия.

Философия сознания сейчас является одной из наиболее интенсивно развиваемых областей философии. Поэтому представляется, что идеи Райла привлекут внимание не только философов, но и психологов и всех, кто интересуется истоками современных подходов в этой области исследований.

*Доктор философских наук
В. П. Филатов*

ОТ НАУЧНОГО РЕДАКТОРА

Идея издания работ Г. Райла на русском языке возникла на философском факультете Российского государственного гуманитарного университета в ходе занятий по истории аналитической философии XX в. Группа студентов-старшекурсников — Е. В. Крупенина, Н. Г. Примаков, В. А. Селиверстов и Д. А. Симонов — рискнула взяться за перевод "Понятия сознания" и статьи "Категории". Первые варианты перевода были далеки от совершенства, в связи с чем для завершения дела были привлечены известные специалисты по современной англоязычной философии Э. А. Сокулер (ИНИОН РАН), В. Н. Порус (Институт философии РАН) и А. Б. Толстов (философский факультет МГУ). Специально для настоящего издания сотрудники Института философии РАН М. С. Козлова и И. В. Борисова еще раз уточнили свои переводы глав из "Дилемм" и статью "Обыденный язык". Так в результате коллективных усилий была завершена работа, результаты которой мы предлагаем читателю. Вполне вероятно, что в деле перевода подобный коллективизм наряду с достоинствами имеет и недостатки, в частности ведет к трудноустраняемым разночтениям и сдвигам смысла при переводе отдельных понятий и выражений. Мы осознавали это, но сегодня столь фундаментальный труд вряд ли под силу одному человеку.

Однако помимо этих приводящих трудностей при переводе работ Райла существуют и более объективные и специфические проблемы. Отметим только некоторые из них. Его произведения нередко считаются одним из образцов современной английской философской прозы с точки зрения стиля, разнообразия языка, изящества в использовании аргументации, юмора и пр. Кое-что из этого было утрачено при переводе, что, видимо, неизбежно при переводе текстов, столь сильно отличающихся от строго научных и технических по стилю.

Читатель также обратит внимание на то, что многие рассуждения Райла начинаются "снизу". Прежде чем сформулировать какой-то аргумент, философ разбирает конкретные примеры — все эти многочисленные спортивные и карточные игры, лицедействующие актеры и клоуны, слушающие музыку меломаны и чистящие свои штыки солдаты, заучивающие стихи и завязывающие узлы дети и т. д. и т. п. Многие детали этих примеров связаны со спецификой повседневной британской культуры и иногда ставили в тупик переводчиков.

Но, пожалуй, главная проблема, связанная прежде всего с переводом "Понятия сознания" (The Concept of Mind), начинается уже с названия работы и состо-

ит, пользуясь словами У. Куайна, в существенной "неопределенности" перевода понятий, описывающих феномены сознания или "ментального поведения". Это обстоятельство, кстати говоря, отмечают и лингвисты. Например, в известных работах А. Вежбицкой¹ показывается, что понятия русского и других основных европейских языков, относящиеся к сферам "души", "ума", "воли", "совести" и т. п., существенно отличаются между собой. Если перевести это в конкретный план, то нужно отметить, что уже основное используемое Райлом понятие "mind" не имеет адекватных аналогов ни в обычном русском языке, ни в нашем философском лексиконе. Мы переводили это понятие как "сознание", исходя из сложившейся практики, а также из того, что другие возможные переводы — дух, душа, ум, психика — еще менее приемлемы.

¹ Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. — М.: 1996.



**ПОНЯТИЕ
СОЗНАНИЯ**

THE
MUSEUM
OF
COMPARATIVE ZOOLOGY
AND ANATOMY
OF HARVARD UNIVERSITY
CAMBRIDGE, MASS.

ВВЕДЕНИЕ

Эта книга предлагает то, что с определенными оговорками может быть названо теорией сознания. Но в ней вы не найдете какой-то новой информации о сознании. Дело в том, что все мы обладаем о нем весьма обширным знанием, причем это знание не заимствовано нами из рассуждений философов и не может быть опровергнуто этими рассуждениями. Философские аргументы, которые составляют эту книгу, нацелены не на увеличение осведомленности в этой области, но на прояснение и очищение логической географии уже имеющегося у нас знания.

Преподаватели и судьи, чиновники и критики, историки и писатели, священники и предприниматели, работодатели и служащие, родители и возлюбленные, друзья и враги — все они достаточно хорошо умеют улаживать постоянно возникающие проблемы, касающиеся свойств и особенностей характера и интеллекта тех индивидов, с которыми они имеют дело. Они могут оценивать их поступки и достижения, понимать их слова и действия, распознавать их мотивы, воспринимать их шутки. Если в это понимание закрадываются ошибки, то они умеют их исправлять. Более того, они способны оказывать преднамеренное влияние на сознание окружающих людей с помощью критики, примера, обучения, наказания, взятки, насмешки или убеждения, а затем изменять свой способ общения в свете достигнутых результатов.

Для всех этих описаний и предписаний люди более или менее успешно используют понятия, обозначающие ментальные способности и действия. Они научились тому, как применять в конкретных ситуациях такие эпитеты, описывающие ментальное поведение, как “внимательный”, “глупый”, “логический”, “ненаблюдательный”, “тщеславный”, “изобретательный”, “методичный”, “доверчивый”, “остроумный”, “отличающийся самообладанием” и многие другие.

Однако одно дело знать, как применять подобные понятия, и совсем другое — знать, как они взаимосвязаны друг с другом и с понятиями иного рода. Многие люди способны осмысленно использовать понятия в своей речи, однако не могут осмысленно говорить о них. Благодаря практике они знают, как оперировать понятиями, во всяком случае в знакомых им сферах, но они не могут выявить логические отношения, которые регулируют их использование. В этом они сходны с теми, кто хорошо знает все дорожки в собственном округе, но не может нарисовать или же прочесть карту этого округа, а тем более карту области или континента, на котором находится этот самый их округ.

Между тем для некоторых целей необходимо выявлять логические взаимоотношения тех понятий, которые мы весьма успешно умеем использовать. Попытка осуществить это применительно к понятиям, относящимся к способностям, действиям и состояниям сознания, всегда была значительной частью задачи философов. Результатом работы в этой области стали теория познания, логика, этика, политическая теория и эстетика. В некоторых частных направлениях этих исследований был достигнут заметный прогресс, однако — и это один из основных тезисов данной книги — логические категории, в рамках которых соотносились понятия ментальных способностей и действий, были неправильно выбраны в период трехсотлетнего господства естествознания. От Декарта в качестве одной из главных составляющих его философского наследия является миф, который продолжает искажать общую географию рассматриваемого здесь предмета.

Разумеется, миф не является неким волшебным преданием. Это представление фактов, принадлежащих к одной категории, с помощью языка, свойственного другой категории. Соответственно, чтобы разрушить миф, нет нужды отрицать факты, требуется перераспределить их. И именно это я пробую сделать.

Логическая география понятий определяется посредством выявления логики суждений, в которых используются эти понятия, т. е. нужно показать, с какими другими суждениями они совместимы, а с какими — нет, какого рода суждения выводятся из них и из каких они следуют сами. Логический тип или категория, которой принадлежит то или иное понятие, суть множество способов логически законного оперирования этим понятием. Поэтому основные аргументы, используемые в данной книге, нацелены на то, чтобы показать, почему некоторые виды действий с понятиями, означающими ментальные способности и процессы, являются нарушениями логических правил. Я попытаюсь применить аргументы *reductio ad absurdum* как для разоблачения процедур, неявно рекомендуемых картезианским мифом, так и для выяснения того, к каким логическим типам можно отнести рассматриваемые здесь понятия. Время от времени я намереваюсь использовать и менее строгие виды аргументации, особенно когда их можно надлежащим образом смягчить и приспособить к ситуации. Философия — это замена категориальных привычек категориальной дисциплиной, и убедительность примирительных видов аргументации ослабляет боль при отказе от застарелых интеллектуальных привычек. Хотя реально они и не укрепляют строгие аргументы, но они ослабляют сопротивление им.

Некоторым читателям тон этой книги может показаться излишне полемическим. Но я, возможно, успокою их, если скажу, что допущения, против которых я выступаю наиболее горячо, это те, жертвой которых мне довелось быть самому. Прежде всего, я пытаюсь привести в порядок свою собственную систему. И только во вторую очередь я надеюсь, что смогу помочь другим в распознании нашего общего расстройств и они извлекут некоторую пользу из моего метода терапии.

ГЛАВА I. МИФ ДЕКАРТА

(1) ОФИЦИАЛЬНОЕ УЧЕНИЕ

Существует учение о природе и месте сознания, которое настолько широко распространено среди ученых и даже среди простых людей, что заслуживает быть рассмотренным в качестве официальной теории. Большинство философов, психологов и религиозных учителей подписываются, с теми или иными незначительными оговорками, под ее основными положениями и, несмотря на то, что признают в ней определенные теоретические трудности, они все же склонны считать, что эти последние могут быть преодолены без серьезных модификаций в архитектуре теории. Ниже будет показано, что основополагающие принципы этого учения неверны и входят в противоречие со всем корпусом того, что мы знаем о сознании, при условии, если мы не просто пустословим о нем.

Официальное учение, основателем которого выступил Декарт, в общих чертах выглядит следующим образом. За исключением (весьма сомнительным) слабоумных и младенцев каждое человеческое существо обладает телом и умом. Некоторые предпочли бы сказать, что каждый человек является телом и умом. Человеческое тело и ум обычно сопряжены, однако после смерти тела ум может продолжать существовать и действовать.

Человеческие тела протяженны и подчинены механическим законам, которые управляют движениями всех тел в пространстве. Телесные процессы и состояния могут быть отслежены сторонним наблюдателем. Таким образом, жизнь человеческого тела — дело столь же публично наблюдаемое, сколь и жизнь животных, рептилий и даже рост деревьев, кристаллов или движение планет.

В то же время сознания не находятся в пространстве, а их деятельность не подчиняется законам механики. Работа, происходящая в одном сознании, не видна другим наблюдателям, его существование приватно. Только я один могу иметь непосредственное знание о состояниях и процессах, происходящих в моем сознании. Человек, таким образом, проживает две параллельные истории: одну, состоящую из всего, что происходит с телом и внутри него, и другую, складывающуюся из происходящего с его сознанием и внутри него. Одну — публичную, другую — приватную. События первой истории суть события

физического мира, те же, что составляют вторую, являются событиями ментального мира.

Неоднократно обсуждалось, способен ли человек непосредственным образом контролировать все или же только некоторые эпизоды своей собственной приватной истории. Однако по крайней мере некоторые из них, согласно официальному учению, доступны ему непосредственно и несомненно. Благодаря сознанию, самосознанию и интроспекции человек получает прямую и адекватную информацию о текущих состояниях и действиях своего ума. У нас могут возникать те или иные сомнения относительно одновременно действующих или смежных с ними явлений, происходящих в физическом мире, однако, по крайней мере часть того, что в данный момент занимает наше сознание, будет для нас несомненным.

Эту раздвоенность двух жизней и двух миров человека привычнее выразить, сказав, что вещи и события, принадлежащие физическому миру, включая его собственное тело, относятся к сфере внешнего, в то время как деятельность его собственного сознания — к сфере внутреннего. Разумеется, подобная антитеза внешнего и внутреннего подразумевается лишь в качестве метафоры, ибо сознания, будучи непространственными, не могут быть описаны ни как пространственно пребывающие внутри чего-либо другого, ни как содержащие пространственно происходящие события в самих себе. Однако эта верная интенция не спасает от старых рецидивов, и теоретики продолжают строить догадки о том, как раздражители, физические источники которых находятся за ярды или мили от человека, способны инициировать ответные ментальные реакции внутри его черепной коробки; или о том, каким образом решения, оформленные в его голове, могут приводить в движение его конечности.

Но даже в случае если "внутреннее" и "внешнее" разумеются как метафоры, вопрос о том, каким образом сознание и тело человека воздействуют друг на друга пользуется печальной славой трудной теоретической проблемы. То, что волит ум, исполняют ноги, руки и язык; то, что воздействует на ухо и глаз некоторым образом связано с тем, что воспринимает сознание; гримасы и улыбки выдают мысленные состояния, а телесные наказания, хочется надеется, приводят к нравственному исправлению. Однако действительные взаимодействия эпизодов приватной и публичной истории человека остаются тайной, так как они не принадлежат ни к одному из этих разрядов. Их нельзя представить в автобиографии событий внутренней жизни человека, и точно так же их невозможно выявить в биографическом описании событий внешней жизни этого человека, сделанном кем-то другим. Ни самоанализ, ни лабораторный эксперимент не позволяет отследить их. Они являются теоретическими воланами, которые без конца перебрасываются от физиолога к психологу и обратно от психолога к физиологу.

Подчеркивая это отчасти метафорическое представление о разведении двух сфер жизни человека, следует обратить внимание на еще более глубокое философское допущение. В нем предполагается, что имеют место два различных рода или статуса существования. Все, что существует или случается, может иметь либо статус физического существования, либо статус существования ментального. Подобно тому, как стороны монеты предстают орлом или решкой, подобно тому, как среди живых созданий существуют самцы или самки, точно также предполагается, что одно существование есть существование физическое, а другое — ментальное. Неотъемлемым условием того, что обладает физическим существованием, является его нахождение во времени и пространстве; неотъемлемым условием обладающего ментальным существованием является его нахождение во времени, но не в пространстве. То, что имеет физическое существование, состоит из материи или же есть действие материи; то, что обладает ментальным существованием состоит из сознания или же является действием сознания.

Таким образом, налицо полярная противоположность между ментальным и материальным, зачастую представляемая следующим образом. Материальные объекты существуют в общем поле, понимаемом как "пространство", и то, что происходит с одним телом в одной части пространства, механически связано с тем, что происходит с другими телами в иных его частях. В отличие от этого, ментальные события имеют место в изолированных областях, называемых "сознаниями" (minds), и не существует прямой причинной связи (возможно, за исключением телепатии) между тем, что происходит в одном сознании, и тем, что происходит в другом. Только через посредство интерсубъективно (публично) данного физического мира сознание одного человека способно что-то различать в сознании другого. Сознание является обособленной в самом себе сферой, и свою внутреннюю жизнь каждый из нас проживает неким призрачным Робинзоном Крузо. Люди могут видеть, слышать и толкать тела друг друга, но они неизлечимо слепы и глухи к работе другого сознания и не в силах воздействовать на него.

Какого рода знание о деятельности сознания достижимо для нас? С одной стороны, согласно официальному учению, человек располагает наилучшим из тех, какие только можно вообразить, непосредственным знанием о работе его собственного сознания. Ментальные состояния или процессы суть (по крайней мере в их нормальном течении) явления осознаваемые, и сознание, которое освещает их, не может порождать иллюзий или давать повод для сомнений в их содержании. Текущие мысли, чувства и воления человека, его восприятия, воспоминания и представления являются внутренне "фосфоресцирующими"; их существование и их характер с необходимостью даны их владельцу. Внутренняя жизнь представляет собой поток сознания такого рода, что было бы абсур-

дным предполагать, что сознание, жизнь которого и есть этот поток, могло бы не знать того, что плывет вниз по этому потоку.

Вместе с тем приведенные недавно Фрейдом данные, по всей видимости, свидетельствуют о существовании в этом потоке сознания личности неких скрытых от нее течений. Люди проявляют активность под действием импульсов, существование которых они решительно отвергают; некоторые их мысли отличаются от тех, которые они склонны признавать; они склонны думать как о желаемых о таких поступках, которые на самом деле не хотят совершать. Они пребывают в полном неведении о такого рода самообманах и успешно игнорируют те истины, которые официальное учение считает обязательными по отношению к их ментальной жизни. Однако защитники официальной теории стремятся уверить, что при нормальных условиях человек все же должен быть прямо и достоверно осведомлен о текущей деятельности и состояниях своего сознания.

Помимо того, что человек наделен этими якобы непосредственными сведениями о сознании, он время от времени способен практиковать особый вид восприятия, именуемый внутренним восприятием или интроспекцией. Человек может направить "не-оптический взгляд" на то, что происходит в его сознании. Он может не только видеть и внимательно рассматривать цветок с помощью органов зрения или слышать сигналы звонка с помощью органов слуха, но он также способен рефлексивно или интроспективно, без посредства какого-либо телесного органа чувств, наблюдать текущие эпизоды своей внутренней жизни. Это самонаблюдение также, как предполагается, ограждено от обмана, путаницы или сомнений. Отчеты сознания о собственной деятельности имеют статус достоверности, превосходящей наивысшую достоверность, достижимую для знания о явлениях физического мира. Чувственное восприятие может быть ошибочным или неясным, но сознание и интроспекция — никогда.

С другой стороны, у одного человека нет какого бы то ни было доступа к внутренней жизни другого человека. Он не может предпринять ничего лучшего, чем на основании наблюдаемых движений тела другого человека сделать проблематичные заключения о состояниях его сознания. Эти заключения он делает по аналогии со своим собственным образом поведения: он полагает, что сходное поведение другого сигнализирует об определенных, сходных с его собственными, состояниях другого сознания. Прямой доступ к работе сознания является привилегией самого этого сознания, при отсутствии же такого привилегированного доступа деятельность определенного сознания неизбежно скрыта от всех остальных. Ибо тогда упомянутые выводы от движений тела, подобных собственным, к ментальной деятельности, сходной с собственной деятельностью, утратят всякую возможность иметь наблюдаемое подтверждение. Таким образом, нет ничего противоестественного, когда последователю официальной

теории затруднительно оспаривать тот вывод из его же собственных посылок, в соответствии с которым у него нет весомых оснований верить в существование других сознаний помимо его собственного. И даже если он предпочитает верить в то, что другие тела сопряжены с сознаниями, не непохожими на его собственное, он не может притязать на раскрытие их индивидуальных характеристик или тех особых состояний, которые они испытывают или создают. Это демонстрирует, что неизбежной участью души является ее абсолютное одиночество. Встретиться могут только наши тела.

В качестве необходимого вывода из этой общей схемы следует имплицитно предписываемый специфический способ истолкования наших обычных понятий о ментальных способностях и операциях. Глаголы, существительные и прилагательные, с помощью которых мы в повседневной жизни описываем способности, черты характера и сложные виды поступков окружающих нас людей, требуется истолковывать в качестве обозначающих особые эпизоды в их тайных историях, или же как обозначения тенденций, служащих для того, чтобы эти эпизоды имели место. Когда о ком-то говорят, что он знает, верит, о чем-то догадывается, надеется, боится, намеревается, чего-то избегает, замышляет или забавляется, то все эти глаголы предназначены для того, чтобы определить появление особых модификаций в его скрытом (для нас) потоке сознания. И только его собственный привилегированный доступ к этому потоку через непосредственное осознание и интроспекцию может предоставить аутентичное свидетельство о том, были ли эти глаголы, описывающие ментальное поведение, употреблены корректно или нет. Внешний наблюдатель, будь он учителем, критиком, биографом или другом, никогда не может быть до конца уверен, что его комментарии имеют хоть малейший признак истинности. Однако именно то, что каждый из нас фактически знает как делать подобного рода комментарии и делает их в общем-то правильно и корректирует их в случае ошибочности или неточности, подвигло философов к необходимости строить учения о природе и месте сознания. Заметив, что понятия, описывающие ментальное поведение, употребляются регулярно и эффективно, они добросовестно старались зафиксировать их логическую географию. Но логическая география, которая была заявлена официальной доктриной, повлекла бы за собой невозможность регулярного и эффективного использования ментальных понятий в наших описаниях или предписаниях относительно сознаний других людей.

(2) НЕЛЕПОСТЬ ОФИЦИАЛЬНОГО УЧЕНИЯ

Такова вкратце официальная теория. Часто я буду говорить о ней с преднамеренным порицанием как о "догме призрака в машине". Я надеюсь доказать, что она совершенно ложна, причем ложна не в деталях, а в самих своих принци-

пах. Это не просто собрание частных ошибок. Это одна большая ошибка и ошибка особого рода. А именно, это — категориальная ошибка. Теория представляет факты ментальной жизни так, как если бы они принадлежали к одному логическому типу или категории (или же к ряду типов и категорий), в то время как в действительности они принадлежат к совершенно другому. Следовательно, эта догма является философским мифом. В попытке разрушить этот миф мне, возможно, придется подвергнуть сомнению хорошо известные факты ментальной жизни людей, и мое уверение в том, что я не претендую на что-либо большее, чем на исправление логики употребления ментальных понятий, может быть расценено как простая отговорка.

Прежде всего я должен пояснить, что я подразумеваю под выражением "категориальная ошибка". Я проиллюстрирую это на ряде примеров.

Иностранцу впервые оказавшемуся в Оксфорде или Кембридже, показывают множество колледжей, библиотек, спортивных площадок, музеев, научных учреждений и административных офисов. Наконец, он спрашивает: "А где же университет? Мне показали, где живут студенты, где работает архивариус, где ученые проводят опыты и все прочее. Но я так и не увидел университет, в котором живут и работают его члены". И тогда придется ему объяснить, что университет не является неким параллельным учреждением, дополнительным к тем колледжам, лабораториям и офисам, которые он увидел. Университет — это именно тот способ, которым организуется все им увиденное. Мы увидели университет, когда посмотрели все и поняли общую взаимосвязь. Ошибка иностранца коренится в его невинном допущении, что говорить о Церкви Христа, Бодлейской библиотеке, Ашмолеанском музее и университете было корректно, как если бы "университет" дополнял класс, к которому относятся все эти институты. Он ошибочно относил университет к той же самой категории, к которой принадлежат другие входящие в него учреждения.

Эту же ошибку допустил бы ребенок, наблюдающий проходящую маршем дивизию. Выделив для себя такие-то батальоны, батареи, эскадроны и т. п., он спросил бы, когда же, наконец, появится дивизия. Он посчитал бы, что дивизия является в чем-то сходным, а в чем-то отличным дополнением к уже увиденным подразделениям. Эта ошибка будет исправлена, если ребенку скажут, что, наблюдая проходящие батальоны, батареи и эскадроны, он видит проходящую мимо него дивизию. Марш не был парадом батальонов, батарей, эскадронов и дивизии; это был парад батальонов, батарей и эскадронов *этой* дивизии.

Еще одна иллюстрация. Иностранец, впервые следящий за игрой в крикет, узнает обязанности подающих, отбивающих, принимающих, забивающих игроков и судей. Затем он говорит: "Но ведь на поле нет никого, кто отвечал бы за обеспечение командного духа. Я вижу тех, кто подает или принимает мяч, тех, кто охраняет воротца, но я не вижу игрока, чья роль состоит в осуществлении

esprit de corps". И снова придется объяснять, что он занимается поиском не той вещи. Командный дух — это не какое-то особое действие в игре в дополнение ко всем прочим задачам игроков. Грубо говоря, это то рвение, с каким исполняются все эти специальные задачи. Но ревностное исполнение задачи не означает исполнения двух задач. Конечно, проявление командного духа — не тоже самое, что подача или прием мяча, но точно также это и не нечто третье, о чем мы можем сказать, что подающий игрок сперва подает и только затем выказывает командный дух. Или же, что принимающий игрок в данный момент либо принимает мяч, либо демонстрирует *esprit de corps*.

Эти иллюстрации категориальных ошибок имеют одну общую особенность, которую следует отметить. Эти ошибки были сделаны людьми, не знавшими как толковать понятия *университет*, *дивизия* и *командный дух*. Их затруднения возникли из-за неумелого использования определенных единиц словарного запаса.

Категориальные ошибки, имеющие теоретический интерес, суть те, которые совершаются людьми вполне компетентными в работе с понятиями, по крайней мере в привычных для них ситуациях. И тем не менее, в абстрактном мышлении они упорно относят эти понятия к тем логическим типам, к которым они не принадлежат. Примером подобной ошибки послужит следующая история. Студент факультета политологии усвоил основные различия между британской, французской и американской конституцией. Он также изучил различия и связи между Кабинетом, Парламентом, всевозможными министерствами, судебной системой и англиканской церковью. Но его по-прежнему приводит в затруднение вопрос о связях между англиканской церковью, министерством внутренних дел и британской конституцией. И это потому, что если церковь и министерство внутренних дел суть учреждения, то британская конституция не является еще одним учреждением в этом же смысле слова. Межинституциональные отношения, наличие которых между церковью и министерством внутренних дел может быть подтверждено или отвергнуто, не могут быть подтверждены или отвергнуты между ними обоими и британской конституцией. "Британская конституция" не является термином того же логического типа, что и "министерство внутренних дел" или "англиканская церковь". Отчасти похожим образом Джон Доу может быть незнакомцем, родственником, другом или врагом Ричарду Роу. Но он не может состоять ни в одном из этих отношений со "среднестатистическим налогоплательщиком". Джон Доу знает как извлечь смысл из определенного рода разговоров о среднестатистическом налогоплательщике, но он затрудняется сказать, почему он не может встретиться с ним на улице точно также, как он встречается с Ричардом Роу.

В связи с темой нашего обсуждения уместно заметить, что до тех пор, пока студент-политолог продолжает считать британскую конституцию дополни-

ем к другим учреждениям, он будет описывать ее как загадочный и тайный институт. И до тех пор, пока Джон Доу продолжает считать среднестатистического налогоплательщика обычным гражданином, он будет думать о нем как об иллюзорном невещественном человеке — призраке, который пребывает везде и одновременно нигде.

Деструктивная сторона моей задачи состоит в том, чтобы показать, что источником теории двойной жизни является семейство радикальных категориальных ошибок. Представление о личности (person) как о призраке, таинственно притаившемся в механизме, вытекает из этого положения. В самом деле, поскольку верно, что человеческое мышление, ощущение и целенаправленная деятельность не могут быть описаны исключительно в идиомах физики, химии и физиологии, то они должны быть описаны с помощью дополнительных идиом. Поскольку человеческое тело суть сложноорганизованное соединение, то и человеческое сознание должно быть сложноорганизованным соединением, хотя и произведенным из другого материала и имеющим иную структуру. Или, иначе, раз человеческое тело, как и любая другая частица материи, является полем причин и следствий, то и сознание должно быть другим полем причин и следствий, хотя (слава Богу) причин и следствий не механических.

(3) истоки этой категориальной ошибки

Одним из главных интеллектуальных истоков того, что я обозначил как картезианскую категориальную ошибку, представляется следующее. Когда Галилей показал, что его научный метод достаточен для создания теории механики, способной описать все происходящее в пространстве, Декарт в своем мышлении столкнулся с двумя конфликтующими началами. Как выдающийся ученый, он не мог не разделять требований механицизма, но, будучи религиозным и нравственным человеком, Декарт не мог принять (как это сделал Гоббс) неутешительное дополнение к этим требованиям, а именно то, что человеческая природа отличается от часового механизма лишь степенью сложности. Ментальное для него не могло быть просто разновидностью механического.

Декарт и последующие философы выбрали удобный, но ошибочный обходной путь. Поскольку слова, описывающие ментальное поведение не могут использоваться в качестве обозначающих протекание механических процессов, они должны быть истолкованы как обозначающие протекание немеханических процессов. Поскольку законы механики объясняют одни движения в пространстве как следствия других пространственных движений, то законы иного типа должны объяснять одни непространственные действия сознаний как следствие других непространственных действий сознаний. Различие между разумными и неразумными видами поведения должно состоять в различии видов причин-

ности. Ибо в то время, как некоторые движения человеческого языка и конечностей являются следствиями механических причин, другие движения должны быть следствиями причин немеханистических; т.е. одни вытекают из движений частиц материи, а другие — из деятельности сознания.

Таким образом, различия между физическим и ментальным были представлены как различия внутри общей системы категорий "вещь", "субстрат", "атрибут", "состояние", "процесс", "изменение", "причина" и "следствие". Сознания суть вещи, но вещи определенным образом отличные от тел. Ментальные процессы являются цепочками причин и следствий, однако эти причины и следствия иного рода и отличаются от телесных движений. И далее в том же духе. Подобно тому, как иностранец ожидал, что университет является дополнительным сооружением, сходным с колледжем, но в то же время совершенно от него отличным, так и отвергающие механицизм мыслители представили сознания как дополнительные центры каузальных процессов, сходные с механизмами и одновременно существенно от них отличающиеся. Их теория была пара-механической гипотезой.

О том, что это допущение было своего рода сердцем рассматриваемой доктрины свидетельствует тот факт, что с самого начала главная ее теоретическая трудность заключалась в объяснении того, каким образом сознание может воздействовать на тело и воспринимать воздействия от него. Как такой ментальный процесс, как воление может инициировать пространственные движения, к примеру, движения языка? Как физическое изменение в зрительном нерве может среди других следствий иметь восприятие сознанием вспышки света? Эти хорошо известные затруднения сами по себе демонстрируют те логические формы, в который Декарт втиснул свое учение об уме. Это были те же самые формы, в рамках которых он и Галилей строили свои теории механики. Все еще невольно тяготеющий к языку и грамматике механики, Декарт пытался избежать конфуза путем описания сознания, просто придерживаясь дополнительного словаря. Работа сознания описывалась через отрицание специфических дескрипций, относящихся к телесному: ум не находится в пространстве, он не движется, не является видоизменением материи, он не доступен всеобщему наблюдению. Умы не являются частями часового механизма, они — части нечасового механизма.

Представленные подобным образом, сознания оказываются не только призраками, сопряженными с машинами, они сами суть призрачные машины. И хотя человеческое тело является двигателем (engine), двигатель этот не простой, ибо часть его функций находится в ведении другого двигателя внутри него. Причем этот внутренний двигатель-правитель обладает весьма специфическими свойствами. Он невидим, не воспринимается слухом, он невесом и не имеет размеров. Его нельзя разобрать на части, а законы его функционирова-

ния не ведомы обычным инженерам. Ничего не известно и о том, как он управляет функционированием телесного двигателя.

Второе главное затруднение официальной доктрины выказывает сходную мораль. Поскольку сознания подводятся под ту же категорию, что и тела, и поскольку тела подчинены строгим механическим законам, то многим мыслителям кажется последовательным, что и сознания должны подобным же образом подчиняться строгим немеханическим законам. Раз физический мир является детерминированной системой, то и ментальный мир должен быть такой же системой. Раз тела не могут избежать предписанных им изменений, то и сознания не могут не следовать предначертанному им пути. *Ответственность, выбор, заслуги и недостатки* являются, таким образом, неприемлемыми понятиями, если только не достигается компромиссная договоренность о том, что законы, руководящие ментальными процессами (в отличие от тех, которые управляют процессами физическими), имеют общей характерной чертой меньшую жесткость. Проблема свободы воли была проблемой примирения гипотезы утверждавшей, что сознание должно быть описано в терминологии заимствованной из категорий механицизма, с пониманием того, что человеческое поведение более высокого уровня не имеет ничего общего с образом действия машины.

Исторический курьез состоит в том, что не была замечена неполноценность этого учения. Теоретики правомерно признавали, что любой здравомыслящий человек может распознать различия между, скажем, рациональным и нерациональным высказыванием, или между осмысленным и автоматическим поведением. В противном случае ничто не могло бы быть предписано для избавления от механицизма, даже предварительно данное объяснение, что человек в принципе никогда не сможет провести границу между рациональными и иррациональными высказываниями, исходящими от других людей, т.к. он никогда не сможет получить доступ к предполагаемым нематериальным причинам некоторых из этих высказываний. За исключением разве только себя самого, он никогда не смог бы определить разницу между человеком и роботом. Было бы необходимо, например, признать и то, что внутренняя жизнь людей, считающихся идиотами или лунатиками, чтобы там ни говорили, столь же разумна, как и жизнь любого другого человека. Ведь может стать, что неадекватно только их внешнее поведение, иначе говоря, возможно "идиоты", в действительности, совсем не идиоты, а "лунатики" — не лунатики. Возможно также, что некоторые из тех, кого мы считаем здоровыми, на самом деле идиоты. Согласно официальной теории, сторонние наблюдатели не в состоянии знать, как внешнее поведение других людей соотносится с их ментальными способностями и процессами, и они не имеют поэтому ни знания, ни даже правдоподобной догадки о том, насколько правильны или ложны в отношении других людей их описания, использующие ментальные понятия. Для человека было бы рискованно или не-

возможно утверждать здравомыслие и логическую последовательность даже в отношении себя самого, ибо ему нужно воздерживаться от сравнения особенностей собственного поведения с поведением других. Короче говоря, такие наши характеристики людей и их поступков, как интеллигентный, благоразумный, добродетельный или же глупый, лицемерный, трусливый, невозможно было бы получить, и проблема необходимости создания специальной причинной гипотезы, служащей основанием подобных заключений, никогда бы не возникла. Вопрос "В чем отличие человека от машины?" появился именно потому, что каждый, еще до появления этой новой причинной гипотезы, уже знал как употреблять понятия, описывающие ментальное поведение. Вот почему причинная гипотеза не могла служить источником для критериев употребления таких понятий. И конечно же, эта гипотеза ни в каком смысле не улучшила наше умение пользоваться этими критериями. Мы по-прежнему различаем правильный и неправильный счет, благоразумный и бестолковый образ действия, богатое и скудное воображение посредством способов, с помощью которых и сам Декарт различал их до и после того, как он строил догадки о сопоставимости использования этих критериев с принципами механической причинности.

Он ошибся в логике проблемы. Вместо того, чтобы спросить, в соответствии с каким критерием разумное поведение реально отличается от неразумного, он поставил вопрос: "Какой другой принцип причинности прояснит для нас это различие, если известно, что принцип механической причинности этого сделать не может?" Он понимал, что эта проблема не из области механики, и потому предположил, что она должна быть одной из дополняющих механику проблем. Неудивительно, что психология нередко претендует на эту же роль.

Когда два термина принадлежат к одной и той же категории, то их можно включить в правильное конъюнктивное суждение. Так, покупатель может сказать, что он приобрел перчатки на правую и левую руку; но сказать, что он купил пару перчаток и перчатки на правую и левую руку он не может. "Она приехала домой в машине и в слезах" — известная шутка, основанная на нелепости объединения терминов различных типов. Было бы, впрочем, равным образом нелепо конструировать дизъюнкцию: "Она приехала домой либо в машине, либо в слезах". С догмой о призраке в машине дело обстоит сходным образом. Она утверждает, что есть души и тела, что происходят физические и ментальные процессы, что существуют механические причины телесных движений и ментальные причины телесных движений. Я считаю, что эти и аналогичные им конъюнкции абсурдны, однако, следует заметить, что это не говорит об абсурдности необоснованно связанных утверждений самих по себе. Я, например, не отрицаю существование ментальных процессов. Выполнение деления в столбик является ментальным процессом, как и придумывание шутки. Но я утверждаю, что фраза "ментальные процессы существуют" относится к иному

типу, чем фраза "существуют физические процессы", поэтому нет никакого смысла объединять или разводить эти фразы.

Если моя аргументация верна, то из нее вытекает ряд интересных следствий. Во-первых, сакральная противоположность между Материей и Духом будет расщепляться, но не за счет одного из столь же сакральных поглощений Духа Материей или Материи Духом, а совсем иным способом. Ибо кажущаяся противоположность предстанет настолько же неправомерной, насколько неправомерно противопоставление между "она приехала домой в машине" и "она приехала домой в слезах". Вера в существование полярной оппозиции между Духом и Материей есть вера в то, что они являются терминами одного логического типа.

Из этого также следует, что Идеализм и Материализм — ответы на неверно поставленный вопрос. "Редукция" материального мира к ментальным состояниям и процессам, также как и "редукция" ментальных состояний и процессов к состояниям и процессам физическим, предполагает законность дизъюнкции "существуют или сознания, или тела (но не то и другое сразу)". Это все равно, что сказать: "Либо она купила перчатки на правую и левую руку, либо пару перчаток (но не то и другое вместе)".

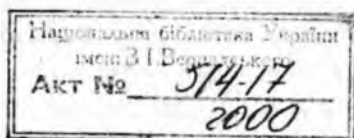
Совершенно корректно произнести с одним логическим ударением, что существуют сознания, и с другим логическим ударением, что существуют тела. Однако эти высказывания не обозначают два различных вида существования, ибо "существование" не является родовым словом вроде "окрашенный" или "имеющий пол". Они обозначают два различных смысла (senses) "существования", наподобие того, как слово "растущий" имеет разные смысловые оттенки в сочетаниях "растет прилив", "растет надежда" и "растет средний уровень смертности". Слова человека о том, что сейчас растут три вещи, а именно: прилив, надежда и средний уровень смертности, будут расценены как глупая шутка. Будет такой же шуткой сказать, что существуют четные числа, вторники, общественное мнение и военно-морские силы; или же, что существуют вместе сознания и тела. В последующих главах я постараюсь доказать, что официальная теория покоится на группе категориальных ошибок, ибо из нее вытекают логически нелепые выводы. Конструктивным смыслом выявления этих нелепостей будет формирование корректной логики понятий, описывающих ментальное поведение.

(4) ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Было бы ошибочно считать, что официальная теория берет начало только в размышлениях Декарта, или даже в более широком контексте, охватывающим механицистские импликации XVII века. Схоластическая и реформаторская теология воспитала интеллект ученых точно также, как интеллект мирян, философов и духовенства той поры. Стоико-августинианские теории свободы воли

были встроены в кальвинистскую доктрину греха и благодати. Теории Платона и Аристотеля сформировали ортодоксальное учение о бессмертии души. Декарт переложил широко распространенные в его время теологические доктрины о душе на новый синтаксис Галилея. Теологическая сокровенность совести стала философской уединенностью сознания, а доктрина Предопределения превратилась в доктрину Детерминизма.

Неверно также говорить, что миф о двух мирах был теоретически бесполезным. Пока мифы еще новы, они нередко теоретически весьма продуктивны. Одним из достижений пара-механического мифа явилось то, что он частично вытеснил доминирующий тогда пара-политический миф. Сознание и его способности описывались в последнем по аналогии с политическим господством и подчинением. Для этой цели были использованы идиомы управления, повиновения, сотрудничества и сопротивления. Они сохранились и все еще встречаются во многих этических и в некоторых эпистемологических дискуссиях. Если в физике новый миф о скрытых силах стал научным улучшением старого мифа о целевых причинах, то в антропологических и психологических учениях новый миф о скрытых операциях, импульсах и активностях был улучшением старого мифа о предписаниях, послушании и неповиновении.



ГЛАВА II. "ЗНАНИЕ КАК" И "ЗНАНИЕ ЧТО"

(1) ПРЕДИСЛОВИЕ

В этой главе я постараюсь показать, что когда мы описываем людей как обнаруживающих определенные способности сознания, мы не обращаемся к скрытым эпизодам, следствием которых являются внешне наблюдаемые поступки и высказывания; мы обращаемся к самим этим поступкам и высказываниям. Конечно, между описанием бессознательно совершенного действия и описанием физиологически сходного с ним действия, но выполненного целенаправленно, с расчетом или со сноровкой, существуют принципиальные для нашего исследования различия. Однако эти различия в описаниях не заключаются в отсутствии или наличии имплицитной отсылки к некоему призрачному действию, скрыто предвещающему внешний акт. Напротив, они заключаются в отсутствии или наличии определенного рода поддающихся проверке объяснительно-предсказывающих суждений.

(2) УМСТВЕННЫЕ СПОСОБНОСТИ И ИНТЕЛЛЕКТ

Свой анализ понятий, описывающих ментальное поведение, я начну с концептуального семейства, обычно обозначающего "умственные способности" (intelligence). Вот некоторые из наиболее характерных прилагательных этой группы: "умный", "здравомыслящий", "осторожный", "методичный", "изобретательный", "благоразумный", "проницательный", "логичный", "остроумный", "наблюдательный", "критичный", "опирающийся на опыт", "сообразительный", "расчетливый", "мудрый", "рассудительный", "скрупулезный".

Когда человек имеет недостаток умственных способностей, он описывается как "глупый" или же, посредством более характерных эпитетов, как "тупой", "бестолковый", "невнимательный", "неметодичный", "неизобретательный", "беспечный", "недалекий", "нелогичный", "лишенный чувства юмора", "ненаблюдательный", "некритичный", "игнорирующий факты", "несообразительный", "наивный", "неумный" и "безрассудный".

Очень важно сразу же отметить, что глупость и незнание — это вещи различного сорта. Между хорошей информированностью и глупостью нет несовместимости, а ловкий в спорах и шутках человек может с трудом уместить в

своей голове элементарные истины. Значимость этого различия между обладанием умственными способностями и владением знанием следует подчеркнуть, в частности, потому, что как философы, так и простые люди склонны расценивать интеллектуальные операции как ядро ментального поведения. Иначе говоря, они склонны определять все другие понятия, описывающие ментальное поведение, с точки зрения когнитивных понятий. Они полагают, что главное дело сознания заключается в нахождении ответов на вопросы, а все другие его занятия суть лишь применения находимых при этом истин или даже тем, что, к сожалению, отвлекает человека от размышления над ними. Греческая идея о том, что бессмертие предначертано теоретизирующей части души, была подвергнута порицанию, но не искоренена христианством.

Когда мы говорим об интеллекте или, точнее, об интеллектуальных способностях и действиях людей, мы обращаемся главным образом к особому классу операций, конституирующих теоретизирование. Цель этих операций заключается в обретении знания истинных высказываний и фактов. Математика и зрелые естественные науки предстают образцовыми достижениями человеческого интеллекта. Древние теоретики, естественно, размышляли над тем, что составляет особое преимущество теоретических наук, развитию которых они способствовали и были свидетелями. Они были склонны считать, что именно способность к точной теории лежит в основе превосходства людей над животными, цивилизованных людей над варварами и даже Божественного разума над разумом человека. Таким образом, они завещали нам идею о том, что способность к познанию истин является определяющим свойством сознания. Другие человеческие способности могут быть определены как ментальные только в том случае, если они каким-то образом управляются этим интеллектуальным схватыванием истинных суждений. Быть рациональным — означало быть способным распознавать истины и связи между ними. Действовать рационально — значило поэтому в своем жизненном поведении ставить под контроль способности к распознаванию истин свои нетеоретические склонности.

Главная задача этой главы состоит в демонстрации того, что существует много видов активности, в которых непосредственно предстают свойства сознания и которые, тем не менее, не являются ни интеллектуальными операциями, ни даже их последствиями. Интеллектуальная практика — не падчерица теории. Напротив, теоретизирование является одной из практик наряду с другими и само по себе может быть осуществлено разумно или глупо.

Существует и другая причина, по которой важно внести поправки в исходные принципы интеллектуалистской доктрины, стремящейся определить интеллект с точки зрения способности к схватыванию истин, вместо того чтобы установить значение этой способности в свете интеллекта. Теоретическое рассуждение — деятельность, которую большинство людей могут (обычно так и

происходит) производить в молчании. Они артикулируют в предложениях построенные теории, однако большую часть времени эти предложения не высказываются вслух. Люди проговаривают их сами с собой. Или же они выражают свои мысли в виде диаграмм и картин, но далеко не всегда фиксируют их на бумаге. Они "видят их мысленным взором". Наш обычный мыслительный процесс большей частью протекает в форме внутреннего монолога или беззвучной беседы с самим собой, сопровождаемых, как правило, неким мысленным кинематографическим рядом визуальных образов.

Эта хитрая способность беззвучно говорить с собой приобретает не столь быстро и не без усилий; необходимым условием ее освоения является то, что прежде мы должны научиться разумно говорить вслух и уметь понимать других людей, делающих это. Умение скрывать и удерживать мысли внутри себя — тонкое достижение. Вплоть до средних веков люди еще не учились читать, не прибегая к чтению вслух. Сходным образом ребенок должен учиться читать вслух до того, как он научится читать шепотом, и громко болтать до того, как он будет способен лепетать про себя. И тем не менее многие теоретики полагают, что безмолвие, в котором большинство из нас приучилось думать, является определяющей принадлежностью мысли. Платон считал, что в момент мышления душа ведет разговор сама с собой. Однако безмолвие, хотя оно часто и удобно, не является здесь существенным, как, например, и ограничение аудитории одним слушающим.

Сочетание двух допущений, во-первых, того, что теоретическое рассуждение является важнейшей деятельностью сознания, и, во-вторых, что оно по своей сути есть приватная, безмолвная или внутренняя операция, остается одной из главных подпорок догмы о духе в машине. Людям свойственна тенденция отождествлять свое сознание с "местом", где они вынашивают тайные помыслы. Они даже склонны представлять, что есть какая-то тайна в том, каким образом мы публично выражаем свои мысли, вместо того чтобы осознать, что мы используем специальные ухищрения для удержания их при себе.

(3) "ЗНАНИЕ КАК" И "ЗНАНИЕ ЧТО"

Когда человека описывают при помощи того или иного эпитета, обозначающего умственные способности, например "умный" или "глупый", "благоразумный" или "опротечивый", то такая дескрипция приписывает ему не знание или неведение какой-то истины, а способность или неспособность проделать ряд действий определенного рода. Теоретики были столь поглощены задачей исследования природы, оснований и рекомендаций принятых ими теорий, что по большей части игнорировали вопрос о том, что значит для кого-то знать, как выполнять задание. Напротив, в повседневной жизни, впрочем, как и в особом

деле обучения, мы гораздо чаще сталкиваемся со способностями и действиями людей, нежели с их когнитивным арсеналом и теми истинами, которые они узнают. В самом деле, даже когда мы сталкиваемся с выдающимися интеллектуальными способностями или недостатками людей, нас меньше интересует запас освоенных и хранимых ими истин, чем их возможность открывать эти истины, а также применять и развивать их после того, как они установлены. Часто мы замечаем, что человек не знает какого-то факта только потому, что следствием этого неведения оказываются глупые поступки, о которых ему приходится сожалеть.

Существует как определенный параллелизм между "знанием как" и "знанием что", так и некоторые различия. Мы говорим об обучении тому, как играть на музыкальном инструменте, аналогично тому, что нечто является фактом; говорим о том, как постригать деревья, и о том, что римляне встали лагерем в определенном месте. Мы говорим, что позабыли, как вязать рифовый узел, и что по-немецки "Messer" значит "нож". Мы можем интересоваться как, а можем стремиться узнать — действительно ли.

С другой стороны, мы никогда не говорим о человеке, что он верит или полагает как, и, хотя было бы правильно спросить об основаниях или причинах принятия кем-либо некоторого утверждения, подобный вопрос не может быть поставлен о чьем-либо мастерстве играть в карты или умении вкладывать капитал.

Что же содержится в наших описаниях людей в качестве знающих как шутить, как оценивать шутки, как грамматически правильно говорить, как играть в шахматы, рыбачить или вести спор? Отчасти имеется в виду, что, когда они выполняют эти действия, они склонны делать их хорошо, т. е. либо корректно, либо эффективно, либо успешно. Их действия соотносятся с определенными стандартами и удовлетворяют определенным критериям. Но этого мало. Хорошо отрегулированные часы показывают точное время, а выдрессированный цирковой тюлень безупречно выполняет трюки. Но мы не считаем их "разумными". Мы приберегаем эту характеристику для людей, которые ответственны за свои поступки. Быть разумным означает не просто удовлетворять критериям, но и применять их; не просто быть хорошо координированным, но и быть в состоянии выверять свои действия. Действие человека описывается как точное или умелое в том случае, если в своих операциях он готов отслеживать и исправлять промахи, повторять успешные достижения и совершенствоваться в них, уметь извлекать пользу из примеров других людей и т. д. Он применяет критерии, действуя критично, т. е. пытаясь все сделать правильно.

Обычно это выражается в распространенной формуле, утверждающей, что действие является разумным, если и только если действующий субъект думает над тем, что он делает в момент совершения действия, и думает таким образом, что ему не удалось бы совершить действие хорошо в случае, если бы он не

размышлял над ним во время его совершения. К этой расхожей идиоме иногда апеллируют как к свидетельству в пользу интеллектуалистской легенды. Поборники последней склонны приравнивать "знание как" к "знанию что", используя тот аргумент, что действие, совершенное разумно, включает в себя соблюдение правил или применение критериев. Из этого следует, что операция, охарактеризованная как разумная, должна предваряться осознанием этих правил или критериев. Это значит, что действующий субъект сперва должен пройти через внутренний процесс явного признания для себя определенных утверждений (иногда они называются "максимами", "императивами" или "регулятивными принципами") о том, что предстоит сделать, и только после этого он может осуществить свое действие в соответствии с этими установками. Он должен проинструктировать себя прежде, чем он может начать практику. Повар должен пересказать самому себе рецепты, прежде чем приступить к приготовлению блюд; герой должен уловить внутренним слухом соответствующий моральный императив до того, как он бросится спасать тонущего человека; шахматист должен мысленно пробежать по всем релевантным для данной ситуации правилам и тактическим максимам прежде, чем он сможет сделать корректные и мастерские ходы. Делать что-либо, думая над тем, что делаешь, означает, согласно данной легенде, всегда делать две вещи. Во-первых, принимать во внимание определенные, соответствующие сути дела утверждения или предписания и, во-вторых, практически осуществлять то, что включают в себя эти утверждения и предписания. Это значит сначала делать теоретический, а затем практический ход.

Бесспорно, мы не только часто размышляем перед действием, но и размышляем для того, чтобы действовать правильно. Шахматисту может понадобиться некоторое время, чтобы спланировать свои ходы, прежде чем их сделать. И все же общее допущение, что действие, совершаемое разумно, требует предварительного обдумывания соответствующих утверждений, звучит неправдоподобно даже тогда, когда, за неимением лучшего, допускается, что требуемое обдумывание может протекать очень скоротечно и совершенно незаметно для действующего субъекта. Я намерен доказать, что интеллектуалистская легенда ложна и что, когда мы описываем действие как разумное, это не влечет за собой описания двойной операции обдумывания и исполнения.

Прежде всего, существует много видов действий, в которых проявляются разумные способности, но отсутствуют сформулированные правила или критерии. Если мы попросим остряка изложить те максимы или каноны, в соответствии с которыми он придумывает и оценивает шутки, то он будет в затруднении сформулировать ответ. Он знает, как создать хорошие шутки и как определить плохие, но он не сможет представить нам или себе самому какой-то рецепт их создания. Таким образом, практика остроумия не является клиентом

теории остроумия. Подобным же образом каноны эстетического вкуса, правила хорошего тона или изобретательской деятельности могут оставаться не обсужденными, что не будет помехой осмысленной реализации этих способностей и дарований. Аристотель был первым, кто вывел правила корректного рассуждения, но люди знали, как избегать и замечать ошибки в рассуждениях, уже до того, как усвоили его уроки. И после аристотелевских работ люди, включая самого Аристотеля, обычно приводили свои аргументы без каких-то внутренних обращений к его формулам. Они не составляли схем своих аргументов до того, как приводили их. Ведь если бы им пришлось планировать то, что думать, прежде, чем думать, то они не могли бы думать вообще, ибо само это планирование оказалось бы непродуманным заранее.

Действенная практика предваряет описывающую ее теорию; методология предполагает применение методов и их критическое исследование. Именно потому, что Аристотель обнаружил в себе и в других умение рассуждать то разумно, то бестолково, и именно потому, что Исаак Уолтон¹ обнаружил у себя и у других способность удить рыбу иногда успешно, а иногда нет, они оба смогли передать ученикам максимы и предписания своего умения. Поэтому вполне возможно, что люди разумно совершают определенного рода действия, когда они еще не в состоянии учитывать какие-либо утверждения, указывающие на то, как эти действия должны выполняться. Некоторые разумные действия не контролируются предшествующим осознанием принципов, применяемых в них.

Решающее возражение против интеллектуалистской легенды состоит в следующем. Понимание утверждений само по себе является операцией, выполнение которой может быть более или менее разумным или бестолковым. Однако если для осмысленного исполнения любого действия необходимо, чтобы была исполнена, причем разумно, предваряющая его теоретическая операция, то окажется логически невозможным когда-либо разорвать этот порочный круг.

Давайте рассмотрим ряд характерных аспектов, из-за которых может возникнуть этот регресс. Согласно рассматриваемой легенде, когда бы действующий субъект ни совершал что-либо разумное, его действие предваряется и направляется другим, внутренним, действием понимания регулятивного утверждения, которое соответствует его практической задаче. Однако что заставляет его рассматривать именно эту единственную подходящую максиму, а не какую-то из многих тысяч других, не относящихся к делу? Почему упомянутый выше герой-спасатель не обнаруживает себя вызывающим в своем сознании кулинарный рецепт или правило формальной логики? Возможно, это происходит, но тогда в отношении интеллектуальных процессов его следует охарактере-

¹ Известный английский автор книг по рыболовству. — Прим. ред.

ризовать как слабоумного, а не здравомыслящего. Разумная рефлексия над тем, как действовать, помимо прочего, включает обдумывание того, что в данной ситуации уместно, и игнорирование того, что не имеет отношения к делу. Должны ли мы тогда сказать, что для того, чтобы рефлексия субъекта над поступком была разумной, он должен прежде отрефлексировать то, как наилучшим образом размышлять над тем, как действовать? Бесконечность подразумеваемого здесь регресса показывает, что применение критерия соответствия не влечет за собой появления процесса обдумывания этого критерия.

Далее, если все еще предполагается, что для того, чтобы действовать разумно, я должен прежде обзозвать разумное основание своего действия, то возникает вопрос: каким образом мною достигается подходящее применение этого основания к специфической ситуации, в которой мое действие должно осуществиться? Ибо это основание или максима неизбежно являются утверждениями некоторой степени общности. Они не могут содержать в себе особенности, приспособленные к каждой детали определенного состояния дел. Очевидно, повторюсь еще раз, что я должен быть здравомыслящим и неглупым, и это здравомыслие само по себе не может быть продуктом интеллектуального подтверждения какого-либо общего принципа. Военный не станет хитрым полководцем только потому, что он одобряет стратегические принципы Клаузевица, он также должен быть компетентным в их применении. Знание того, как применять максимы, не может быть редуцировано к принятию тех или иных максим, оно также не выводится из них.

В общих чертах абсурдность допущения интеллектуалистской легенды состоит в том, что любое действие наследует все свои права на статус разумного от предварительной внутренней операции планирования того, что предстоит делать. Часто мы действительно проходим через такой процесс, и если мы туповаты, то наше планирование глупо, а если умны, то разумно и оно. Хорошо известна возможность разумно планировать и глупо действовать, т. е. пренебрегать наставлениями в своей практике. Следовательно, согласно исходному аргументу, наш интеллектуальный процесс планирования должен наследовать право называться разумным от другого внутреннего процесса — от планирования планирования, а этот процесс, в свою очередь, может быть толковым или бестолковым. Этот регресс бесконечен, что редуцирует к абсурду теорию, утверждающую, что, для того чтобы действие было разумным, оно должно породиться и направляться предварительной интеллектуальной операцией. Различие между рациональными и глупыми действиями заключается не в их родословной, а в методе их осуществления, и это относится к интеллектуальному действию не в меньшей степени, чем к действию практическому. "Разумное" не может быть определено в терминах "интеллектуального", а "знание как" — в терминах "знания что". "Думать над тем, что я делаю", не означает "и думать,

что делать, и делать это". Когда я делаю что-либо разумно, т. е. думая над тем, что я делаю одну вещь, а не две, мое действие имеет не особые antecedentes, а особую манеру или методику осуществления.

(4) МОТИВЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЛЕГЕНДЫ

Почему люди, несмотря на свой повседневный опыт, столь привержены вере в то, что осмысленное выполнение действия должно заключать в себе два процесса: поступок и рассуждение? Частично ответ заключается в том, что они породнились с догмой о духе в машине. Поскольку поступок зачастую является внешним мускульным делом, он описывается просто как физический процесс. Из допущения антитезы между "физическим" и "ментальным" следует, что мускульное действие само по себе не может быть ментальной операцией. Поэтому это действие может получить характеристики "умелый", "хитрый" или "обладающий чувством юмора" только через их перенесение от другого дополнительного действия, происходящего не "в машине", но "в духе", ибо слова "умелый", "хитрый" и "обладающий чувством юмора", несомненно, являются ментальными предикатами.

Разумеется, совершенно верно то, что, когда мы характеризуем какой-то фрагмент внешнего поведения как остроумный или тактический, мы не имеем в виду лишь наблюдаемые нами телесные движения. Попугай может произнести фразу, подобную той, которую в похожей ситуации сказали бы и мы, но несмотря на это, мы не наделяем его чувством юмора; бестактный человек может сделать нечто в точности как джентльмен, однако мы не подумаем, что он тактичен. Однако если одно и то же речевое выражение у юмориста будет шуткой, а у попугая — простым звукоподражанием, то возникает соблазн сказать, что мы приписываем остроумие не тому, что мы слышим, а чему-то еще, чего мы не слышим. Соответственно, мы склонны говорить о том, что одно слышимое и видимое действие является остроумным, а другое, сходное с ним видимое и слышимое действие не является таковым потому, что первое предварялось иным, неслышимым и невидимым действием, которое и есть подлинное проявление остроумия. Однако признать (а это нам приходится делать), что, возможно, не существует никакой видимой или различимой на слух разницы между галантными и бесцеремонными поступками или остроумными и лишенными юмора фразами, — еще не значит признать, что это различие устанавливается через выполнение или невыполнение неких таинственных и скрытых актов.

Умение и ловкость клоуна могут выражаться в его кувырках и падениях. Он ступается и падает точно так же, как это делают неуклюжие люди, с той лишь разницей, что клоун выполняет свои кульбиты умышленно, после множества

репетиций, делает их в самый подходящий момент, там, где их могут увидеть дети, и так, чтобы не пострадать самому. Аплодируя его мастерству казаться неуклюжим, зрители, однако, аплодируют не неким полностью скрытым действиям, совершаемым "в его голове". Они восхищаются его видимыми действиями, причем не потому, что эти действия явились следствием каких-то скрытых внутренних причин, а потому, что они есть проявление его мастерства, умения. Ясно, что умение не является действием. Поэтому оно не является ни наблюдаемым, ни ненаблюдаемым актом. Для того чтобы определить, что некий поступок представляет собой проявление умения, ему нужно дать оценку в свете фактора, который не может быть в отдельности зафиксирован фотокамерой. Однако причиной того, почему мастерство, воплощенное в действии, нельзя зафиксировать на фотографии, заключается не в том, что оно является таинственным, призрачным событием, а в том, что оно вообще не является событием. Его можно определить как диспозицию или комплекс диспозиций, причем диспозиция относится к факторам такого логического типа, о которых ошибочно говорить, что их можно увидеть или не увидеть, зафиксировать или не зафиксировать на снимке. Подобно тому, как привычка громко говорить сама по себе не является громкой или тихой, ибо она не входит в число предметов, по отношению к которым "громкий" или "тихий" могут быть предикатами; подобно тому, как предрасположенность к головной боли сама по себе не является терпимой или невыносимой, так и навыки, вкусы и склонности, осуществляемые во внешних действиях, не являются внутренними или внешними, наблюдаемыми или недоступными для наблюдения. Традиционная теория сознания ошибочно истолковала типовое различие между диспозицией и действием как мифическую раздвоенность ненаблюдаемых ментальных причин и их наблюдаемых физических следствий.

Падения и кувырки клоуна суть проявления работы его сознания, поскольку это его шутки, но зрительно схожие с ними падения и кувырки неуклюжего человека не будут действиями сознания этого человека. Ведь он падает ненамеренно. Умышленное падение — одновременно и телесный, и ментальный процесс, однако это не два процесса, а именно: один процесс — намерение упасть, другой процесс, как следствие первого, — падение. И тем не менее старый миф так просто не сдается. Мы все еще склонны утверждать, что если выходы клоуна демонстрируют внимательность, здравый смысл, разумение и оценку настроений зрителей, то в голове клоуна должно совершаться действие, которое дополняет действие, происходящее на манеже. Если он обдумывает то, что он делает, то под его загримированной физиономией должна происходить когнитивная, остающаяся в тени, не наблюдаемая нами операция, соответствующая доступным для нашего наблюдения телесным движениям и регулирующая их. Бесспорно, мышление является основной деятельностью сознания, и также бес-

спорно, что процесс мышления невидим и неразличим на слух. Но как же тогда видимые и слышимые действия клоуна могут быть работой его сознания?

Отдавая должное этому возражению, нужно сделать уступку, связанную с употреблением языка. Относительно недавно общеупотребительным стал особый смысл слов "ментальный" и "ум" (mind). Мы говорим о "счете в уме", о "чтении мыслей", о дебатах, проходящих "в уме", и, разумеется, все это случаи, когда ментальное оказывается ненаблюдаемым. Говорят, что мальчик "считает в уме" тогда, когда, вместо того чтобы записать или произнести вслух числовые символы, с которыми он производит операции, он проговаривает их про себя, совершая вычисления в ходе безмолвной беседы с самим собой. Подобным же образом про человека говорят, что он читает мысли другого, когда он верно описывает те слуховые или визуальные образы, которые существуют в представлении другого человека. Легко показать, что такие употребления понятий "ментальный" и "ум" являются особыми. Ибо мальчик, производящий расчеты вслух или на бумаге, может рассуждать корректно и выстраивать свои действия методично. Его вычисления не станут менее тщательной интеллектуальной операцией из-за того, что они будут произведены публично, а не приватно. Таким образом, его действие является применением ментальной способности в обычном смысле термина "ментальный".

Отсюда ясно, что вычисление не приобретает статуса подлинного мышления, если человек производит его, сомкнув губы и засунув руки в карманы. В определение мышления не входит, что нужно держать рот на замке. Человек может думать, говоря громко или вполголоса; он может думать молча, но все же достаточно заметно двигая губами, так что умеющий читать по губам человек сможет прочесть его мысли. Он также может, как большинство из нас делают это с детского возраста, думать молча, не шевеля губами. Эти различия являются делом общественных и индивидуальных предпочтений, удобства и быстроты. В связность, убедительность и приемлемость выполненных интеллектуальных операций это вносит не больше различий, чем это делает писатель, предпочитая карандаш перу или чернила-невидимки обыкновенным чернилам. Глухонемой человек разговаривает при помощи изображаемых пальцами знаков. Возможно, когда он хочет остаться наедине со своими мыслями, он делает эти знаки, держа руки за спиной или под столом. Тот факт, что эти знаки могут случайно наблюдаться неким Полом Праем, не заставляет нас или делающего их человека сказать, что он не мыслит.

Особое использование слов "ментальный" и "ум", при котором они обозначают происходящее "в чьей-то голове", не может быть принято как доказательство в пользу догмы о духе в машине. Это не что иное, как вредное влияние этой догмы. Особая манера осуществления мышления с помощью словообразов (word-images), не прибегая к речи, действительно обеспечивает сокрытость нашего

мышления, ибо внутренняя речь одного человека невидима и неслышима для другого (впрочем, как мы потом убедимся, так же как и для него самого). Однако эта сокрытость не является сокрытостью, приписанной постулируемой картиной духа в машине с ее призрачными эпизодами. Это просто устраивающая человека уединенность, которая выражается в звуках, которые происходят в моей голове и вещах, которые я вижу мысленным взором.

Более того, тот факт, что человек проговаривает какие-то вещи про себя, еще не значит, что он думает. Он может бессвязно бормотать или повторять про себя созвучия точно так же, как он мог бы делать это вслух. Различие между осмысленной речью и бормотанием, между размышлением над тем, что говоришь, и просто говорением проходит иначе, чем граница между разговором вслух и разговором с самим собой. То, что делает вербальную операцию проявлением интеллекта, не зависит от того, что делает ее публичной или приватной. Арифметическое вычисление, выполненное при помощи карандаша и бумаги, может быть более разумным, чем математическое действие, совершенное в уме, а проделанные на людях кувырки клоуна могут оказаться более разумными, нежели те кувырки, которые он "видит" мысленным взором или же "чувствует" своими воображаемыми ногами, при условии что какие-то такие воображаемые трюки вообще имеют место.

(5) "В МОЕЙ ГОЛОВЕ"

Теперь пора кое-что сказать о нашем повседневном использовании выражения "в моей голове". Когда я произвожу вычисления в уме, я, наверное, скажу, что числа, с которыми я произвожу действия, уже были "в моей голове", а не на бумаге. Если я слышал свист ветра или какой-то звук, то впоследствии я, возможно, скажу о себе, что я все еще слышу этот свист или звук как вертящиеся "в моей голове". Это "в моей голове" я перебираю историю королей Англии, решаю анаграммы и сочиняю шуточные стихи. Почему же эта метафора оказывается выразительной и подходящей? Ведь это не более чем метафора. Никто же не думает, что когда в моей голове вертится мелодия, то хирург может извлечь из моего черепа маленький оркестрик, или же что доктор, приставив к моей черепной коробке фонендоскоп, может услышать приглушенный мотив, так, например, как я слышу приглушенный свист своего соседа, если приложу свое ухо к стене, разделяющей наши комнаты.

Иногда высказывается мнение, что эта фраза берет начало в теориях о связях между мозгом и интеллектуальными процессами. Возможно, именно из таких теорий мы черпаем выражения типа "напрячь мозги, чтобы решить проблему", однако никто не похвастается тем, что решил анаграмму "в своем мозгу". Школьник иногда готов сказать, что он совершил простой арифметический рас-

чет в голове, хотя он и не ломал над этим голову. Не требуется никакого интеллектуального усилия и сообразительности и для того, чтобы в голове вертелась мелодия. И, наоборот, арифметические вычисления, выполняемые с помощью бумаги и карандаша, могут требовать напряжения мозга, хотя и производятся они не "в голове".

Представляется, что в первую очередь о воображаемых звуках мы находим естественным говорить, что они имеют место "в наших головах" и что из этих звуков для нас имеют преимущество те, с помощью которых мы воображаем себя говорящими и слушающими. Слова, которые, как я представляю, я говорю себе же, мелодии, которые, как я воображаю, я сам себе напеваю или насвистываю, — это то, что прежде всего приходит на ум, когда задумываешься о жужжании этой внутрителесной студии. С небольшой натяжкой выражение "в моей голове" иногда распространяется некоторыми людьми на все воображаемые шумы и даже переносится на описание тех вещей, которые я вижу в своем воображении. Впоследствии мы еще вернемся к вопросу о таком расширении значения этого выражения.

Что же понуждает нас описывать наши представления о нас самих, говорящих или напевающих что-то про себя, через указание на то, что говоримое или напеваемое имеет место в наших головах? Прежде всего эта идиома обладает необходимой негативной функцией. Когда стук колес поезда заставляет вертеться в моей голове "Rule Britannia", то стук колес слышен для моих спутников, а "Rule Britannia" — нет. Ритмичное постукивание колес наполняет весь вагон, а мой "Rule Britannia" не наполняет ни это купе, ни даже какой-то его части. Таким образом, возникает желание сказать, что вместо этого мотив заполняет иное "купе", а именно то, которое является частью меня самого. Постукивание имеет своим источником колеса и рельсы, а что касается "Rule Britannia", то его источником не служит некий находящийся вне меня оркестр. Констатируя этот негативный факт, мы испытываем соблазн говорить, что источник этой музыки лежит внутри меня. Однако это объяснение само по себе еще не объясняет, почему я считаю естественным метафорически сказать, что "Rule Britannia" вертится в моей голове, а не в моем горле, груди или желудке.

Когда я слышу произносимые вами слова или мелодии, которые играет оркестр, у меня обычно возникает догадка, иногда неверная, относительно того, с какой стороны доносится звук и как далеко от меня расположен его источник. Однако когда я слышу слова, которые я сам произношу вслух, мелодии, которые я сам напеваю, звуки своего собственного дыхания, кашля или звуки, возникающие в то время, когда я что-нибудь жую, то ситуация оказывается совершенно другой. Ибо в данном случае не возникает вопроса о звуках, имеющих удаленный от меня и где-то вне меня расположенный источник. Мне не приходится вертеть головой, чтобы лучше услышать их, не могу я и прибли-

зять свое ухо к источнику звука. Более того, хотя я могу изолироваться от звуков, приглушить ваш голос или мелодию оркестра, заткнув себе уши, тем не менее это действие в случае моего собственного голоса дает обратный результат и только увеличивает его громкость и резонанс. Мои собственные высказывания точно так же, как другие шумы в голове, к примеру пульсация, сопение, чихание и прочее, не являются передающимися по воздуху звуками, которые доносятся из более или менее удаленного источника. Они возникают в голове и доносятся из головы, хотя некоторые из них можно слышать также передающимися по воздуху. Если же я произвожу очень громкие или пронзительные звуки, то я могу почувствовать вибрацию или судороги в своей голове, "почувствовать" в том же смысле, в каком я чувствую в своей руке вибрацию камертона.

Теперь ясно, что такие шумы и звуки находятся в голове не метафорически, а буквально. Они действительно являются шумами внутри головы, которые врач может услышать через фонендоскоп. Однако смысл, который мы подразумеваем, говоря, что школьник проделывает мысленное арифметическое действие, располагая цифры не на бумаге, а в голове, является не буквальным, но производным от него метафорическим смыслом. Нетрудно видеть, что эти цифры на самом деле не слышны в его голове подобно тому, как он действительно слышит в своей голове собственный кашель. Ибо если он громко свистит или кричит, заткнув уши, то это может привести к тому, что он почти оглохнет или услышит в ушах звон. Если же, выполняя мысленную арифметическую операцию, он "прокричит" сам себе цифры, представляя, что его голос очень пронзителен, то ничего оглушающего не произойдет. Он не производит и не слышит каких-либо резких звуков потому, что он просто воображает себя производящим и слышащим эти звуки, а воображаемый визг не является визгом, так же как он не является и шепотом. И тем не менее школьник описывает цифры как находящиеся в его голове, точно так же как я описываю "Rule Britannia", звучащую в моей голове, потому что это естественный способ выражения того факта, что они живо представлены в нашем воображении. Тем не менее выражение "в моей голове" следует понимать помещенным в кавычки подобно глаголу "видеть" в выражениях типа "я и сейчас вижу", как было дело, хотя прошло уже сорок лет". Если бы мы и в самом деле делали то, что вызываем в воображении, а именно слышали самих себя что-то говорящими или напевающими, то тогда эти звуки были бы в наших головах в буквальном смысле. Однако раз мы не производим и не слышим звуки, а только воображаем, что делаем это, когда говорим, что числа и мелодии, производимые нами для самих себя в нашем представлении, находятся "в наших головах", то мы говорим это с характерной интонацией в голосе, предназначенной для выражения вещей, которые не следует принимать буквально.

Я уже говорил о том, что существует определенная склонность расширять употребление идиомы "в моей голове", чтобы охватить не только вызываемые в представлении нами самими производимые звуки и шумы внутри головы, но также и в целом воображаемые звуки и даже шире — воображаемые зрительные образы. Я думаю, что эта склонность (если я прав, предполагая ее существование) обусловлена следующим кругом хорошо знакомых нам фактов. Для всех органов чувств, расположенных на голове, мы обладаем либо набором естественных "заслонок", либо можем предложить их искусственные аналоги. Мы можем закрыть глаза с помощью век или ладоней; наши губы укрывают язык, а наши пальцы можно использовать, чтобы заткнуть уши или ноздри. Воспользовавшись этими заслонками, мы можем изолировать себя от того, что мы с вами видим, слышим, пробуем на вкус и нюхаем. Но вещи, которые я вижу мысленным взором, не исчезают, если я закрываю глаза. Когда я делаю это, я иногда "вижу" их даже более живо, чем раньше. И чтобы развеять страшную картину вчерашней автокатастрофы, мне даже лучше держать глаза открытыми. Все это наводит на мысль описывать различие между воображаемыми и реальными образами через указание на то, что воображаемые объекты находятся с внутренней стороны от этих заслонок, в то время как реальные объекты расположены снаружи от них. Последние находятся вне моей головы, а первые — внутри нее. Однако этот вопрос требует некоторого уточнения.

Зрение и слух — чувства, предполагающие дистанцию, тогда как обоняние, осязание и вкус таковыми не являются. Иначе говоря, когда мы в обычном смысле употребляем глаголы "видеть", "слышать", "смотреть", "слушать", "замечать", "подслушивать" и другие, то вещи, о которых мы говорим как о "видимых" и "слышимых", суть вещи, удаленные от нас. Мы слышим звуки поезда далеко к югу и замечаем высоко в небе планету. Поэтому мы испытываем затруднение, когда говорим о местонахождении пятен, которые плавают "перед глазами". Ибо хотя мы их и видим, их нет вне нас. В то же время мы не говорим об осязании или пробе на вкус вещей, находящихся на расстоянии, а если нас спрашивают, далеко ли и в каком направлении расположен предмет, мы не отвечаем: "Дайте-ка я прежде понюхаю или попробую на вкус". Конечно, мы можем ориентироваться тактильно или кинестетически, но, когда мы на ощупь находим на стене выключатель света, мы обнаруживаем, что он расположен там же, где находятся кончики наших пальцев. Предметы, которых мы касаемся рукой, оказываются там же, где и рука, тогда как вещи, которые мы видим или слышим, обычно оказываются в отдалении от глаза или уха.

Таким образом, когда мы хотим подчеркнуть тот факт, что в действительности нечто было нами не увидено или услышано, а только представлено как увиденное и услышанное, мы склонны доказывать его воображаемый характер через отрицание его дистанционности и, прибегая к сомнительным, но удоб-

ным оборотам, отрицаем его удаленность через признание его метафорической близости. "Не там, снаружи, а здесь, внутри; не вне органов чувств и их покровов и не в реальном мире, а по эту сторону этих покровов и нереальное", "не внешняя реальность, а воображаемая видимость". У нас нет подобных лингвистических уловок для описания того, как мы представляем самих себя осязающими, воспринимающими запахи или пробуящими на вкус. Пассажир корабля чувствует раскачивание палубы под собой главным образом ступнями и икрами, а когда он сходит на берег, он все еще испытывает ощущение "в ступнях и икрах", будто земля качается под ним. Однако, поскольку кинестетическое ощущение не является дистанцированным, он не может третировать свои представляемые ощущения в ногах как иллюзорные, говоря, что покачивание локализовано только в них, а не в улице, ибо движение, которое он чувствовал на палубе, равным образом ощущалось и в его ногах. Он не мог сказать: "Я чувствую, как качается другой конец судна". Не может он описывать иллюзорное движение тротуара как ощущение "в его голове", но только как "ощущаемое в ногах."

Поэтому я полагаю, что слова "в голове" предстают выразительной метафорой, приемлемой, в первую очередь, для живо представленных и лично произносимых звуков и, во-вторых, для любых воображаемых звуков и даже для воображаемых зрительных образов, поскольку в двух этих случаях отрицание дистанцированности путем утверждения метафорической близости подразумевается как придание знака мнимости. И сама эта близость относительна, она отсчитывается скорее не от расположенных в голове органов зрения и слуха как таковых, сколько от тех мест, где они прикрываются их наружными «затворами». Интересная деталь, связанная с языком, состоит в том, что иногда люди используют слова "мысленный" и "только мысленный" в качестве синонимов для "воображаемый".

Однако для моей общей аргументации неважно, верен этот филологический экскурс или нет. Он служит для привлечения внимания к тем видам предметов, о которых мы говорим, что они находятся "в наших головах", а именно это такие предметы, как представляемые слова, мелодии и, возможно, цепочки воспоминаний. Когда люди применяют идиому "в уме" («in the mind»), они обычно крайне запутанно выражают то, что мы привычно выражаем через менее сбивающее с толку метафорическое использование идиомы "в голове". Выражения "в уме" можно и нужно всегда избегать. Его употребление приучает говорящих к мысли, что сознания являются странными "местами", чье население оказывается фантомами, наделенными особым статусом. Одна из задач этой книги — демонстрация того, что проявление способностей сознания не происходит, за исключением *per accidentis*, "в голове" в обычном смысле этого выражения и что те, кто думают так, не имеют никаких преимуществ перед теми, кто отрицает это.

(6) ПОЗИТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ "ЗНАНИЯ КАК"

Как я надеюсь, мне удалось показать, что практическое проявление интеллекта не может анализироваться в качестве двойного действия: предварительного рассмотрения предписаний и последующего их выполнения. Мы также обсудили некоторые мотивы, которые подталкивают теоретиков к принятию подобного анализа.

Однако если поступать разумно — значит делать не два, а одно действие, и если разумный поступок должен удовлетворять критериям выполнения поступка как такового, то остается показать, как эта особенность характеризует те действия, которые мы считаем искусными, благоразумными, изящными или логичными. Ведь не существует видимой или различимой на слух разницы между действием, осуществленным разумно и умело, и действием, исполненным по простой привычке, безотчетному импульсу или в припадке безумия. Попугай может выкрикнуть "Сократ смертен" тотчас после того, как кто-нибудь выскажет посылки, из которых следует это заключение. Один мальчик может, мечтая о крикете и не понимая существа вопроса, дать такой же правильный ответ на очень трудную задачу, что и другой ученик, который думает над тем, что он делает. Тем не менее мы не назовем попугая "мыслящим логично" и не скажем, что невнимательный ученик решил задачу.

Рассмотрим сперва ситуацию с мальчиком, который учится играть в шахматы. Ясно, что, до того как он узнал правила игры, он мог случайно сделать ход пешкой, который не нарушает правил. И тот факт, что он делает правильный ход, не означает, что он знает правило, которое такой ход допускает. В свою очередь, и у стороннего наблюдателя нет возможности определить по тому, как мальчик делает этот ход, какой-то видимый знак, показывающий, что ход либо случаен, либо сделан вследствие знания правил. Однако представим теперь, что мальчик начинает добросовестно учиться играть, и это в основном заключается в подробном разъяснении ему правил. Возможно, он выучит их наизусть и будет готов процитировать наизусть, если кто-то попросит об этом. Во время первых своих игр мальчику, скорее всего, придется перебирать правила вслух или в голове и время от времени спрашивать, как следует применить их в той или иной особой ситуации. Но очень скоро он сможет соблюдать правила, не думая о них. Он будет делать разрешенные ходы и избегать запрещенных; он подметит и будет протестовать, когда его соперник нарушит правила. Но больше он не станет произносить про себя или вслух те формулы, в которых декларируются запреты и разрешения. Делать дозволенные ходы и избегать запрещенных станет для него второй натурой. На этом этапе он даже может утратить былую способность излагать правила. Если другой новичок попросит проинструктировать его, то может оказаться, что он

уже забыл, как формулируются правила. Он станет показывать новичку, как нужно играть, демонстрируя на доске корректные ходы и пресекая неправильные ходы новичка.

Вполне возможно для ребенка научиться играть в шахматы, вовсе не слыша и не читая правил. Наблюдая, как другие передвигают фигуры, и замечая, какие из его собственных ходов были приняты или отвергнуты, он мог бы освоить искусство играть корректно, будучи, тем не менее, не в состоянии изложить правила при помощи терминов, которые определяют "корректность" и "некорректность". Подобным образом все мы научились правилам игры в прятки и "горячо—холодно", а также элементарным правилам грамматики и логики. Усваивая многое с помощью критики и примера, мы изучаем как на практике, зачастую без оглядки на какие-то теоретические уроки.

Следует заметить, что о мальчике не говорили бы, что он знает, как играть, если бы все, что он мог бы делать, ограничивалось точным изложением правил. Он должен уметь делать необходимые ходы. Про него скажут, что он знает, как играть, если, даже не умея сформулировать правила, он все-таки делает разрешенные ходы, избегает запрещенных сам и протестует, когда ходы его соперника оказываются неправильными. Его знание как проявляется прежде всего в ходах, которые он делает сам или признает правильными, которых он избегает и не допускает со стороны противника. Поскольку он соблюдает правила, нас не заботит, может ли он еще и сформулировать их. Именно то, что он делает на шахматной доске, а не в голове или при помощи языка, доказывает нам через наглядное умение применять правила, знает ли он их или нет. Аналогично этому иностранец может, подобно английскому ребенку, не знать, как говорить грамотно по-английски, несмотря на то, что он овладел теорией грамматики английского языка.

(7) УМСТВЕННЫЕ СПОСОБНОСТИ В СРАВНЕНИИ С ПРИВЫЧКАМИ

Способность применять правила является результатом практики. Поэтому возникает соблазн считать умения и навыки всего лишь привычками. Конечно, они являются "второй натурой" или приобретенными диспозициями, однако из этого не следует, что они просто привычки. Последние относятся к одному виду, причем не единственному, этой второй природы, и в дальнейшем будет показано, что общее допущение о том, что все относящееся ко второй природе состоит только из привычек, затушевывает различия, имеющие кардинальную важность для наших исследований.

Способность правильно решать задачи на умножение, опираясь на механическое запоминание правил, в ряде важных аспектов отличается от способности решать их при помощи вычисления. Когда мы описываем кого-либо как со-

вершающего некоторое действие исключительно по привычке, мы подразумеваем, что он выполняет его автоматически, не отдавая себе отчета в том, что он делает. Он не проявляет внимания, бдительности или критичности. Научившись ходить, мы шагаем, не думая о том, куда поставить ногу. Но альпинист, совершая в темноте и при сильном ветре восхождение по обледеневшему склону, переставляет ноги и руки не по слепой привычке. Он думает над тем, что делает, он готов к опасности, бережет силы, пробует и экспериментирует. Коротко говоря, в его восхождении угадывается определенная степень умения и рассудительности. Если он совершит ошибку, то постарается ее не повторять; если он обнаружит, что новый прием восхождения эффективен, он будет и дальше использовать и совершенствовать его. Он передвигается и одновременно обучает себя, как двигаться в подобных обстоятельствах. Когда одно действие оказывается точной копией других, предшествующих ему действий, то именно это является сутью практики "лишь по привычке". Сущность же разумной практики заключается в том, что действие меняется под влиянием предшествовавших ему действий. Действующий субъект при этом все еще продолжает учиться.

Различие между привычками и умственными способностями можно проиллюстрировать, обратившись к параллельному ему отличию в методах, используемых для привития двух этих видов второй натуры. Наши привычки формируются посредством тренировки и муштры, а умственные способности мы развиваем в обучении. Тренированность или ее поддержание достигается наложением повторений. Рекрут осваивает манипуляции с винтовкой при команде "на плечо", многократно повторяя на счет все необходимые действия. Сходным образом ребенок изучает алфавит и таблицу умножения. Эти навыки считаются неосвоенными до тех пор, пока ответы ученика не станут автоматическими, пока не станет ясно, что он может "дать их во сне". Обучение, напротив, хотя и включает немало сушей муштры, не сводится к ней. Оно включает поощрение критического настроения и проявлений самостоятельности в суждениях ученика. Он обучается тому, как делать что-то, размышляя при этом над тем, что он делает. Таким образом, каждое выполненное им действие само по себе является для него новым уроком, показывающим, как сделать лучше. Солдату, который натренировался лишь вскидывать винтовку на плечо, придется еще обучаться, чтобы стать метким стрелком и профессионально читать карту. Навык обходится без разума, обучение его развивает. Мы не ожидаем от солдата, чтобы он был способен разобраться в карте даже "во сне".

Существует еще одно важное различие между привычками и интеллектуальными способностями, для прояснения которого необходимо сказать несколько слов об общей логике употребления понятий, описывающих диспозиции. Когда мы говорим, что стекло хрупкое, а сахар растворимый, мы употребляем диспозиционные понятия, логический смысл которых заключается в следующем.

Хрупкость стекла не состоит в том, что его в данный конкретный момент действительно разбили вдребезги. Стекло может быть хрупким, даже если его никогда не разобьют. Сказать, что оно хрупкое, значит сказать, что если по нему бьют или уже ударили, то оно разлетится или уже разлетелось на осколки. Сказать, что сахар растворим, — значит сказать, что он растворится, если будет помещен в воду.

Суждение, приписывающее предмету диспозициональное свойство, во многом, хотя и не во всем, сходно с суждением, подводящим предмет под действие закона. Обладать диспозициональным свойством не означает пребывать в определенном состоянии или претерпевать определенные изменения. Это значит быть готовым или быть обязанным принять определенное состояние или же претерпеть определенные изменения тогда, когда реализуется определенное условие. То же самое справедливо и в отношении особых диспозиций человека, таких, как качества его характера. Из того, что я имею привычку курить, не следует, что я курю в данный момент. Это моя устойчивая склонность курить, когда я не ем, не сплю, свободен от лекций и не присутствую на похоронах и если я только недавно не выкурил трубку.

В обосновании диспозиций полезно поначалу опираться на простейшие модели, такие, как хрупкость стекла или привычка человека курить. Ибо в описании этих диспозиций легко раскрыть гипотетическое утверждение, имплицитно передаваемое через приписывание диспозициональных качеств. Быть хрупким — значит просто быть готовым разлететься на осколки в таких-то и таких-то условиях. Быть курильщиком означает просто готовность набивать, зажигать и курить трубку в такой-то и такой-то ситуации. Это простые, сингулярные диспозиции, актуализация которых почти что единообразна.

Но, будучи первоначально плодотворной, привычка рассматривать такие простые образцы диспозиции может привести потом к ошибочным допущениям. Существует множество диспозиций, актуализация которых может принять широкое, возможно неограниченное, разнообразие форм. Когда тело описывается как твердое, мы не имеем в виду только то, что оно способно сопротивляться деформации. Мы также подразумеваем, что оно, к примеру, издает резкий звук при ударе, что при столкновении оно может причинить нам боль, что упругие тела отскочат от него и так далее до бесконечности. Если бы мы захотели раскрыть все то, что содержится в описании стадного животного, нам пришлось бы аналогичным образом приводить бесконечный ряд возможных гипотетических утверждений.

Теперь ясно, что диспозиции высшего уровня, которые относятся к людям и которые преимущественно рассматриваются в данном исследовании, как правило, не являются простыми, сингулярными. Это диспозиции, проявление которых предстает в неопределенном разнообразии форм. Когда Джейн Остин по-

желала показать особый вид гордости, характеризующий героиню ее произведения "Гордость и предубеждение", писательнице пришлось представить ее действия, слова, мысли и чувства в тысяче различных ситуаций. Не существует ни одного стандартного типа действия или реакции, по поводу которых Джейн Остин могла бы сказать: "Разновидность гордости моей героини была просто тенденцией делать именно это всякий раз, когда возникала определенная ситуация".

Наравне с другими людьми эпистемологи часто попадают в ловушку, ожидая, что диспозиции имеют единообразное проявление. Например, когда они осознают, что глаголы "знать" и "верить" обычно употребляются диспозиционально, они предполагают, что должны, следовательно, существовать однотипные интеллектуальные процессы, в которых эти когнитивные диспозиции были бы актуализированы. Пренебрегая свидетельством опыта, они, к примеру, утверждают, что человек, верящий в то, что земля круглая, должен время от времени проходить через некую единственную в своем роде последовательность познания, внутреннего пересмотрения и вынесения вердикта, порождающих чувство уверенности в том, что "земля круглая". На самом деле люди, конечно, не тянут подобную волюнку, но, даже если бы они так делали, а мы бы знали, что они так делают, для нас все же не было бы достоверным то, что они верят, будто земля круглая, до тех пор, пока мы не увидели, что они наряду с этим подразумевают, представляют, говорят и делают великое множество других вещей. Если бы мы обнаружили, что они подразумевают, представляют, говорят и делают все эти вещи, то мы уже не должны сомневаться в том, что они убеждены в круглой форме земли, даже в том случае, когда у нас есть веские основания думать, что внутренне они вообще никогда не прослеживали описанным выше образом исходное суждение. Напротив, сколь бы упорно и подробно ни доказывал нам и себе самому конькобежец, что лед на пруду достаточно прочен, он демонстрирует сомнения в своей правоте, если держится ближе к берегу, прогоняет детей с середины водоема, ни на минуту не забывает о мерах предосторожности или же подолгу рассуждает о том, что бы было, если бы лед проломился.

(8) ПРИМЕНЕНИЕ УМСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ

В оценке того, является ли чье-то действие разумным или нет, нам приходится, как это уже было отмечено, в некотором смысле заглядывать за контур этого действия как такового. Ибо нет каких-то особых внешних или внутренних действий, которых не могли бы случайно или "механически" совершить идиоты, лунатики, люди, находящиеся в панике, бреду или даже иногда попугаи. Однако, переводя внимание за план самого действия как такового, мы не пытаемся высмотреть некое скрытое дополнительное действие, разыгранное на пред-

полагаемых тайных подмостках внутренней жизни действующего лица. Мы рассматриваем его способности и склонности, актуализацией которых стало данное действие. Наше исследование направлено не на причины (*a fortiori* не на скрытые причины), но на способности, умения, привычки, склонности и страсти. Мы наблюдаем, например, случай, когда солдат выстрелил быку точно в глаз. Что это удача или мастерство? Если это умение, то он может вновь попасть в глаз быка или где-то рядом, даже если усилится ветер, изменится дистанция и цель начнет двигаться. В случае если второй выстрел неудачен, его третий, четвертый и пятый выстрелы будут, возможно, ложиться все ближе и ближе к глазу быка. Ради этого он задерживает дыхание, как он обычно это делает перед тем, как нажать на спусковой крючок. Он готов дать своему соседу совет насчет поправок на ветер, рефракцию и т. д. Меткая стрельба является комплексом навыков, и вопрос о том, попал ли солдат в глаз быка по везению или потому, что он хороший стрелок, является вопросом о том, имел ли он навыки и если да, то использовал ли он их, чтобы произвести выстрел тщательно, с самоконтролем и вниманием к окружающим условиям, с учетом правил меткой стрельбы.

Чтобы решить, было ли его попадание счастливой случайностью или хорошим выстрелом, мы, да и он сам, должны принять в расчет не только этот его единственный успех. А именно: мы должны учесть его последующие выстрелы, его прошлые достижения в стрельбе, его объяснения или оправдания, тот совет, который он дал своему соседу, и множество других разнообразных свидетельств. Нет какого-то одного признака, свидетельствующего о том, что человек знает, как стрелять, однако не слишком большого набора разнородных действий обычно достаточно для того, чтобы установить, умеет солдат стрелять или нет. И только тогда, если это вообще возможно, мы решим, попал ли он в глаз быку по причине везения или же это произошло потому, что он достаточно меткий стрелок, способный при желании поразить цель.

Пьяный человек делает за шахматной доской такой ход, который расстраивает стратегический план противника. Для зрителей несомненно, что это произошло благодаря везению, а не размышлению, в том случае, если у них не вызывает сомнения, что большинство ходов нетрезвого игрока нарушают правила игры или не имеют никакой тактической связи с позицией на доске, что, по всей вероятности, он не повторит этот ход в аналогичной ситуации, не оценит подобный ход, выполненный в такой же позиции кем-нибудь другим, не сможет объяснить, почему он пошел именно так, или даже описать ту опасность, в которой находился его король.

Для наблюдателей не является проблемой наличие или отсутствие тайно протекающих в душе процессов, проблема для них состоит в истинности или ложности определенных высказываний с глаголами "мог", "умел", "хотел", "стре-

мился", а также некоторых особенностей их употребления. Ибо, грубо говоря, сознание не является предметом для множества недоступных проверке категориальных высказываний, но предметом для проверяемых гипотетических или полугипотетических высказываний. Различие между нормальным человеком и идиотом заключается не в том, что в нормальном человеке на самом деле содержится как бы два человека, в то время как в идиоте только один, а в том, что нормальный человек может сделать много такого, чего идиот сделать не в состоянии; и глаголы "мочь" и "не мочь" являются не просто случайными, а модальными словами. Конечно, при описании фактически сделанных пьяным и трезвым шахматистами ходов или звуков, произнесенных слабоумным и здравомыслящим людьми, нам приходится использовать не только выражения с "could" и "would", но также и выражение с "did" и "did not". Пьяный шахматист сделал ход, не размышляя и пренебрегая правилами, нормальный человек осознал, что он говорил. В пятой главе я постараюсь показать, что коренные различия между такими событийными высказываниями, как "он сделал это неосознанно" и "он сделал это целенаправленно", должны быть прояснены не как различия между простыми и сложными событийными высказываниями, но совершенно иным способом.

Знание как, таким образом, является диспозицией, однако не сингулярной диспозицией наподобие рефлекса или привычки. Его реализации включают следование правилам, канонам или применение критериев, однако все это не является двойной операцией теоретического признания максим и последующего их практического применения. Далее, эти реализации могут быть явными или скрытыми, они могут быть реальными или воображаемыми поступками, словами, произнесенными вслух или только мысленно, картиной, написанной на холсте или стоящей перед мысленным взором. Либо они могут быть смесью того и другого.

Все эти моменты могут быть проиллюстрированы на примере рациональной аргументации. Есть особая причина для выбора этого примера, поскольку относительно рациональности человека было наговорено множество вещей. Частью (хотя лишь только частью) того, что люди понимают под "рациональностью", является "способность рассуждать убедительно".

Во-первых, отметим, что нет существенного различия в том, имеем ли мы в виду рассуждающего человека как аргументирующего самому себе или же выдвигающего аргументы вслух, выступающего, скажем, перед воображаемым или реальным судом. Критерии, в соответствии с которыми его аргументы признаются убедительными, ясными, относящимися к делу и хорошо построенными, одинаковы и для безмолвного, и для произнесенного вслух или написанного логического рассуждения. Осуществляемая в уме аргументация имеет практические преимущества сравнительной быстроты, скрытости, она не затрагивает

социального окружения; устная или письменная аргументация, будучи предметом критической оценки слушающих и читающих, обладает достоинством большей основательности. Но в обоих случаях реализуются одни и те же способности интеллекта, за исключением того, что усвоение умения рассуждать в молчаливом монологе требует особой выучки.

Во-вторых, хотя в его аргументации и могут встречаться какие-то шаги столь банальные, что человек делает их, особо над ними не задумываясь, все же большая часть доводов, по всей вероятности, никогда ранее не конструировалась. Человек встречается с новыми возражениями, дает интерпретации новым данным и устанавливает связи между элементами в ситуации, в которой они прежде не были согласованы. Короче говоря, ему приходится вносить инновации, и когда он это делает, то действует не по привычке. Он не повторяет затасканные ходы. Тот факт, что при этом он думает над тем, что он делает, очевиден не только благодаря тому, что он действует без прецедентов, но также и потому, что он готов переформулировать неясно изложенные выражения, бдительно избегает двусмысленностей или использует малейшие возможности для обращения их в свою пользу, заботится о том, чтобы не полагаться на опровержимые выводы, настороженно воспринимает возражения, не теряет основную нить рассуждения, непоколебимо следуя к своей конечной цели. Ниже будет показано, что все эти слова: "готов", "бдителен", "внимателен", "тверд" — являются полудиспозиционными, полуприпадочными словами. Они не обозначают ни сопутствующее появление дополнительных, но внутренних операций, ни просто способности и склонности к совершению последующих действий в случае, если в них возникнет необходимость. Они обозначают что-то среднее. Опытный водитель в действительности не представляет себе и не планирует всех тех бесчисленных случайностей, которые могут неожиданно возникнуть. Нельзя также сказать, что он просто обладает способностью распознать и справиться с любой из этих случайностей, если она неожиданно возникнет. Он не предвидит, что дорогу перебежит осел, и в то же время нельзя считать, что он к этому не готов. Его готовность совладать с подобными опасностями, если бы они возникли, проявила бы себя в совершенных им действиях. Но она также реально обнаруживает себя в образе его действий и самоконтроле даже тогда, когда ничего критического не происходит.

Существует основная черта, скрытая под всеми другими особенностями действий, совершаемых рационально рассуждающим человеком. Она заключается в том, что он рассуждает логично, т. е. избегает ошибок, приводит обоснованные доказательства и выводы, относящиеся к существу обсуждаемого вопроса. Он соблюдает правила логики точно так же, как нормы стилистики, судопроизводства, профессионального этикета и т. п. Однако вполне может быть, что, соблюдая правила логики, он не задумывается о них. Он не цитирует формулы

Аристотеля себе или, например, суду. Он применяет на практике то, что Аристотель резюмировал в своей теории, описывающей подобные практики. Он рассуждает с помощью корректного метода, но не соотносится при этом с предписаниями какой-либо методологии. Правила, которые он соблюдает, становятся образом его мышления, это не внешние рубрики, посредством которых ему приходится упорядочивать собственные мысли. Короче говоря, он действует эффективно, а действовать эффективно не означает выполнять два действия. Это значит совершать одно действие, но особым образом или в определенном ключе, причем описание подобного *modus operandi* должно быть сделано в терминах таких полудиспозиционных, полупериодических эпитетов, как "бдительный", "внимательный", "критичный", "изобретательный", "логичный" и так далее.

То, что верно для рациональной аргументации, верно, с соответствующими модификациями, и для других осмысленных действий. Боксер, хирург, поэт и продавец применяют специфические критерии для выполнения своих особых задач, поскольку стремятся достичь надлежащих результатов. Их считают умными, умелыми, воодушевленными и проникательными не за то, как они обдумывают (если они вообще этим занимаются) предписания для выполнения своих особых действий, а за сам способ осуществления этих действий как таковых. Вне зависимости от того, планирует или нет боксер свои маневры, прежде чем их осуществить, его умение боксировать определяется в свете того, как он ведет бой. Если он Гамлет на ринге, то его заклеят как плохого бойца, хотя, возможно, он является блестящим теоретиком бокса. Умение вести бой проявляется в нанесении и отражении ударов, а не в принятии или опровержении суждений об ударах, точно так же как и способность к рассуждению проявляется в приведении веских аргументов и обнаружении ошибок противника, а не в признании формул логиков. Аналогичным образом мастерство хирурга заключается не в его языке, высказывающем медицинские истины, но в его руках, совершающих точные движения скальпелем.

Все это было сказано не для того, чтобы поставить под сомнение или умалять ценность интеллектуальных операций, но только ради опровержения того мнения, что выполнение разумных действий влечет за собой дополнительное выполнение интеллектуальных операций. Ниже (в девятой главе) будет показано, что освоение любых, даже самых простых навыков требует определенных интеллектуальных способностей. Умение делать что-либо в соответствии с инструкциями обязательно требует понимания этих инструкций. Поэтому условием обретения любого такого умения является определенная пропозициональная компетенция. Однако из этого не следует, что применение этих умений требует сопутствующей реализации этой компетенции. Я не научился бы плавать брассом, если бы не был способен понять уроки, разъясняющие осо-

бенности этого стиля, однако теперь, когда я плаваю брассом, мне нет нужды воспроизводить эти уроки.

Человек, не обладающий достаточными медицинскими знаниями, не может быть хорошим хирургом, но мастерство хирурга не тождественно знанию медицины и не является просто производным от него. Хирург, действительно, должен был узнать в процессе обучения или же собственных наблюдений и индукций огромное количество истин, но он также должен был освоить на практике огромное количество частных случаев их применения. Даже там, где успешная практика оказывается преднамеренным применением продуманных предписаний, интеллектуальные способности, вовлеченные в применение этих предписаний на практике, не идентичны с теми способностями, которые участвуют в разумном понимании этих предписаний. Нет никакого противоречия или парадокса в том, что некий человек может характеризоваться как плохо делающий на практике то, чему он прекрасно обучает. Были вдумчивые и оригинальные литературные критики, которые отвратительным языком выражали замечательные каноны прозаического стиля. Были и другие, которые блистательным языком описывали глупейшие теории литературного письма.

Главный вопрос, который разрабатывается в этой главе, имеет существенное значение. Это фланговая атака, нацеленная на категориальную ошибку, являющуюся основанием догмы о духе в машине. Бессознательно полагаясь на эту догму, теоретики и простые люди одинаково толкуют прилагательные, с помощью которых мы характеризуем действия как "искусные", "мудрые", "методичные", "тщательные", "остроумные" и т.д., в качестве сигнализаторов местонахождения в чем-либо скрытом потоке сознания особых процессов, являющихся призрачными предвестниками или, более научно, скрытыми причинами охарактеризованных таким образом действий. Они постулируют внутренние тенеподобные действия в качестве реальных носителей разумности, обычно приписываемой внешнему акту, и полагают, что подобным образом они объясняют то, что делает этот внешний акт манифестацией умственных способностей. Они описывают внешнее действие как следствие ментального события, хотя и останавливаются, конечно, перед возникшим в этой связи вопросом: а что делает эти предполагаемые ментальные события проявлением разумности, а не ментальной неполноценности?

В противовес этой догме я доказываю, что при описании работы человеческого сознания мы не прибегаем к дескрипции вторичного комплекса неких призрачных операций. Мы описываем определенные фазы его единой деятельности, а именно те способы, которыми управляются элементы поведения человека. Мы "объясняем" сознательные действия не в том смысле, что выводим их из скрытых причин, а путем их отнесения к тем или иным категориям гипотетических или полугипотетических высказываний. Наше объяснение не имеет вида

"стекло разбилось потому, что в него попал камень", а, скорее, принадлежит к другому типу: "стекло разбилось, когда в него попал камень, потому что оно хрупкое". В теоретическом плане нет никакой разницы, являются ли рассматриваемые нами действия молчаливо выполненными в голове субъекта, когда он, например, прилежно выучивает определенные теоретические операции, сочиняет шуточные стишки или решает анаграммы. Хотя, конечно, на практике разница существенна, поскольку, скажем, экзаменатор не может поставить оценку за операции, которые студент осуществляет только лишь в уме.

Однако, когда ученик произносит вслух осмысленные фразы, завязывает узлы, выполняет финты или лепит статуэтку, действия, свидетелями которых мы являемся, сами по себе показывают, что они совершаются разумно, хотя понятия, в терминах которых физик или физиолог описал бы действия ученика, не исчерпывают тех понятий, которые употребили бы его одноклассники или учителя для оценки логики, стиля или техники этих действий. Он активен и телесно, и ментально, однако это не значит, что он синхронно активен в двух разных "местах" или при помощи двух различных "двигателей". Существует только одна активность, но она такова, что допускает и требует более чем одного вида объяснительной дескрипции. Подобно тому, как нет различий в аэродинамическом или физиологическом смысле между описанием одной птицы как "летающей на юг", а другой как "мигрирующей", в то время как биологическая разница между этими описаниями велика, так нет нужды и в существовании физических или физиологических различий между описаниями одного человека как бормочущего и другого как говорящего осмысленно, хотя риторические и логические различия здесь огромны. Возможное теоретическое истолкование в духе утверждения "сознание есть место самого себя" неверно, ибо сознание не является "местом" даже в метафорическом смысле. Напротив, шахматная доска, сцена, школьная парта, судебная скамья, сиденье водителя грузовика, мастерская и футбольное поле среди прочего являются его местами. Здесь люди трудятся и играют, глупо или разумно. "Сознание" не есть имя некоей другой личности, которая работает или проказничает позади непроницаемого экрана; оно не название другого места, где совершается работа или устраиваются игры; оно также и не имя какого-то другого инструмента для совершения работы или другого инвентаря для организации игр.

(9) ПОНИМАНИЕ И НЕПОНИМАНИЕ

Через всю эту книгу проводится мысль, что, когда мы характеризуем людей с помощью ментальных предикатов, мы не делаем непроверяемых заключений относительно каких-либо призрачных процессов, протекающих в недоступных для нас потоках сознания. Мы описываем способы и манеры выполнения людей

ми элементов их по большей части публичного поведения. Верно, что при этом мы идем дальше их наблюдаемых действий и произносимых ими слов, но это движение вне не есть движение «за» в смысле выведения следствий из скрытых причин; это продвижение в смысле принятия во внимание прежде всего тех способностей и склонностей, осуществлением которых являются их действия. Но этот пункт требует дополнительных разъяснений.

Человек, не умеющий играть в шахматы, может, тем не менее, наблюдать за игрой. Он видит производимые ходы так же ясно, как видит их и его разбирающийся в шахматах сосед. Но ничего не понимающий в игре наблюдатель не может сделать то, что может его сосед — оценить мастерство или его отсутствие у игроков. Так в чем же разница между простым наблюдением действия и пониманием того, что наблюдается? В чем, если взять другой пример, разница между выслушиванием того, что говорит оратор, и уяснением смысла услышанного?

Защитники легенды двойной жизни ответят, что понимание ходов шахматиста заключается в переходе от видимых сделанных на шахматной доске ходов к ненаблюдаемым операциям, происходящим в приватной сфере сознания игрока. Этот процесс аналогичен тому, с помощью которого мы на основании видимых переключений железнодорожного семафора приходим к заключению о невидимых нами передвижениях рычажков на станционном пульте. И все же этот ответ обещает нечто такое, что никогда не может быть исполнено. Ибо если, согласно данной теории, один человек в принципе не может посетить сознание другого человека, как это возможно со станционным пультом, то не может существовать и какого-либо способа для установления необходимой корреляции между внешними движениями и их скрытыми причинными двойниками. Аналогия с железнодорожной сигнализацией не срабатывает и по другой причине. Связи между рычагами и семафорами легко установить. Всем нам известны, хотя бы в общих чертах, механические принципы шарниров и блоков, свойства металлов при растяжении или сжатии. Мы более или менее знаем, как устроено внутри и снаружи оборудование сигнализации и как его части механически взаимодействуют. Напротив, верящие в легенду о духе в машине признают, что никто еще не знает достаточно хорошо законы, управляющие предполагаемой работой сознания, а постулируемые взаимодействия между операциями сознания и движениями руки признаются и вовсе непостижимыми. Вряд ли можно ожидать, что эти взаимодействия, которые не обладают ни предполагаемым статусом ментального, ни статусом физического, будут описаны известными законами физики или же законами психологии, которые еще предстоит открыть.

Из этого вроде бы должно следовать, что никто не обладает даже малейшим пониманием того, что когда-либо сказал или сделал другой человек. Мы читаем написанные Евклидом слова, мы знакомы с тем, что совершил Наполеон, однако у нас нет ни малейшего понятия о том, что наполняло их сознания. Точно так же

любой зритель турнира по шахматам или футбольного матча не должен иметь никакого представления о том, что игроки совершат в следующий момент.

Однако это явный абсурд. Любой, кто умеет играть в шахматы, уже понимает многое из того, что предпринимают другие игроки, а недолгое изучение геометрии позволяет простому мальчишке проследить значительную часть рассуждений Евклида. И это понимание не требует углубления во все еще не установленные законы психологии. Прослеживание ходов, сделанных другим шахматистом, даже отдаленно не напоминает проблематику психологической диагностики. Действительно, если предположить, что один человек может понимать слова и действия другого только исходя из каузальных заключений, сделанных согласно психологическим законам, то отсюда следует весьма странный вывод, что в случае если бы психолог обнаружил эти законы, он никогда не смог бы передать это открытие окружающим его людям. Ибо *ex hypothesi* они не смогли бы воспринять его изложение этих законов без того, чтобы сделать в соответствии с ними заключения от его слов к его мыслям.

Никого не осчастливит то положение, что для человека понимание слов или поступков другого человека равносильно выведению заключений, подобных тем, которые делает водоискатель, определяющий по дрожанию прутика лозы подземные течения вод. Поэтому иногда предлагается утешительная поправка: поскольку человек напрямую осведомлен о корреляциях между своим собственным приватным опытом и своими внешними действиями, то он может понимать действия других людей посредством приписывания им аналогичной корреляции. Понимание все еще остается психологическим гаданием, но оно подкрепляется аналогиями, устанавливаемыми гадающим на основе непосредственно усмотрения корреляций между его внутренней и внешней жизнью. Тем не менее эта поправка не преодолевает затруднений.

Далее будет показано, что оценки человеком своих собственных действий существенно не отличаются от тех оценок, которые он дает действиям других людей. Но здесь достаточно указать на то, что даже если бы человек действительно обладал некой привилегированной очевидностью в использовании ментальных понятий для описания собственных действий, то принятие им аргумента по аналогии в отношении ментальных процессов других людей было бы полностью ошибочным.

Если бы некто наблюдал значительное число переключений семафоров и работу станционных диспетчерских, то он смог бы во вновь возникшем случае сделать правдоподобный вывод от наблюдаемых переключений сигналов к наблюдаемым передвижениям рычагов. Однако если бы он изучил лишь одну диспетчерскую и ничего бы не знал о практике стандартизации крупных компаний, то его вывод был бы весьма слабым, поскольку являлся бы не чем иным, как широким обобщением, сделанным на основании единичного примера. Да-

лее, один семафор по внешнему виду и миганию огней очень схож с другим, поэтому вывод о соответствующем подобии между механизмами, действующими в разных диспетчерских, имеет определенную силу. Однако наблюдаемые внешние черты и поступки людей имеют весьма заметные различия, в связи с чем приписывание различным людям внутренних процессов, точно соответствующих друг другу, входит в противоречие с очевидными фактами.

Следовательно, понимание поступков и слов человека ни в коем случае не является проблематичным угадыванием тайных процессов. Ибо такого угадывания не существует и не может существовать, тогда как понимание имеет место. Разумеется, составной частью моих основных тезисов является убеждение в том, что предполагаемые тайные процессы сами по себе являются мифическими; не существует ничего такого, что выступало бы объектом выдвигаемых определений. Но в данный момент достаточно доказать лишь то, что если бы подобные внутренние состояния и операции существовали, то один человек не смог бы сделать правдоподобные заключения об их существовании во внутренней жизни другого человека.

Тем не менее если понимание не состоит ни в выведении, ни в угадывании предполагаемых без особых на то оснований во внутренней жизни предшественников внешних действий, то в чем же оно заключается? Если оно не нуждается в овладении психологической теорией вместе со способностью ее применения, то какого рода знание требуется для него? Как мы видели, зритель, не умеющий играть в шахматы, не может также понимать игру других; человек, который не умеет читать или писать по-шведски, не сможет понять сказанное или написанное на этом языке, а тот, чьи способности к рассуждению слабы, не в состоянии отслеживать и сохранять в памяти аргументы других людей. Понимание является частью знания *как*. И знание, которое требуется для понимания разумных действий определенного вида, есть некоторая степень компетентности в действиях этого вида. Компетентный литературный критик, специалист по экспериментальной технике или вышиванию должен по крайней мере знать, как писать, экспериментировать или шить. Изучал или нет он какие-то психологические проблемы, имеет не большее значение, чем изучал ли он химию, неврологию или экономику. Психологические штудии в определенных обстоятельствах могут способствовать его оценке того, что он обсуждает, однако единственно необходимым условием является то, что он в определенной степени владеет тем искусством или методиками действия, образцы которых ему необходимо оценить. Единственную вещь, которую нужно иметь человеку, чтобы понять шутки, высказанные кем-то другим — это чувство юмора, и даже тот особый вид этого чувства, проявлением которого являются данные шутки.

Конечно, выполнять какое-то действие разумно — не то же самое, что разумно следить за его исполнением. Исполнитель создает, а зритель только со-

зерцает. Однако правила и критерии, которые соблюдает и применяет исполнитель, те же самые, которые заставляют зрителя аплодировать или презрительно усмехаться. Комментатору философии Платона нет необходимости претендовать на значительную философскую оригинальность, но если он не может, как этого не могут очень многие комментаторы, оценить силу, направленность или мотив философского аргумента, то его комментарии окажутся бесполезными. Если же он способен это оценить, то он знает, как сделать часть из того, что знал, как делать, сам Платон.

Если я компетентен оценивать вашу деятельность, то, наблюдая ее, я готов к тому, чтобы обнаружить в ней ошибки и нарушение порядка, но и вы, как деятель, также готовы к этому. Я готов заметить те преимущества, которые вы сможете извлечь из удачных возможностей, но и вы сами готовы это сделать. Вы учитесь, по мере того как действуете, но и я тоже учусь во время вашей деятельности. Наделенный разумом субъект действует критично, а разумный наблюдатель критично отслеживает его действия. Грубо говоря, исполнение и понимание являются просто разными применениями знания приемов одного и того же ремесла. Вы применяете свое знание того, как завязывать выбленочный узел², не только в актах вязания таких узлов и исправления своих ошибок, но и в воображаемом их правильном завязывании, в инструктировании учеников, в критике их некорректных или неловких движений, в поощрении сделанных ими правильных движений, в нахождении ошибок, которые ведут к плохому результату, в предвидении последствий наблюдаемых ляпсусов и так далее до бесконечности. Слова "понимание" и "прослеживание" обозначают такие применения вашего знания как, которые вы выполняете, не имея, например, под рукой какой-либо веревки.

Теперь уже было бы излишне отмечать, что все это не предполагает, чтобы зритель или читатель, следя за действиями или пытаясь понять написанное, делал вывод по аналогии с собственными внутренними процессами о соответствующих внутренних процессах агента действия или автора произведения. Ему также не нужно, хотя он и может, воображать себя помещенным в ситуацию автора или примерять его одежду. Он просто думает над тем, что делает автор в тех же самых направлениях, в которых сам автор думал над тем, что он делает, с той лишь разницей, что зритель находит авторские изобретения. Автор ведет, а зритель прослеживает, но их путь один и тот же. Повторим снова: эта мера понимания не требует и не способствует выдвиганию каких-либо тайных волнующих взаимных чувств между родственными душами. Во всяком случае, сердца двух шахматистов не бьются, как одно сердце, чего они, будучи противниками, не допустили бы. Таким образом, их способность прослеживать ходы друг

² Один из морских узлов. — Прим. ред.

друга зависит не от этого совпадения в сердцебиении, а от их компетентности в шахматах, от их интереса к этой игре и от достигнутой осведомленности о методах друг друга.

Положение о том, что способность оценить действие однотипно со способностью его исполнить, иллюстрирует только что доказанное утверждение, а именно то, что разумные способности являются не сингулярными диспозициями, а диспозициями, допускающими большое разнообразие более или менее непохожих практик. Однако необходимо сделать две оговорки. Во-первых, способность совершать или оценивать действие необязательно включает в себя способность формулировать его критический анализ или его объяснение. Хорошо тренированный юнга может уметь вязать сложные узлы и распознавать, правильно или нет завязывает их другой человек. Но, возможно, для него будет невыполнимой задачей описать в словах, каким образом эти узлы должны быть завязаны. И, во-вторых, способность оценивать действие не предполагает такую же степень компетентности, как способность его выполнять. Чтобы понять, что некто является гением, не требуется самому быть гением, а прекрасный театральный критик может не иметь актерских или драматургических талантов. Если бы способность понимать действия требовала полноценной способности их совершать, то не существовало бы учителей или учеников. Ученики учатся, как делать определенные вещи, у людей, которые лучше их знают, как это делать. Для школьника "Начала" Евклида не является книгой за семью печатями, но одновременно она и не открыта для него.

Некоторые философы осознали, хотя и с ложного конца, одну особенность такого подхода к пониманию, когда пытались объяснить, как историки, филологи-классики или литературные критики могут понимать поступки или слова изучаемых ими персонажей. Принимая как нечто непроблематичное догму о духе в машине, эти философы были поставлены в тупик притязаниями историков интерпретировать действия и слова исторических персонажей как выражения их реальных мыслей, чувств и интенций. Ибо если сознания непроницаемы одно для другого, то как историки могут проникать в сознания своих героев? А если подобное проникновение невозможно, то труды всех исследователей классической литературы, критиков и историков должны быть напрасными: они могут описывать "сигналы", но они никогда не смогут приступить к их интерпретации как последствий операций в навеки заломбированных и недоступных для них "пультах семафоров".

Эти философы предложили следующее решение такой головоломки, которая, по сути, является мнимой. Хотя я не могу быть свидетелем работы вашего сознания или сознания Платона и мне доступны лишь внешние действия и написанные слова, которые я рассматриваю в качестве "выражений" внутренней работы сознания, я могу благодаря надлежащим усилиям и практике в этом

деле преднамеренно и осознанно разыграть в своем собственном приватном театре такие операции, которые бы естественно порождали именно эти действия и слова. Я могу в своей приватной сфере помыслить такие мысли, которые можно было бы хорошо выразить суждениями, принадлежащими Платону; я могу, на самом деле или в воображении, воспроизвести в себе такие волевые акты, которые порождают или могут повлечь действия, подобные тем, что совершили вы, когда я наблюдал за вами. Поместив себя в состояние сознания, в котором я действую подобно вам или пишу подобно Платону, я могу приписать вам или ему сходное состояние сознания. Если это вменение корректно, то на основании знания о том, что значит для меня быть в таком состоянии сознания, которое результируется в этих действиях и словах, я могу также знать, что это значит — быть Платоном, пишущим свои диалоги, и что значит быть вами, когда вы, скажем, завязываете морской узел. Путем пере-игрывания ваших внешних действий я пере-живаю ваш приватный опыт. До известной степени исследователь Платона превращается во второго Платона, в своего рода со-автора его диалогов, и так и только так он понимает эти диалоги.

К сожалению, эта программа по имитации ментальных процессов Платона не может быть до конца успешной. В конце концов я — английский исследователь Платона из XX века, тот, кем Платон никогда не был. Моя культура, образование, язык, привычки и интересы отличаются от его, и это должно нарушить точность имитации его строя сознания, а следовательно, и успешность моих попыток его понять. И все же утверждается, что в данных условиях это лучшее из того, что я могу сделать. Понимание должно оставаться несовершенным. Я мог бы действительно понять Платона, только будучи им на самом деле.

Некоторые сторонники теорий подобного рода предлагают к ним дополнительные утешительные поправки. Хотя сознания и недоступны друг для друга, мы можем сказать, что они гармонично резонируют между собой, подобно камертонам, хотя, к сожалению, никогда не зная об этом. Я не могу разделить с вами ваш опыт буквально, но фрагменты нашего опыта могут некоторым образом сочетаться один с другим (хотя мы не можем знать об этом), что приводит к почти подлинному общению. В наиболее удачных случаях мы можем походить на двух глухих людей, поющих так, что их голоса звучат в одной тональности и в такт друг другу. Однако нам не следует застревать на подобных приукрашиваниях теории, являющейся ложной в самой своей сути.

Ибо эта теория есть не что иное, как еще одна попытка выпутаться из совершенно мифической дилеммы. Она полагает, что понимание должно состоять в некоем созерцании недоступных для познания действий изолированных друг от друга душ, и пытается преодолеть эту трудность, заявляя, что за неимением такого знания, я могу проделать примерно то же, созерцая собственные духовные операции, которые естественным образом порождают внешние "выраже-

ния", сходные с наблюдаемыми выражениями внутренней жизни людей, которых я хочу понять. Но это влечет дальнейшее неоправданное, хотя и интересное допущение о том, что похожие внешние поступки и слова всегда соответствуют сходным внутренним процессам. Причем это допущение, согласно самой же рассматриваемой теории, не может быть никоим образом проверено. Совершенно безосновательно допускается также, что понимание проистекает из того обстоятельства, что я прохожу через определенные внутренние процессы, что я должен отчетливо оценивать, чем именно они являются, т. е. что я не могу неправильно истолковывать или быть в затруднении при осознании того, что протекает в моем собственном потоке сознания. Короче говоря, эта теория в целом является вариантом доктрины, утверждающей, что понимание состоит в проблематичном каузальном предугадывании, подкрепляемом слабым аргументом по аналогии.

Что делает эту теорию достойной обсуждения, так это то обстоятельство, что она отчасти отходит от отождествления понимания с психологической диагностикой, т. е. с заключениями каузального типа от внешнего поведения к ментальным процессам в соответствии с законами, которые еще предстоит открыть психологам. Этот отход делается благодаря допущению, на которое эта теория не имеет права, но которое недалеко от истины. Допускается, что способности человеческого сознания отражаются в том, что люди открыто говорят или делают. Поэтому филологи-классики и историки, изучая стиль и методы литературной и практической деятельности, находятся на верном пути. Просто их неизбежное несчастье состоит, согласно данной теории, в том, что этот путь оканчивается разрывом, отделяющим "физическое" от "ментального", "внешнее" от "внутреннего". Теперь ясно, что если бы придерживающиеся этой теории люди увидели, что стиль и методы деятельности людей *суть то же самое*, что и образ действия их сознаний, а не просто несовершенные отражения предполагаемых тайных процессов в сознании, то их дилемма давно бы исчезла. Претензии историков и филологов быть способными в принципе понимать то, что делали или писали их герои, были бы автоматически удовлетворены. Ведь эти ученые не относятся к тем, кто изучает тени.

Явно представленные разумные действия не служат лишь ключом к работе сознания, они сами являются этой работой. Босуэлл описал сознание Джонсона³, изобразив, как он говорил, ел, сочинял, нервничал, злился. Конечно, его описание было неполным, ибо существовало еще несколько мыслей, которые Джон-

³ Джеймс Босуэлл (1740—1795) — английский писатель, мастер мемуарного жанра. Речь идет о его биографическом произведении «Жизнь Самюэла Джонсона». — *Прим. ред.*

сон тщательно хранил при себе. Должны были также существовать сны, фантазии и бормотания, которые мог бы проконтролировать только сам Джонсон и которые только Джеймс Джойс посоветовал бы ему записать.

Прежде чем мы завершим наше исследование понимания, необходимо сказать несколько слов о частичном понимании и о непонимании.

Мы уже обращали внимание на определенный параллелизм и определенное несоответствие между понятиями знания *что* и знания *как*. Сейчас нужно отметить еще одно проявление такого несоответствия. Мы никогда не говорим, что человек имеет частичное знание факта или истины, за исключением особого случая, когда он обладает знанием части корпуса фактов или истин. Мы можем сказать о мальчике, что он обладает частичным знанием о графствах Англии, если он знает некоторые из них и не знает остальные. Однако мы не можем сказать, что он имеет неполное знание о том, что Суссекс является английским графством. Или он знает этот факт, или нет. С другой стороны, вполне корректно и нормально говорить о том, что человек лишь частично знает то, как сделать что-либо, т. е. что он обладает определенным ограниченным умением. Обычный шахматист достаточно хорошо знает игру, однако чемпион знает ее лучше, но даже чемпиону можно еще многому научиться.

Это относится, как мы можем предположить, и к пониманию. Простой шахматист может отчасти проследживать тактику и стратегию чемпиона; возможно, после напряженных тренировок он будет полностью понимать методы, использованные чемпионом в конкретных партиях. Но он никогда не сможет полностью предугадать, как чемпион будет бороться в следующем турнире, и никогда не будет столь же быстро и уверенно интерпретировать ходы чемпиона, столь быстро и уверенно их делает или поясняет сам чемпион.

Обучение *как* или совершенствование умения не похоже на обучение *что* или получение информации. Истины могут быть переданы, способы действия — только привиты; в то время как освоение этих способов суть постепенный процесс, передача информации может быть сравнительно внезапной. Можно спросить о том, в какой момент кто-то узнал некую истину, но не о том, в какой момент он освоил некое мастерство. "Отчасти натренированный" ("part-trained") — значимое выражение, "отчасти проинформированный" ("part-informed") — нет. Тренировка есть искусство постановки задач, с которыми участники пока еще не справляются, но которые со временем станут для них разрешимыми.

Идея непонимания не вызывает общетеоретических затруднений. Когда тактика игрока в карты неправильно истолковывается его соперниками, то маневр, который, как они думают, они распознали, на самом деле является возможным маневром данной игры, хотя и не тем, что проводится игроком. Только тот, кто знает правила игры, может проинтерпретировать его игру как исполнение упо-

мянутого маневра. Непонимание является побочным продуктом знания как. Лишь тот человек, который хотя бы частично владеет русским языком, может извлечь неверный смысл из русской фразы. Ошибки являются реализацией умений.

Неверные интерпретации не всегда возникают из-за отсутствия квалификации или внимания у наблюдателя; иногда они происходят из-за небрежности, а иногда — как раз из-за хитрости и ловкости исполнителя или рассказчика. Случается и так, что оба лица проявляют все надлежащие умения и навыки, но выполненные ими действия или высказанные слова оказываются в действительности составляющими двух или более разных предприятий. Например, первые десять движений, предпринятых для завязывания одного узла, могут быть идентичными первым десяти движениям, необходимыми для завязывания узла другого вида, а набор посылок, подходящих для одного заключения, может равным образом подходить и для выведения другого заключения. В этом случае неверные интерпретации внешнего наблюдателя могут быть проникательными и хорошо обоснованными. Их ошибка заключается только в поспешности. И притворство является искусством, эксплуатирующим эту возможность.

Очевидно, что там, где возможно непонимание, там возможно и понимание. Было бы абсурдно предполагать, что мы всегда неверно истолковываем действия, свидетелями которых являемся, ибо мы не могли бы даже научиться истолковывать неверно, если бы не учились вообще истолковывать, а этот процесс включает в себя обучение не делать неверных толкований. Неправильные интерпретации в принципе исправимы, и это является одной из ценностей полемики.

(10) СОЛИПСИЗМ

Современные философы обеспокоены проблемой нашего знания о сознании других людей. Связав себя догмой о духе в машине, они обнаружили, что невозможно найти какое-либо логически удовлетворительное доказательство, оправдывающее веру человека в существование других сознаний помимо его собственного. Я могу быть свидетелем того, что делает ваше тело, но я не могу наблюдать за деятельностью вашего сознания, и мои претензии на то, чтобы делать заключения относительно работы вашего сознания на основании движений вашего тела, обречены на неудачу, ибо послышки для подобного рода заключений оказываются либо неадекватными, либо непознаваемыми.

Теперь мы можем наметить путь для выхода из этого мнимого затруднения. Я обнаруживаю, что другие сознания существуют, в понимании того, что говорят или делают другие люди. Придавая смысл тому, что вы говорите, оценивая ваши шутки, распознавая вашу шахматную стратегию, прослеживая ваши аргу-

менты и выслушивая то, как вы находите бреши в моей аргументации, я не делаю выводов о работе вашего сознания, а отслеживаю ее. Конечно же, я не просто слышу производимые вами звуки и не просто вижу совершаемые вами движения. Я понимаю то, что слышу и вижу. Однако это понимание не является выводом о скрытых причинах. Оно является оценкой того, как осуществляются действия. Обнаружить, что большинство людей обладают сознанием (хотя к идиотам и младенцам это не относится), значит просто установить, что они способны и склонны делать определенного рода вещи, и мы определяем это, будучи свидетелями того рода фактов. Реально мы не только обнаруживаем, что существуют другие сознания, мы узнаем то, какими особыми свойствами интеллекта и характера обладают конкретные люди. Фактически нам знакомы подобные характеристики задолго до того, как мы способны осознать такие образы высказывания, как Джон Доу обладает сознанием или что существуют другие сознания помимо нашего собственного. Точно так же мы узнаем о том, что камни твердые, а тесто мягкое, что котята теплые и активные, а картофелины хрупкие и инертные, задолго до того, как мы усваиваем высказывания о том, что котята суть материальные объекты или что материя существует.

Бесспорно, есть такие относящиеся к вам факты, которые я могу выяснить, только лишь (или лучше всего) услышав их от вас. Окулисту приходится спрашивать у своего пациента, какие буквы он видит правым и левым глазом и как отчетливо он их видит; врачу приходится спрашивать больного, где у него болит и на что эта боль похожа; психоаналитику нужно расспросить клиента о его снах и мечтаниях. Если вы не разгласите содержание своего безмолвного монолога и других ваших представлений, то у меня не будет какого-либо другого надежного способа, чтобы выяснить, что вы говорили или представляли про себя. Однако последовательность ваших ощущений и представлений — не единственное поле, на котором проявляются ваши способности и характер. Возможно, только для лунатиков это нечто большее, чем маленький уголок этого поля. Я могу установить большую часть из того, что я хочу знать о ваших способностях, интересах, пристрастиях, антипатиях, методах и убеждениях, наблюдая совершаемые вами внешние действия, из которых наиболее важны ваши высказывания и письменные документы. Вопрос же о том, как вы производите ваши представления, включая мысленные монологи, является вспомогательным.

ГЛАВА III. ВОЛЯ

(1) ПРЕДИСЛОВИЕ

Ментальные понятия, логическое поведение которых мы рассматриваем в этой книге, в большинстве своем хорошо известны и распространены в повседневной жизни. Все мы знаем, как их применять, и понимаем других людей, когда те пользуются ими. Если и может возникнуть спор, то не об их применении, а о том, как их классифицировать или к каким категориям их отнести.

В случае с понятием волевого акта (*volition*) мы сталкиваемся с иной ситуацией, поскольку мы не знаем, как использовать его в повседневной жизни и, следовательно, не учимся тому, каким образом применять его и как не ошибиться при его использовании. Это искусственное понятие. Нам приходится изучать некоторые специальные теории для того, чтобы понять, как с ним обращаться. Конечно, из того факта, что это понятие является техническим, вовсе не следует, что это незаконное или бесполезное понятие. "Ионизация" или "офсайд" — суть специализированные понятия, но их использование оправданно и полезно. Понятия "флогистон" и "животные духи" в свое время применялись в определенных областях знания, однако ныне они вышли из употребления.

Я намереваюсь показать, что понятие волевого акта относится к этому последнему роду.

(2) МИФ О ВОЛЕВЫХ АКТАХ

В течение долгого времени в качестве бесспорной аксиомы принималось, что Сознание в некоем существенном смысле трехчленно, то есть что существуют именно три основных класса ментальных процессов. Сознание, или Душа, как мы часто говорим, разделяется на три области, именуемые Мышлением, Чувством и Волей; или, если говорить более торжественно, Сознание, или Душа, функционирует в трех несводимых друг к другу модусах — Когнитивном модусе, Эмоциональном модусе и Волевом модусе. Между тем эта традиционная догма отнюдь не самоочевидна, в ней скрыто такое нагромождение нелепостей и ложных выводов, что лучше отказаться от любой попытки придать ей скольнибудь приличный вид. Ее следует рассматривать как один из курьезов теоретизирования.

Однако цель этой главы состоит не в том, чтобы дискутировать по поводу этой тринитарной теории сознания в целом. Будет обсуждаться, причем обсуждаться критически, только одна из ее составляющих. Я надеюсь опровергнуть учение о том, что существует некая Способность, нематериальный Орган или Инстанция, соответствующие "Воле" в том виде, как это описывает упомянутая теория, и, соответственно, что имеют место процессы или операции, которые эта теория описывает как "волевые акты". Вместе с тем с самого начала я должен пояснить, что это опровержение не будет означать признания недействительными тех отличий, которые все мы вполне справедливо проводим между добровольными и недобровольными действиями, а также между волевыми и слабОВОлевыми личностями. Напротив, станет только яснее, что подразумевается под "добровольным" и "недобровольным", под "волевым" и "слабовольным", если мы освободим эти идеи от их зависимости от абсурдных гипотез.

Волевые акты определяются как особые действия или операции "в сознании", посредством которых сознание получает свои идеи претворенными в события. Я помыслил некую ситуацию, которой я хочу дать жизнь в физическом мире, но так как мои мысли и намерения не обладают исполнительной силой, то они нуждаются в посредничестве обладающих такой силой ментальных процессов. Поэтому я совершаю волевой акт, который каким-то образом заставляет мои мышцы действовать. Только тогда, когда от подобного воления произошло телесное движение, я могу заслужить, например, похвалу или упрек за то, что сделала моя рука или мой язык.

В общем-то ясно, почему я отвергаю эту картину. Ведь это просто последовательное продолжение мифа о "духе в машине". Предполагается, что существуют ментальные состояния и процессы, обладающие одним видом существования, и телесные состояния и процессы, обладающие другим его видом. События одного уровня нумерически никогда не тождественны событиям другого уровня. Таким образом, сказать, что человек нажал на курок умышленно, означает по крайней мере выражение конъюнктивного суждения, помещающего одно действие на физический уровень, а другое — на ментальный. В согласии с большинством версий названного мифа это означает выражение каузального утверждения о том, что телесное действие нажатия на спусковой крючок было результатом сознательного действия воления к нажатию на него.

В соответствии с этой теорией действия тела суть движения материи в пространстве. Тогда причинами этих движений должны быть или другие движения материи в пространстве, или, в особом, привилегированном случае человеческого бытия, толчки иного рода. Каким-то образом, что может так и остаться неизлечимой тайной, ментальные толчки, которые не являются движениями материи в пространстве, могут выступать причиной сокращения мышц. Описание человека, умышленно нажимающего на курок, есть констатация того, что

подобный ментальный толчок действительно вызвал сокращение мышц его пальца. Таким образом, язык "волевых актов" есть язык пара-механической теории сознания. Если некий теоретик без тени сомнения говорит о "волевых актах" или о "действиях воли", то не нужно дальнейших свидетельств, чтобы утверждать, что он целиком принимает на веру догму о том, что сознание является вторичным полем действия особых причин. Можно предсказать и то, что телесные движения он, соответственно, будет называть "выражениями" процессов сознания. Вероятно, что он будет также многословно говорить о "переживаниях", обычно употребляя множественное число для того, чтобы обозначить постулируемые им нефизические эпизоды, которые разыгрывают драму теней на призрачных подмостках ментальной сцены.

Первое возражение против учения о том, что наблюдаемые действия, которым мы приписываем ментальные предикаты, являются продуктами неких скрытых за ними операций-двойников волеия, состоит в следующем. Несмотря на то обстоятельство, что мыслители, начиная со стоиков и св. Августина, рекомендовали нам описывать наше поведение в этом ключе, никто, разве только для того, чтобы подтвердить эту теорию, никогда не описывал собственное поведение или поведение своих знакомых, пользуясь предлагаемыми идиомами. Ведь никто не говорит, например, что в 10 часов утра он занимался волеием об этом или о том, или же что он совершил пять быстрых и легких волевых актов и два медленных и трудных между полуднем и ланчем. Обвиняемый может признавать или отрицать то, что он сделал нечто, что сделал это намеренно, но он никогда не сознается или не станет отрицать наличие у него волеия. Точно так же ни судья, ни присяжные не потребуют доказательств, которых, по сути дела, никогда и нельзя предоставить, что волевой акт предшествовал нажатию на спусковой крючок. Писатели описывают действия и реплики, жесты и гримасы, грезы и размышления, сомнения и замешательства своих героев, но они никогда не упоминают об их волевых актах. Они не знают, что можно сказать о них.

Какого рода предикатами их следует описывать? Могут ли они быть внезапными или постепенными, сильными или слабыми, трудными или легкими, приятными или неприятными? Могут ли они быть ускоренными или замедленными, прерванными или отложенными на время? Могут ли люди быть умелыми или неумелыми в своих волевых актах? Можем ли мы брать уроки по их выполнению? Они утомительные или развлекающие? Могу ли я одновременно совершить два или семь из них? Могу ли я запомнить, как их выполнять? Могу ли я исполнять их во время размышления о других вещах или во время сна? Могут ли они стать привычными? Могу ли я забыть, как их производить? Могу ли я ошибочно считать, что выполнил один такой волевой акт, в то время как я не исполнил его, или, наоборот, что я не совершил волевого акта, в то время как на само деле я исполнил его? В какой момент мальчик, прыгнувший с вышки, со-

вершил волевой акт? Когда он поставил ногу на лестницу? Когда он первый раз глубоко вздохнул? Когда он сосчитал: "Один, два, три — пошел", но остался на месте? Или в самый последний момент перед тем, как прыгнуть? Каков был бы его собственный ответ на эти вопросы?

Поборники вышеупомянутого учения, разумеется, ответят, что реальность волевых актов доказывается тем, что она подразумевается всякий раз, когда лишь наблюдаемое действие описывается как умышленное, добровольное, преступное или похвальное. Они к тому же добавляют, что личность не просто способна, но и обязана знать то, о чем она волит в момент, когда она действует подобным образом, поскольку волевые акты определяются как виды осознанных процессов. Поэтому, если обычный мужчина или женщина демонстрируют затруднения в припоминании своих волевых актов при описаниях собственного поведения, то это можно объяснить отсутствием у них выработанных навыков в использовании языка, подходящего для описания их внутреннего поведения как отличного от их внешнего поведения. Однако, когда самому стороннику данного учения задают вопрос о том, как давно он осуществил свой последний волевой акт или как много действий воли он совершил, декламируя, скажем, от конца к началу "Маленькую мисс Маффет", он, вероятно, признается в том, что затрудняется с ответом, хотя таких затруднений, согласно его собственной теории, быть не должно.

Если обычный человек никогда не сообщает о наличии таких актов, несмотря на то, что, согласно теории, они должны были бы встречаться гораздо чаще, чем головная боль или чувство тоски; если в обыденной лексике нет метеоритского термина для них; если мы не знаем, как ответить на простые вопросы о частоте их появления, их продолжительности или силе, то следует честно признать, что их существование на эмпирическом уровне не подтверждается. Факт, что Платон и Аристотель никогда не упоминали о них в своих постоянных и тщательно разработанных дискуссиях по поводу природы души и мотивов поведения людей, говорит не об их упорном пренебрежении хорошо известными составляющими повседневной жизни, но о том историческом факте, что они не были знакомы со специальной гипотезой, принятие которой основывается на открытии, но на постулировании этих призрачных толчков.

Второе возражение заключается в следующем. Допускается, что одна личность никогда не может быть свидетельницей волевых актов другой; она только может на основе наблюдаемых внешних действий сделать вывод о том волевом акте, из коего это действие проистекло. Причем только в том случае, если она имеет надлежащее основание для того, чтобы полагать, что такое внешнее действие было произвольным, а не рефлексивным или привычным действием либо проистекающим от некоей внешней причины. Следовательно, ни судья, ни свидетель, ни родитель никогда не знают, чего именно заслуживают действия,

которые они оценивают как достойные похвалы или порицания, ибо они не могут сделать ничего лучшего, как только предположить, что описанное действие было проявлением воли. Даже признание самого действующего лица (если такого рода признания когда-либо делались) о том, что он осуществил волевой акт перед тем, как его рука сделала свое дело, не разрешило бы вопроса. Произнесенные признания есть лишь еще одно внешнее мускульное действие. Получается курьезный результат: хотя волевые акты были введены для того, чтобы объяснить наши оценки действий, именно это объяснение они не в состоянии обеспечить. Если бы у нас не было других предшествующих оснований для применения оценочных понятий к действиям других людей, мы вообще не имели бы никаких доводов для предположения о том, что за этими действиями стоят волевые акты, которые якобы дают им начало.

Невозможно защитить и то положение, что сам действующий может знать, что любое его явное действие есть проявление определенного волевого акта. Предположим, хотя это совсем не так, что он был бы способен достоверно знать, будь то из непосредственно явленных свидетельств сознания, будь то посредством прямого обнаружения в интроспекции, что он совершил акт воления — "нажатие на курок" — прямо перед тем, как он нажал на него. Однако это еще не доказывает, что нажатие было результатом данного воления. Связи между волевыми актами и движениями позволяет быть таинственной, поэтому его волевой акт мог иметь своим результатом другое движение, а нажатие на курок в этом случае могло иметь другое событие в качестве своей причины.

В-третьих, было бы неправильно затушевывать то обстоятельство, что связь между волевым актом и движением признается некой тайной. Но ее нельзя считать чем-то непостижимым, как и вопрос о причинах возникновения рака, — ее можно разрешить, хотя она и принадлежит к совершенно иному типу проблем. Считается, что эпизоды, которые конституируют деятельность сознаний, имеют один вид существования, в то время как эпизоды, составляющие движения тел, — другой вид; и никаких посредников между ними не допускается. Необходимость трансакций между сознаниями и телами влечет за собой полагание связей там, где никаких связей не может быть. То, что должны существовать какие-то каузальные взаимосвязи между сознаниями и материей, противоречит одной части рассматриваемой теории, а то, что их не должно быть, противоречит другой. В целом же эта теоретическая легенда описывает сознания как то, что должно существовать, если возможно каузальное объяснение направляемого разумом поведения человеческих тел, и одновременно как то, что живет на некоем уровне существования, расположенном вне каузальной системы, в которую включены тела.

В-четвертых, хотя главная функция волевых актов, задача, для разрешения которой они были введены, состоит в том, чтобы породить телесные движения

аргументация в пользу их существования как таковая влечет за собой и то, что некоторые ментальные события также должны проистекать из действий воли. Волевые акты постулировались как то, что делает поступки добровольными, решительными, похвальными, безнравственными. Но такого рода предикаты применимы не только к телесным движениям, но также и к действиям, которые, согласно этой теории, относятся к разряду ментальных, а не физических. Мыслящий человек может рассуждать решительно или предаваться безнравственным мечтам, он может тратить время на сочинение ехидных стишков, а может заслуживающим похвалы образом сосредоточиться на алгебраической задаче. Волевые акты, таким образом, порождают некоторые ментальные процессы. Но как дело обстоит с самими этими актами? Являются ли они добровольными или недобровольными действиями сознания? Ясно, что и тот, и другой ответ ведет к нестыкам. Если я не могу удержать воления нажать на спусковой крючок, то было бы абсурдно описывать это нажатие как "добровольное". Но если мое воление к нажатию на курок является добровольным в принятом рассматриваемой теорией значении, тогда оно должно проистекать из предшествующего волевого акта, а тот из другого, и так *ad infinitum*. Чтобы обойти это затруднение, было введено допущение о том, что волевые акты не могут описываться в качестве умышленных или неумышленных. "Волевой акт" — термин, которому ошибочно приписывать любой из этих предикатов. Но если это так, то отсюда, по-видимому, следует, что было бы ошибкой также приписывать ему такие предикаты, как "добродетельное" и "греховное", "хорошее" и "плохое", — вывод, который, вероятно, приведет в замешательство тех моралистов, которые используют волевые акты как своего рода спасательный якорь для своих учений.

Короче говоря, это учение о волевых актах является каузальной гипотезой, принятой постольку, поскольку ошибочно предполагалось, что вопрос "Что делают свободные движения произвольными?" есть каузальный вопрос. Это допущение, кроме того, фактически является только особым поворотом общего предположения о том, что вопрос "Каким образом ментальные понятия применимы к человеческому поведению?" является вопросом о каузальности такого поведения.

Поборники данного учения должны были бы обратить внимание на тот простой факт, что они, как и все другие здравомыслящие люди, знали, как решать вопросы о добровольности и вынужденности действий, о решительности и нерешительности действующих уже до того, как услышали что-либо о гипотезах относительно существования тайных внутренних толчков, побуждающих к действиям. Тогда они могли бы осознать, что они заняты не прояснением уже существующих и эффективно используемых критериев для разьяснения подобных действий, но, молчаливо допуская значимость этих критериев, попытками соотносить их с феноменами пара-механической модели. Тем не менее такое соотношение, с одной стороны, не могло быть научно обосновано, поскольку постули-

руемые толчки недоступны научному наблюдению, а с другой стороны, оно не принесло бы ни практической, ни теоретической пользы, поскольку не способствовало нашим оценкам действий, находясь в зависимости от уже предположенной действенности этих оценок. Также это никак не проясняло бы логики тех оценочных понятий, разумное использование которых предшествовало изобретению этих каузальных гипотез.

Прежде чем мы распрощаемся с этим учением о волеии, уместно рассмотреть некоторые хорошо знакомые и вполне реальные процессы, которые иногда ошибочно отождествляются с волевыми актами.

Люди часто пребывают в сомнении относительно того, что им делать, когда существуют альтернативные варианты действий. Они выбирают или решаются предпочесть одну из этих альтернатив. О таком процессе выбора одного из ряда разных способов действий иногда говорят как о том, что может означать "волевой акт". Но такое отождествление незаконно, поскольку большинство сознательных и умышленных действий не имеют своим началом разрешение ситуаций неопределенности и выбора. Кроме того, очевидно, что человек может выбрать какое-то одно направление действия, но потерпеть неудачу в его осуществлении из-за слабости воли, или он может потерпеть неудачу уже в процессе его осуществления, потому что после выбора возникло некое обстоятельство, препятствующее осуществлению предпочтенного действия. Но рассматриваемая теория не может допустить, чтобы волевые акты когда-либо терпели неудачу, иначе нужно было бы вводить дальнейшие операции для объяснения того факта, что иногда умышленные действия достигают своей цели. В конце концов, процесс рассмотрения альтернатив и выбор в пользу одной из них сами подлежат оценкам. Но если, к примеру, акт выбора описывается как добровольный, тогда, в свете сделанных предположений, он был бы, в свою очередь, результатом предыдущего выбора решения выбирать, а тот — результатом еще более раннего выбора выбирать выбор...

Сходные возражения не позволяют отождествлять с волевыми актами и такие хорошо знакомые нам процессы, как решимость или мысленное намерение сделать нечто, а также процессы, действующие в том случае, когда мы собираемся с силами или когда подталкиваем себя к выполнению какого-либо деяния. Я могу решить встать с кровати или пойти к дантисту, и я могу, сжимая кулаки и скрипя зубами, подталкивать себя к совершению этого, оставаясь в то же время на месте. Если определенное действие не совершилось, то, согласно рассматриваемой доктрине, волевой акт к его совершению также не осуществлен. Опять-таки, акты решимости и собирания с силами сами относятся к классу похвальных или осуждаемых действий, поэтому они не могут быть тем особым компонентом, который, согласно доктрине, является общим условием любого поступка — заслуживающего как похвалы, так и порицания.

(3) РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ ДОБРОВОЛЬНЫМ И НЕДОБРОВОЛЬНЫМ

Нужно отметить, что, в то время как простые люди, чиновники, родители и учителя обычно используют слова "добровольный", "произвольный" и "недобровольный", "вынужденный", "непроизвольный" при описании действий одним образом, философы часто применяют их совершенно по-другому.

В их самом обычном употреблении слова "добровольный" и "недобровольный" используются, с некоторыми незначительными отклонениями, как прилагательные, применяемые к действиям, которые не следовало бы делать. Мы обсуждаем, был ли чей-то поступок добровольным или нет, только тогда, когда предполагаем, что человек в данном случае совершил ошибку или проступок. Положим, некто обвиняется в нарушении тишины; его вина признается тогда, когда его действие было произвольным, вроде смеха, но он прощается, если мы убеждаемся в том, что оно было непроизвольным, таким, как чихание. Подобно этому в обычной жизни мы поднимаем вопрос об ответственности только тогда, когда на кого-то справедливо или несправедливо возлагается вина за какой-то проступок. Имеет смысл поэтому задать, например, вопрос "Виновен ли мальчик в том, что разбил окно?", но не вопрос "Виновен ли он в том, что выполнил свое домашнее задание в срок?" Мы не спрашиваем, было ли его проступком то, что он получил правильный результат при делении в столбик, поскольку получение такого результата не является проступком. Если же мальчик ошибся при делении, то он может убедить нас, что в его погрешности не заключалось проступка, поскольку ему, скажем, еще не показали, как делать такого рода вычисления.

При таком обычном употреблении поэтому абсурдно обсуждать, являются ли хорошие, правильные или достойные восхищения поступки добровольными или недобровольными. Ни обвинения, ни оправдания здесь не применяются. Мы не сознаемся в авторстве таких поступков, не приводим смягчающих обстоятельств, не признаем себя ни "виновными", ни "невиновными", поскольку нас никто не обвиняет.

Однако философы, обсуждая то, что придает действиям характер добровольности или вынужденности, склонны описывать в качестве добровольных не только предосудительные, но также и достойные похвалы действия, не только то, что является проступком человека, но и то, что делает ему честь. Мотивы, лежащие в основе непреднамеренного расширения обычного смысла слов "добровольный", "произвольный", "вынужденный", "ответственный", будут рассмотрены позже. Сейчас же самое время обсудить некоторые следствия, которые из этого вытекают. В обычном употреблении сказать, что чихание непроизвольно, означает утверждать, что человек не мог его сдержать, а сказать, что смех был произвольным, означает, что человек был в состоянии сдерживать его. (Это

означает преднамеренность смеха. Мы ведь не смеемся целенаправленно.) Мальчик мог правильно решить задачу, которую решил неправильно; он знал как себя вести, но он повел себя дурно; он знал, как завязывать рифовый узел, однако нечаянно завязал "бабий" узел. Причиной его проступка стала либо погрешность, либо неудача. Но когда слово "произвольный" берется в его философском, расширенном значении, так что и правильные, и неправильные, и достойные, и предосудительные поступки описываются в качестве добровольных или произвольных, то оказывается, по аналогии с обычным употреблением, что мальчик, который решил задачу правильно, также может быть описан как имеющий "способность содействовать этому". В таком случае было бы уместным спросить: "Могли бы вы способствовать выведению надлежащих результатов? Могли бы вы способствовать тому, чтобы была видна "соль" этой шутки? Могли бы вы способствовать тому, чтобы этот ребенок стал добрым?" Фактически же невозможно ответить на эти вопросы, хотя на первый взгляд неясно, почему высказывание, что некто мог бы избежать ошибки в складывании чисел, корректно, тогда как высказывание, что он мог бы избежать правильного решения, некорректно.

Решение здесь просто. Когда мы говорим, что некто мог бы избежать промаха или ошибки или же что в них и состоял его проступок, то мы подразумеваем, что он знал, как делать дело правильно, был компетентен в такого рода деятельности, но не проявил своего знания или компетенции. Он не старался либо был недостаточно упорным в своем старании. Но когда человек поступил правильно, мы не можем сказать, что он знал, как поступить в этом случае неправильно, или что он был компетентен в совершении ошибок. Для того, чтобы наделать ошибок, не нужно компетенции, так же как при совершении промахов не нужно применения знания *как*, это именно отсутствие применения знания *как*. Правда, существует один оттенок смысла выражения "мог бы", когда подразумевается, например, что человек, который решил арифметическую задачу правильно, "мог бы" решить ее ошибочно в том смысле, что он не свободен от склонности быть небрежным. Но во всяком ином смысле "мог бы" спросить: "Могли бы вы получить ошибочный результат?" — означает: "Были ли вы достаточномышленным и хорошо подготовленным, достаточно ли хорошо вы сконцентрировались для выполнения неправильного вычисления?" Но это столь же глупый вопрос, как и вопрос о том, достаточно ли крепкие у вас зубы, чтобы вы могли сломать их, грызя орехи.

Клубок в большинстве своем надуманных вопросов, известный как проблема Свободы Воли, частично происходит именно из этого расширенного употребления значения слов "добровольное", "произвольное" и этих логически неправильных употреблений различных смыслов выражений "мог бы" и "мог бы удержаться".

Поэтому первоочередной задачей будет прояснение того, что подразумевается в обычном, неискаженном употреблении под "добровольным", "недобровольным", "ответственным", под "не мог бы сдержать" и "его проступок" в контекстах, где эти обороты речи используются при решении конкретных вопросов вины и невиновности.

Если мальчик завязал "бабий" узел вместо рифового узла, мы убеждаемся в том, что это был его промах, устанавливая, во-первых, что он знал, как завязывать рифовый узел, во-вторых, что его рука не находилась под воздействием внешнего принуждения и, в-третьих, что в процессе работы не было других факторов, помешавших его стремлению завязать узел правильно. Мы также устанавливаем то, что он может завязывать рифовые узлы, выяснив, что он обучался этому, имел соответствующую практику, обычно завязывал эти узлы правильно, что он способен выявлять и исправлять такие узлы, завязанные другими, или, обнаружив, что ему стыдно за свою ошибку и он без посторонней помощи исправил ее. То, что он не действовал под давлением извне, или в панике, или находясь в сильно возбужденном состоянии, или онемевшими пальцами, устанавливается тем же способом, которым мы обыкновенно узнаем, что не случилось ничего экстраординарного. Ибо такого рода происшествия были бы слишком яркими, чтобы пройти незамеченными, по крайней мере для самого мальчика.

Первый вопрос, который мы должны были разрешить, не имеет никакого отношения к наличию или отсутствию в потоке сознания мальчика каких-либо тайных эпизодов. Этот вопрос состоял в том, обладает ли он требуемой компетенцией, то есть знанием, как завязывать рифовые узлы или нет. Мы не исследуем на данном этапе, совершал ли или не совершал мальчик некую непубличную, приватную операцию, но лишь пытаемся установить, обладал ли он или нет определенной разумной способностью. Нам не понадобилось (недостижимого) знания истинности или ложности некоего специфического высказывания, связывающего скрытую причину и явное следствие, нас удовлетворило (достижимое) знание истинности или ложности комплексного и отчасти общего гипотетического высказывания — короче говоря, нам не нужно знать, вязал ли он призрачные рифовые или "бабьи" узлы где-то "за кулисами", нас интересует, мог ли он завязать настоящий узел вот на этой веревке и мог ли он сделать это в данной ситуации, если бы уделил больше внимания тому, что делает. Его ошибка была его проступком потому, что, зная, как завязывать данный узел, он, тем не менее, завязал его неправильно.

Рассмотрим следующий пример, в отношении которого каждый согласится с тем, что в нем действующий не совершает проступка. Мальчик опоздал в школу, но при расспросах выяснилось, что он вышел из дома в обычное время, не отвлекся по пути к автобусной остановке, сел на тот автобус, на котором обычно

добирался до школы. Но по дороге машина сломалась и встала на полпути. Мальчик бежал так быстро, как только мог, но все равно опоздал. Очевидно, что все поступки, совершенные мальчиком, были или аналогичны тем, что обычно приводят его в школу вовремя, или были единственно доступными для него действиями, возмещающими последствия поломки автобуса. Поскольку ничего другого он не мог сделать, учитель, вполне справедливо, рекомендует ему и впредь поступать таким же образом. Его опоздание не было результатом неудачи в действиях, которые он был в состоянии совершить. Он был скован обстоятельствами, изменить которые было не в его силах. Здесь, опять-таки, учитель оценивает действие с учетом возможностей и способностей действующего; извинения мальчика принимаются, поскольку он не мог сделать ничего лучшего, чем то, что он совершил. В целом вопрос о преднамеренности опоздания решается без обращения к заявлениям ученика, опирающимся на свидетельства сознания или интроспекции, о выполнении или невыполнении им каких-либо волевых актов.

Не возникает различий, если действия, в которых обвиняется совершивший их человек, являются или включают в себя операции безмолвного разговора с самим собой. Промах в вычислении в уме точно так же является ошибкой ученика, как и его просчет в вычислениях на бумаге; ошибка в сравнении оттенков цвета, представленных лишь мысленным взором, может заслужить такой же упрек в невнимательности, как и ошибка, совершенная при подборе цветов в магазине тканей. Отметим также, что если действующий мог сделать нечто лучше, чем он это сделал, то тогда он был бы способен удержаться от того, чтобы делать нечто так плохо, как он это сделал.

Помимо рассмотрения этих обычных значений слов "добровольно", "недобровольно", "ответственный", "мой проступок" и "мог бы" или "не мог удержаться", мы должны также обратить внимание на обычное употребление таких выражений, как "усилие воли", "сила воли" и "слабовольный". Человек описывается как ведущий себя решительно, с твердой волей в тех случаях, когда при выполнении трудных, продолжительных или неприятных задач он не выказывает склонности ослаблять свои усилия, не позволяет себе отвлекаться от дела, ворчать, много или часто думать об усталости или страхе. Он не увиливает и не бросает дела, за которые взялся. Слабовольный же человек — это тот, кто легко отвлекается или расхолаживается, кто готов убедить себя, что другое время будет более подходящим для выполнения задачи, что в конце концов причины для принятия на себя этой задачи не были достаточно весомыми. Отметим, что ни одна из составляющих этих определений твердости воли или слабоволия не предполагает, что эта некая твердость должна быть актуально сформирована. Волевой человек может упорно сопротивляться искушению отказаться от своей задачи или отложить ее, даже если он никогда не проходил через предвари-

тельный ритуальный процесс настройки своего сознания на ее выполнение. Но естественно, что такой человек будет также предрасположен к тому, чтобы исполнять любые обеты и клятвы, которые он дал другим или самому себе. Соответственно, слабовольный человек будет, вероятно, терпеть неудачу в выполнении своих часто многочисленных и похвальных решений, но эта его недостаточная целеустремленность также будет представлена в периодах безделья и в промахах, которые сопровождают его действия и которые не были предварены какими-либо приватными или публичными обязательствами действовать именно так.

Сила воли является предрасположенностью, проявление которой состоит в упорстве, с которым человек подходит к проблемам, не пугаясь их и не отвлекаясь от их решения. Если эта предрасположенность проявляется в минимальной степени, говорят о слабости воли. Действия, требующие напряжения воли, могут быть действиями почти что любого рода — интеллектуальными и физическими, воображаемыми и управленческими. Это не некая сингулярная, одномерная диспозиция или (по этой же и ряду других причин) предрасположенность к совершению тайных внутренних операций некоего специфического рода.

Под "усилием воли" подразумевается особое проявление стойкости и целеустремленности, встречающееся тогда, когда мы сталкиваемся либо со слишком большими препятствиями, либо с сильными искушениями. Такого рода усилия могут, хотя и необязательно, сопровождаться особыми действиями, часто ритуального характера: собрания с силами или даже принесения присяги самому себе сделать то, что необходимо. Но в этих ритуалах проявляется не столько твердость воли, сколько боязнь оказаться слабовольным.

Прежде чем оставить понятие добровольности, нужно отметить еще два момента. (1) Мы очень часто противопоставляем сделанное добровольно тому, что мы претерпеваем или испытываем принудительно. Например, некоторые солдаты являются добровольцами, другие — призывниками; некоторые яхтсмены выходят в море по своей воле, других может унести в открытое море ветром и течением. В этих ситуациях не возникает вопроса об обвинении или оправдании. Когда мы спрашиваем, доброволец ли этот солдат или он призван по набору, мы имеем в виду, поступил ли он на военную службу потому, что хотел этого, или же потому, что должен был сделать это. В последнем случае "должен был" подразумевает "не имеет значения то, чего он хотел". Спрашивая: "Вышел ли яхтсмен в море по собственной воле или же был унесен ветром?" — мы интересуемся, отплыл ли он намеренно или же он продолжает удаляться от берега, даже если у него нет намерения делать это. Остановили бы его плохие известия из дому или предупреждение береговой охраны?

То, что не добровольно, при данных обстоятельствах не может описываться как действие. Когда человека уносит в море или его призывают на военную

службу, происходит нечто, что с ним случается, а не что он совершает. Антитеза между добровольным и недобровольным в этом смысле отличается от антитезы, которую мы подразумеваем, когда спрашиваем добровольно или недобровольно некто вяжет "бабий" узел либо хмурит брови. Человека, который хмурится непроизвольно, не вынуждают хмуриться, как, например, яхтсмена, которого уносит в море; также и легкомысленный мальчик не принуждается завязывать "бабий" узел, как рекрут, который вынужден идти в армию. Даже нахмуривание является тем, что делает человек. Это не то, что проделывается с ним. Поэтому иногда вопрос "добровольный или недобровольный?" означает "действительно ли человек сделал это или это произошло с ним?". Иногда этот вопрос предполагает, что человек сделал это, но означает, "с вниманием или без такового сделал он то, что сделал?", или "сделал ли он это намеренно или неумышленно, автоматически, инстинктивно и т.д."

(2) Когда человек делает что-то добровольно в том смысле, что он делает это с намерением или стремится сделать это, его действие, несомненно, отражает некоторое качество или качества сознания, поскольку (и это больше чем пустые слова) он в той или иной степени и тем или иным образом осознает то, что он делает. Из этого следует также, что он может, если обладает необходимыми языковыми навыками, без каких-либо исследований или догадок рассказать о том, что же он пытается сделать. Но, как будет показано в главе V, эти смыслы понятия произвольности, намеренности не привносятся с собой как чего-то само собой разумеющегося выводов о наличии некоей двойной жизни. Хмуриться намеренно не значит одно делать на лбу, а другое — в некоем ином метафорическом месте; также это не означает, что одно делается при помощи находящихся под бровями мышц, а другое — некоторым нетелесным органом. В частности, хмурость на лице не появляется при первом же возникновении вызывающей хмурость причины посредством напряжения некоей тайной не-мышцы. Фраза "он хмурится намеренно" не сообщает о наличии двух эпизодов. Она говорит о существовании одного эпизода, но такого, который по своему характеру весьма отличается от того, который описывается фразой "он хмурится непроизвольно", хотя хмурые выражения лица при этом могут быть сколь угодно схожими визуально.

(4) СВОБОДА ВОЛИ

Как уже отмечалось, в дискуссиях некоторых философов о добровольности действий слова "добровольный", "недобровольный", "ответственный" используются не в их обычном ограничительном употреблении для обозначения погрешностей или явных проступков. Они применяются в более широкой области, охватывающей все действия, которым могут выноситься благосклонные или

неблагосклонные оценки в соответствии с какими-либо критериями превосходства или приемлемости. При таком их применении человек изображается добровольно делающим и правое, и неправое, на него возлагается ответственность не только за те действия, в которых он выступает субъектом обвинения, но и за те, что делают ему честь. Таким образом, слово "добровольный" используется здесь в качестве синонима слов "умышленный", "намеренный".

Понятно, что философы, работающие с таким расширенным употреблением указанных понятий, имеют на то веские мотивы. Они ощущают потребность в терминологическом аппарате, пригодном для различения тех явлений и событий, к которым приложимы или одобрительные, или критические оценки, и тех, к которым ни то, ни другое не применимо. Без такого аппарата, как они полагают, было бы невозможно установить характеристики, наличие которых позволяет причислять явления к сфере Духа (Spirit), а отсутствие — отсылать их в область грубой Природы.

Первопричина этого стремления открыть некий своеобразный элемент, присутствующий везде, где бы ни присутствовал Дух, и отсутствующий везде, где он отсутствует, — это страх перед пугалом Механицизма. Считалось, что физические науки установили (или же находятся на пути к этому), что вещи и события внешнего мира жестко управляются познаваемыми законами, формулировки которых не допускают никаких оценочных терминов. Казалось, что все внешние события скованы железными цепями механической причинности. Возникновение, свойства и ход течения этих событий объяснялись или же могли бы быть полностью объяснены в терминах измеримых и потому, как предполагалось, лишенных цели сил.

Чтобы спасти наше право использовать оценочные понятия, нужно было показать, что поле их надлежащего применения лежит где-то вне этого внешнего мира. И внутренний мир с его неизмеримыми, но целеустремленными силами, как полагали, позволял проделать этот трюк. Поскольку "волевые акты" уже были обозначены как необходимые продукты внутренних сил, то естественно было предположить, что сфера добровольного, очерченная пределами распространения этих волевых актов, выступает тем общим и одновременно специфическим элементом, который придает явлениям духовный характер. Суждения науки и оценочные суждения различались соответственно как описания того, что имеет место во внешнем мире, и того, что происходит в мире внутреннем, — по крайней мере до тех пор, пока психологи не стали утверждать, что их суждения есть научные описания явлений этого внутреннего мира.

Вопрос о том, заслуживают ли поступки человеческих существ похвалы или упрека, был, следовательно, поставлен как вопрос о том, являются ли волевые акты некими действиями.

(5) ПУГАЛО МЕХАНИЦИЗМА

Всякий раз, когда некая новая наука добивается своих первых больших успехов, ее восторженные служители воображают, что отныне все вопросы могут быть решены посредством распространения присущих ей методов. В одни времена теоретики представляли себе, что весь мир суть не более чем совокупность геометрических фигур, в другие — что мир может описываться и объясняться в понятиях чистой арифметики. Химическая, электрическая, дарвиновская и фрейдистская космогонии также знавали свои яркие, но краткие периоды расцвета. "В конце концов, — всегда говорили их рьяные приверженцы, — мы сможем дать или по крайней мере наметить решение всех трудных проблем, и притом такое, которое несомненно будет научным решением".

Введенные в оборот Коперником, Галилеем, Ньютоном и Бойлем физические науки прочнее и на более долгий срок, чем любые из их предшественниц или преемниц, закрепили за собой место космогонических строителей. Вплоть до наших дней сохраняется тенденция трактовать законы Механики не просто как определенный идеальный тип научных законов, но как в некотором смысле первичные, основные законы Природы. Люди склонны надеяться (или опасаться), что биологические, психологические и социологические законы в один прекрасный день будут "редуцированы" к механическим законам, хотя остается неясным, какого рода способом эту "редукцию" можно осуществить.

Я уже называл Механицизм своего рода пугалом. Испытываемые теоретиками опасения как бы все не оказалось объяснимым законами механики, беспочвенны. И эта беспочвенность связана не с тем, что неопределенность, которой они опасаются, оказывается не столь уж угрожающей, но с тем, что не имеет смысла говорить о такого рода неопределенности. Пусть даже физики смогут когда-то ответить на все физические вопросы, но не все вопросы являются физическими. Законы, которые они открыли и которые еще смогут открыть, применяя один из смыслов этого метафорического глагола, «управляют» всем, что случается, но они не предопределяют всего того, что случается. Они и в самом деле не предписывают ничего из того, что имеет место. Законы природы не являются декретами.

Этот момент можно пояснить с помощью следующего примера. Допустим, что освоившему научный способ мышления наблюдателю, не знакомому ни с шахматами, ни с какой-то другой игрой, разрешено смотреть на шахматную доску только в перерывах между передвижениями фигур. Он, кроме того, не видит совершающих ходы игроков. Спустя некоторое время он начнет замечать определенные закономерности. Шахматные фигуры, известные нам как "пешки", обычно передвигаются только на одно поле за ход и только вперед, за исключением особых случаев, когда они идут по диагонали. Фигуры, обозначае-

мые как "слоны", передвигаются только по диагонали, но они могут проходить за один ход любое количество полей. Кони всегда ходят по очертаниям буквы "Г". После дальнейших исследований этот наблюдатель установит все шахматные правила, и тогда ему будет позволено увидеть то, что все передвижения фигур осуществляют люди — "игроки". Наш исследователь выразит им сочувствие по поводу их зависимости. "Каждое перемещение, которое вы совершаете, — скажет он, — управляется незыблемыми правилами. С момента, когда один из вас кладет свою руку на пешку, то место, на которое он ее переставит, в большинстве случаев точно предсказуемо. Весь ход того, что вы драматично величаете вашей "игрой", жестко предопределен заранее; в ней нет места ничему, что не управляется тем или иным железным правилом. Суровая необходимость диктует игру, не оставляя места для разума и намерений. Правда, я все еще не в состоянии объяснить каждый наблюдаемый мною ход, опираясь на правила, которые я открыл к настоящему времени. Но было бы ненаучно предполагать, что существуют необъяснимые ходы. Должны быть поэтому другие правила, которые я надеюсь открыть и которые в достаточной мере дополняют объяснения, которые я уже установил". Игроки, конечно, рассмеются и объяснят ему, что, хотя каждый ход управляется правилами, ни один из них не предопределен ими. "Верно, что если я начинаю движение моего слона, то вы можете точно предсказать, что я закончу его на поле того же самого цвета, с которого начал. Это может быть выведено из правил. Но то, что я вообще пойду и как далеко я продвину его на том или ином этапе игры, не устанавливается правилами и не может быть выведено из них. У нас есть масса возможностей, чтобы проявить сообразительность и глупость, чтобы обдумывать и выбирать. Хотя ничто не выходит за рамки правил, случается множество неожиданных, остроумных и дурацких вещей. Правила едины для всех сыгранных когда-либо шахматных партий, тем не менее почти каждая партия принимала такой оборот, которому игроки не могли припомнить близких аналогий. Правила неизменны, но игры не единообразны. Правила предписывают то, что игроки не могут делать, все остальное позволено, хотя многие из допустимых ходов были бы тактически плохими.

Не существует дополнительных правил игры, которые вы могли бы обнаружить, а "объяснения", которые вы надеетесь найти для отдельных наших ходов, конечно, могут быть найдены, но они не будут связаны с правилами; эти объяснения связаны с некоторыми совершенно иными вещами, а именно с обдумыванием и применением игроком тактических принципов. Ваше представление о том, что конституирует объяснение, было слишком узким. Смысл, в котором правило "объясняет" некий ход, сделанный в соответствии с ним, не является тем же самым, что и смысл, в котором этот ход объясняется тактическим принципом, несмотря на то, что каждый ход, подчиняющийся тактическому принципу, подчиняется также и правилу. Знание того, как применять тактические принципы, вклю-

чает в себя знание правил игры, но очевидно, что эти принципы "нередуцируемы" к правилам игры".

В этом примере нет намерения внушить мысль, что законы физики очень похожи на шахматные правила, ибо ход Природы — не игра, а ее законы не являются человеческими изобретениями или конвенциями. Этот пример призван выявить тот факт, что не будет противоречия, если мы скажем, что один и тот же процесс, например ход слонем, соответствует двум принципам, существенно отличным друг от друга по типу и "нередуцируемым" друг к другу, хотя один из них предполагает наличие другого.

Отсюда вытекает возможность существования двух совершенно различных видов "объяснения" ходов, не являющихся при этом несовместимыми. В самом деле, объяснение в терминах тактических канонов предполагает объяснение в терминах шахматных правил, но оно не выводимо из этих правил. Этот момент можно выразить и другим словами. Наблюдатель мог бы спросить, используя один смысл слова "почему": почему слон всегда заканчивает движение на поле того же самого цвета, на котором он стоял в начале игры? На это ему можно дать ответ, сославшись на правила шахмат, в том числе предписывающие рисунок доски. Тогда он может спросить, используя другой смысл слова "почему": почему игрок на определенной стадии игры передвинул одного из своих слонов (а не какую-нибудь другую фигуру) на это поле (а не на другое)? Ему можно ответить, что игроку нужно было отвести угрозы ферзя противника от своего короля.

Такие слова, как "объяснение", "закон", "правило", "принцип", "почему", "потому, что", "повод", "причина", "управлять", "вынуждать", и прочие имеют ряд типологически различных смыслов. Механицизм казался угрозой, поскольку предполагалось, что допустимо лишь такое применение этих терминов, которое используется в теориях механики, что все "почему"-вопросы могут быть разрешены в терминах законов движения. Фактически же все "почему"-вопросы одного типа, возможно, и могут получить ответ в этих терминах, но ни на один "почему"-вопрос другого типа нельзя ответить лишь на этом языке.

Вполне может быть, что на всем протяжении своей книги "Упадок и разрушение Римской империи" Гиббон ни разу не нарушил правил английской грамматики. Они руководили всем его письмом, но в то же время они не предписывали ни того, о чем ему следует писать, ни даже стиля, каким ему нужно писать, они лишь запрещали определенные способы соединения слов. Зная эти правила и то, что Гиббон следовал им, читатель может предсказать, что если в определенном предложении подлежащее стоит во множественном числе, то и глагол также будет во множественном числе. Его предсказания будут неизменно правильными, тем не менее мы не испытываем склонности сетовать на то, что перо Гиббона следовало по проторенной колее. Грамматика говорит читателю, что глагол должен быть во множественном числе, но она не говорит, какой это будет глагол.

Можно взять спорный пассаж из "Упадка и разрушения" и проверить его на соответствие грамматическим правилам, следящим за порядком его слов, на соответствие стилистическим канонам, следящим за согласованием в нем слов, на соответствие логическим нормам, следящим за порядком его слов. Не существует конфликта или соперничества между этими различными типами принципов, все они одинаково применимы к одному и тому же материалу, все могут получить лицензии на корректные предсказания, на все сходным образом можно сослаться при ответе одинаковой словесной конструкцией: "Почему Гиббон написал так, а не как-нибудь иначе?"

Открытия в физических науках не в большей степени исключают жизнь, чувствительность, намерение или разумность из того, что существует в мире, чем правила грамматики вытесняют стиль или логику из прозы. Конечно, открытия физики ничего не говорят о жизни, чувствительности или намерении, но точно так же правила грамматики ничего не говорят о стиле или логике. Ибо законы физики применимы и к тому, что одушевленно, и к тому, что неодушевленно, как к разумным людям, так и к идиотам, точно так же как правила грамматики применимы и к "Уайтэкеровскому альманаху", и к "Упадку и разрушению Римской империи", к рассуждениям как миссис Эдди, так и мистера Юма.

Излюбленная модель, которой уподобляется воображаемый механический мир, это модель бильярдных шаров, передающих движение от одного к другому посредством столкновения. И тем не менее бильярд дает нам один из простейших примеров хода событий, для описания которого механические термины необходимы, не будучи достаточными. Конечно, располагая точным знанием веса, формы, упругости и характеристик движения шаров, устройства стола и атмосферных условий, в принципе возможно в соответствии с известными законами рассчитать, исходя из положений шаров в данный момент, каково будет их последующее положение. Из этого не следует, однако, что ход игры предскажем в соответствии только с этими законами. Вооруженный научными знаниями предсказатель, который не был бы осведомлен о правилах и методах игры, о мастерстве и планах игроков, возможно, мог бы предсказать, исходя из начальных данных одного удара, позицию, которую займут шары перед следующим ударом. Но предсказать дальнейшее он уже не может. Сам игрок с умеренной долей вероятности может предвидеть характер удара, который он нанесет, так как знает, возможно, лучший способ продолжения игры в подобных ситуациях; он также в достаточной мере сознает степень своего мастерства, выносливости, терпения, силы и намерений.

Нужно отметить, что в той мере, в какой игрок владеет мастерством, позволяющим ему посылать шары туда, куда он хочет, он должен обладать знанием о правиле большого пальца, о механических принципах, которые управляют ускорением и замедлением шаров. Его знание того, как реализовать свои намере-

ния, не входит в конфликт с его знанием механических законов, напротив, оно полагается на это знание. Когда мы описываем его игру в оценочных понятиях, нас не тревожит тот факт, что движения, которые он придает шарам, управляются законами механики, так как не может быть мастерской игры, если *per impossibile* инвентарь этой игры ведет себя случайным образом.

Современная интерпретация естественных законов как суждений, выражающих не нечто неизбежное, но очень и очень вероятное, иногда провозглашается как привносящая в Природу желаемый элемент нестрогости. Теперь-то, наконец, как иногда считалось, мы можем оставаться на научной позиции в той мере, в какой сохраняется именно эта, пусть весьма узкая, область случайного, в которой оценочные понятия могут применяться должным образом. Эта бесхитростная точка зрения предполагает, что действие не может получать положительные или отрицательные критические оценки, пока оно не исключено из сферы научных генерализаций. Но игрок в бильярд не требует от законов физики особых поправок, равно как и от правил этой игры. Зачем это ему? Эти законы не принуждают его руку. Выражаемые некоторыми моральными философами опасения, что продвижение естественных наук уменьшает поле, внутри которого могут проявляться моральные добродетели, покоится на допущении того, что возникнет некоторое противоречие, если мы будем говорить, что одно и то же явление управляется как механическими законами, так и моральными принципами. Но это допущение настолько же неосновательно, как и предположение о том, что игрок в гольф не может одновременно и согласовывать свои действия с законами баллистики, и подчиняться правилам гольфа, и играть мастерски и изящно. Остается не только достаточно места для целей там, где все управляется законами механики, но, напротив, не было бы места для целеустремленности, если бы вещи не управлялись подобным образом. Предсказуемость есть необходимое условие планирования.

Механицизм поэтому является не более чем пугалом, и, хотя многое еще нужно прояснить в специальных понятиях биологии, антропологии, социологии, этики, логики, эстетики, политики, экономики и пр., нет никакой необходимости в отчаянных спасательных операциях, направленных на то, чтобы изъять их применение из обычного мира и отправить в некий иной постулируемый мир или же воздвигнуть перегородку между явлениями, которые существуют в Природе, и явлениями, которые существуют в не-Природе. Не требуется никаких скрытых предшественников внешних действий для того, чтобы действующий сохранял за собой право на одобрение или осуждение своих действий, но, даже если бы эти предшественники действительно существовали, они ничем не могли бы помочь.

Люди — не машины и даже не духи, управляющие машинами. Они люди, и эту тавтологию иногда стоит вспоминать. Люди нередко задаются такими воп-

росами: "Как мое сознание заставляет мою руку сделать необходимое движение?" — и даже: "Что побуждает мою руку делать то, что мое сознание приказывает ей делать?" В такого рода вопросах, собственно говоря, спрашивается об определенных цепных процессах. Так, на вопрос "Что побуждает пулю вылетать из ствола?" будет правильным ответить "расширение газов в патроне", на вопрос "Что побуждает патрон взорваться?" дается ответ — передача удара от детонатора, а на вопрос "Как мое нажатие на курок побуждает боек стукнуть по детонатору?" предлагается описание механизма пружин и рычажков между спусковым крючком и бойком. Поэтому, когда спрашивают: "Как мое сознание заставляет мой палец нажать на курок?" — сама форма вопроса предполагает, что в дело включаются дальнейшие цепные процессы — все более ранние напряжения, расцепления и спуски, только уже "ментальные". Между тем, какие бы акты или операции ни представлялись в качестве первого шага этого предполагаемого цепного процесса, его исполнение должно описываться точно так, как мы в обычной жизни описываем нажатие метким стрелком на спусковой крючок. А именно, мы просто говорим "Он сделал это", а не "Он сделал нечто или подвергся чему-то еще, что стало причиной этого".

В заключение уместно уделить некоторое время предостережению от широко распространенного заблуждения. Передаваемое как молва представление о том, что все в Природе подвластно законам механики, часто искушало людей говорить, что Природа — это или один огромный механизм, или же некая конгломерация машин. Но реально в Природе очень мало механизмов. Единственные механизмы, которые мы обнаруживаем в ней, это машины, изготавливаемые человеческими существами, вроде часов, ветряных мельниц и турбин. Лишь весьма немногие естественные системы до некоторой степени похожи на машины, а именно это солнечные системы. Они действительно движутся сами по себе и бесконечно повторяют один и тот же набор движений. Они и в самом деле ведут себя как немногие нерукотворные вещи, они "ходят как часы". Правда, для того, чтобы делать машины, мы должны знать и применять механику. Но изобретение машин — это не копирование вещей, существующих в неодушевленной Природе.

Хотя это может показаться парадоксом, но мы должны обратить внимание, скорее, на живые организмы как примеры самосохраняющихся и демонстрирующих порядок систем Природы. Движения небесных тел обеспечивали один из видов "часов". А пульс человека давал другой их вид. Не является просто примитивным анимизмом и то, что заставляет невинных детей думать о паровозах как о железных конях. Ибо в Природе можно найти мало что еще, с чем они имеют столь близкое сходство. Снежные лавины и игра на бильярде подчиняются законам механики, но они совсем не похожи на работу машин.

ГЛАВА IV. ЭМОЦИИ

(1) ПРЕДИСЛОВИЕ

В этой главе я обсуждаю содержание некоторых понятий, описывающих эмоции и чувства.

Такое исследование необходимо, поскольку приверженцы догмы о духе в машине в ее поддержку могут сослаться на согласие большинства философов и психологов в том, что эмоции суть внутренние, или приватные, переживания. Эмоции описываются как возмущения в потоке сознания, обладателю которого они не могут не быть даны непосредственно; для внешнего же наблюдателя они, соответственно, с необходимостью остаются тайной. Это такие явления, которые происходят не в общедоступном физическом мире, а в вашем или моем сокровенном ментальном мире.

Я постараюсь показать, что слово "эмоция" используется для обозначения по меньшей мере трех или четырех явлений разного рода, которые я буду называть "наклонностями" (*inclinations*) (или "мотивами"), "настроениями" (*moods*), "возбуждениями" (*agitations*) (или "нервными потрясениями") и "чувствами" (*feelings*). Наклонности и настроения, включая возбуждения, не суть события и, следовательно, не происходят ни публично, ни приватно. Они являются предрасположенностями (*propensities*), а не действиями или состояниями. Однако это предрасположенности разного рода, и различия между ними существенны. Чувства, с другой стороны, суть нечто происходящее, но место, которое они должны занимать в описаниях человеческого поведения, весьма отличается от того, которое отводят им стандартные теории. В отличие от мотивов, но подобно болезням и состояниям погоды, настроения или расположения духа представляют собой временные условия, которые определенным образом *объединяют* события, но сами по себе не являются некими дополнительными событиями.

(2) ЧУВСТВА *VERSUS* НАКЛОННОСТИ

Я отношу к "чувствам" того рода явления, которые люди обычно описывают как трепет, приступы боли, угрызения совести, нервную дрожь, щемящую тоску, непреодолимые желания, мучения, холодность, пыл, обремененность, приступ дурноты, стремления, оцепенения, внезапную слабость, напряжения, терзания и потрясения. Обычно, когда люди описывают чувство, они используют

фразы типа "порыв сострадания", "шок от неожиданного" или "трепет предвкушения".

Важным лингвистическим фактом является то обстоятельство, что названия специфических чувств, такие, как "зуд желанья", "приступ дурноты" и "угрызения совести" используются также и в качестве названий особого рода телесных ощущений. Если кто-то говорит, что он только что испытал приступ боли, то уместно спросить его, был ли это приступ боли от раскаяния или ревматизма, хотя словосочетание "приступ боли" необязательно употребляется в одном и том же смысле в этих альтернативных контекстах.

Имеются и другие аспекты, в которых то, как мы говорим, например, о приступе дурноты от предчувствия, аналогично тому, как мы говорим, допустим, о приступе тошноты при морской болезни. В обоих случаях мы готовы характеризовать его или как острый, или как слабый, внезапный или затяжной, периодический или постоянный. Человек может содрогнуться как от укола совести, так и от укола в палец. Кроме того, в некоторых случаях мы склонны локализовать гнетущее чувство отчаяния в области желудка или острое чувства гнева в мышцах челюсти и кулака. Другие чувства, которое затруднительно локализовать в какой-то отдельной части тела, например прилив гордости, по-видимому, охватывают все тело целиком — примерно так же, как прилив тепла.

Джеймс смело отождествлял чувства с телесными ощущениями, но для наших целей достаточно указать, что мы говорим о чувствах во многом так же, как говорим о телесных ощущениях, хотя, возможно, что о первых мы говорим с оттенком метафоричности, чего нет в случае со вторыми.

С другой стороны, необходимо отдать должное тому важному обстоятельству, что мы сообщаем о своих чувствах в таких идиоматических выражениях, как "приступ дурноты от предчувствия чего-то" и "прилив гордости", то есть мы все-таки различаем прилив гордости и прилив тепла, и я попытаюсь выявить значение такого рода различий. Я надеюсь показать, что, хотя вполне правомерно описывать кого-нибудь в качестве чувствующего волнение сострадания, его сострадание можно отождествить с волнением или серией волнений не больше, чем его усталость с его же тяжкими вздохами. Тогда можно будет избежать обескураживающих следствий из признания того, что трепет волнения, угрызения совести и другие чувства являются телесными ощущениями.

Итак, в одном смысле слова "эмоция" чувства — это эмоции. Но существует и существенно иной смысл слова "эмоция", посредством которого теоретики классифицируют в качестве эмоций мотивы, каковыми объясняется человеческое поведение высшего уровня. Когда человек описывается как тщеславный, деликатный, скупой, патристичный или ленивый, то объяснение дается по вопросу, почему он поступает, мечтает и мыслит именно так, как он это делает, и в соответствии со стандартной терминологией тщеславие, доброта, скупость, пат-

риотизм и лень расцениваются как виды эмоции; о них также говорят как о чувствах.

Однако все это — полнейшая словесная путаница, сопровождающаяся ещё и логической путаницей. Начать с того, что когда некто описывается в качестве тщеславного или праздного человека, то слова "тщеславный" и "праздный" обозначают более-менее постоянные черты его характера. В таком случае о нем можно было бы сказать, что он был тщеславным с детства или праздным в течение всего трудового дня. Его тщеславие и праздность являются диспозиционными свойствами, которые раскрываются в таких выражениях, как: "Всякий раз, когда возникают ситуации определенного рода, он всегда или как правило пытается привлечь к себе внимание" или "Всякий раз, когда он стоит перед выбором делать или не делать трудную работу, он всячески увиливает от нее". Предложения, начинающиеся со словосочетания "Всякий раз, когда...", не являются сообщениями о единичных событиях. Описывающие мотивы слова, употребляемые подобным образом, обозначают тенденции или предрасположенности определенного типа и, следовательно, не могут означать того факта, что человек охвачен чувствами. Они суть эллиптические выражения общих гипотетических утверждений особого рода, и их нельзя истолковывать в качестве выражений для непосредственного описания эпизодов.

Тем не менее можно возразить, что кроме такого диспозиционного использования слов, описывающих мотивы, должно еще существовать и соответствующее их активное использование. Ведь человек, чтобы быть пунктуальным в диспозиционном значении этого прилагательного, должен проявлять пунктуальность в каждом отдельном случае, а смысл, в котором говорится, что он был пунктуален при конкретной встрече, — это не диспозиционный, а активный смысл слова "пунктуальный". Фраза "Он склонен приходить на встречи вовремя" выражает общее гипотетическое утверждение, истинность которого требует соответствующих истинных категорических утверждений типа "на сегодняшнюю встречу он пришел вовремя". Таким образом, мы утверждаем, что для того, чтобы человека назвать тщеславным или ленивым, должны быть конкретные случаи проявления тщеславия и праздности, имевшие место в конкретные моменты времени, и именно они будут актуальными эмоциями или чувствами.

Этот аргумент, конечно, что-то доказывает, но он не доказывает желаемого. Хотя и верно, что описывать человека в качестве тщеславного — значит говорить, что он подчиняется специфической склонности, но неверно, будто конкретные проявления этой склонности состоят в выказывании им отдельных специфических волнений или приступов чувств. Напротив, прослышав, что некий человек тщеславен, мы в первую очередь ожидаем от него определенного образа поведения, а именно того, что он будет много говорить о себе, увиваться

вокруг знаменитостей, отвергать критику в свой адрес, играть на публику и избегать разговоров о чужих достоинствах. Мы также ожидаем, что он будет убаюкивать себя розовыми грезами о собственных успехах, избегать упоминаний о своих прошлых неудачах и строить радужные планы о своей карьере. Быть тщеславным — значит иметь склонность к этим и бесчисленному множеству аналогичных действий. Конечно, мы также предполагаем, что тщеславный человек в определенных ситуациях испытывает угрызения совести и смятение; мы предполагаем, что у него резко падает настроение, когда какая-нибудь знаменитость забывает его имя, или что его окрыляет и наполняет радостью сердце известие о неудачах его соперников. Но чувства задетого самолюбия и сердечной радости напрямую указывают на тщеславие не в большей степени, чем публичное хвастовство или приватные мечты. На самом деле они в гораздо меньшей степени служат таковыми прямыми указателями — по причинам, которые вскоре будут разьяснены.

Некоторые теоретики возразят: говорить об акте хвастовства как об одном из непосредственных проявлений тщеславия значит упускать самую суть дела в данной ситуации. Когда мы объясняем, почему человек хвастается, говоря, что это происходит по причине его тщеславия, мы забываем, что диспозиция не является событием, а значит, не может быть причиной. Причина его хвастовства должна быть событием, предшествующим началу его хвастовства. Последнее должен вызывать некий актуальный "импульс", а именно импульс тщеславия. Так что непосредственные или прямые актуализации тщеславия — это особые импульсы тщеславия, а таковыми являются чувства. Тщеславный человек — это человек, который склонен к проявлению особых чувств тщеславия; именно они вызывают или побуждают его хвастаться или, возможно, захотеть хвастаться и делать все прочее, что мы называем совершаемым из тщеславия.

Необходимо заметить, что приведенное рассуждение принимает как самоочевидное то, что объяснить некий поступок как совершенный по определенному мотиву (в данном случае — из тщеславия) означает дать причинное объяснение. То есть предполагается, что сознание, в данном случае сознание хвастуна, является полем действия особых причин: вот почему чувство тщеславия было призвано стать внутренней причиной публичного хвастовства. Вскоре я покажу, что объяснение какого-либо поступка на основе определенного мотива аналогично не высказыванию о том, что стакан разбился, потому что ударился о камень, но утверждению совершенно другого типа, а именно что стакан разбился, когда в него попал камень, потому что был хрупким. Точно так же как нет иных моментальных актуализаций хрупкости, кроме, скажем, разлета на куски после удара, так нет и никакой необходимости постулировать иные временные актуализации хронического тщеславия, кроме хвастовства, грез о триумфальных победах и уклонения от разговоров о чужих достоинствах.

Но перед тем как развернуть эту аргументацию, я хочу показать, насколько внутренне неправдоподобной является та точка зрения, что всякий раз, когда тщеславный человек хвастается, он испытывает особый трепет или приступ тщеславия. Говоря чисто догматически, тщеславный человек никогда не чувствует своего тщеславия. Конечно, когда он обманывается в своих надеждах, он чувствует острую обиду, а когда на него неожиданно сваливается удача, он чувствует прилив радости. Но не существует никакого особого трепета или зуда, которые мы называем "чувством тщеславия". В самом деле, если бы существовало особое и узнаваемое чувство такого рода и тщеславный человек постоянно бы его испытывал, то он бы первым, а не последним узнал, насколько он тщеславен.

Возьмем еще один пример. Человек интересуется символической логикой. Он регулярно читает книги и статьи по этому предмету, обсуждает их, разрабатывает затронутые в них проблемы и пренебрегает лекциями по другим предметам. Поэтому в соответствии с оспариваемой здесь точкой зрения он должен постоянно испытывать импульсы особого рода, а именно чувства интереса к символической логике, и если его интерес очень силен, то эти чувства должны быть очень острыми и частыми. Поэтому он должен быть в состоянии рассказать нам, являются ли эти чувства внезапными, словно приступы острой боли, или постоянными, словно тупая ноющая боль; следуют ли они одно за другим в пределах минуты или только несколько раз в час, и чувствует ли он их у себя в пояснице или же во лбу. Но очевидно, что единственным ответом на подобные вопросы был бы тот, что он не испытывает никакого особого трепета или приступов тогда, когда занимается этим своим хобби. Он может рассказать о чувстве досады, когда мешают его занятиям, и о чувстве облегчения, когда его оставляют в покое; но не существуют никаких особенных чувств интереса к символической логике, о которых он мог бы поведать. Когда ему ничто не мешает заниматься своим хобби, никакие чувства его вообще не беспокоят.

Допустим, однако, что такие чувства неожиданно возникают, скажем каждые две или каждые двадцать минут. Но мы все равно должны ожидать, что застанем его за изучением логики и в интервалах между этими событиями, и, чтобы не погрешить против истины, мы должны будем сказать, что он обсуждал и изучал предмет из интереса к нему. Отсюда следует вывод, что делать нечего, исходя из некоторого мотива, можно и не испытывая при этом никаких особенных чувств.

Конечно, стандартные теории мотивов не столь прямолинейны, чтобы говорить о приступах, зуде и трепете. Они более спокойно повествуют о вожделениях, импульсах или побуждениях. Тогда получается, что существуют еще чувства желаний, а именно те, которые мы называем "стремлениями", "страстными желаниями" и "непреодолимыми желаниями". Поэтому направим обсуждение по этому руслу. Одно ли и то же — быть заинтересованным символической логикой и быть подверженным или склонным к переживанию чувства особых

стремлений, терзаний или страстных желаний? И включает ли в себя работа над символической логикой из интереса к ней чувство непреодолимого желания перед началом каждого этапа работы? Если дается утвердительный ответ, тогда не может быть ответа на вопрос: "Руководствуясь каким мотивом, изучающий работает над предметом в перерывах между приступами непреодолимого желания?" А если, говоря, что его интерес был велик, иметь в виду, что предполагаемые чувства были острыми и возникали часто, то мы пришли бы к абсурдному следствию: чем сильнее человека интересует предмет, тем больше его внимание отвлекается от него. Назвать чувство или ощущение "острым" значит сказать, что на него трудно не обратить внимание, а обратить внимание на какое-то чувство — не то же самое, что обратить внимание на проблему символической логики.

А раз так, то мы должны отвергнуть вывод из аргументации, пытавшейся показать, что слова, описывающие мотивы, суть названия чувств или, иначе, склонностей испытывать чувства. Но что именно в этой аргументации делает неверным такое заключение?

Имеется по крайней мере два совершенно различных смысла, в которых говорят, что событие "объясняется", и, соответственно, по меньшей мере два совершенно различных смысла, в которых мы спрашиваем, "почему" событие произошло, а также и два совершенно различных смысла, в которых мы говорим, что это случилось "потому, что" то-то и то-то стало его причиной. Первый смысл — каузальный. Спросить, почему стакан разбился, значит спросить, что стало тому причиной, и мы в этом смысле объясняем, когда говорим: потому что в него попал камень. Это "потому, что" при данном объяснении сообщает о событии, а именно о том событии, которое относится к разрушению стакана как причина к следствию.

Но очень часто мы ищем и находим объяснение случившемуся в другом смысле слова "объяснение". Мы спрашиваем, почему стакан разлетелся вдребезги при ударе о камень, и получаем ответ: это произошло потому, что стакан был хрупким. В данном случае "хрупкий" является диспозициональным прилагательным; иначе говоря, описание стакана в качестве хрупкого означает выдвижение общего гипотетического утверждения о стакане. Так что, когда мы говорим, что стакан разбился от удара, потому что был хрупким, выражение "потому что" не сообщает о происшествии или о причине; оно задает законоподобное утверждение. Обычно говорят, что эти объяснения второго типа предоставляют "основание" для разрушения стакана при ударе по нему.

Как же работает такое общее законоподобное утверждение? В кратком виде это выглядит так: *если* стакан резко ударить, сдавить и т. д., *то* он отнюдь не растворится, не расплывется и не испаряется, но именно разлетится на куски.

Сам факт, что стакан в известный момент разлетается на куски после удара о конкретный камень, получает свое объяснение в этом смысле слова "объяснение", если первое событие, а именно удар о камень, соответствует той части общего гипотетического утверждения, которая содержит условие, а второе событие, а именно разрушение стакана, соответствует его выводу.

Сказанное можно применить для объяснения действий, проистекающих из определенных мотивов. Когда мы спрашиваем "Почему некто поступил именно таким образом?", то этот вопрос может быть (насколько позволяет языковая форма его выражения) либо исследованием причины подобного действия данного лица, либо исследованием характера действующего, которое объясняет сделанное им на этом основании. Я полагаю и попытаюсь это обосновать, что объяснения посредством мотивов являются объяснениями второго типа, а не первого. Возможно, это больше чем просто лингвистический факт, что о человеке, рассказывающем о мотивах содеянного, на обиходном языке говорят, что он подводит "основание" под свои действия. Следует также заметить, что существует множество различных видов подобных объяснений человеческих действий. Судорожное подергивание может объясняться рефлексом, набивание курительной трубки — закоренелой привычкой, ответ на письмо — каким-то мотивом. Некоторые различия между рефлексами, привычками и мотивами будут описаны позже.

Теперь же вопрос состоит в следующем. Утверждение "Он хвастался из тщеславия" можно, с одной точки зрения, истолковать так: "Он хвастался, и причина его хвастовства заключается в охватившем его специфическом чувстве или импульсе хвастовства". С другой точки зрения, его можно истолковать следующим образом: "Он хвастался при встрече с незнакомцем, и его действие, таким образом, удовлетворяет законоподобному утверждению, что всякий раз, когда он получает шанс вызвать восхищение и зависть других, он делает все, что, как он думает, сможет вызвать такие удивление и зависть".

Мой первый аргумент в пользу второго способа истолкования такого рода утверждений состоит в том, что никто и никогда не мог бы знать или даже, как правило, обоснованно предполагать, что причиной чьего-то публичного действия стало возникновение в нем некоего чувства. Даже если сам действующий сообщил (чего люди никогда не делают), что он испытал зуд тщеславия как раз перед тем, как начать хвастаться, это было бы очень слабым доказательством того, что этот зуд стал причиной действия, поскольку, судя по всему, что нам известно, причиной здесь могло послужить любое другое из тысячи одновременно происходящих событий. С этой точки зрения ссылка на мотивы была бы недоступна для какой-либо непосредственной проверки, и ни один благоразумный человек не стал бы полагаться на такого рода ссылки. Это было бы похоже на прыжок в воду там, где нырять запрещено.

На самом же деле нам все-таки доступны для понимания мотивы других людей. Процесс их раскрытия не застрахован от ошибок, но это ошибки не из числа неустранимых. Именно индуктивный или подобный ему процесс приводит к выдвижению законоподобных утверждений и предъявлению их в качестве "оснований" для конкретных действий. То, что выдвигается в каждом отдельном случае, представляет собой или включает в себя общее гипотетическое утверждение определенного вида. Вменение мотива конкретному действию — это не каузальное заключение к ненаблюдаемому событию, но подведение высказывания о каком-то эпизоде под законоподобное высказывание. Следовательно, это аналогично объяснению действий и реакций на основе привычек и рефлексов или объяснению разрушения стакана ссылкой на его хрупкость.

Способ, каким человек узнает о своих собственных устойчивых мотивах, тот же самый, что и тот, каким он узнает о мотивах других людей. Количество и качество доступной ему информации различно в двух этих случаях, но суть их, в общем, одна и та же. Правда, человек обладает запасом воспоминаний о своих прошлых поступках, мыслях, фантазиях и чувствах; он может проводить эксперименты, воображая себя лицом к лицу с задачами и возможностями, которых на самом деле не было. Таким образом, он может опираться в оценке своих собственных постоянных наклонностей на данные, которых ему недостает для оценки наклонностей окружающих. С другой стороны, его оценка собственных наклонностей вряд ли будет беспристрастной, и у него нет преимуществ при сравнении собственных действий и реакций с действиями и реакциями других. Вообще мы думаем, что непредвзятый и проникательный наблюдатель лучше судит о подлинных мотивах какого-то человека, а также о его привычках, способностях и слабостях, чем сам этот человек. Данная точка зрения прямо противоположна по отношению к теории, которая полагает, что действующий субъект обладает Привилегированным Доступом к так называемым побудительным причинам своих действий и благодаря такому доступу он способен и обязан без всяких умозаключений и исследований понимать, по каким мотивам он склонен действовать или действовал в том или ином случае.

Позже (в Главе V) мы увидим, что человек, который делает что-нибудь или подвергается чему-нибудь и отслеживает то, что делает или чему подвергается, как правило, может ответить на вопросы о происходящем с ним, не прибегая к исследованию или умозаключениям. Но то, что позволяет ему давать готовые ответы такого рода, может и часто позволяет и окружающим его людям давать такие же готовые ответы. Ему нет нужды быть детективом, но и им тоже не нужно заниматься расследованиями.

Другой аргумент в поддержку этого тезиса. В ответ на вопрос, чем он занят, человек мог бы сказать, что он копается в канаве для того, чтобы найти личинки определенного вида насекомого; что он ищет эти личинки для того, чтобы уз-

нать, на какой фауне или флоре они паразитируют; что он пытается узнать, на чем они паразитируют, для того, чтобы проверить определенную экологическую гипотезу; и что он хочет проверить эту гипотезу для того, чтобы проверить некоторые гипотезы, относящиеся к механизмам естественного отбора. На каждой стадии своего ответа он говорит о мотиве или основании для проведения определенных исследований. И каждое последующее основание, которое он выдвигает, относится к более высокому уровню общности, чем предыдущее. Он подводит один мотив под другой примерно так же, как более частные законы подводят под более общие. Он не выстраивает хронологической последовательности все более ранних стадий, хотя, конечно, он мог бы это сделать, если бы ему задали совершенно другой вопрос: "Что впервые заинтересовало его в этой проблеме? А в той?"

В случае любого действия как такового, по отношению к которому естественно задать вопрос "Исходя из какого мотива оно было совершено?", всегда может оказаться, что оно было совершено не по какому-то мотиву, а в силу привычки. Что бы я ни делал или говорил, всегда можно себе представить, хотя почти всегда это будет ложно, что я делал или говорил это совершенно бессознательно. Мотивированное выполнение действия отличается от исполнения его по привычке, но содержание этих действий может быть одним и тем же. Тогда сказать, что действие было совершено в силу привычки, значит сказать, что оно объясняется специфической диспозицией. Никто, я уверен, не думает, что "привычка" — это наименование особого внутреннего события или класса событий. Вопрос, совершалось ли действие по привычке или по доброте душевной, таким образом, означает вопрос о том, какая из этих двух специфических склонностей объясняет данное действие.

И, наконец, мы должны обсудить, с помощью каких критериев нам следует пытаться решать спор о мотиве, исходя из которого человек что-либо совершил. Например, человек оставил хорошо оплачиваемую работу ради сравнительно скромного поста в правительстве из патриотизма или из-за желания освободиться от военной службы? Мы сначала, наверное, спросим его самого, но весьма вероятно, что его ответ нам или себе самому при такой постановке вопроса такого рода будет неискренним. Затем мы можем попытаться, необязательно безуспешно, разрешить дилемму, рассмотрев, согласуются ли его слова, действия, замешательства и т. д. в этом и других случаях с той гипотезой, что он по природе робок и питает отвращение к строгой дисциплине, или же с другой гипотезой — что он сравнительно равнодушен к деньгам и пожертвовал бы чем угодно, лишь бы способствовать победе в войне. То есть мы попытаемся принять решение, привлекая к обсуждению релевантные черты его характера. Применяя затем полученные результаты к его конкретному решению, то есть объясняя, почему он его принял, мы не станем требовать, чтобы он припомнил коле-

бания, трепет, возбуждение, которые он испытал при его принятии; не станем мы и делать умозаключений о том, что все это имело место. Есть особая причина, чтобы не уделять пристального внимания чувствам человека, чьи мотивы исследуются, а именно та, что мы знаем цену горячим и часто переживаемым чувствам сентиментальных людей, чьи реальные поступки совершенно ясно свидетельствуют, что, допустим, их патриотизм является всего лишь самоутешительным притворством. Их сердца, как и положено, наполняются тревогой, когда они слышат об отчаянном положении их страны, но аппетита при этом они не теряют, не меняется и заведенный порядок их жизни. Грудь из вздымается при виде церемониального марша, но сами они не торопятся маршировать. Они скорее похожи на театралов и читателей романов, которые ведь тоже ощущают неподдельные угрызения совести, пыл, трепет и приступы отчаяния, негодование, радость и отвращение, — с той лишь разницей, что театралы и читатели романов сознают, что все это происходит «понарошку».

В таком случае сказать, что определенный мотив является чертой чьего-то характера, значит сказать, что этот человек склонен действовать определенным образом, строить определенного сорта планы, предаваться грезам определенного рода, а также, конечно, в определенных ситуациях испытывать определенного вида чувства. Заявить, что он совершил нечто, исходя из этого мотива, значит сказать, что данное действие, совершенное при обычных для него конкретных обстоятельствах, как раз и явилось тем действием, к совершению которого у него была склонность. Это все равно что сказать: "Он, бывало, делал это".

(3) НАКЛОННОСТИ *VERSUS* ВОЗБУЖДЕНИЯ

От склонностей существенно отличаются состояния сознания, или настроения, при которых человек описывается как возбужденный, обеспокоенный, смущенный или огорченный. Состояния тревоги, испуга, потрясения, волнения, содрогания, изумления, неопределенности, смятения и раздражения являются хорошо известными признаками возбуждения. Они суть состояния душевные волнения, уровень которых обычно характеризуются степенями интенсивности. По отношению к ним имеет смысл говорить, например, что человек слишком взволнован, чтобы думать или действовать последовательно, слишком поражен чем-то, чтобы произнести хоть слово, или слишком возбужден, чтобы сосредоточиться. Когда про людей говорится, что они лишились дара речи от изумления или скованы ужасом, то такое специфическое возбуждение описывается как крайне сильное.

Это само по себе уже отчасти указывает на различие между склонностями и возбуждениями. Абсурдно говорить, что интерес человека к символической логике был настолько неистовым, что он не мог сосредоточиться на занятиях

ею, или же что некто был до того патриотичным, что не был в состоянии что-либо сделать для своей страны. Наклонности — это не расстройства, поэтому они не могут быть яростными или умеренными. О человеке, чьим доминирующим мотивом является филантропия или тщеславие, нельзя сказать, что он расстроен или огорчен филантропией или тщеславием, так как он вообще в этом смысле не обеспокоен и не расстроен. Он просто предан этому. Филантропия и тщеславие — это не ураганы и не порывы ветра.

Как следует из самих слов "расстройство" и "смятение", люди в этих состояниях, используя рискованную метафору, подвергаются действию каких-то противостоящих им сил. Можно выделить два основных рода таких конфликтов, а именно: когда одна наклонность идет вразрез с другой, и когда какая-то наклонность натывается на суровую действительность мира. Тот человек, который одновременно мечтает о сельской жизни и хочет сохранить то положение, которое требует его проживания в городе, балансирует между противоположными склонностями. Желания человека, который хочет жить, но умирает, пресекаются силой непреодолимых обстоятельств. Эти примеры обнаруживают важную черту волнений, а именно ту, что они предполагают существование наклонностей, которые сами по себе не являются волнениями, — примерно так же, как водоворот предполагает течение, каковое само по себе не является водоворотом. Водоворот — явление, обусловленное препятствием или столкновением, скажем, двух течений или течения и скалы; возбуждение требует существования двух склонностей или склонности и внешнего препятствия. Горе есть особого рода аффект, вызываемый смертью; неизвестность — своего рода надежда, к которой примешивается страх. Чтобы испытывать колебания между патриотизмом и честолюбием, человек должен быть вместе и патриотичным, и честолюбивым.

Юм, вслед за Хатчесоном, отчасти понимал различие между наклонностями и возбуждениями, когда он отмечал, что некоторым "страстям" присуще спокойствие, тогда как другим — неистовство. Он заметил также, что спокойная страсть может "победить" неистовую. Но его антитеза "спокойного" и "неистового" предполагает простое различие в степени между двумя явлениями одного рода. На самом же деле наклонности и возбуждения — явления разного рода. Возбуждения могут быть неистовыми или умеренными, а наклонности нет. Наклонности могут быть относительно сильными или относительно слабыми, но это различие не в степени производимого расстройства, но в степени действительности, каковое представляет собой уже совершенно другой вид отличия. Словом "страсть" Юм обозначал явления по крайней мере двух несопоставимых типов.

Когда человека описывают и как очень жадного, и в то же время как заядлого садовода, то отчасти это означает, что первый движущий им мотив сильнее второго в том смысле, что его внутренние и внешние устремления в гораздо

большей степени направлены на обогащение, чем на садоводство. Кроме того, в ситуации, когда для украшения сада надо пойти на известные расходы, он, скорее всего, пожертвует орхидеями ради сохранения своих денег. Но можно сказать еще больше. Чтобы человека можно было описать как очень жадного, необходимо доминирование этой предрасположенности над всеми или почти всеми прочими его наклонностями. Даже описание его как заядлого садовода указывает, что этот мотив доминирует над большинством других его склонностей. Сила мотивов — это их сравнительная сила *vis-a-vis* к какому-то иному специфическому мотиву, или вообще к любому другому мотиву, или к большинству других мотивов. Они определяются отчасти по тому, как человек распределяет свою внутреннюю и внешнюю активность, а отчасти (что относится к особым случаям того же самого) по результатам конкуренции между его наклонностями, когда обстоятельства вызывают такое соперничество — т. е. когда он не может одновременно делать два дела, к которым испытывает склонность. В самом деле, сказать, что его мотивы имели такую-то и такую-то силу, означает просто, что он, наверное, распределил свою деятельность таким-то и таким-то образом.

Иногда отдельный мотив настолько силен, что он всегда или почти всегда подчиняет себе все другие мотивы. Скряга или святой, быть может, пошли бы на любые жертвы, включая и саму жизнь, лишь бы не потерять то, что они ценят больше всего. Такой человек, если бы только мир любезно ему позволил, никогда бы всерьез не волновался и не расстраивался, поскольку никакая другая склонность не была бы достаточно сильна, чтобы вступить в конкуренцию или в конфликт с его сокровенным вождением. Разлад с самим собой был бы для него невозможен.

Ныне одно из самых расхожих употреблений слов "эмоция", "эмоциональный", "растроганный" и т. д. применяется для описания возбуждений или других настроений, в которых люди время от времени пребывают или каковым они подвержены. Под "очень эмоциональным человеком" обычно подразумевается человек, который часто и основательно "теряет голову", мечется и суетится. Если, по каким бы то ни было причинам, такое словоупотребление принимается в качестве стандартного или подлинного смысла слова "эмоция", тогда мотивы и наклонности оказываются вообще не эмоциями. Тщеславие не будет эмоцией, хотя досада будет таковой, интерес к символической логике — не эмоция, хотя скука от остальных занятий будет ею. Но было бы бесполезно пытаться избавиться от двусмысленности слова "эмоция", так что предпочтительнее говорить, что мотивы, если угодно, являются эмоциями — только не в том же самом смысле, в котором таковыми являются волнения.

Мы должны различать между двумя разными способами употребления таких слов, как: "озабоченный", "возбужденный" и "смущенный". Иногда мы используем их для обозначения преходящих настроений, например когда гово-

рим, что кто-то был смущенным несколько минут или пребывал озабоченным в течение часа. Иногда мы используем их для обозначения восприимчивости к определенному настроению, например когда говорим, что кого-то смущают похвалы, то есть, всякий раз как его хвалят, он смущается. Точно так же "ревматиком" иногда считается "страдающий от приступа ревматизма", иногда "склонный к приступам ревматизма"; а "дождливая Ирландия" может означать, что в настоящее время там хлещет ливень или что ливни там — обычное дело. Ясно, что восприимчивость к специфическим волнениям имеет общую основу с наклонностями, а именно что они вместе суть общие предрасположенности, а не события. Тревога за исход войны или скорбь по умершему другу могут сопровождать человека месяцами или годами. Ибо он продолжает тревожиться или горевать.

Сказать, что человек на протяжении дней или недель оставался раздосадованным критикой в свой адрес, еще не означает, что в каждый момент этого времени он пребывал в таком настроении, что его обида и раздражение постоянно сказывались на его мыслях и поступках, или что он выказывал чувство негодования. Ведь у него время от времени появлялось настроение и поесть, и заняться своими делами, и поиграть в привычные игры. Но это означает, что он склонен снова погружаться в это настроение; он продолжает находиться в таком расположении сознания, в котором он не может прекратить сетовать на допущенную к нему несправедливость; не может не мечтать о реабилитации и реванше; не может всерьез постараться понять мотивы своего критика или признать, что у этой критики были какие-то основания. А сказать, что он продолжает вновь и вновь впадать в это расположение духа, значит описывать его на языке диспозиций. Когда восприимчивость к специфическим настроениям становится хронической, это уже — черта характера.

Но о какого рода описаниях идет речь, когда мы говорим, что некто в определенное время, в течение более-менее краткого или продолжительного периода переживает в определенном настроении? Отчасти ответ на это будет дан в четвертом разделе данной главы. Здесь же достаточно сказать, что, хотя настроения, подобно болезням и состояниям погоды, являются сравнительно краткосрочными состояниями, они не представляют собой определенных событий, хотя и проявляются в определенных событиях.

Из того факта, что человек в течение часа страдал несварением желудка, не следует, что он на протяжении этого часа чувствовал одну сплошную боль или серию коротких приступов боли; может быть, он вообще не чувствовал никаких болей. Так же из этого не следует, что он чувствовал тошноту, отвергал пищу или выглядел бледным. Достаточно того, что те или иные из этих или подобных им явлений имели место. Нет такого отдельного и единственного эпизода, присутствие которого было бы необходимым условием ощущения расстройства желудка. Поэтому "расстройство желудка" не обозначает какого-то

единственного в своем роде эпизода. Точно так же угрюмый или веселый человек может высказывать или не высказывать определенные мысли, говорить определенным тоном, с определенными жестами и выражением лица, предаваться определенным мечтам или проявлять определенные чувства. Чтобы выглядеть угрюмым или веселым, нужны те или иные из этих и других соответствующих действий и реакций, но какое-то одно из них, взятое отдельно, не является необходимым или достаточным условием, чтобы выглядеть угрюмым или веселым. Поэтому слова "угрюмость" или "веселость" не обозначают некоего одно-го специфического действия или реакции.

Быть угрюмым — значит быть в настроении действовать или реагировать тем или иным — трудно уловимым для описания, но легко узнаваемым — характерным образом всякий раз, когда складываются обстоятельства определенного рода. Таким образом, такие описывающие настроение слова, как "спокойный" и "радостный", включая и слова, обозначающие волнение, такие, как "измученный тревогой" и "истосковавшийся по дому", обозначают склонности или подверженности. Даже краткие моменты скандала или паники означают, что человек в это время подвержен совершению такого рода действий, как одупление или пронзительный крик, что он не может закончить фразу или вспомнить, где находится пожарный выход.

Конечно, человеку нельзя приписывать какого-то конкретного настроения, пока не произошло известного количества соответствующих эпизодов. Слова "он цинично настроен", как и "он нервничает", еще не означают "он стал бы ..." или "он не мог бы ...". Это такая же отсылка к действительному поведению, как и упоминание о склонностях; или, скорее, намек на действительное поведение, в котором реализуются такие склонности. Все это вместе объясняет то, что действительно происходит, и оправдывает прогнозы о том, что будет происходить, если ..., или то, что произошло бы, если Это все равно что сказать "Стакан был достаточно хрупким, чтобы разбиться, когда этот булыжник ударил в него".

Однако, несмотря на то, что возбуждения, подобно другим настроениям, являются состояниями подверженности, они не являются предрасположенностями к преднамеренным действиям определенного образа. Женщина в приступе тоски заламывает руки, но мы не говорим, что тоска и есть тот мотив, из-за которого она заламывает руки. Не спрашиваем мы и о предмете, из-за которого человек, смутившись, краснеет, испытывает неловкость или ерзает. Любитель пеших прогулок гуляет потому, что ему этого хочется, но пораженный чем-то человек поднимает в удивлении брови вовсе не потому, что он хочет или намеревается их поднять, хотя актер или лицемер может поднимать брови, желая изобразить крайнее удивление. Смысл этих различий прост. Быть расстроенным — это похоже не на ту ситуацию, когда испытываешь жажду при наличии

питьевой воды, а на ту, когда испытываешь жажду, а воды нет или она грязная. Это желание что-то сделать, не будучи в состоянии это сделать; или желание сделать что-то и одновременно желание не делать этого. Это конъюнкция склонности вести себя определенным образом и запрета на такое поведение. Взволнованный человек не может размышлять о том, что делать, или о том, что думать. Бесцельное или нерешительное поведение, так же как и паралич поведения, суть симптомы возбуждения, тогда как, скажем, шутки являются не симптомами, но проявлениями чувства юмора.

Мотивы, таким образом, не являются возбуждениями, пусть даже и умеренными, так же как возбуждения не являются мотивами. Но возбуждения предполагают мотивы, или, скорее, они предполагают общие тенденции поведения, мотивы которых представляют для нас наибольший интерес. Конфликты одних привычек с другими, или привычек с препятствующими обстоятельствами, или привычек с мотивами — также суть условия душевных смятений. Заядлый курильщик на параде, или при отсутствии спичек, или во время великого поста находится именно в таком положении. Но есть и лингвистическая причина, вызывающая некоторую путаницу. Существует несколько слов, которые обозначают как наклонности, так и возбуждения, кроме того, есть и такие слова, которые никогда ничего другого, кроме возбуждений, не обозначают, а с другой стороны, слова, которые всегда обозначают только наклонности. Такие слова, как "беспокойный", "встревоженный", "страдающий", "возбужденный", "испуганный", всегда обозначают возбуждения. Такие обороты, как "любящий рыбалку", "увлекающийся садоводством", "мечтающий стать епископом", никогда не обозначают волнений. Но слова "любить", "хотеть", "вожделеть", "гордый", "не-терпеливый" и многие другие иногда обозначают простые наклонности, а иногда — возбуждения, которые возникают вследствие столкновения этих наклонностей с чем-то, что препятствует их проявлению. Так, "голодный" в смысле "обладающий хорошим аппетитом" в общих чертах означает: "ест сейчас или ест обычно с большим аппетитом, без всяких соусов и т. д.", но это отличается от смысла, в котором о человеке можно было бы сказать: "слишком голоден, чтобы сосредоточиться на своей работе". Голод в этом втором смысле слова является страданием и требует для своего существования совпадения аппетита с невозможностью принимать пищу. Точно так же смысл, в котором мальчик гордится своей школой, отличается от смысла, в котором он лишается дара речи от чувства гордости при неожиданном известии о зачислении его в школьную спортивную команду.

Чтобы снять возможные недоразумения, необходимо отметить, что не все возбуждения являются неприятными. Люди добровольно подвергают себя неизвестности ожидания, изнурению, неопределенности, растерянности, страху и удивлению в такого рода занятиях, как ужение рыбы, гребля, путешествие,

разгадывание кроссвордов, скалолазание и розыгрыши. То, что волнительный трепет, восторг, удивление, веселье, радость являются возбуждениями, видно из того, что мы говорим о ком-то, что он слишком заведен, изумлен или обрадован, чтобы действовать, мыслить или говорить связно и последовательно. То есть мы описываем его впавшего в эти состояния в смысле "возбужденности", а не как движимого некоей мотивацией в смысле "стремящегося сделать либо добиться чего-нибудь".

(4) НАСТРОЕНИЯ

Обычно мы описываем людей как пребывающих в определенное, более или менее продолжительное, время в определенном настроении. Например, мы говорим, что человек огорчен, счастлив, необщителен или неугомонен и остается таковым уже в течение нескольких минут или нескольких дней. Только в том случае когда некое является хроническим, мы используем обозначающие его слова для описания характера. Сегодня человек может быть настроен меланхолично, хотя он и не меланхолик.

Говоря, что он пребывает в определенном настроении, мы высказываем нечто довольно общее; не то, что он все время или же часто делает или чувствует что-то одно, но то, что он находится в определенной установке сознания, чтобы говорить, делать и чувствовать великое множество самых разнообразных свободно соединяющихся вещей. Человек в легкомысленном настроении склонен чаще обычного шутить и смеяться над шутками окружающих, решать без надлежащего рассмотрения важные деловые вопросы, самозабвенно предаваться детским играм и так до бесконечности.

Сиюминутное настроение человека — вещь иного рода, нежели мотивы, которые им движут. Мы можем говорить о его амбициозности, лояльности по отношению к своей партии, гуманности, интересе к энтомологии, а также о том, что в известном смысле он и есть все это сразу и вместе. Но нельзя говорить, что эти склонности являются синхронными событиями или состояниями, поскольку они вообще не события и не состояния. Но если бы возникла ситуация, при которой он мог бы одновременно и продвинуться в своей карьере, и оказать содействие своей партии, он, скорее всего, сделал бы и то, и другое, а не что-то одно.

Напротив, настроения ведут себя как монополисты. Сказать, что человек пребывает в каком-то одном настроении, значит сказать (за исключением комплексных настроений), что он не пребывает ни в каком другом. Быть в настроении действовать или реагировать определенным образом также означает не быть в настроении действовать или реагировать всеми прочими способами. Настроенный поболтать не склонен читать, писать или косить лужайку. Мы говорим о настроениях в терминах, подобных или же прямо заимствованных из

тех, в которых мы говорим о погоде, а о погоде мы иногда говорим в терминах, позаимствованных из языка, описывающего настроения. Мы не вспоминаем о настроении или погоде, пока они не начинают меняться. Если сегодня здесь ливень, то это означает, что сегодня здесь не моросит. Если Джон Доу вчера вечером был угрюм и замкнут, то это значит, что вчера вечером он не был веселым, грустным, безмятежным или общительным. Далее, примерно так же как утренняя погода в данной местности одна и та же во всей окрестности, так и человеческое настроение на протяжении данного периода времени окрашивает все или большинство его действий и реакций в течение этого времени. Его работа и игра, его разговоры и выражение лица, его аппетит и грезы – на всем этом отражается его обидчивость, веселость или уныние. Любое из перечисленного может служить барометром для всего остального.

Слова, означающие настроения, описывают краткосрочную тенденцию, но они отличаются от слов, описывающих мотив, не только краткостью срока их применения, но и их использованием при характеристике тотальной "направленности" человека в течение этого короткого срока. Приблизительно так же как корабль, идущий на юго-восток, качается и вибрирует весь целиком, так и человек весь целиком бывает нервным, безмятежным или угрюмым. Соответственно, он будет склонен воспринимать весь мир как угрожающий, благоприятный или мрачный. Если он весел, то и все вокруг кажется ему более радостным, чем обычно; а если он мрачен, то не только тон его начальника и узелки на его собственных шнурах кажутся несправедливостью по отношению к нему, но и все остальное представляется ему в том же свете.

Обозначающие настроения слова обычно классифицируют как названия чувств. Но если слово "чувство" употреблять сколь-нибудь строго, то такая классификация будет совершенно ошибочной. Сказать, что человек счастлив или недоволен, не значит просто сказать, что он часто или постоянно трепещет или терзается. В самом деле, сказав так, мы ничего не получим, поскольку мы не обязаны брать назад наше утверждение, услышав, что человек не испытал такого рода чувств, и мы не обязаны признавать, что он был счастлив или недоволен, только лишь на основании его признания, что он испытывал трепет или терзания часто и остро. Они могут быть симптомами несварения желудка или интоксикации.

Чувства в строгом смысле этого слова суть нечто такое, что приходит и уходит, накатывается и спадает в считанные секунды; они бывают острыми или ноющими, они охватывают нас целиком или же лишь отчасти. Жертва чувств может сказать, что продолжает ощущать покалывания или что они происходят с достаточно длинными интервалами. Никто не стал бы говорить о своем счастье или неудовольствии в подобных выражениях. Человек говорит, что чувствует себя счастливым или недовольным, но не сообщает, что продолжает

чувствовать или постоянно чувствует себя счастливым или недовольным. Если у человека настолько жизнерадостный характер, что, натолкнувшись на резкую отповедь, он не повергается в горестное оцепенение, то он и не подвержен чувствам до такой степени, чтобы утратить способность думать о чем-то, в том числе и об этой резкой отповеди; наоборот, такой человек больше, чем обычно, владеет своими мыслями и поступками, включая и мысли о резкой сентенции. Мысли о ней занимают его не больше, чем это обычно свойственно его размышлениям.

Основных мотивов для отнесения настроений к чувствам было, по-видимому, два. (1) Теоретики были вынуждены включить их в один из трех допустимых для них классификационных ящиков: Мысль, Волю и Чувство. И поскольку настроения не подпадали под первые два, то их надо подогнать под третий. Мы не станем тратить время на разбор этого мотива. (2) Человек в ленивом, фривольном или подавленном настроении может идиоматически вполне корректно обозначить свою структуру сознания, сказав "я чувствую лень", или "я начинаю чувствовать себя фривольно", или "я по-прежнему чувствую себя подавленным". Как же могут такого рода выражения быть идиоматически корректными, если они не сообщают о чувствах как о неких событиях? Если фраза "я чувствую покаяние" сообщает о чувстве покаяния, то как может фраза "я чувствую себя энергичным" избегать сообщения о чувстве энергии?

Но в данном примере начинает выявляться, что данный аргумент звучит неправдоподобно. Очевидно, что энергия — это не чувство. Подобным же образом если пациент говорит "я чувствую себя больным" или "я чувствую себя лучше", то ведь никто из-за этого не станет относить болезнь или выздоровление к чувствам. "Он чувствовал себя тупым", "способным залезать на деревья", "в полуобморочном состоянии" — вот другие случаи применения глагола "чувствовать", где винительный падеж при данном глаголе не является наименованием чувств.

Прежде чем вернуться к рассмотрению связей глагола "чувствовать" со словами, описывающими настроения, мы должны рассмотреть некоторые различия между такого рода признаниями, как "я чувствую щекотку" и "я чувствую себя больным". Если человек чувствует щекотку, то ему щекотно, а если ему щекотно, то он и чувствует щекотку. Но если он чувствует себя больным, то он может и не быть больным, а если он болен, то он может и не чувствовать себя таковым. Без сомнения, ощущение себя больным до некоторой степени свидетельствует о том, что человек болен, но ощущение щекотки не является для человека свидетельством того, что ему щекотно, во всяком случае не больше, чем нанесение удара является свидетельством того, что удар имел место. Во фразах "чувствовать щекотку" и "наносить удар" "щекотка" и "удар" являются аккузативами¹, однородными по отношению к глаголам "чувствовать" и "ударять". Глагол и его

¹ Дополнениями винительного падежа. — Прим. ред.

аккузатив суть два выражения для одного и того же, как, например, глаголы и их аккумулятивы в выражениях "я грезил грезу" и "я спросил вопрос".

Но "больной" и "способный лазить по деревьям" не являются однородными аккумулятивами к глаголу "чувствовать"; поэтому грамматически они не связываются с обозначением чувств так же, как "щекотка" в грамматике связывается с обозначением чувства. Это видно на другом, чисто грамматическом примере. Безразлично, скажем ли мы "я чувствую щекотку" или "я претерпеваю щекотку"; но "я претерпеваю ..." не может быть дополнено "...больным", "...способным лазить по дереву", "...счастливым" или "...недовольным". Если мы попытаемся восполнить вербальные параллели привлечением соответствующих абстрактных существительных, то обнаружим еще большую несовместимость. Фразы "я чувствую счастье", "я чувствую болезнь" или "я чувствую способность лазить по дереву" если что-нибудь и обозначают, то совсем не то, что обозначается фразами "я чувствую себя счастливым, больным или способным лазить по дереву".

С другой стороны, кроме данных отличий между различными употреблениями выражения "я чувствую..." существуют также и важные аналогии. Если человек говорит, что он испытывает щекотку, мы не требуем от него доказательств или того, чтобы он вполне убедился в этом. Сообщение о щекотке не является объявлением о результатах некоего исследования. Щекотка не есть нечто такое, что устанавливается тщательными свидетельствами или о чем заключают на основании улики. Не станем мы также приписывать особую наблюдательность или способность к рассуждению тем людям, которые сообщают нам, что они чувствуют щекотку, покалывание или дрожь. То же самое относится и к сообщениям о настроениях. Если человек говорит "я чувствую скуку" или "я чувствую себя подавленным", мы не просим от него доказательств этого и не требуем, чтобы он более точно удостоверился в этом. Мы можем обвинить его в притворстве перед нами или перед самим собой, но не в том, что он невнимательно наблюдал или поспешил с выводами, поскольку мы не считаем такое сообщение отчетом о его наблюдениях и умозаключениях. Он не был в этом деле плохим или хорошим детективом — он вообще не вел никакого расследования. Нас крайне удивили бы его слова, сказанные осторожным и рассудительным тоном детектива, наблюдателя-микроскописта или диагноста: "я чувствую себя подавленным". Между тем подобный тон голоса вполне уместен в высказываниях "я испытывал чувство подавленности" и "он чувствует себя подавленным". Чтобы такое признание отвечало своему назначению, оно должно произноситься подавленным тоном; его можно обронить кому-то, кто тебе сочувствует, а не докладывать некоему исследователю. Признание "я чувствую себя подавленным" создает одну из тех ситуаций, а именно разговорных ситуаций, которую и должна создавать подавленность в качестве настроения. Это не

выдвижение наукообразной предпосылки, а частица разговорного проявления хандры. Вот почему, если что-то вызывает у нас в этой ситуации сомнение, мы не спрашиваем "факт или вымысел?", "правда или ложь?", "достоверно или недостоверно", но — "искренне или притворно?". Сообщение о настроении при разговоре требует не пронизательности, но откровенности. Это исходит от сердца, а не от головы. Это не открытие, но добровольная не-сокрытость.

Конечно, люди должны учиться тому, как правильно использовать выражения, содержащие подобные признания, и они могут так и не усвоить этого должным образом. Этому учатся в повседневных обсуждениях настроений других людей, а также черпают это умение из таких более полезных источников, какими являются художественная литература и театр. Но из этих же источников люди узнают, как обманывать себя и других, прибегая к притворным признаниям соответствующим тоном голоса и прочим лицемерным ухищрениям.

Если мы теперь зададимся эпистемологическим вопросом "Каким образом человек узнает, в каком настроении он находится?", то можно ответить, что если он вообще это узнает — чего ведь может и не быть, — то он узнает об этом во многом так же, как узнаем об этом и мы. Как мы уже видели, он вздыхает "я чувствую скуку" не потому, что он вдруг выяснил, что ему скучно — во всяком случае не в большей степени, чем сонный человек зевает, поскольку вдруг узнал, что его одолевает сонливость. Скорее, примерно так же, как сонный человек сознает свою сонливость, помимо всего прочего, потому, что продолжает зевать, так и скучающий человек узнает, что ему скучно — если только ему это нужно узнать, — обнаруживая, помимо прочего, что он угрюмо говорит другим и самому себе "я чувствую скуку", "как же мне скучно". Когда мы роняем такое признание, это служит не просто одним из весьма достоверных показателей в ряду прочих. Это — первейший и наилучший показатель, поскольку он выражен словесно и произвольно, с тем чтобы быть услышанным и понятым. И здесь не требуется проведения никаких изысканий.

В некоторых отношениях такие признания настроений, как "я чувствую себя бодрым", больше похожи на такие сообщения о наличии ощущений, как "я чувствую щекотку", чем на заявления типа "я чувствую себя лучше" или "я чувствую, что способен залезть на это дерево". Точно так же как было бы абсурдом сказать "я чувствую щекотку, но, может быть, мне не щекотно", так и в обычных ситуациях абсурдно прозвучало бы "я чувствую себя бодрым, но, возможно, я и не бодр". Но ничего абсурдного нет в высказываниях "я чувствую себя лучше, но, возможно, мне хуже" или "я чувствую, что способен залезть на дерево, но, может быть, я и не смогу сделать этого".

Это различие можно прояснить и иным образом. Иногда естественно прозвучат фразы "я чувствую, что мог бы съесть лошадь" или "я чувствую себя так, словно моя температура пришла в норму". Но редко, если вообще считать это

естественным, можно услышать: "я чувствую себя так, будто я в унынии" или "я чувствую себя так, будто мне скучно"; это менее естественно, чем при сходных обстоятельствах сказать "я чувствую себя так, будто мне больно". Нам мало что даст углубление в обсуждение того, почему в английском языке глагол "чувствовать" используется этими различными способами. Существует и множество других способов его употребления. Я могу сказать "я почувствовал что-то жесткое в матрасе", "я почувствовал холод", "я почувствовал головокружение", "я чувствовал, что у меня застыли мышцы лица", "я чувствовал, что меня тошнит", "я чувствовал свой подбородок большим пальцем", "я почувствовал, что напрасно ищу рычаг", "я чувствовал, что должно было произойти что-то важное", "я чувствовал, что в доказательстве где-то есть ошибка", "я чувствовал себя как дома", "я почувствовал то, что он сердится". Общая черта большинства из этих способов употребления глагола "чувствовать" состоит в том, что говорящий не предполагает дальнейших вопросов. Они были бы либо вопросами, на которые невозможно ответить, либо вопросами, которые невозможно задать. Того, что он чувствовал нечто, уже вполне достаточно для прекращения каких-либо прений или для понимания того, что таких прений даже и не следует начинать.

Итак, названия настроений не являются названиями чувств. Но пребывать в каком-то конкретном настроении значит, помимо прочего, быть настроенным на переживание определенных чувств в определенных ситуациях. Пребывать в ленивом настроении, кроме всего прочего, означает склонность чувствовать усталость в членах в то время, когда нужно работать; испытывать уютное чувство расслабленности, если есть возможность разлечься в шезлонге; не испытывать чувства азарта в момент начала игры и т. д. Но не об этих чувствах и переживаниях думаем мы в первую очередь, когда говорим, что испытываем чувство лени; на самом деле мы редко обращаем внимание на такого рода ощущения, кроме разве случаев, когда они приобретают особую остроту.

Являются ли названия настроений названиями эмоций? Единственно приемлемый ответ: конечно же, да — в том смысле, в каком некоторые люди иногда используют слово "эмоция". Но затем мы должны добавить, что при таком употреблении невозможно провести грань между эмоцией и размышлением, мечтанием, произвольным действием, гримасничанием или чувством угрызания совести и зудом желаний. Испытывать эмоцию в том смысле, какой мы обычно придаем выражению "быть в состоянии скуки", значит быть настроенным думать об одном и не думать о другом, зевать, а не хихикать, разговаривать не оживленно, но с отчужденной вежливостью, чувствовать вялость, а не прилив сил. Скука — это не какой-то отдельный и различимый ингредиент, декорация или характерная деталь всего, что делает или испытывает ее жертва, скорее это общий вид, который на время принимает вся совокупность действий скучающего

человека. Она не похожа на шквал, солнечный луч, ливень или температуру — она подобна утренней погоде.

(5) ВОЗБУЖДЕНИЯ И ЧУВСТВА

В начале главы я предпринял попытку выявить, что подразумевается под описанием, например, определенного румянца как румянца гордости или некоего приступа как приступа тревоги. Теперь полезно отметить, что слово, дополняющее фразы "угрызения совести из-за ..." или "холодность по причине ...", в большинстве случаев является названием волнения. Я намереваюсь показать, что чувства внутренне связаны с возбуждениями, но не соединены столь же внутренними связями с наклонностями, за исключением случаев, когда наклонности представляют собой факторы возбуждений. Однако я не собираюсь выдвигать новой психологической гипотезы; я только пытаюсь показать, что частью логики нашего описания чувств является то, что они суть именно знаки возбуждений, а не проявления наклонностей.

Мы уже увидели, что многие слова, употребляемые для обозначения чувств, используются также и для обозначения телесных ощущений. Дрожь может быть дрожью ожидания либо телесного изнеможения; человек может поморщиться и от смущения, и от боли в животе. Ребенок иногда не понимает, то ли ком в его горле стоит из-за болезни, то ли потому, что он сильно тоскует о чем-нибудь.

Прежде чем рассматривать нашу специальную проблему: "На основании какого критерия мы определяем некоторые чувства как чувства «удивления» или «отвращения»?" — обсудим предварительный вопрос: "На основании какого критерия мы классифицируем определенные телесные ощущения как, например, приступы зубной боли или приступы дурноты при *mal de mer*?" В самом деле, на основании какого критерия мы правильно или ошибочно локализуем ощущения, в некотором смысле предлога "в", в правом колене или в подложечной области? Ответ заключается в том, что мы учимся локализовать ощущения и ставить им предварительный психологический диагноз опытным путем, обычно подкрепляемым уроками, полученными от других людей. Боль ощущается в том пальце, в котором я вижу иголку; и именно в этом пальце, который облизывают при уколе, боль утихает. Подобным же образом тупая тяжесть, которую я чувствую и локализую в животе, осознается как признак расстройства желудка потому, что она соотносится с потерей аппетита, подверженностью следующей вслед за этим тошноте, а также с облегчением после приема определенных лекарств и наложения грелки. Такие фразы, как "приступ зубной боли", уже содержат каузальную гипотезу, причем эти гипотезы иногда оказываются ошибочными. Раненый солдат может сказать, что он чувствует приступ ревматической боли в правой ноге, тогда как правой ноги у него нет,

а значит, и диагноз "ревматизм" является ошибочным определением боли, которую он испытывает.

Подобно этому, когда человек описывает тревожный озноб или порыв со-страдания, он не просто описывает чувства; он ставит им диагноз, но этот диагноз не формулируется в терминах физиологических нарушений. В некоторых случаях диагноз может быть ложным, человек определит как приступ раскаяния то, что на самом деле является приступом страха, а то что он примет за гнетущее чувство скуки, на деле может оказаться гнетущим чувством собственного бессилия. Он даже может принять за диспепсию чувство, которое на самом деле является признаком крайней обеспокоенности, либо за возбуждение — дрожь, вызванную чрезмерным курением. Естественно, ошибочные диагнозы такого рода чаще присущи детям, чем взрослым, а также людям, попавшим в нестандартные ситуации, чем тем, чья жизнь идет размеренным порядком. Но суть дела здесь заключается в том, что независимо от нашей привязки ощущений к физиологическому состоянию или же к эмоциональному состоянию мы применяем при этом каузальную гипотезу. Боль, стоит ей появиться, уже признается, допустим, "ревматической", а трепет, как он только возникает, уже рассматривается как трепет "сострадания".

Далее, было бы абсурдом говорить, что кто-то испытывает ощущение или чувство целенаправленно; или выпытывать у кого-нибудь, для чего тот испытывал приступ боли. Правильнее объяснять возникшее ощущение или чувство, говоря, например, что электрический ток вызвал у меня ощущение покалывания или что звук сирены вызвал неприятное чувство в животе, — при этом нет никаких ссылок на мотивы для чувства покалывания или дискомфорта. Иначе говоря, чувства не относятся к числу тех вещей, по поводу которых можно осмысленно вопрошать, какими мотивами они вызваны. То же самое и по аналогичным причинам справедливо и для других признаков возбуждений. Ни приступы боли, ни содрогания, ни чувство неловкости, ни чувство и вздохи облегчения не относятся к тому, что я делаю сознательно. Следовательно, они также не являются тем, о чем можно сказать, что я делаю это разумно или глупо, успешно или безуспешно, старательно или небрежно — или же что я вообще это делаю. Они не являются также и тем, что удастся хорошо или плохо. Они вообще не управляются, хотя содрогания актера и вздохи лицемера могут удаваться и управляться лучше или хуже. Было бы нонсенсом говорить, что некто пытается ощутить приступ боли, хотя имеет смысл высказывание о том, что некто пытался вызвать его.

Отсюда следует, что мы были правы, предположив выше, что чувства напрямую не относятся к простым наклонностям. Наклонность — своего рода расположенность или готовность преднамеренно совершать определенные поступки. Поэтому такие поступки описываются как совершенные на основании тако-

го-то мотива. Они суть проявления той диспозиции, которую мы называем "мотивом". Чувства проистекают не из мотивов и потому не относятся к возможным проявлениям такого рода предрасположенностей. Поэтому широко распространенная теория, будто такие мотивы, как тщеславие или привязанность, являются прежде всего предрасположенностью испытывать определенные специфические чувства, представляется неверной. Разумеется, существуют склонности испытывать те или иные чувства: подверженность головокружениям или ревматизму и есть такого рода склонность. Однако мы не пытаемся нравоучительными поучениями исправлять подобные наклонности.

С чем чувства соотносятся каузально, так это с возбуждениями; они суть признаки возбуждений, точно так же как боли в животе служат признаком расстройства желудка. Грубо говоря, вопреки господствующей теории, мы действуем преднамеренно не потому, что испытываем чувства, а, наоборот, мы испытываем такие чувства, как трепет и содрогание, потому что мы лишены возможности действовать преднамеренно.

Перед тем как оставить этот сюжет нашей общей темы, стоит отметить, что мы можем вызывать в себе самые искренние и сильные чувства, просто представив себя в вызывающих волнение обстоятельствах. Любители романов и театралы испытывают настоящие муки и воодушевление, льют настоящие слезы и неподдельно сердятся. И все же их страдания и негодования поддельны. Они не отбивают аппетита к шоколадкам, не меняют интонации голоса при разговоре. Сентиментальные существа — это такие люди, которые поддаются искусственно вызванным чувствам, не осознавая фиктивности охвативших их возбуждений.

(6) НАСЛАЖДЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ

Слова "удовольствие" и "вожделение" играют большую роль в словаре моральных философов и некоторых школ психологии. Нам важно вкратце указать на некоторые различия между предполагаемой и реальной логикой их употребления.

Прежде всего, по-видимому, обычно предполагается, что слова "удовольствие" и "вожделение" всегда используются для обозначения чувств. И конечно же, существуют чувства, которые могут описываться как чувства удовольствия и вожделения. Иногда возбуждение, потрясение, оживленность, смешливость указывают на чувства восторга, удивления, воодушевления, веселья, а страстное стремление, терзание, нетерпение и томление служат признаками того, что нечто одновременно и желается, и недоступно. Но душевные порывы, удивление, оживление и страдания, по которым распознаются — правильно или неправильно — данные чувства в качестве их признаков, сами по себе чувствами не являются. Они суть возбуждения или настроения, точно так же как порывы

страдания, которые дети выказывают своими подпрыгиваниями и хныканьями. Ностальгия — это волнение, причем такое, которое в известном смысле можно называть "вождедением"; но это не просто чувство или серия чувств. Тоскующий по родине человек помимо того, что испытывает таковые чувства, не может также не думать и не мечтать о своем родном доме, отвергая все соображения, грозящие продлить его отлучку; при этом его не привлекают даже те развлечения, которым он обрадовался бы в другое время. Если бы он не испытывал этих и подобных им склонностей, то нам не следовало бы называть его тоскующим по родине, о каких бы своих чувствах он ни рассказывал нам.

Далее, слово "удовольствие" иногда употребляется для обозначения особого рода настроений, таких, как восторг, радость и веселье. Соответственно оно употребляется для дополнения описаний некоторых чувств, таких, как дрожь, пыл и трепет. Но существует еще один смысл, в котором мы говорим, например, что человек, который настолько поглощен неким занятием, например гольфом или спором, что ему тяжело оторваться или даже подумать о чем-нибудь еще, — что он "получает удовольствие" или "наслаждение", делая то, что он делает, хотя он ни в коей мере не трепещет и не выходит из себя, а следовательно, и не испытывает каких-то особенных чувств.

Несомненно, глубоко увлеченного игрока в гольф нередко кидает в дрожь и жар восторга, по ходу игры он испытывает возбуждение и довольство собой. Но если спросить у него, получал ли он удовольствие от игры в промежутках между наплывами этих чувств, то, очевидно, он ответит: да, получал, ибо вся игра была для него удовольствием. Он ни на мгновение не желал бы прерваться, ни разу ни мыслями, ни разговорами он не отвлекся от игры на что-то другое. Он даже не пытался сосредоточиться на игре. Ему не нужно было ни заставлять, ни упрашивать себя, поскольку он был поглощен игрой и без этого. Усилия потребовались бы и, возможно, прилагались бы, если бы нужно было обратить внимание на что-либо иное.

В этом смысле делать что-то с удовольствием, желать делать это и не желать делать ничего другого — это просто разные способы вербального выражения одного и того же. И именно этот лингвистический факт иллюстрирует один важный момент. Страстное стремление не суть то же самое, что трепет или пыл или же вообще не подобно им. Но то, что некто склонен делать, что он делает, и не склонен не делать этого, вполне может обозначаться фразами "он получает удовольствие, делая это" и "он делает то, что хочет делать", а также "он не желает останавливаться". Это — осуществленная предрасположенность действовать и реагировать должным образом там, где на эти действия и реакции обращается внимание.

Отсюда видно, что слово "удовольствие" может использоваться для обозначения по крайней мере двух совершенно разных вещей.

(1) Есть такой смысл этого слова, который обычно передается глаголами "наслаждаться" и "нравиться". Сказать, что человек наслаждается, копая яму, не означает, что он при копании одновременно совершал или испытывал что-то еще, бывшее результатом этого копания или чем-то ему сопутствующим; сказанное означает, что он копал, целиком поглощенный своим делом, то есть копал, потому что хотел копать, а чего-либо другого делать не желал. Это его копание и явилось осуществлением его предрасположенности. Оно само и было для него удовольствием, а не средством доставить удовольствие.

(2) Существует и такой смысл слова "удовольствие", который обычно передается словами "восторг", "порыв чувств", "восхищение", "ликование" и "радость". Это наименования настроений, обозначающих возбуждения. Выражения "слишком восторжен, чтобы говорить связно" и "без ума от радости" вполне легитимны и правильны. С такого рода настроениями связаны определенные чувства, обычно описываемые как "трепет удовольствия", "пыл удовольствия" и т. д. Следует отметить, что, хотя мы и говорим, что нас охватывает трепет удовольствия или что жар удовольствия согревает наши сердца, мы все же обычно не говорим, что удовольствия охватывают нас или согревают нам сердца. Только теоретики могут до такой степени заблуждаться, чтобы и восторг, и наслаждение классифицировать как чувства. Ошибочность подобной классификации подтверждается теми фактами, что (1) копание с наслаждением не является копанием плюс переживанием некоего приятного чувства и (2) восторг, веселье и т. д. — это настроения, а настроения не есть чувства. О том же говорят и следующие соображения. Относительно любого ощущения или чувства всегда имеет смысл спросить, получал ли их обладатель удовольствие, испытывая их, или же это было неудовольствие, или же ему было безразлично. Большинство ощущений и чувств ни приятны, ни неприятны. Мы лишь в исключительных случаях вообще обращаем на них внимание. Это относится к трепету, дрожи, пылу, а также и к покалыванию. Поэтому, хотя и правомерно описывать то, что почувствовал человек, как трепет удовольствия или, более конкретно, как колки смеха, правомерен также и вопрос, получил ли он удовольствие только от шутки или же еще и от колки смеха, вызванных этой шуткой. И нам не следует удивляться, услышав в ответ, что шутка рассмешила его до такой степени, что ощущение от этих колки было очень неприятным; или услышать от другого человека, кричавшего от горя, что этот крик сам по себе был ему слегка приятен. В четвертом разделе этой главы я обсуждал два основных мотива ошибочной классификации настроений в качестве чувств. Мотивы, по которым "наслаждение" относят к словам, обозначающим чувства, аналогичны, хотя не идентичны, поскольку получение наслаждения не является настроением. Можно только быть или не быть в настроении наслаждаться чем-нибудь.

Сходные соображения, которые нет необходимости здесь подробно развивать, показали бы, что слова "неприятность", "нужда" и "желание" не обозначают приступов боли, зуда или терзаний. (Следует упомянуть, что слово "боль" в том его смысле, в каком я чувствую боли в животе, не противоположно "удовольствию". В этом смысле боль — это только лишь особого рода ощущение, испытывать которое мы, как правило, не любим.)

Таким образом, приязнь и неприязнь, радость и горе, вожелание и отвращение не являются "внутренними" эпизодами, свидетелем которых может быть только их обладатель, но не окружающие его люди. Они вообще не эпизоды, а значит, не относятся к тому сорту вещей, которые могут наблюдаться или не наблюдаться. Разумеется, человек обычно, хотя и не всегда, может сходу, не раздумывая, сказать о том, нравится ему что-то или нет, а также о том, в каком настроении он пребывает в данный момент. Но то же самое могут сделать и его собеседники при условии, что он откровенен с ними, а не кривит душой. Если же он не откровенен ни с ними, ни с самим собой, то и ему, и окружающим придется предпринять известное исследование, чтобы выяснить истинное положение вещей, причем в этом деле его собеседники имеют больше шансов на успех, нежели он сам.

(7) КРИТЕРИИ МОТИВОВ

До сих пор я доказывал, что объяснять совершение действия на основе определенного мотива следует не некой таинственной причиной, но подведением его под некоторую предрасположенность или линию поведения. Но этого еще недостаточно. Примем эту формулу для объяснения действия на основе привычки, инстинкта или рефлекса, но будем отличать от этих действий, совершаемых автоматически, действия, совершенные, скажем, из тщеславия или привязанности. Я воздержусь от попытки указать на те критерии, опираясь на которые мы обычно заключаем, что человек сделал что-то не в силу привычки, а по определенному мотиву. Но не следует думать, что эти два типа действий отличаются друг от друга, как день от ночи в экваториальных странах. Они незаметно переходят один в другой, как английский день переходит в английскую ночь. Доброта незаметно переходит в учтивость сквозь сумерки предупредительности, а учтивость, в свою очередь, незаметно переходит в вышколенность сквозь сумерки этикета. Вымуштрованность ревностного вояки — не совсем то же самое, что выучка просто исполнительного солдата.

Когда мы говорим, что некто действует определенным образом исключительно в силу привычки, мы отчасти имеем в виду, что при подобных обстоятельствах он всегда действует одинаково; что он действует так вне зависимости от того, обращает ли он внимание на то, что делает, или нет; что его не

заботит то, что он делает, и он не стараться исправить или улучшить свои действия; а также что он может делать это, совершенно не отдавая себе отчета в совершаемом. Подобные действия часто метафорически называют "автоматическими". Автоматические привычки часто вырабатываются нарочито интенсивной муштрой и могут быть искоренены аналогичными контрмерами.

Но когда мы говорим, что некто действует определенным образом, идя на поводу у своих амбиций или же руководствуясь чувством справедливости, то мы подразумеваем, что такое действие совершается отнюдь не автоматически. В частности, мы предполагаем, что действующий так или иначе обдумывал или следил за тем, что он делал, и не стал бы делать этого так, как сделал, если бы прежде не продумал свои действия. Но точный смысл выражения "обдумал свои действия" все-таки до конца неуловим. Конечно, я могу, избегая по лестнице, по привычке прыгать сразу через две ступеньки, одновременно отдавая себе в этом отчет и даже отслеживая, как это происходит. Я могу наблюдать за своими привычными и рефлекторными действиями и даже диагностировать их, и все же эти действия не перестают быть автоматическими. Хотя известно, что такого рода внимание иногда нарушает автоматизм.

И наоборот, мотивированные действия все же могут быть наивными в том смысле, что действующий не соединяет, а возможно, и не может соединить свое действие с последующим рассказом себе самому или окружающим о том, что и почему он делает. На самом же деле, даже если человек комментирует свое действие про себя или вслух, эта вторичная операция комментирования обычно сама бывает наивной. Он же не может комментировать свои комментарии и так далее *ad infinitum*. Смысл, в котором человек размышляет над тем, что делает — когда его действие должно классифицироваться не как автоматическое, но как мотивированное, — заключается в том, что он действует более или менее внимательно, критически, последовательно и целеустремленно. Данные наречия обозначают не предшествующее или сопутствующее осуществление неких дополнительных операций принятия решения, планирования или обдумывания, но только лишь то, что данное действие совершается не бессознательно или безотчетно, но в определенной позитивной установке сознания. Описание такой структуры сознания не нуждается в ссылке на какие-либо иные эпизоды, кроме самого действия, хотя оно не исчерпывается такой отсылкой.

Короче говоря, класс действий, совершенных мотивированно, совпадает с классом действий, описываемых как более или менее осознанные. Любое мотивированное действие может быть оценено как сравнительно разумное или бессмысленное и *vice versa*. К действиям, совершаемым исключительно в силу привычки, не относятся характеристики разумности или глупости, хотя само действующее лицо, конечно, может выказать свое здравомыслие или глупость тем, что приобрело или не искоренило данную привычку.

Но это ставит нас перед следующей проблемой. Два действия, совершённых по одному и тому же мотиву, могут обнаружить различные степени навыка, а два похожих действия, демонстрирующие одинаковую степень навыка, могут быть совершены исходя из разных мотивов. Любить греблю еще не значит достичь в ней совершенства или мастерства, а из двух в равной степени искусных гребцов один занимается греблей из спортивного интереса, а другой для здоровья или чтобы прославиться. То есть способности, сообразно с которыми совершаются поступки, суть персональные характеристики иного рода, нежели мотивы или склонности, на основании которых они совершаются; а мы отличаем действия по привычке от неавтоматических действий, базируясь на том факте, что последние суть одновременное проявление обеих характеристик. Поступки, совершаемые полностью безотчетно, совершаются без какого-либо метода и каких-либо разумных оснований, хотя они могут быть весьма эффективными и сложными по процедуре исполнения.

Приписывая человеку какой-либо специфический мотив, мы очерчиваем круг действий, которые он склонен совершать или вызывать; приписывая ему определенную компетенцию, мы описываем те методы и их эффективность, с которыми он эти действия совершает. Это различие между намерениями и техникой исполнения. Более употребительное выражение "цели и средства" часто вводит в заблуждение. Если человек отпускает саркастическую шутку, то сам этот поступок невозможно разделить на составные части, тем не менее суждение о том, что он сделал это из ненависти, все же отличается от суждения, что это было сделано мастерски.

Уже Аристотель понимал, что, говоря о мотивах, мы говорим о диспозициях определенного рода, отличного от навыков; он также осознавал, что любой из мотивов в отличие от любого навыка является склонностью, о которой можно сказать, что в данном человеке при данном раскладе его жизни этот мотив является очень сильным, очень слабым либо не является ни слишком сильным, ни слишком слабым. Он, по-видимому, считал, что, оценивая моральные достоинства и недостатки поступков в отличие от технических умений, мы высказываем мнение о чрезмерной, надлежащей или неадекватной силе склонностей, проявлением которых они служат. Нас здесь не интересуют ни сами этические вопросы, ни вопросы о природе этических вопросов. Для нашего исследования важен тот факт — Аристотель считал его первостепенным, — что относительная сила склонностей изменчива. Изменения в окружающей обстановке, в круге общения, в состоянии здоровья и возрасте, критика со стороны и ее уроки — все это может видоизменить баланс сил между склонностями, определяющими одну из сторон человеческого характера. Но этот баланс может изменить и озабоченность им самого человека. Он в состоянии обнаружить, что слишком любит слухи или же недостаточно внимателен к заботам ближних, и он может,

хотя в этом нет особой нужды, развить в себе дополнительные наклонности, чтобы усилить слабые и ослабить некоторые свои сильные склонности. Он даже может занять не просто академически-критическую позицию, но действительно изменить свой характер. Разумеется, его новый вторичный мотив, направленный на обуздание первичного мотива, все же может диктоваться благоразумием или экономическими выгодами. Амбициозный хозяин гостиницы может усердно вырабатывать в себе уравновешенность, рассудительность и честность единственно из желания увеличить свой доход, а его приемы самодисциплины могут бы быть эффективнее приемов, к которым прибегает человек более возвышенных идеалов. Как бы то ни было, в случае с таким хозяином имелась одна наклонность, сравнительная сила которой *vis-a-vis* с другими была оставлена без критики и регулирования, а именно само его желание разбогатеть. Наверное, этот мотив, хотя это и необязательно, был слишком силен в нем. А если это так, то мы могли назвать его "практичным", но нам не следует называть его еще и "мудрым". Обобщим этот момент: частично то, что подразумевается, когда говорят о какой-либо наклонности, что она очень сильная в данном человеке, заключается в том, что человек склонен действовать под влиянием такой наклонности даже тогда, когда он намерен ослабить в себе данную склонность, умышленно действуя иначе. О человеке можно сказать, что он раб никотина или предан некоей политической партии, в том случае, если он никак не может взять себя в руки и предпринять достаточно серьезные шаги, которые только и позволят ослабить такого рода мотивы, хотя он и развил в себе вторичную наклонность на их ослабление. То, что здесь описано, составляет часть того, что обычно называют "самоконтролем", а когда то, что обычно ошибочно называют "порывом", становится непреодолимым и потому не поддающимся контролю, будет тавтологией сказать, что оно чрезмерно сильно.

(8) ОСНОВАНИЯ И ПРИЧИНЫ ДЕЙСТВИЙ

Выше я утверждал, что объяснять какое-то действие на основе определенного мотива или наклонности не означает описывать это действие в качестве следствия некоей определенной причины. Мотивы — не события и потому не могут быть причинами в их правильном понимании. Выражения относительно мотивов относятся к законоподобным утверждениям, а не сообщениям о событиях.

Но тот общий факт, что человек предрасположен действовать так-то и так-то при таких-то и таких-то обстоятельствах, сам по себе объясняет его конкретное действие в конкретный момент не больше, чем факт хрупкости стакана объясняет то, что он разлетелся на осколки в 10 часов пополудни. Как удар камня в 10 часов стал причиной того, что стакан разбился, так и antecedent действия становится причиной или служит поводом для человека сделать то,

там и тогда, что, где и когда он это делает. Например, человек из вежливости передает своему соседу соль; но эта его вежливость — просто склонность к передаче соли тогда, когда это требуется, точно так же как вообще оказание тысячи других любезностей подобного рода. Так что кроме вопроса "исходя из каких оснований он передал соль?" можно задать существенно иной вопрос "что заставило его передать соль в данный момент данному соседу?". На этот вопрос, вероятно, могут быть даны следующие ответы: "он услышал, что сосед попросил его об этом", или "он заметил, что его сосед что-то ищет взглядом на столе", или что-нибудь в таком же роде.

Всем нам хорошо известны такие ситуации, в которых людям приходится или случается что-то делать. Если бы это было не так, то мы не смогли бы добиться от них того, что нам нужно, а значит, и повседневные отношения между людьми не могли бы существовать. Покупатели не могли бы покупать, офицеры не могли бы командовать, друзья не могли бы общаться, а дети — играть, если бы не знали, как поступать самим и добиваться чего-то от других при том или ином стечении обстоятельств.

Цель, которую я преследую, упоминая все эти важные тривиальности, двойная: во-первых, чтобы показать, что наличие у действия причины не только не противоречит наличию у него мотива, но мотив уже содержится в условной посылке гипотетического высказывания, утверждающей о мотиве; во-вторых, чтобы продемонстрировать то обстоятельство, что, как бы нам ни хотелось услышать о таинственных или призрачных причинах человеческих поступков, мы уже знаем о тех общеизвестных и, как правило, общедоступных ситуациях, которые вынуждают людей действовать определенным образом в определенное время.

Если бы доктрина о духе в машине была истинной, то люди были бы не только абсолютно загадочны друг для друга, но и абсолютно не могли бы воздействовать друг на друга. Но на самом-то деле они сравнительно податливы на воздействия и относительно легко понимаемы.

(9) ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Существуют два совершенно разных смысла слова "эмоция", сообразно с которыми мы и объясняем человеческое поведение, если при этом нужно сослаться на эмоции. В первом смысле мы указываем на мотивы или склонности, исходя из которых совершаются более или менее осознанные действия. Во втором смысле мы ссылаемся на настроения, включая сюда возбуждения или смятения, признаками которых служат некоторые безотчетные движения. Ни в одном из этих смыслов мы не утверждаем и не подразумеваем, что внешнее поведение — это результат некоего вихря турбулентностей в потоке сознания действующего человека. В третьем смысле слова "эмоция" муки совести и присту-

пы боли являются чувствами или эмоциями, но они не могут, разве что *per accidens*, быть тем, ссылаясь на что мы объясняем поведение. Они сами нуждаются в диагностике, а потому не могут быть вещами, потребными для диагностики поведения. Импульсы, описываемые как подстегивающие действия чувства, являются пара-механическими выдумками. При этом имеется в виду не то, что люди никогда не действуют импульсивно, но лишь то, что мы не должны принимать на веру традиционные рассказы о таинственных предпосылках как умышленных, так и импульсивных действий.

Следовательно, несмотря на то, что описание высших уровней поведения людей, конечно же, нуждается в упоминании об эмоциях в первых двух смыслах, это не влечет за собой заключений к таинственным внутренним состояниям или процессам. Обнаружение мною ваших мотивов и настроений не похоже на не поддающийся проверке поиск воды с помощью прутика лозы; частично оно подобно моим индуктивным выводам о ваших привычках, инстинктах и рефлексах, частично — моим заключениям, касающимся ваших болезней и вашей манеры опьянения. Но при благоприятных обстоятельствах я распознаю ваши склонности и настроения и более прямым образом. Во время обычной беседы я слышу и понимаю ваши признания, ваши восклицания и интонации голоса, я вижу и понимаю ваши жесты и выражение лица. Я говорю "понимать", не вкладывая в это слово какого-то метафорического смысла, ибо даже восклицания, интонации, жесты и мимика — это способы общения. Мы учимся воспроизводить их пусть не путем заучивания, но путем имитации. Мы знаем, как пристыдить кого-нибудь, применяя все это; до известной степени мы знаем, как избежать самораскрытия, прячась под масками. Не только чуждые языки создают сложности при понимании иностранцев. Мое исследование собственных мотивов и настроений принципиально не отличается от общей ситуации, хотя моя позиция плоха, чтобы видеть собственные гримасы и жесты или слышать интонации своего голоса. Мотивы и настроения не относятся к тому типу явлений, которые могли бы быть среди прямых свидетельств о работе сознания или же в числе объектов интроспекции, как эти фиктивные формы Привилегированного Доступа обычно описываются. Они не являются "переживаниями", во всяком случае не больше, нежели «переживаниями» являются привычки или болезни.

ГЛАВА V. ДИСПОЗИЦИИ И СОБЫТИЯ

(1) ПРЕДИСЛОВИЕ

Я уже имел возможность указать на то, что некоторые слова, с помощью которых мы обычно описываем и объясняем человеческое поведение, обозначают диспозиции, а не эпизоды поведения. Например, сказать, что человек что-то знает или к чему-то стремится, вовсе не означает, что он в определенный момент что-то делает или подвергается какому-то действию; нет, тут утверждается только то, что он способен в случае необходимости сделать некоторые вещи или что он в определенных ситуациях склонен делать и чувствовать определенные вещи.

Само по себе данное обстоятельство вряд ли является чем-то большим, нежели заурядный факт обыкновенной грамматики. Глаголы типа "знать", "обладать", "стремиться" ведут себя не так, как глаголы "бежать", "просыпаться", "чесаться". Например, мы не можем сказать "Он знал это в течение двух минут, потом перестал знать, а отдохнув, стал знать снова" или "Он понемногу надеялся стать епископом" или "Сейчас он вовлекся в процесс владения велосипедом". Описание в диспозиционных терминах не связано с особенностями именно человеческого поведения. Мы используем подобные термины, говоря о животных, насекомых, кристаллах и атомах. Мы постоянно хотим говорить не только о том, что действительно произошло, но и о том, что, скорее всего, должно произойти; мы хотим не только сообщать о происшествиях, но и объяснять их; не только рассказывать, что сейчас происходит с предметами, но и о том, как с ними можно обращаться. Вообще, когда мы утверждаем, что данное слово обозначает диспозицию, мы всего лишь говорим, что оно не используется для описания эпизодов. Но существует множество разновидностей диспозиционных слов. Хобби — это не то же, что привычки, но и то, и другое отличается от навыков, манер, мод, фобий и профессий. Свойство "вить гнезда" отличается от свойства "быть пернатым", а свойство "проводить электричество" отличается от свойства "быть эластичным".

Тем не менее указание на то, что многие важнейшие понятия, с помощью которых мы описываем именно человеческое поведение, являются диспозиционными, имеет вполне определенную цель. Дело в том, что засилье парамеханической модели мешает видеть специфику этих понятий и побуждает

вместо этого толковать их как описания особых таинственных причин и действий. Предложения, содержащие такие диспозициональные слова, интерпретируются как сообщения об особых, неуловимых обстоятельствах, тогда как их можно понимать как проверяемые, открытые, гипотетические утверждения, которые я еще называю "полугипотетическими". Физика уже избавилась от старого греха — рассмотрения понятия "сила" как обозначения для таинственного действующего начала; аналоги такого начала еще не до конца изгнаны из биологии и благополучно здравствуют во многих теориях сознания.

Важность этого момента невозможно переоценить. Словарь, используемый нами для описания именно человеческого поведения, состоит не только из диспозициональных слов. Судьи, учителя, писатели, психологи и обыкновенные люди, говоря о том, что делают или должны делать другие люди, используют также большой набор слов для обозначения эпизодов. Последние слова не менее разнообразны по своим типам, чем диспозициональные. Мы еще увидим, как забвение некоторых из этих различных типов благоприятствовало представлениям о ментальном как о призрачном и, наоборот, допущение таких призрачных сущностей способствовало забвению различий между типами слов. Далее в этой главе я собираюсь обсудить два основных типа слов, обозначающих ментальные эпизоды. Но этим я не утверждаю, что их не может быть больше.

(2) ЛОГИКА ДИСПОЗИЦИОНАЛЬНЫХ УТВЕРЖДЕНИЙ

Когда говорят, что корова — жвачное животное, или что человек — курильщик, вовсе не имеют в виду, что корова жует, а человек курит непосредственно в данный момент. Быть жвачным означает иметь обыкновение жевать; точно так же как быть курильщиком — значит иметь обыкновение курить.

Тенденция жевать и привычка курить не существовали бы, если бы не было таких процессов или эпизодов, как жевание или курение. "Он сейчас курит" значит не то же самое, что "Он — курильщик". Но если бы первое суждение не было иногда истинным, не могло быть истинным и второе. Словосочетание "курить сигареты" используется для описания как эпизодов, так и, производным образом, тенденций. Но не все слова имеют такое двойное использование. Есть много выражений, описывающих тенденции и способности, которые нельзя использовать в сообщениях об эпизодах. Мы можем сказать про какую-то вещь, что она эластична; однако, когда нам надо описать, в каких реальных событиях это проявляется, мы используем другое слово и говорим, что она сжимается после растягивания, распрямляется после сдавливания или пружинит при надавливании. У нас нет активного глагола, соответствующего свойству "эластичный", подобно тому как "жует" соответствует свойству "жвачное". Причину такого различия найти нетрудно. Существует целый спектр реакций, которых

мы ожидаем от эластичного объекта, тогда как от жвачного животного мы ожидаем только одного определенного поведения. Подобным образом, существует целый ряд различных действий и реакций, которых можно ожидать на основании того, что некое лицо описывается как "жадина", тогда как на основании описания кого-то как курильщика мы можем ожидать только одного способа поведения. Короче говоря, некоторые диспозициональные слова являются очень общими и неопределенными, тогда как другие являются очень специфическими и определенными. Глаголы, с помощью которых мы описываем различные проявления общих тенденций, способностей и склонностей, могут отличаться от глаголов, с помощью которых мы обозначаем диспозиции, тогда как обозначающие эпизоды глаголы и глаголы, употребляющиеся как очень специфические диспозициональные глаголы, могут быть одними и теми же словами. Пекарь может сейчас печь, но бакалейщик не может сейчас "бакалейничать": он может только продавать сейчас сахар, развешивать чай или заворачивать масло. Существуют и промежуточные случаи. Так, мы без всяких угрызений совести говорим, что врач сейчас кого-то лечит (врачует), хотя не будем говорить, что поверенный сейчас "поверяет", но скажем, что он защищает сейчас своего клиента.

Диспозициональные слова, такие, как "знаю", "верю", "надеюсь", "умный" или "остроумный", являются неопределенными диспозициональными словами. Они обозначают способности, тенденции или готовность сделать нечто; они обозначают не одну определенную вещь, но вещи самых разных родов. Теоретики признающие, что "знать" и "верить" обычно используются как диспозициональные глаголы, склонны не замечать это различие. Они предполагают, что должны быть особые акты знания, или постижения, или состояния убежденности. А поскольку ни один человек не может наблюдать, как другой выполняет подобные безо всяких оснований постулированные акты или пребывает в подобных состояниях, то такие теоретики склонны помещать подобные акты и состояния в потаенные глубины действующего субъекта.

Сходное допущение могло бы привести к заключению, что раз поверенный — это профессия, то должна существовать профессиональная деятельность "поверивания". Но поскольку мы никогда не видим, чтобы поверенный занимался этим "повериванием", поскольку мы видим, что он все время занят выполнением самых разнообразных действий, таких, как составление завещания, защита клиента или заверение подписи, то остается допустить, что свою уникальную профессиональную деятельность "поверивания" он осуществляет при закрытых дверях. Искушение истолковывать диспозициональное слово как слово, обозначающее эпизод, и другое искушение — постулировать, что любой глагол, имеющий диспозициональное использование, должен использоваться и для описания соответствующего эпизода, являются двумя источниками одного и того же мифа. Но это еще не все его источники.

Теперь необходимо кратко обсудить общее возражение, которое иногда приводится против всей программы анализа выражений, обозначающих способности, тенденции, склонности и готовности. Потенциальное, и это в общем-то трюизм, ни в коей мере не актуальное. Мир не содержит наряду с тем, что существует и случается, еще и вещи другого рода — "как бы" вещи и "могущие быть" события. Получается, что, когда о спящем человеке говорят, что он умеет читать по-французски, или о куске сахара говорят, что он может растворяться в воде, то вещи приписывают некоторое свойство и одновременно помещают это свойство на хранение в ледник. Но атрибут или характеризует вещь, или нет. Он не может просто храниться на складе. Или, иначе говоря, утвердительное повествовательное предложение, имеющее значение, должно быть или истинным, или ложным. Если оно истинно, оно утверждает, что некоторая вещь имеет такую-то характеристику; если же оно ложно, значит, вещь этой характеристикой не обладает. Нет никакого состояния, промежуточного между истинностью и ложностью. Поэтому субъект, описываемый утверждением, никак не может выйти за пределы этой дизъюнкции. Часы могут показывать или правильное время, или неправильное. Но они не могут показывать время, которое могло бы быть правильным или которое не является ни правильным, ни неправильным.

Вышеприведенное рассуждение является вполне оправданным возражением против такого анализа утверждений типа того, что спящий может читать по-французски или что сахар растворим в воде, который интерпретирует такие утверждения, постулируя факты сверхъестественного рода. Такую ошибку совершала старая схоластическая философия, когда допускала, что диспозиционные слова обозначают либо особые скрытые начала или причины, т.е. вещи, либо процессы, существующие или происходящие в каком-то особом мире, являющемся тенью нашего настоящего. На самом деле истина состоит в том, что предложения, содержащие слова типа "могло бы", "возможно", "было бы, если бы", вовсе не сообщают нам какие-то факты-тени. Но отсюда вовсе не следует, что такие предложения не имеют никакой функции. Функция сообщения фактов является лишь одной из многообразных функций, которые выполняют предложения.

Не требуется особых аргументов, чтобы показать, что вопросительные, повелительные предложения и предложения в сослагательном наклонении служат не для сообщения о существовании каких-то вещей или событий, но для других целей. Но, к сожалению, нужны особые аргументы, чтобы стало ясно, что есть множество имеющих значение (положительных и отрицательных) повествовательных предложений, служащих не для сообщения фактов, но для других целей. До сих пор имеет силу нелепое допущение, что каждое истинное или ложное предложение утверждает или отрицает то, что называемый в нем объект или множество объектов обладают некоторым свойством. На самом деле неко-

торые утверждения служат этой цели, а некоторые — нет. Книги по арифметике, алгебре, геометрии, праву, философии, формальной логике и экономической теории содержат очень мало фактических утверждений или не содержат их вообще. Вот почему мы называем соответствующие области знания "абстрактными". Книги по физике, метеорологии, бактериологии или сравнительному языкознанию содержат очень мало подобных утверждений, хотя они могут сообщать нам, где мы можем найти таковые. Технические журналы, литературная критика, проповеди, речи политиков и даже расписания поездов могут быть более или менее информативными, и информативными они могут быть по-разному, но они преподносят нам весьма мало единичных категорических истин относительно свойств или отношений.

Оставив в стороне большую часть предложений, которые должны не только сообщать факты, перейдем прямо к законам. Ибо, хотя высказывания о том, что такие-то индивиды имеют такие-то способности, склонности, тенденции и прочее, сами по себе не являются утверждениями законов, однако некоторые их черты лучше всего можно будет прояснить лишь после обсуждения особенностей предложений, выражающих законы.

Законы часто формулируются в грамматически неполных повествовательных предложениях. Но их можно выражать, кроме всего прочего, также и в гипотетических предложениях типа: "Если то-то и то-то, то будет то-то и то-то". Например: "Если тело оставить без опоры, оно будет падать с таким-то ускорением". Гипотетическое предложение можно назвать законом, только если оно является "переменным" или "открытым" гипотетическим утверждением, если его антецедент содержит выражения типа "любой", "всякий раз, когда" и т. п. Именно в силу этой своей черты закон применим к отдельным случаям, даже если в его формулировке нет упоминаний о них. Если я знаю, что более длинный маятник колеблется медленнее, чем более короткий, пропорционально тому, насколько он длиннее, то, зная, что мой маятник на три дюйма длиннее, чем данный, я могу вывести отсюда, насколько медленнее он будет колебаться. Знание этого закона не предполагает знания именно об этих двух маятниках. Утверждение закона не содержит сообщения об их существовании. Однако знание или понимание закона включает знание того, что если могут существовать определенные объекты, удовлетворяющие антецеденту закона, то они должны удовлетворять также и его консеквенту. Мы должны научиться использовать утверждения об отдельных фактах, прежде чем мы научимся использовать утверждение закона, которое применяется или может применяться к ним. Утверждения в форме законов принадлежат более сложному и утонченному уровню дискурса, нежели тот, к которому принадлежат подпадающие под этот закон фактуальные утверждения. Подобно этому алгебраическое утверждение лежит на другом уровне рассуждения, нежели подчиняющееся ему арифметическое утверждение.

Утверждения законов бывают истинными или ложными. Но их истинность и ложность принадлежит иному типу, нежели истинность и ложность фактуальных предложений, к которым должен применяться этот закон. Они выполняют разные задачи. Принципиальное различие можно сформулировать следующим образом. Стремление установить закон предполагает, по меньшей мере, желание найти способ, позволяющий из одних фактов выводить другие факты, объяснять одни факты с помощью других фактов, вызывать или препятствовать появлению определенных положений дел. Закон — это, так сказать, проездной билет, позволяющий его обладателю двигаться от одного фактуального утверждения к другим. Он также позволяет получать объяснения данных фактов и добиваться реализации желательных положений дел, отталкиваясь от уже существующего. В самом деле, мы не будем считать освоившим закон такого ученика, который может только повторять его формулировку. Точно так же, чтобы считать ученика овладевшим правилами грамматики, таблицей умножения или правилами шахматной игры, мы должны убедиться, что он умеет применять данные правила в конкретных ситуациях. Поэтому любой учащийся, знающий закон, должен быть в состоянии применять его в конкретных выводах относительно отдельных фактов, объяснении фактов, а также, возможно, в вызывании или предупреждении определенных событий. Научить закону — это, помимо прочего, научить, как с его помощью можно получать что-то новое в теоретическом или практическом плане, исходя из конкретных фактов.

Иногда утверждают, что если мы открываем закон, позволяющий из наличия каких-то болезней выводить существование определенных бактерий, то мы тем самым обнаруживаем существование новой сущности, а именно причинной связи между данными бактериями и данными болезнями, и, тем самым, новое знание относительно того, что существуют не только больные люди и бактерии, но и невидимая связь между ними. Подобно тому, как поезд не может двигаться без рельсов (говорят сторонники такого подхода), так и бактериологи не могли бы переходить от клинических наблюдений над больными к предсказанию наблюдения определенных бактерий под микроскопом, если нет хотя и ненаблюдаемой, тем не менее реальной связи между объектами этих наблюдений.

Мы не возражаем против использования привычного выражения "причинная связь". Бактериологи действительно обнаруживают причинные связи между бактериями и болезнями, но подобное утверждение есть просто иной способ сказать, что они устанавливают законы и благодаря этому делают для себя возможным вывод от болезней к бактериям, объяснение болезней бактериями, предупреждение и лечение болезней путем уничтожения бактерий и т. д. Однако когда говорят, что открытие закона является открытием некоей новой ненаблюдаемой сущности, то просто возвращаются к старой привычке трактовать открытые гипотетические утверждения как единичные категорические утвер-

ждения. Это все равно что сказать, что правило грамматики есть некое особое произносимое существительное или глагол или что правила шахматной игры есть особая невидимая шахматная фигура. Когда говорят таким образом, то просто возвращаются к старой привычке видеть у всех предложений одну и ту же функцию приписывания предмету некоторого предиката.

Метафора "рельсовых путей, по которым движется поезд", вводит нас в заблуждение именно таким образом. Ведь рельсы существуют в том же самом смысле, что и движущийся по ним поезд. В существовании рельсов мы убеждаемся тем же образом, что и в существовании поезда. Из высказывания, что поезд идет из одного пункта в другой, действительно следует, что между этими пунктами существует вполне наблюдаемый железнодорожный путь. Поэтому сравнение вывода с рельсовыми путями наводит на мысль, что вывод от болезней к бактериям есть вовсе не вывод, а описание некоторой третьей сущности; поэтому получается не *рассуждение* "поскольку то-то и то-то, потому так-то и так-то", но *сообщение* "существует ненаблюдаемая связь между этими наблюдаемыми событиями". Но если мы спросим, зачем постулируется эта третья сущность, то услышим в ответ лишь то, что она позволяет нам делать вывод от болезней к бактериям. Правомерность вывода предполагается в любом случае. Но при этом еще почему-то хотят иметь возможность сводить предложения вида "следовательно..." и "если для любого... то ..." к предложениям вида "имеется такое ...", т. е. замаскировать функциональное различие между аргументацией и нарративом. Но подобно тому, как железнодорожные билеты нельзя "свести" к каким-то сомнительным коррелятам поездок, которые позволяют сделать эти билеты, и подобно тому, как сами поездки нельзя "свести" к сомнительным коррелятам пунктов отправления и пунктов прибытия данных поездок, так и утверждения законов нельзя "свести" к коррелятам выводов и объяснений, которые можно делать на их основе, а выводы и объяснения нельзя "свести" к коррелятам фактуальных предложений, с которых они начинаются и которыми они заканчиваются. Функция предложения, констатирующего факты, отличается от функции предложения, являющегося выводом одного фактуального предложения из другого, и функции их обоих отличаются от функции оправдания подобных выводов. Сначала мы должны научиться пользоваться предложениями в первой функции. Только после этого мы можем выучиться использовать предложения со второй функцией, после чего мы уже можем освоить использование предложений с третьей функцией. При этом, разумеется, предложения имеют и массу других функций, но их рассмотрение не входит сейчас в нашу задачу. Например, предложения на этой странице не служат ни одной из тех функций, которые они описывают.

Теперь мы можем вернуться к рассмотрению диспозициональных предложений, т. е. предложений, в которых субъекту приписывают определенные спо-

способности, тенденции, предрасположенности или склонности. Такие утверждения, конечно, не являются законами, так как речь в них идет о конкретных предметах или лицах. Однако они похожи на законы в том отношении, что являются частично "переменными" или "открытыми". Когда мы говорим, что данный кусок сахара растворим, мы говорим тем самым, что он растворится, если будет когда-либо и где-либо погружен в какой-либо сосуд с водой. Когда мы говорим, что этот спящий человек знает французский, это значит, что, если, например, к нему обратятся по-французски или покажут ему французскую газету, он ответит уместным образом, будет должным образом вести себя или правильно переведет обращение на свой язык. Разумеется, данную формулировку надо еще уточнять. Мы не откажемся от своего утверждения, что он знает французский язык, если он спит, пьян или находится в беспомощности либо не смог правильно перевести какую-то очень специальную статью. Мы ведь ожидаем от него, что он просто в состоянии справиться с большинством обычных французских предложений. "Знать французский" — это довольно неопределенное выражение, но в большинстве случаев оно не становится оттого менее полезным.

Выдвигалось предположение, что, хотя диспозиционные предложения относительно упоминаемых в них индивидов сами не являются законами, они являются, тем не менее, дедукциями из законов; так что, прежде чем мы сможем делать диспозиционные утверждения, мы должны выучить некоторые законы, какими бы приблизительными и неопределенными они ни были. Но вообще-то процесс обучения идет в другом направлении. Сначала мы осваиваем известное число диспозиционных утверждений относительно некоторых индивидов, и только после этого мы можем выучить некоторые законы, устанавливающие общие корреляции между подобными утверждениями. Прежде чем узнать, что все индивиды, которые являются пернатыми, кладут яйца, мы должны узнать, что некоторые индивиды пернатые и одновременно кладут яйца.

Диспозиционные утверждения об отдельных вещах и личностях подобны утверждениям законов и в том, что мы используем их отчасти сходным образом. Они прилагаются к действиям, реакциям и состояниям объектов и так же, как законы, являются "проездными билетами", позволяющими нам двигаться к предсказанию, ретросказанию, объяснению и воздействию на эти действия, реакции и состояния.

Естественно, приверженцы предрассудка, гласящего, что любое истинное повествовательное предложение либо описывает что-то существующее, либо сообщает о каком-то событии, потребуют, чтобы предложения типа "Эта проволока является проводником электричества" или "Джон Доу говорит по-французски" интерпретировались как передающие такую же фактуальную информацию, что и предложения "По этой проволоке бежит электрический ток" и "Джон Доу сейчас говорит по-французски". Сторонники этого предрассудка

считают, что предложение может быть истинным, только если оно относится к чему-то происходящему сейчас, даже если это и происходит где-то, так сказать, "за сценой". Тем не менее они должны будут согласиться, что мы можем знать, что проволока проводит электричество, а некоторые люди знают французский язык, и не обнаружив никакого протекающего сейчас невидимого процесса. Они должны также согласиться с тем, что теоретическая полезность обнаружения подобных невидимых процессов состоит лишь в том, что они позволяют нам делать такие предсказания, объяснения или воздействия, которые мы и без того уже делаем и о которых мы часто знаем, что имеем на это право. Наконец, они должны будут признать, что они сами выводят существование постулируемых ими процессов в лучшем случае на основании того, что мы можем предсказывать, объяснять и оказывать воздействие на наблюдаемые действия и реакции индивидов. Но если в дополнение к таким выводам они будут постулировать существование особых "рельсов", по которым движутся подобные выводы, то они должны будут постулировать далее особые "рельсы" для выводов о существовании первых "рельсов" и т. д. Признание бесконечной иерархии подобных "рельсов" навряд ли покажется приемлемой альтернативой даже тем, кому первый шаг казался привлекательным.

Диспозициональные утверждения не являются сообщениями ни о наблюдаемых, ни о ненаблюдаемых положениях дел. Они не повествуют ни о каких событиях. Однако их функции тесным образом связаны с повествованиями о событиях, ибо, если такие предложения истинны, значит, истинны некоторые повествования о событиях. Предложение "Джон Доу только что разговаривал по телефону по-французски" удовлетворяет тому, что утверждалось в предложении "Джон Доу знает французский". А человек, выяснивший, что Джон Доу в совершенстве знает французский, не будет нуждаться ни в каком особом "проездном билете", чтобы двигаться по пути вывода из того, что Джон Доу прочитал французскую телеграмму, к тому, что он понял, о чем в телеграмме речь. Само знание, что Джон Доу знает французский, и является таким билетом, а предположение о том, что он понял смысл телеграммы, прилагается к нему.

Надо отметить, что нет ничего несовместимого между признанием, что диспозициональные утверждения не повествуют ни о каких событиях, и признанием, что такие утверждения могут стоять в определенном времени. "Он курил в течение года" или "кусок резины стал терять эластичность этим летом" — все это совершенно законные диспозициональные утверждения. А если бы знание чего-либо не приходило к человеку в какое-то время, то была бы невозможна профессия учителя. "Проездные билеты" на право вывода могут быть краткосрочными, долгосрочными или вообще бессрочными. Правила игры в крикет действуют лишь в течение известного периода времени; но даже климат континентов меняется от эпохи к эпохе.

(3) МЕНТАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ

В нашем распоряжении имеется неограниченно широкая область диспозициональных терминов, позволяющих говорить о вещах, живых существах и людях. А некоторые термины можно применять сразу ко всем этим категориям индивидов. Например, некоторые металлические предметы, как и некоторые рыбы и люди, могут весить 140 фунтов, быть эластичными и воспламеняющимися; все они будут падать с одним и тем же ускорением, если из-под них убрать подставку. Другие диспозициональные термины можно применять только к вещам определенного рода. Например, только о живых существах можно формулировать истинное или ложное предложение, что они впали в спячку. А "тори" можно (истинно или ложно) назвать только человека, который к тому же не является идиотом, варваром или ребенком. Нас в дальнейшем будет интересовать лишь такой класс диспозициональных терминов, которыми можно характеризовать только людей. И даже еще более узкий класс терминов, а именно те, которые приложимы к характеристике черт человеческого поведения, указывающих на интеллектуальные и личностные качества. Мы не будем заниматься, например, рефлексами, присущими только людям, или физиологическими аспектами человеческой анатомии.

Разумеется, проводимое разграничение нечетко. Собак и младенцев можно выучить реагировать на слова команд или дергать за колокольчик, сзывающий к обеду. Обезьяны могут использовать и даже сами создавать инструменты. Кошки игривы, а попугаи могут имитировать человеческую речь. Мы можем сказать, что поведение животных инстинктивно, а поведение людей отчасти разумно. В таком случае мы указываем на важное различие (или семейство различий), но и его грани, в свою очередь, нечетки. Например, можем ли мы точно сказать, когда инстинктивное подражание маленького ребенка превращается в осознанное лицедейство? На каком году жизни ребенок перестает реагировать на сзывающий к обеду колокольчик, подобно собаке, и начинает реагировать на него как ангелочек? Можно ли провести точную границу между пригородом и предместьем?

Поскольку эта книга как целое посвящена обсуждению логических свойств некоторых важнейших терминов, диспозициональных или обозначающих события, которые мы используем, чтобы говорить о сознании, все, что требуется в этом разделе, это указать на некоторые общие различия в использовании ряда выбранных нами диспозициональных терминов. Мы не ставим себе цели указать все такие термины или даже все их виды.

Многие диспозициональные утверждения могут (хотя это не является обязательной или обычной формой) быть выражены с помощью глаголов "может", "способен", "мог бы". Утверждение "Он — пловец", если не подразумевает, что

человек в этом деле профессионал, означает просто, что он может плавать. Но слова "может" и "способен" имеют самые разнообразные применения, что показывают следующие примеры. "Камни могут плавать (поскольку эта глыба пемзы не тонет)"; "Эта рыба может плавать (ибо она еще не сдохла, хотя и не двигается в тине)"; "Джон Доу может плавать (потому что его учили этому и он не забыл, как это делается)"; "Ричард Роу может плавать (и поплыл бы, если б захотел научиться)"; "Вы можете плавать (если хорошенько постараетесь)"; "Она может плавать (потому что доктора ей больше не запрещают)" и т. д. Первый пример показывает, что у нас нет права из того, что это — камень, делать вывод, что он не может плавать; второй отрицает наличие физических повреждений; последний сообщает о прекращении действия запрета. Третий, четвертый и пятый примеры сообщают информацию о личных качествах, причем разную.

Чтобы выяснить различие в логической силе этих разных использований слов "может" и "способен", предпримем краткий экскурс в логику так называемых "модальных слов", таких, как "может", "должен", "имеет право", "необходимо", "не необходимо", "не необходимо, что не". Утверждение, что нечто должно быть или является необходимым, функционирует как "проездной билет", дающий право на вывод, что некоторая вещь существует на основании каких-то обстоятельств, которые могут быть, а могут и не быть уточнены в утверждении. Утверждение, что нечто необходимо не... или не может быть, функционирует как разрешение сделать вывод, что это не имеет места. Когда же нам надо сказать, что такого разрешения на вывод нет, то мы обычно выражаем это с помощью слов "может быть", "возможно". Когда мы говорим, что что-то может быть, отсюда не следует ни то, что это есть, ни что этого нет, ни тем более что это нечто находится в промежуточном состоянии между бытием и небытием; такая фраза просто означает, что у нас нет права ни из каких (уточненных или неуточненных посылок) выводить, что это не имеет места.

Данное общее рассмотрение имеет силу и для большинства предложений, имеющих вид: "Если ... то...". Такое предложение почти всегда можно перефразировать в предложение с модальным словом, и *vice versa*. Модальные и гипотетические предложения имеют одну и ту же логическую силу. Возьмем обыкновенное "если—то" предложение, например: "Если я прохожу под лестницей, то потом у меня весь день случаются неприятности". Посмотрим, как обычно выражается противоречащее ему предложение. Тут недостаточно добавить "не" к глаголу антецедента или глаголу консеквента или к обоим сразу, ибо в результате всех таких операций появлялись бы утверждения, являющиеся предрассудками в неменьшей степени, чем исходное. Можно, хотя и не принято в обычном языке, сказать: "Не имеет места то, что если я прохожу под лестницей, то у меня будут неприятности". Обычно же мы отвергаем предрассудок, говоря "Я

могу пройти под лестницей и не иметь неприятностей" или в более общей форме — "Неприятности вовсе не обязательно сваливаются на людей, которые проходят под лестницей". И, наоборот, исходное утверждение предрассудка может быть перефразировано так: "Я не могу пройти под лестницей, чтобы у меня потом весь день не было неприятностей". Различие между "если... то..." и модальными выражениями является только стилистическим.

Тем не менее нельзя забывать, что слова "если", "должен", "может" имеют и другие употребления, для которых данная эквивалентность не имеет силы. "Если" иногда означает "даже если" или "хотя". Это слово используется также для выражения условного обязательства, угрозы или пари. "Может" и "должно" иногда используются для выражения нетеоретических допущений, приказов и запретов. Конечно, есть некоторая аналогия между разрешением или запретом на право проделать некий вывод и между разрешением или отказом на право делать другие вещи, но есть также и большие различия. Например, обычно мы не описываем как истинное или ложное предписание врача, что "пациент должен соблюдать постельный режим, не курить, но может диктовать письма". В то же время совершенно естественно описывать как истинные или ложные предложения типа "силлогизм может иметь две общие посылки", "киты не могут жить, не всплывая время от времени на поверхность", "свободно падающее тело должно падать с ускорением" или "люди, которые прошли под лестницей, вовсе не обязательно будут весь день иметь неприятности". Этическое употребление слов "должен" и "может" имеет аналогии как с одним использованием, так и с другим. Можно было бы обсуждать вопрос об истинности этических утверждений, содержащих такие слова, однако их назначение заключается в том, чтобы регулировать часть человеческого поведения, а не в том, чтобы быть основой логических выводов. Этические предложения похожи скорее на предписания, содержащиеся в медицинских книгах, чем на предписания, которые конкретный врач дает конкретным пациентам. Этические утверждения в отличие от конкретных *ad hominem* приказаний и упреков следует рассматривать как основания, на которые опираются любые конкретные приказания и упреки, а не как конкретные обращения с таковыми, т. е. не как персональные билеты на право совершать определенные действия, но как безличные постановления. Это не императивы, а "законы", под которые подпадают такие вещи, как императивы и наказания. Подобно законам, устанавливающим статус, их надо интерпретировать не как приказания, а как лицензии на право давать приказания и принуждать к их исполнению.

Теперь от общего обсуждения видов функций, выполняемых модальными предложениями, мы можем вернуться к рассмотрению конкретных различий между приведенными выше предложениями с модальным глаголом "может", описывающими личные качества.

Сказать, что Джон Доу может плавать и что щенок может плавать — вещи разные. Когда мы говорим это о щенке, подразумевается, что его этому никто не учил и он никогда не практиковался, в то время как утверждение, что данный человек может плавать, подразумевает, что он учился этому и еще не забыл, как это делается. Способность приобретать навыки в обучении присуща, конечно, не только человеку. Щенка можно выучить "служить", подобно тому как младенца учат ходить или пользоваться ложкой. Но некоторые виды обучения, включая большинство случаев обучения плаванию, предполагают понимание и применение либо устных инструкций, либо демонстрацию движений. А если существо способно обучаться подобным образом, то ему без колебаний приписывают сознание, тогда как обучаемость щенка или младенца оставляет нас в затруднении, признавать или нет за ними такое качество.

Когда мы говорим, что Ричард Роу может плавать (ибо он может научиться), это означает, что он в состоянии следовать таким указаниям и наглядным образцам и применять их, хотя до сих пор он еще не имел возможности заняться этим. Будет ошибочным предполагать, что было бы вполне правильным в случае идиота, что поскольку сейчас он беспомощно барахтается в воде, то будет так же беспомощно барахтаться после того, как получит надлежащее обучение.

Сказать, что вы можете плавать (если постараетесь), означает интересный промежуточный случай использования слова "может". Если Джон Доу просто не пытается сейчас плавать, а Ричард Роу еще не умеет этого, как бы он ни старался, вы знаете, что надо делать, чтобы плыть, но у вас это получится, только когда вы полностью сосредоточены на данной задаче. Вы поняли все инструкции и демонстрации, но вам еще нужно практиковаться и практиковаться. Такая способность обдуманно применять инструкции в ходе напряженной и подчас опасной практики обычно считается отличительной способностью существ, наделенных сознанием. Человек обнаруживает тут известные черты характера, отличные от тех, что показывает щенок, демонстрирующий упорство и отвагу даже в играх, ибо новичок, стремящийся научиться плавать, предпринимает что-то сложное и даже опасное с сознательным намерением развить свои способности. Говоря, что он сможет плавать, если будет пытаться, мы утверждаем, и что он может понять предложенные ему инструкции, и что он может сознательно натаскивать себя в их применении.

Нетрудно представить себе много других использований слов "может" и "способен". Одно такое использование мы встречаем во фразе "Джон Доу был способен плавать, еще когда был мальчишкой, но теперь он может изобретать новые приемы плавания". "Может изобретать" не означает, что "его учили и он не забыл, как это делается". И это "может" совсем не похоже на "может" во фразе "Может чихать". Опять-таки, "может" во фразе "Может победить всех, кроме чемпиона по плаванию" имеет совсем не ту силу, что во фразах "Может

плавать" или "Может изобретать". Это такое "может", что применяется к беговым лошадям.

Слову "может" присуща и еще одна черта, имеющая особое значение для нашей главной темы. Мы часто говорим о человеке или о животном, что они могут что-то делать, в смысле сделать правильно или хорошо. Когда мы говорим, что ребенок может произнести данное слово по буквам, то имеется в виду, что он не просто даст произвольный набор букв, но произнесет правильный набор букв в правильном порядке. Когда мы говорим, что он может завязать рифовый узел, мы не имеем в виду, что у него, когда он играет с веревочками, иногда получается рифовый узел, а иногда — самый обыкновенный. Нет, мы имеем в виду, что всегда или почти всегда, когда требуется завязать рифовый узел, у него получается рифовый узел или по крайней мере что эти узлы получаются почти всегда, когда они требуются и когда ребенок постареется. Когда мы, как это часто бывает, используем фразу "Может сказать" как парафразу для "знает", мы всегда имеем в виду: "Может сказать правильно". Мы не будем говорить, что ребенок может сказать время, если он произносит произвольные фразы, содержащие обороты, обозначающие время дня. Мы будем говорить, что он может это, только если он систематически сообщает время в соответствии с положением часовых стрелок или с положением солнца.

Многие глаголы действия, с помощью которых мы описываем людей, а иногда, с известной долей сомнения, и животных, обозначают совершение не просто действий, но подходящих или правильных действий. Они обозначают достижения. Такие глаголы и глагольные обороты, как "назвать по буквам", "вести счет (в игре)", "решить (задачу)", "найти", "победить", "исцелять", "запоминать", "обманывать", "убеждать", "прибывать", и бесчисленное множество других, означают не только совершение какого-то действия, но и достижение благодаря ему определенного результата. Это глаголы успеха. Вообще говоря, успех иногда является делом случая. Игрок в крикет может получить очко просто вследствие неосторожного движения. Но когда мы говорим, что человек может совершать вещи определенного рода, например разгадывать анаграммы или исцелять ишиас, мы имеем в виду, что его деятельность оказывается достаточно часто успешной и без расчета на удачу. Он знает, как осуществлять такую деятельность в нормальных условиях.

Мы также употребляем соответствующие глаголы неудачи, например "упустить", "ошибиться", "уронить", "потерять", "испортить", "просчитаться". Важно, что если человек может считать или называть слова по буквам, он может также и ошибаться в этом. Но смысл "может" во фразах "может назвать по буквам" и "может считать", с одной стороны, и "может ошибиться, называя по буквам" и "может ошибиться в счете" — с другой, существенно разный. Если в первом случае речь идет о некой компетенции, то во втором — не о другой

компетенции, но о подверженности. Для некоторых целей необходимо отметить и другое отличие между обоими этими смыслами "может" и тем смыслом, в котором можно сказать, что человек не может неправильно разгадать анаграмму, неудачно победить в гонке, тщетно найти клад или неприемлемо доказать теорему. В этих случаях речь идет о логической невозможности, а вовсе не о компетентности действующего лица. "Неудачно победить" или "неправильно разгадать" суть самопротиворечивые выражения. Позднее мы увидим, что страстное желание эпистемологов найти неопровержимые наблюдения частично простирается из неспособности заметить, что в одном из своих смыслов "наблюдать" есть глагол успеха, так что "наблюдать неправильно" — это такое же самопротиворечивое выражение, как и "неудачно излечить". Однако, подобно логически допустимым выражениям "неправильная аргументация" или "неудачное лечение", логически допустимо и выражение "неадекватное наблюдение", если слово "наблюдать" понимается как аналогичное не глаголу "находить", но глаголу "искать".

По-видимому, сказанного достаточно, чтобы показать разнообразие типов значений слова "может", а также типов выражений способности и подверженности. Лишь некоторые из выражений способности и подверженности характерны для описания человеческих существ. Но даже и среди них выделяются различные типы.

Тенденции отличаются от способностей и подверженностей. "Было бы, если..." отличается от "могло бы", а "постоянно происходит... когда..." отличается от "может". Дело обстоит примерно так: если мы говорим "может", мы говорим тем самым, что недостоверно, что чего-то не будет. А когда мы говорим "имеет тенденцию к...", "продолжает" или "склонен к...", мы говорим тем самым, что наверняка это было или будет иметь место. Поэтому "имеет тенденцию к..." имплицитно "может", но не наоборот. Предложение "Фидо имеет тенденцию выть на луну" говорит больше, нежели чем "Неверно, что если луна светит, то Фидо молчит". Данное предложение позволяет читателю не только не полагаться на молчание Фидо, но прямо ожидать его лая.

Но имеется множество разных типов тенденций. Тенденция Фидо обзаводиться летом чесоткой (если не сажать его на особую диету) отличается от его тенденции выть на луну (если хозяин не поругает его). Тенденция человека регулярно мигать отличается от его тенденции зажмуриваться в трудную минуту. Второе, но не первое мы можем назвать "его манерой".

Мы проводим различие между разными тенденциями в поведении, называя одни "привычками", другие "вкусами", "интересами", "увлечениями" и "хобби", а третьи "работами" и "занятиями". Надевать носок сначала на правую ногу, а потом на левую может быть просто привычкой, ходить на рыбалку всякий раз, когда позволяют дела и погода, — хобби, водить грузовик — работа. Можно

представить себе пограничные случаи регулярного поведения, которые мы не отнесем однозначно ни к одной из категорий. У некоторых людей работа является их хобби, а у других и работа, и хобби напоминают просто привычки. Но, во всяком случае, сами понятия вполне ясны. Действие по привычке не является действием ради определенной цели; человек иногда не может сообщить, что он это сделал, даже будучи спрошенным непосредственно после его привычного действия: его сознание было занято при этом чем-то другим. Действия, выполняемые как часть работы, могут делаться просто по привычке. Однако человек не совершает эти действия, если он не на работе. Солдат не марширует, находясь на побывке дома, — он это делает только тогда, когда он должен маршировать. Он оставляет и снова обретает эту привычку, снимая и снова надевая свою униформу.

Проявления хобби, интереса или вкуса осуществляются, как мы говорим, "для собственного удовольствия". Но такой оборот может создать неправильное представление, будто такие действия предпринимаются как своего рода инвестиции, от которых ожидают определенных дивидендов. На самом деле верно обратное, т. е. мы делаем такие вещи, потому что любим или хотим делать их, а не потому, что любим и хотим что-то такое, что является дополнением к ним. Мы с неохотой вкладываем свой капитал, надеясь получить оправдывающие это вложение дивиденды, и, если бы у нас появился шанс получить их, не вкладывая капитал, мы, конечно, с удовольствием отказались бы от инвестиций. Но любитель рыбалки не примет или не поймет вашего предложения получить удовольствие без самого процесса рыбной ловли. Для него удовольствием является именно этот процесс, а не нечто, что является его результатом.

Когда говорят, что некто сейчас наслаждается или же испытывает отрицательное отношение к чему-то, отсюда следует, что он обращает на это внимание. Было бы противоречием сказать, что человеку нравится исполняемая музыка, хотя он не обращает никакого внимания на то, что он слушает. В то же время не будет противоречием сказать, что он слушал музыку, но это не сопровождалось ни удовольствием, ни отрицательными эмоциями. Соответственно, когда мы говорим, что кто-то любит ловить рыбу, отсюда следует не только то, что он имеет тенденцию брать в руки удочку, когда ему ничто не мешает и не запрещает, но что он стремится делать это сознательно, обращая внимание на то, что он делает; это означает, что он имеет тенденцию погружаться в мечты или воспоминания о рыбалке и с большим интересом участвует в беседах и читает книги на данную тему. Но это еще не все, что следует сказать. Добросовестный репортер сознательно стремится вслушиваться в слова, произносимые политиками, даже если он и не стал бы делать это, если бы это не было его обязанностью. Он не делает этого в свои нерабочие часы. В это время он, возможно, предпочитает посвятить себя рыбной ловле. Он заставляет себя сосре-

доточиваться на рыбной ловле, как он это делал в отношении политических речей. Он концентрируется здесь без всяких усилий. Когда говорят, что человек любит что-то делать, то имеют в виду прежде всего это.

Помимо простых привычек, работы и интересов имеется много других типов тенденций более высокого уровня. Некоторые регулярности поведения обусловлены принципами и стратегиями, которые индивид накладывает на себя сам; другие определяются религиозными принципами или кодексами, внушаемыми ему со стороны. Склонности, амбиции, миссии, преданность, самоотверженность и хроническая небрежность — все это тенденции поведения, однако весьма разные виды тенденций.

Две иллюстрации помогут продемонстрировать некоторые различия между способностями и тенденциями или между компетенцией и наклонностями. (a) Можно симулировать наличие как квалификации и умений, так и наклонностей. Однако обманщика, делающего вид, что он умеет делать какие-то вещи, мы называем шарлатаном, а обманщика, делающего вид, что он имеет некие привычки и склонности, мы называем "лицемером". (b) Эпистемологи склонны смущать себя и своих читателей, чрезвычайно усложняя вопрос о различиях между знанием и верой (belief). Некоторые из них утверждают, что знание и вера отличаются лишь степенью чего-то, тогда как другие говорят, что они различаются присутствием какой-то интроспективно наблюдаемой составляющей, которая есть в знании, но отсутствует в вере, или *vice versa*. Затруднения их частично проистекают из допущения, что слова "знать" и "верить" обозначают события. Но мало понять, что эти слова являются диспозициональными глаголами, — надо еще увидеть, что они относятся к разным типам диспозициональных глаголов. "Знать" — это глагол, обозначающий способность, причем способность успешно осуществить или постичь что-то правильно. С другой стороны, "верить" — глагол, обозначающий тенденцию, при этом у него нет никаких коннотаций, указывающих на то, что это тенденция осуществлять или постигать нечто правильно. Слово "верить" может уточняться с помощью таких наречий и оборотов, как "настойчиво", "колеблясь", "неуклонно", "непобедимо", "глупо", "фанатично", "всем сердцем", "время от времени", "страстно" или "по-детски". Большинство из этих характеристик приложимы к таким существительным как "доверие", "преданность", "склонность", "отвращение", "надежда", "привычка", "рвение" или "порочность". Подобно привычке, вера или убеждение могут быть глубоко укоренившимися, незаметно приобретенными или отброшенными. Подобно приверженности, преданности и надежде, они могут быть слепыми и навязчивыми. Подобно отвращению и фобиям, они могут быть неосознаваемыми. Подобно моде и вкусам, они могут быть заразительными. Подобно верности и приязни, они могут быть вызваны у человека хитростью. Человека могут принуждать и умолять не верить чему-то, и он может попытаться, успешно или неуспешно, перестать верить. Иногда человек может

воскликнуть: "Не могу не верить тому-то и тому-то!" Однако все подобные обороты и их отрицания не приложимы к знанию, ибо знать — значит быть способным постичь что-то правильно; при этом не подразумевается тенденции действовать или реагировать определенным образом.

Грубо говоря, "верить" принадлежит семейству слов, обозначающих мотивацию, а "знать" — семейству слов, обозначающих умения, навыки, компетенцию. Поэтому мы спрашиваем, "как человек что-то узнал" в отличие от "почему он во что-то верит", подобно тому как мы спрашиваем: "как человек завязывает выбленочный узел", но — "почему он хочет завязать таким узлом" или "почему он всегда завязывает "бабы" узлы". Умения и навыки имеют свои методы, а привычки и склонности имеют источники. Соответственно, мы спрашиваем, что заставляет людей верить во что-то или бояться чего-то, но не спрашиваем, что заставляет их знать что-то или достигать чего-то.

Конечно, вера и знание (если это знание *что*), действуют, так сказать, в одном поле. Об одном и том же роде вещей мы можем сказать, что их можно знать или не знать, что в них можно верить или не верить, подобно тому как об одном и том же роде вещей мы говорим, что их можно производить и что их можно экспортировать. Человек, верящий, что лед опасно тонок, будет предостерегать других, что нужно кататься о осторожностью, и будет отвечать на вопросы так же, как и человек, который знает, что лед опасно тонок. Если спросить его, знает ли он, что это действительно так, он не колеблясь ответит утвердительно, пока его не приведет в замешательство вопрос, как он это обнаружил.

Можно сказать, что вера подобна знанию, она отличается от доверия к людям, радения о каких-то делах или отвращения к курению тем, что она является "пропозициональной установкой", т. е. то, во что именно человек верит или что именно он знает, выражается предложением. Это, конечно, верно, но это еще слишком тощее сходство. Разумеется, если я верю, что лед опасно тонок, то я не раздумывая говорю себе и другим, что "лед тонок", соглашаюсь, когда другие люди делают такие же высказывания, и возражаю на противоположные по смыслу, вывожу следствия из предложения "лед тонок" и т. д. Однако вера в то, что лед опасно тонок, выражается также и в склонности кататься осторожно, бояться, представлять себе в воображении возможные несчастья и предостерегать от них других катающихся. Вера выражается в склонности не только высказывать определенные утверждения, но и осуществлять некоторые действия, рисовать некоторые образы в воображении, иметь определенные чувства. И все эти вещи связаны с одним и тем же предложением. Фраза "Лед тонок" будет содержаться в описании страхов, предостережений, осторожного катания, утверждений, выводов, согласий или возражений.

Человек, знающий, что лед тонок, а также заинтересованный в выяснении того, тонок он или нет, тоже будет склонен вести себя и реагировать подобным

образом. Но если мы говорим, что он держится у берега, потому что знает, что лед тонок, то мы используем оборот "потому что" совсем в другом смысле и даем существенно иной род "объяснения" этому, нежели тогда, когда говорим, что он держится у берега, потому что верит, что лед тонок.

(4) МЕНТАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ

Существует масса способов описывать людей как занимающихся в данный момент тем-то, часто переносивших то-то, потративших на деятельность несколько минут, быстро или нескоро получивших какой-то результат. Важным подмножеством таких событий являются события, в которых выражаются определенные свойства интеллекта или характера. Надо сразу же заметить, что одно дело — сказать, что в некоторых человеческих действиях и реакциях выражаются свойства характера и интеллекта, и совсем другое — в силу злосчастной лингвистической особенности — сказать, что имеют место такие события, как ментальные акты и процессы. Второй способ выражения традиционно подразумевает историю о существовании двух миров, историю о том, что одни вещи существуют или случаются в "физическом мире", тогда как другие имеют место и происходят не в этом мире, а в некоем другом, метафорическом месте. Отказ от этой истории ничуть не мешает сохранению обычных различий, например, между лепетом и осмысленной речью, судорожным подергиванием и подачей сигналов. А ее признание ничуть не помогает прояснить подобные различия.

Начнем с рассмотрения ряда понятий, которые можно отнести к неопределенной, однако полезной рубрике "относящихся к вниманию" (*minding*). Их можно также обозначить как "понятия внимания". Я имею в виду следующие понятия: замечать, уделять внимание, обращать внимание, сконцентрироваться, вложить во что-то всю душу, думать о том, что делаешь, проявлять бдительность, интерес, стараться и пытаться. "Рассеянно" — говорим мы о действии, в котором человек обращает внимания или даже не замечает, что он делает. Есть в языке и более специальный смысл словосочетания "обращать внимание", в котором мы сообщаем, что человек обращает внимание на то, что он ест: он не только замечает, что ест, но и заботится о том, что ему есть. Если человек наслаждается чем-то или не любит чего-то, отсюда следует, что он обращает на это внимание (обратное неверно). "Наслаждаться" и "не любить" принадлежат к широкому классу глагольных выражений, подразумевающих внимание. Мы не можем, не говоря нелепицы, сказать, что человек рассеянно обдумывает, исследует, проверяет, полемизирует, планирует, слушает или смакует. Можно рассеянно бормотать или ёрзать, но если человек вычисляет или исследует, то излишне добавлять, что он уделяет тому, что делает, некоторое внимание.

Внимание во всех своих видах может различаться по степени. Водитель может вести машину с большим вниманием, с разумной степенью внимания или не очень внимательно, а учащийся может быть очень или не очень собран. Человек не всегда может сказать, сосредоточил ли он на своем занятии все внимание или только часть его. Ребенок, который должен выучить наизусть стихотворение, может считать, что он очень старается, потому что он не отрывает взгляда от книги, бормочет, морщит лоб и затыкает уши. Но если он все равно не может пересказать стихотворение, сказать, о чем оно, или найти ошибку, когда другой ребенок неправильно декламирует его, учитель не примет его утверждения, что он очень старался, и даже сам ребенок, возможно, согласится с мнением учителя.

Некоторые традиционные концепции сознания были, по крайней мере отчасти, мотивированы стремлением прояснить понятие внимания. Обычно для этого пытались выделить какую-то черту, характерную именно для внимания и общую для всех его проявлений. Эту черту описывали, как правило, в терминах созерцания и наблюдения, указывая, что одно дело, когда человека щекочут, а другое — когда он это замечает; одно дело читать текст, и другое — его изучать. Речь шла, образно говоря, о процессах, происходящих под неусыпным оком сознания того, о ком идет речь. Но дело в том, что наблюдение или инспектирование того, что в тебе происходит, — это не отличительные характеристики внимания вообще, а некоторые особые виды внимания. В самом деле, когда человека буквально или метафорически описывают как наблюдателя, можно осмысленно спросить, внимательно ли он наблюдает или нет. Если кто-то внимательно наблюдает за птичкой на газоне, отсюда не следует, что он также в метафорическом смысле "внимательно наблюдает" за своим наблюдением. Если человек направляет все свое внимание на карикатуру, которую он рисует, отсюда не следует, что он столь же внимательно следит за своими пальцами, выполняющими рисунок. Когда человек делает что-либо внимательно, отсюда не следует, что его действие соединено со своего рода теоретизированием, исследованием или осознанием. В самом деле, тогда получалось бы, что всякий раз, когда мы делаем с вниманием одну вещь, мы делаем с вниманием бесконечно много вещей.

Причины неправильного описания внимания в терминах созерцания в какой-то мере обусловлены общей интеллектуалистской традицией, считающей сущностью сознания теоретизирование, а сущностью теоретизирования — своего рода созерцание. Есть, впрочем, и другие, более серьезные причины. В самом деле, если человек что-то делает или претерпевает и обращает на это внимание, то он действительно может рассказать (если он обучен искусству такого рассказа), что именно он делал или претерпевал. При этом он не будет искать свидетельства, делать умозаключения; он будет постоянно знать то, что именно он должен рассказать. Это уже вертится у него на кончике языка.

Он будет рассказывать так, как рассказывают что-то очень знакомое или очевидное. А поскольку наша стандартная модель очевидности заимствована из области хорошо знакомых вещей, видимых при хорошем освещении, с удобной точки обзора, мы, естественно, склонны описывать любую способность без труда и колебаний рассказывать что-то как результат особого созерцания. Поэтому мы говорим о "видении" логического вывода или смысла шутки. Однако, хотя отсылки к восприятию привычных вещей при благоприятных обстоятельствах и могут иллюстрировать понятия знакомого и очевидного, они не могут прояснить их.

Далее мы рассмотрим, каким образом возможность без труда рассказать о собственных действиях и реакциях содержится в самом внимании к собственным действиям и реакциям. Здесь необходимо подчеркнуть, что способность отвечать на вопросы о своих действиях и реакциях отнюдь не исчерпывает всего содержания внимания к собственным действиям. Когда мы внимательно ведем машину, то это уменьшает риск дорожных происшествий, а не только позволяет водителю отвечать на расспросы относительно его действий. Когда мы уделяем чему-то внимание, то не только можем дать правильный отчет об этом; да и отсутствие внимания к своему занятию проявляется не только в том, что в хранилище очевидных свидетельств ничего не отложилось. Понятие внимания является когнитивным лишь *per accidens*. Исследования не являются единственными занятиями, в которых мы применяем внимание.

Теперь мы можем обратиться к другой стороне логического поведения понятий, связанных с вниманием. Когда человек, прогуливаясь, мурлычет себе под нос, он делает две вещи одновременно; он может прервать любое из этих занятий, не прерывая одновременно другого. Но когда мы говорим, что человек концентрирует внимание на том, что он говорит, или на том, что он свистит, мы не скажем, что он делает две вещи одновременно. Нельзя прекратить читать, но продолжать концентрировать на чтении внимание или передать другому управление автомашиной, но продолжать соблюдать осторожность при вождении; хотя, конечно, можно продолжать читать, но мыслями отвлечься от чтения или продолжать вести машину, но невнимательно. Поскольку использование таких пар глагольных оборотов в активной форме, как, например, "читать" и "быть внимательным" или "вести машину" и "быть внимательным", может породить представление, что должно быть два одновременных и, возможно связанных, процесса, происходящих в тех ситуациях, в которых уместно использование подобных пар глагольных оборотов, то нелишне напомнить себе, что глаголы внимания весьма часто заменяются наречиями. Обычно мы говорим: "внимательно читать", "внимательно вести машину" или "внимательно управлять яхтой", и такое словоупотребление имеет то явное преимущество, что показывает описываемое как один процесс, обладающий особой характеристикой, а не

как два процесса, происходящих в разных "местах", но связанных как бы кабелем какого-то особого рода.

В чем же состоит эта особая характеристика? Это сложный вопрос, потому что наречия внимания характеризуют глаголы совсем не так, как характеризуют прочие наречия те глаголы, к которым они относятся. Можно описывать лошадь как бегущую быстро или медленно, ровно или тряско, прямо или по кривой. Как именно бежит лошадь, показывает нам простое наблюдение. Это даже можно заснять на киноленту. Но когда человека описывают как внимательно ведущего машину, свистящего с полным вниманием к тому, что он делает, или съедающего свой обед рассеянно, то данная характеристика его деятельности кажется неуловимой для наблюдателя или кинокамеры. Возможно, что нахмуренные брови, молчание, напряженный взгляд могут выступать свидетельствами его внимательности; но эти внешние признаки могут быть и простой симуляцией или машинальной привычкой. Во всяком случае, описывая человека как сконцентрированного на своей задаче, мы ничего не подразумеваем насчет того, как он выглядит и какие звуки издает. Мы не откажемся от своего утверждения, что он сконцентрирован, только на том основании, что у него вполне обычное выражение лица. Поскольку, таким образом, этот особый характер деятельности ненаблюдаем, мы должны или признать его скрытым сопровождением деятельности, или простым диспозициональным свойством действующего лица. Возникает альтернатива: или свистение с полным вниманием на этом занятии есть сдвоенное событие, элементы которого происходят в разных "местах", или же описание свистения как выполняемого с вниманием обозначает одно явное событие и делает некоторое открытое гипотетическое утверждение о действующем лице. Если мы примем первую альтернативу, то тем самым придется принимать концепцию двух миров. Кроме того, первая альтернатива сталкивает нас и с такой трудностью: если внимание есть особая деятельность, отличная от явно наблюдаемой деятельности, описываемой как выполняемой с вниманием, то как объяснить, что внимание никогда не происходит само по себе, отдельно от какой бы то ни было деятельности, подобно тому как мурлыканье по нос может сопровождать ходьбу, а может быть отдельной деятельностью? С другой стороны, если мы примем диспозициональную трактовку, то должны будем сказать, что, хотя человека можно описывать как свистящего в настоящий момент, его нельзя изображать как внимательного или сконцентрировавшегося в настоящий момент. И в то же время мы прекрасно знаем, что такие описания вполне правомерны. Но этот вопрос надо рассмотреть более подробно.

Если мы хотим выяснить, обращает ли кто-то внимание на то, что он читает, мы обычно решаем эту проблему, расспросив человека вскоре после того, как он занимался данной деятельностью. Если он ничего не может сказать о сути или букве прочитанного текста, не находит ничего странного в других текстах,

противоречащих только что прочитанному, или если он выражает удивление, когда ему сообщают что-то такое, что в читавшемся тексте уже содержалось, то тогда мы скажем, что он не обращал внимания на то, что читал, если только он не был во время наших расспросов перевозбужденным, сонным или не перенес сотрясения мозга. Обращать внимание на то, что читаешь, — это и означает быть готовым к такому последующему тесту. Сходным образом, некоторые виды дорожных происшествий или близких к авариям ситуаций покажут нам, что водитель не был внимателен. Вести машину внимательно — это и означает быть готовым к определенного рода неожиданностям.

Но это еще не все. Прежде всего имеется множество других глаголов, обозначающих процессы, которые выражают аналогичные диспозиционные свойства, однако не могут рассматриваться как глаголы внимания. "Он сейчас умирает", "доходит", "слабеет", "он сейчас загипнотизирован", "анестезирован", "иммунизирован" — все это есть сообщения о событиях, которые истинны, если будут истинны некоторые проверяемые гипотетические утверждения о будущем того человека, о котором идет речь. В то же время, с другой стороны, мы вполне можем говорить, что некто сейчас думает о том, что он говорит, что он то замечает жесткость стула, на котором сидит, то перестает замечать это, что он начинает и перестает быть собранным, и даже вполне можем приказывать кому-то быть внимательным, хотя нельзя же приказать кому-то быть способным или склонным сделать что-то. Мы также знаем, что читать внимательно — более утомительно, чем читать невнимательно. И потому, когда мы применяем в своих высказываниях о каком-то человеке понятия внимания, мы, конечно, приписываем ему некое диспозиционное свойство, однако наряду с этим описываем некое событие. Мы говорим, что он делает то, что делает, в особой структуре сознания. А поскольку уточнение того, какова именно эта структура, требует указания на то, как он способен, готов или, скорее всего, будет действовать и реагировать, то его действие в данной структуре сознания само становится событием, имеющим определенную временную координату.

Сформулируем эту же проблему по-другому. Вполне может быть так, что два действия, осуществляемых при разных структурах сознания, в точности совпадают. Если, например, заснять их на киноплёнку или сделать звукозапись, изображения будут сколь угодно сходными. Так, человек может играть на пианино для собственного удовольствия, либо для удовольствия слушателей, либо для упражнения, либо для обучения других, либо по принуждению, либо чтобы спародировать другого пианиста, либо в рассеянности и чисто механически. И поскольку различие между такими исполнениями иногда невозможно ухватить ни в видео-, ни в звукозаписи, у нас появляется искушение сказать, что данные события являются либо сложными событиями, компонентами которых являются внутренние действия и реакции, заметные лишь самому исполнителю, либо

что наблюдаемое исполнение удовлетворяет ряду открытых гипотетических утверждений. Иными словами, когда мы описываем музыканта, исполняющего "О, милый дом!", как демонстрацию того, как надлежит исполнять данную вещь, наше описание имеет сложную структуру, в которой один элемент отличается от описания того же музыканта, играющего ту же пьесу, чтобы спародировать другого музыканта, хотя в части того, что доступно наблюдению, оба описания будут одинаковыми. Следует ли рассматривать такие сложные описания внешне одинаковых событий как описания конъюнкции одинаковых открытых наблюдению и разных скрытых событий или различия между описаниями надо реконструировать другим образом? Идет ли речь о двойственном факте или о едином факте, к которому добавляются разные выводные свидетельства?

И то, и другое кажется неприемлемым, хотя второй вариант дает необходимую часть ответа. Подобно большинству дихотомий, логическую дихотомию "либо категорическое утверждение, либо гипотетическое" надо принимать "со щепоткой соли". Мы должны заняться здесь классом утверждений, которые как раз и соединяют эти альтернативы. На самом деле нет ничего неприемлемого в идее, что утверждение может быть в одном отношении похоже на констатацию простого факта, а в другом — на вывод "если ... то..." или что утверждение может быть одновременно повествованием, объяснением и условным предсказанием, не будучи, тем не менее, конъюнкцией более простых суждений. В самом деле, чтобы утверждение, значение которого состоит в том, что что-то есть, потому что что-то другое имеет место, было истинно, нужно, и чтобы имелся некоторый факт, и чтобы было право выводить из одного факта другой. Это не такое суждение, про которое можно сказать, что одна его часть истинна, а другая — ложна.

Встречающееся в разговорном языке обвинение "Ясно же было, что ты пропустишь последний поезд" содержит не только упрек в том, что собеседник пропустил последний поезд, но и утверждение, что этого надо было ожидать. Совершенный проступок был предсказуемым. Данное обвинение содержит в себе частично выполненное открытое гипотетическое утверждение. Оно не является и не может быть полностью выполняемым, ибо можно было бы также предсказать, например, что, если бы человек вошел в телефонную будку (чего он, возможно, не сделал), у него могло бы не оказаться подходящей мелкой монеты или что если бы он намеревался отправить письмо по почте (чего он, возможно, не делал), то он пропустил бы время последней выемки писем из ящика. Я буду называть предложения типа "Ясно же было, что ты сделаешь то, что ты сделал" "полугипотетическими" или "нечистокровными (смешанными) категорическими утверждениями". Большинство примеров, которые обычно приводятся в качестве категорических утверждений, являются смешанно категорическими.

Соответственно, когда мы говорим, что кто-то делал нечто внимательно, мы высказываем не только то, что он, например, способен выполнить какие-то тес-

ты и задачи, которые ему можно было бы предъявить, но которые не были предъявлены, — мы высказываем также, что он был готов к выполнению задачи, с которой он и в самом деле справился. У него была такая структура сознания (*frame of mind*), что, мог бы, если бы потребовалось, выполнить массу задач, которые на самом деле могли бы и не потребоваться. И *ipso facto* он находился в такой структуре сознания, чтобы выполнить по крайней мере ту задачу, которая встала перед ним в действительности. Имея такую структуру сознания, он *должен был бы* выполнить то, что он на самом деле выполнил, как и массу других вещей, о которых тут вовсе не говорится, что он их выполнил. Поэтому когда мы говорим, что он был внимателен к тому, что он делал, то это есть не только описание, но в такой же мере и объяснение реального события с помощью условного предсказания дальнейших событий.

Утверждения такого типа характерны не только для описаний сознательных действий и реакций людей. Когда мы описываем кусок сахара как растворяющийся, наше описание является более событийным, нежели когда мы описываем его как растворимый. Однако наше описание является более диспозициональным, нежели когда мы описываем его как намокший. Когда птица описывается как совершающая перелет, высказывается нечто более событийное, нежели тогда, когда она описывается как перелетная, но более диспозициональное, чем когда она описывается как летящая в сторону Африки. Кусок сахара и птица в данных ситуациях *должны были бы* делать то, что они фактически делают, но, если бы возникли другие обстоятельства, они делали бы также много других вполне определенных вещей.

Описание птицы как совершающей перелет более сложно, нежели описание ее как летящей в сторону Африки. Но эта большая сложность состоит не в том, что тут якобы описывается больше происшествий. Описывается одна и та же вещь — что птица в данный момент летит на юг. Утверждение "Это перелетная птица" не сообщает нам больше событий, нежели утверждение "Она летит на юг". Однако первое утверждение сообщает нам и о многих возможных событиях в отличие от утверждения "Она летит на юг". Первое может оказаться ложным в большем числе случаев, и потому оно существенно информативнее.

Это связано с весьма распространенным использованием слов "потому что", отличным от всех ранее рассмотренных употреблений. Оба утверждения — "Птица летит на юг" и "Птица совершает перелет" — являются сообщениями о некоторых событиях. На вопрос: "Почему птица летит на юг?" — можно дать вполне уместный ответ: "Потому что она совершает перелет". Однако процесс перелета ничем не отличается от процесса полета на юг. Поэтому перелет не может быть причиной того, почему птица летит на юг. К тому же, предложение "Потому что она совершает перелет" говорит не то же самое, что предложение "Потому что она перелетная", поскольку первое предложение является сообще-

нием о событии. Мы можем сказать, что фраза "Она совершает перелет" описывает процесс полета отчасти в терминах описания событий, отчасти в объяснительных и предсказательных терминах. Сама по себе она не утверждает никакого закона, однако описывает событие в терминах, подразумевающих определенный закон. Фраза "Совершает перелет" сообщает известную биологическую информацию, подобно тому как глагол "растворяется" передает информацию химическую. Фраза "Птица совершает перелет" дает право на вывод "Это перелетная птица", подобно тому как фраза "Сахар растворяется" дает право на вывод "Он растворим". Аналогичным образом, когда мы спрашиваем, почему человек читает определенную книгу, на это можно дать вполне уместный ответ: "Потому что ему интересно то, про что он читает". Однако тут не происходит двух параллельных процессов — чтения и испытывания интереса к тому, что читают. Поэтому интерес не есть причина чтения. Но в то же время интерес объясняет чтение таким же общим (а не конкретным) образом, каким совершение перелета объясняет, почему птица летит на юг.

Итак, я указал на некоторый факт относительно понятий внимания, а именно: вполне осмысленно приказывать быть внимательным, обращать внимание, соблюдать осторожность, учиться прилежно и т. п. Столь же осмысленно человек может говорить о самом себе, что он сосредоточил внимание, соблюдает осторожность и пр. Конечно, очевидно, что нельзя приказать только сосредоточить внимание или обратить внимание. Следует добавить, что именно надлежит внимательно делать. Например, школьнику, корректору и пациенту глазного врача могут сказать, что нужно внимательно прочитать определенный отрывок текста. Ученик нарушит этот приказ, если будет обращать внимание на опечатки, а не на суть изложенного; корректор нарушит приказ, если будет вдумываться в суть, а не обращать внимание на опечатки; а пациент глазного врача должен сообщать не об опечатках и не о сути, а только о четкости или расплывчатости, яркости или бледности напечатанных букв. То же самое, очевидно, относится к вниманию вообще. Нельзя просто сказать, что человек интересуется, поглощен или пытается; надо сказать, что он, например, с интересом читает статью, поглощен ужением рыбы или пытается влезть на дерево. Подобным же образом слова "наслаждаться" или "испытывать отвращение" требуют дополнений, производных от активных глаголов, например к "плаванию", "слушанию Баха" или "безделью".

Когда человек описывается как направляющий свое внимание на какое-то определенное действие или реакцию, мы вправе сказать, что он "думает" о том, что он делает или испытывает, на что направляет внимание. Это не означает, что он обязательно сообщает самому себе о том, что он делает или испытывает. Он не обязан, хотя и может это делать, бормотать самому себе комментарии, критику, указания, поощрения или оценку ситуации; а если бы он все это про-

дельвал, можно было бы снова спросить, думает ли он о том, что бормочет, или нет. Иногда нездоровое увлечение самокомментариями, как в случае Гамлета, считается знаком отсутствия внимания к тому, что человек делает, именно потому, что он направляет свое внимание на вторичную задачу обсуждения с самим собой своей основной задачи. А иногда человек, пытающийся говорить по-французски, сам отвлекает себя от этой задачи, обсуждая с самим собой по-английски, как ему построить французскую фразу. Думать или быть внимательным к тому, что делаешь, вовсе не предполагает составления связного описания своих действий. Последнее есть просто один из возможных примеров того, как можно думать о том, что делаешь, или быть внимательным к тому, что делаешь. Это есть один из видов, а не причина и не условие внимательного действия. Но, конечно, дидактическое проговаривание, если оно осмысленно проводится и осмысленно воспринимается, часто становится необходимым руководством при исполнении некоторых действий. Есть много вещей, которых мы не можем сделать или не можем сделать хорошо, если не будем внимательны к надлежащим и своевременным инструкциям, даже если авторами этих инструкций являемся мы сами. В таких случаях, пытаясь что-то сделать, мы одновременно стараемся давать себе правильные и своевременные инструкции и следовать им.

Рассмотрим теперь тип действий хотя и совершенно нетворческих, но требующих известной степени внимания (действия инстинктивные, привычные и рефлекторные внимания не предполагают). Солдат, который чистит свой штык, повинаясь приказу, может производить те же самые движения, что и человек, чистящий штык с любой другой целью. "Повинуясь" не означает, что его мускулы выполняют какие-то особые действия. Это также не означает и не подразумевает, что человек обсуждает сам с собой то, что он делает, или дает себе инструкции. Ибо солдату не приказывали ничего подобного. И даже если он это делает, это не объясняет его действий, потому что следование собственным инструкциям будет просто еще одним примером действий повиновения. Однако "чистить свой штык, повинаясь приказу" означает, разумеется, чистить его, думая, что это и есть действие, требуемое приказом. Солдат не делал бы этого, если бы он получил другой приказ или неправильно расслышал данный. Если его спросить, почему он это делал, он, не колеблясь, сослался бы на приказ.

Разумеется, он не делает одновременно двух вещей, а именно чистит штык и повинаясь приказу, подобно тому как перелетная птица одновременно и совершает перелет, и летит на юг. Он повинаясь приказу тем, что чистит штык. Вопрос: "Внимателен ли он по отношению к приказу?" — имеет вполне удовлетворительный ответ: "Да, он стал чистить штык, как только получил приказ". Хотя, разумеется, могло быть и так, что солдат не слышал приказа и стал чистить штык для собственного удовольствия, что по чистой случайности совпало

с поступлением приказа. В таком случае было бы неправильно говорить, что он чистит свой штык, повинуюсь приказу.

Мы могли бы сказать, что первой задачей для него является подчинение любому приказу, какой отдает сержант. Если мы спросим: "На что направлено его внимание?" — то правильным ответом будет: "На приказы сержанта". Он взялся чистить штык только потому, что сержант это приказал. Описание установки его сознания содержит прямую отсылку к приказу и только косвенную, ибо обусловленную приказом, отсылку к чистке штыка. Действие солдата, так сказать, заключено в кавычки: он делает это как именно то, что было приказано. Окажись приказ иным, он и делал бы что-то другое. Структура его сознания такова, что он делает то, что ему приказывают, включая чистку штыка. Его чистка штыка обусловлена и предсказуема, если известен приказ, ибо она является функцией от значения переменного условия — приказа.

Аналогично имитатор произносит только те слова и делает только те жесты, которые производил оригинал. Если бы последний действовал по-другому, иначе действовал бы и имитатор. Последний вовсе не обязан постоянно говорить себе или окружающим, что вот, мол, как действовал оригинал. Обезьянничанию совсем необязательно должно предпосылаться введение или объясняющий комментарий; да зачастую имитатор и не может этого сделать, поскольку способность описывать развита у него гораздо меньше, чем способность подражать.

Но какое значение имеет слово "как" в сообщении, что некто делает, как предписывает приказ, или как оригинал, или как упражнение в каком-то деле, или как средство для некоторой цели, или как игру; или, в общем случае, как реализацию некоторой программы? В чем состоит различие между чисто автоматическим выполнением последовательности операций и *стремлением* соответствовать определенным требованиям путем выполнения той же самой последовательности операций? Или: в чем различие между чисткой штыка в силу приказа и чисткой его, чтобы им воевать?

Сказать, что солдат чистит свой штык с определенной целью, а именно выполнить приказ или защитить себя, было бы, конечно, правильно, но недостаточно, ибо суть вопроса состоит в следующем: если мы признаем, что фразы "Птица совершает перелет" и "Солдат чистит штык, повинуюсь приказу" обе являются смешанными категорическими утверждениями, то в чем тогда состоит разница между ними, которую мы выражаем теми словами, что солдат сосредоточивает внимание и действует с определенной целью, а птица — нет?

По крайней мере частичный ответ состоит в следующем. Когда мы говорим, что кусок сахара растворяется, что птица совершает перелет, а человек мигает, то это не подразумевает, что сахар обучен погружаться в воду, птица выучилась улетать осенью на юг, а человека натренировали в некоторых случаях мигать. Но когда мы говорим, что солдат чистит свой штык, повинуюсь приказу

или чтобы защищать себя, это подразумевает, что он обучен определенным навыкам и их еще не забыл. Новобранец, услышавший подобный приказ или увидевший врага, еще не знает, что ему делать со штыком. Возможно, он даже не знает, как истолковывать приказы и их исполнять.

Не все приобретенные способности и склонности можно охарактеризовать как свойства сознания. Привычка спать на правом боку не является свойством интеллекта или характера; манера произносить (вслух или в уме) слово "Твидледи", услышав слово "Твидледум", есть приобретенная привычка, хотя навряд ли нас этому обучали. Она просто приклеилась к нам, мы не предпринимали никаких к тому усилий и ни для чего это обычно не используем. Случай, когда некоторый навык приклеивается к нам сам собой, без всяких наших усилий, является вырожденным случаем процесса обучения. Даже когда мы старательно учим наизусть стихи, то это, хотя и представляет собой самую примитивную форму обучения, дает нам не только ничего особо не значащую способность повторять эти стихи, но и гораздо более ценную способность приобретать в процессе обучения разнообразные способности. Это первая ступень на пути к тому, чтобы стать *вообще* обучаемым.

Дети, малообразованные люди, солдаты старого закала и некоторые педагоги считают, что образование состоит в простом приобретении способности точно воспроизводить преподанные уроки. Но такое представление ошибочно. Если ребенок может только воспроизводить всю таблицу умножения от начала до конца, но больше ничего не умеет с ней делать, то мы скажем, что он только начал изучать умножение. Нельзя сказать, что он действительно выучился умножению, пока он не сможет самостоятельно и правильно решить любой пример на умножение не очень больших чисел и типовую задачу вроде: сколько пальцев находится в комнате, если в ней присутствуют шесть человек? Не назовут обученным скалолазом того, кто способен справляться только с той скалой, на которой его обучали. Учиться — значит приобретать способность совершать правильные или уместные шаги в *любой* ситуации определенного рода. Это значит быть готовым к проблемам, *варьируемым* в некоторых пределах.

Когда мы описываем человека как делающего сейчас что-то с некоторой степенью внимания определенного рода, то это значит не только то, что он определенным образом подготовлен к такой деятельности, но и то, что он сейчас столкнулся с конкретной задачей и встретил ее как одну из задач определенного типа, которые могли бы ему встретиться. Структуру его сознания можно описать как "готовность", ибо он, во-первых, делает то, что он делает, с готовностью делать именно это и именно в такой ситуации, и, во-вторых, он готов делать еще что-то в там же духе в других ситуациях, с которыми он мог бы столкнуться. Когда мы описываем водителя как внимательного и предусмотрительного, из этого не следует, что ему приходит в голову, что, например, с той сторо-

ны улицы может появиться осел. Он может быть готов к подобным происшествиям, не предвосхищая каждое из них конкретно. В то же время он мог бы и предвосхищать их, однако оказаться к ним не готовым.

Ранее в этой главе я пытался объяснить, почему, хотя концентрация внимания на некоторой задаче состоит не в том, что к действию по выполнению задачи присоединяется еще созерцание и контролирование своих действий, мы все же ожидаем от человека, концентрирующего свое внимание на чем-либо, что он будет способен сразу ответить нам, чем он занимался. Внимание не является вторичной деятельностью, сопровождающей иную, первичную; и тем не менее оно подразумевает, что ответы на вопросы относительно первичного занятия пребывают на кончике языка внимательно действовавшего человека. Как я могу знать о том, что я делал или ощущал, когда был внимателен, если само внимание не включает в себя исследование того, что я делаю или чувствую? Как я могу теперь описать нечто, если до того я не осуществлял наблюдения за этим?

Ответ частично заключается в следующем. Далеко не всякий разговор состоит в передаче элементов общего знания, и, уж конечно, самые примитивные разговоры не таковы. Например, мы не начинаем разговаривать с малышом, сообщая ему названия предметов, которыми он еще не интересуется. Мы начинаем, называя ему имена вещей, которые его интересуют. Использование имен вещей накладывается на интерес к ним. И когда мы даем ребенку наставления, советы, примеры, упреки и поощрения по ходу его собственных действий, мы поступаем примерно сходным образом: не ждем, когда ребенок сядет совершенно праздно, чтобы его учить. Вообще тренировка в каком-то виде деятельности неразрывно связана с самой деятельностью. Попытка сделать какую-то вещь и есть попытка выучиться делать такие вещи; обучаясь делать нечто, ребенок одновременно обучается лучше понимать и лучше применять полученные им уроки. При этом он осваивает также парные роли наставника и ученика. Он обучается тренировать самого себя и концентрировать внимание на собственной тренировке, т. е. приспособлять свои действия к собственным словам.

Хороший спортивный судья не свистит в свисток непрерывно. И тренируемый игрок не перестает быть собранным и сконцентрированным на игре, едва услышав судейский свисток. Скорее, наоборот: если игрок все время ждет свистка судьи, это означает, что он не сконцентрировался на игре. И всех нас выучили быть в некоторой степени собственными судьями. Хотя мы редко свистим в свои судейские свистки, но если ситуация требует этого, то мы почти все время готовы их применить.

Судья вмешивается в ход игры, чтобы проявить власть, а не для того, чтобы давать описания или информацию. Его назначение состоит в том, чтобы способствовать нормальному протеканию игры, а не в том, чтобы отвечать на вопросы

журналистов. Он осуществляет руководство и штрафует, а не информирует о ходе игры. Но для того чтобы быть готовым правильно судить в любой игровой ситуации, ему приходится внимательно следить за этими ситуациями и потому быть готовым в любой момент дать сообщение, которого ждут журналисты. Поскольку он знает, какое дать указание, он знает, как обстоят дела, и может об этом сообщить. Грубо говоря, ему достаточно только сменить интонацию с повелительной на повествовательную. Сообщать об игре в изъяснительном наклонении сложнее, потому что требует большей невозмутимости.

Сходным образом все мы в случае надлежащей подготовки можем в большинстве случаев давать самим себе предписания, советы и выносить вердикты, более или менее уместные и способствующие тому, чем мы в данное время занимаемся. Когда мы переходим от инструктирования самих себя к правильному описанию ситуации (в ответ на чей-то вопрос), нам не приходится предпринимать особое исследование. Достаточно переформулировать то, что мы уже сами себе говорили. Знать, как надо действовать, чтобы соответствовать некоторым требованиям, — это означает также и знать, что ответить на другие требования. Когда мы не в состоянии в качестве наставника или судьи сказать что-то вразумительное самим себе, например, когда удается придумать удачную шутку, сочинить стихи или вдруг понять характер другого человека, то немного мы можем и другим рассказать о том, как мы это сделали. Тогда мы говорим о "вдохновении" и "интуиции", что избавляет от дальнейших вопросов.

(5) ДОСТИЖЕНИЯ

Есть и другой класс слов, обозначающих события и заслуживающий нашего внимания. Речь идет о словах, которые я в другом месте назвал "словами достижения" и "словами успеха", а также об их антонимах — "словах провала", "словах ошибки", "словах упущения". Это самые настоящие слова для обозначения событий, ибо вполне можно сказать, что кто-то достиг цели в определенный момент, регулярно разгадывает анаграммы, моментально схватил смысл шутки или быстро нашел свой наперсток. Некоторые слова данного класса обозначают более или менее внезапные кульминации или развязки, другие — более или менее продолжительные действия. Наперсток найден, шахматная партия выиграна, гонка выиграна — и все это происходит в определенный момент. Но секрет хранится, враг подавляется, лидерство удерживается в течение длительного промежутка времени. Разглядеть в небе ястреба — это один вид успеха, а не потерять его из вида — другой.

Мы обычно описываем такие удачи и их сохранение с помощью активных глаголов, таких, как "победить", "извлечь", "раскрыть", "найти", "исцелить", "убедить", "доказать", "обмануть", "отпереть", "сохранить", "скрыть". Данный грам-

матический факт повинен в том, что многие (но не Аристотель) забыли об отличии логического поведения глаголов данного класса и других глаголов активности или процесса. Различия между такими, например, глаголами, как "играть" и "выиграть", "лечить" и "излечить", "искать" и "найти", "хватать" и "удержать", "слушать" и "слышать", "смотреть" и "видеть", "ехать" и "приехать", если они вообще замечались, истолковывались как различия между взаимосвязанными видами деятельности, тогда как на самом деле они состоят не в этом. Упустить эти различия совсем нетрудно, поскольку мы весьма часто используем глаголы достижения для обозначения деятельности по разрешению некоторой задачи в случае хороших шансов на успех. Иногда о бегуне могут с самого старта говорить, что он выигрывает забег, хотя он может и не победить на финише; врач может хвастаться, что он исцеляет воспаление легких у своего пациента, хотя лечение и не приводит в конце концов к желаемому результату. Слово "слышать" иногда используется как синоним для "слушать"; частенько говорят "я почию" вместо "я попытаюсь починить".

Первое большое различие в логической силе глаголов задачи (task verb) и соответствующих глаголов достижения состоит в том, что с помощью глагола достижения мы утверждаем, что достигнуто некоторое положение дел, а не только осуществлялась (если вообще осуществлялась) направленная на это деятельность. Чтобы бегун победил, мало, чтобы он добежал до финиша, нужно, чтобы остальные прибежали после него. Чтобы врач вылечил пациента, необходимо, чтобы он лечил и чтобы пациент выздоровел; чтобы искавший нашел наперсток, нужно, чтобы наперсток находился в том месте, где его искали; чтобы математик доказал теорему, она должна быть истинным математическим предложением и действительно вытекать из тех посылок, из которых он пытается ее вывести. Автобиографический отчет действующего лица обо всех его действиях и чувствах сам по себе еще не позволит определить, была ли его деятельность успешной. Он может заявлять претензию на успех, однако отказаться от нее, обнаружив, что, несмотря на все его усилия, что-то все равно не получается. Я откажусь от своего заявления, что нашел опечатку в корректуре или что я убедил своих избирателей, если обнаружу, что в корректуре нет опечаток или что избиратели отдали свои голоса моему политическому оппоненту.

Вследствие этого общего различия всегда осмысленно (хотя, разумеется, не всегда верно) полностью или частично объяснять успех удачей. Часы удается починить, хорошенько стукнув по ним кулаком, а клад можно найти, копая землю в своем огороде.

Отсюда следует также, что могут быть достижения без всякой предварительной направленной на эту цель деятельности. Иногда мы находим вещь, когда ее не ищем, получаем предложения работы, даже не рассылая предварительно свои резюме, и приходим к правильному заключению, еще не взвесив

как следует все данные. Если что-то получается без труда, мы часто говорим, что это нам "дано". Так можно сказать про легкую добычу. А если результат достался нелегко, мы говорим, что он "сделан", "заработан".

Когда о ком-то говорят, что он боролся и победил или поехал и доехал, то вовсе не имеют в виду, что он сделал две вещи. Просто он сделал одну вещь с определенным результатом. Сходным образом, если человек стремился, но не преуспел, отсюда не следует, что он последовательно сменил два занятия. Он сделал одну вещь, которая оказалась неудачной. Поэтому мы ожидаем от человека, пытающегося достичь какой-то цели, что он способен и без особого исследования сказать, что он делает; однако мы не ожидаем от него, что он всегда без труда может сказать, чего он добился. Достижения и неудачи не являются объектами того, что часто, хотя и неудачно, называют "непосредственной очевидностью". Это не действия, операции или поступки, но то обстоятельство, что известные действия, операции или поступки имели определенные результаты.

Вот почему можно осмысленно сказать, что кто-то стремился напрасно или не напрасно, но нельзя сказать, что он попал в мишень напрасно или не напрасно; что он лечил своего пациента усердно или небрежно, но не то, что он его вылечил усердно или небрежно. Мы можем сказать, что он скользит взглядом по заборам на улице быстро или медленно, по порядку или как попало, но мы не скажем, что он быстро или медленно, систематически или беспорядочно увидел гнездо. Наречия, подходящие для глаголов задачи, по большей части неприменимы для глаголов достижения. В частности, наречия, подходящие для глаголов внимания, такие, как "тщательно", "внимательно", "усердно", "бдительно", "сознательно", "упрямо", столь же неприменимы к таким глаголам, обозначающим познавательную деятельность, как "открыть", "доказать", "решить", "обнаружить", "видеть", как и к глаголам типа "прибыть", "починить", "купить" или "завоевать".

Существует много глаголов, относящихся к событиям, которые используются для описания элементов познавательной деятельности человека. Однако одни из них являются глаголами задачи, а другие — глаголами достижения. Игнорирование данного различия является источником многих философских головоломок, а также теорий, изобилующих загадочными скрытыми сущностями. Постулируются особые когнитивные акты и операции, которые должны соответствовать глаголам типа "видеть", "слышать", "обонять", "дедуцировать" или "вспоминать" таким же образом, каким обычные известные действия соответствуют глаголам "играть", "бегать", "смотреть", "слушать", "спорить" или "говорить", как будто сказать про человека, что он посмотрел и увидел, — это то же самое, что сказать, что он гулял и напелал, тогда как это подобно тому, как мы скажем, что человек ловил и поймал или искал и нашел. Но только глаголы восприятия в отличие от глаголов поиска не могут уточняться такими наречиями, как "успешно", "напрас-

но", "методично", "неэффективно", "прилежно", "лениво", "стремглав", "осторожно", "неохотно", "ревностно", "послушно", "осмотрительно" или "конфиденциально". Глаголы восприятия не относятся к поступкам или занятиям; *a fortiori* они не могут относиться к тайным, ненаблюдаемым поступкам или приватным занятиям. Они, так сказать, принадлежат словарю не игрока, а спортивного судьи. Они говорят не о том, как мы пытаемся что-то сделать, но о вещах, которые нам удаются благодаря нашим усилиям или везению.

Эпистемологи иногда признаются в том, что предполагаемые виды когнитивной деятельности, соответствующие глаголам "видеть", "слышать" или "дедуцировать", оказываются странно неуловимыми. Если я увидел ястреба, я тем самым нашел ястреба, но я не обнаруживаю своего видения ястреба. Последнее кажется особым видом прозрачного процесса — прозрачного в том смысле, что, в то время как ястреба найти можно, нам не удается найти ничего такого, что соответствовало бы глаголу в словосочетании "увидеть ястреба". Правда, загадка исчезает, если вспомнить, что глаголы "видеть", "заметить" и "найти" обозначают не процессы, не опыт, не активность. Они не обозначают таинственные неуловимые действия и реакции; точно так же глагол "победить" не обозначает таинственную неуловимую часть соревнования, а глагол "открыть" не обозначает таинственную неуловимую часть поворота ключа. Причина, почему я не могу уловить себя видящим или дедуцирующим, заключается в том, что данные глаголы нельзя сочетать со словосочетанием "наблюдать в себе". Слова "видеть", "дедуцировать" или словосочетание "сделать мат" не могут быть ответами на вопросы типа "Что вы делаете?" или "Что он испытывает?".

Различие между глаголами задачи и глаголами достижения или глаголами попытки и глаголами получения результата позволяет разрешить и еще одно теоретическое затруднение. Как уже давно было замечено, к глаголам типа "знать", "открывать", "разрешать", "доказывать", "воспринимать", "видеть" и "наблюдать" (по крайней мере в определенных стандартных употреблениях глагола "наблюдать") неприложимы наречия "ошибочно" и "неправильно". На основании этого эпистемологи истолковали данные глаголы как обозначения особых видов действий или опыта, что заставило их допустить, будто люди обладают особыми процедурами безошибочного исследования. Они не нуждаются, да и не могут нуждаться в том, чтобы их выполняли осторожно и тщательно, ибо они не оставляют для этого никакого места. Логическая невозможность открытия, в котором ничего не было бы открыто, или доказательства, которое бы ничего не доказывало, была неправильно истолкована как прямо-таки причинная невозможность заблуждаться. Если только следовать правильным путем или использовать лишь надлежащие познавательные способности, то безошибочные наблюдения или самоочевидные истины получатся сами собой. Поэтому люди оказываются иногда непогрешимыми. Сходным образом если попада-

ние в бычий глаз рассматривать как особый вид прицеливания, а исцеление — как частный вид лечения, то отсюда чисто логически будет следовать, что существуют особые безошибочные способы целиться или лечить. Следовательно, будут существовать непогрешимые стрелки и доктора.

Другие эпистемологи, не желая приписывать людям непогрешимость, заняли не менее невероятную позицию. Они использовали данные глаголы достижения как обозначения особых операций и опыта, которые не могут быть ошибочными независимо от их результата. Мы можем знать то, чего нет на самом деле, доказывать неправильными доказательствами, решать проблемы ошибочно или видеть то, чего нет. Но такая позиция похожа на то, как если бы мы сказали, что можно попасть в цель "снаружи" мишени, или излечить пациента, усугубив его состояние, или победить в беге, придя к финишу последним. Разумеется, нет никакой логической несовместимости между поражением человека в соревновании по бегу и его заявлением, что он выиграл его; между усугублением болезни пациента и заявлением врача, что он излечил его. Когда некто просто говорит: "Я вижу ястреба", из этого вовсе не следует, что тут вообще есть ястреб, хотя из истинного утверждения "Я вижу ястреба" это действительно следует.

Такая ассимиляция некоторых так называемых когнитивных глаголов в общий класс глаголов достижения ничего не проясняет. Тот факт, что логическое поведение глагола "дедуцировать" в известных отношениях подобно поведению глаголов и глагольных оборотов типа "выиграть", "поставить мат", "открыть", не означает, что данные группы слов сходны во всем. Глагол "дедуцировать" не во всех логических отношениях подобен словосочетанию "прибыть в Париж". Моя аргументация имела прежде всего негативную цель: показать, почему соблазнительно и почему ошибочно постулировать таинственные действия и реакции, соответствующие некоторым обычным словам и оборотам, с помощью которых человек описывает случившиеся с ним события.

ГЛАВА VI. ЗНАНИЕ О СЕБЕ

(1) ПРЕДИСЛОВИЕ

Естественным коррелятом теории, согласно которой сознание образует некий мир, отличный от "физического мира", является теория, допускающая особые способы обнаружения содержаний этого особого мира. Эти способы дублируют наши способы обнаружения предметов физического мира. С помощью чувственного восприятия мы удостоверяемся в том, что существует и происходит в пространстве; следовательно, рассуждают сторонники такой теории, мы удостоверяемся в том, что происходит в сознании, тоже с помощью восприятия, только особого и тонкого, не требующего работы грубых телесных органов.

Более того, часто считали необходимым показать, что сознание обладает способностью схватывать свои собственные состояния и операции, более совершенной, нежели наша способность постижения фактов внешнего мира. Если вещи и события внешнего мира мне приходится познавать и я могу иметь относительно их мнения, догадки или незнание, то в части того, что происходит внутри меня, я наслаждаюсь неизменным и безошибочным постижением своих собственных когнитивных операций.

В связи с этим нередко считается, что (1) сознание необходимым образом постоянно осведомлено обо всем предполагаемом содержимом своего внутреннего мира и что (2) оно может сознательно исследовать с помощью особого нечувственного восприятия по крайней мере некоторые из своих состояний и операций. Более того, и эта постоянная осведомленность, называемая обычно "сознанием" (consciousness), и это нечувственное внутреннее восприятие, называемое обычно "интроспекцией", предполагаются безошибочными. Сознание имеет двоякий Привилегированный Доступ к своим собственным деяниям, благодаря чему самопознание превосходит по качеству способность постижения внешних вещей и генетически первично. Я могу сомневаться в свидетельствах своих чувств, но не в свидетельствах сознания или интроспекции.

Однако за этой способностью сознания постигать ментальные состояния и операции всегда признают одно ограничение, а именно: я могу иметь непосредственное знание моих собственных состояний и операций, однако не могу иметь знания ваших состояний. Я сознаю все мои собственные чувства, воления, эмо-

ции и мыслительные операции; я интроспективно познаю некоторые из них. Однако я не могу ни интроспективно наблюдать, ни осознавать работу вашего сознания. Я могу убедиться в том, что вы тоже имеете сознание, только с помощью сложных и не очень-то достоверных выводов, опирающихся на наблюдение действий вашего тела.

Такая теория двойного Привилегированного Доступа столь безраздельно господствует над умами философов, психологов и даже многих обычных людей, что теперь в пользу догмы сознания как своего рода второго театра считается достаточным сказать, что осознание и интроспекция открывают нам, какие сцены в нем разыгрываются. С той точки зрения, которая защищается в этой книге, осознание и интроспекция не могут быть тем, чем их обычно считают, поскольку их предполагаемые объекты являются мифом. Однако защитники догмы "духа в машине" стараются доказать, что предполагаемые объекты осознания и интроспекции не могут быть мифами, поскольку мы их осознаем и интроспективно наблюдаем. Реальность этих объектов гарантируется освященными веками верительными грамотами этих предполагаемых способов их обнаружения.

Поэтому в данной главе я попытаюсь показать, что эти официальные теории сознания и интроспекции основываются на логической путанице. Но при этом я, разумеется, не стремлюсь доказать, что мы не знаем или не можем знать ничего о самих себе. Напротив, я попробую показать, как мы приобретаем такое знание, но только после того, как я докажу, что такое знание приобретается не путем осознания или интроспекции в том виде, в каком обычно описываются эти два способа Привилегированного Доступа. А если кто-либо из читателей затоскует из-за того, что его лишили двойного Привилегированного Доступа к его предполагаемому внутреннему Я, добавлю утешительное замечание, что мой подход восстанавливает права знания о других людях перед лицом знания о себе. О самом себе я могу знать то же, что и о других людях, и методы познания в основном являются теми же самыми. Небольшая разница в количестве требующихся данных обуславливает некоторые различия в степени между моим знанием о самом себе и знанием о других людях, но эти различия оказываются не всегда в пользу знания о себе. В некоторых очень важных отношениях мне легче узнать что-то о вас, чем о себе самом. В некоторых других существенных аспектах это сделать труднее. Но в принципе, если оставить в стороне практические вопросы, способ, каким Джон Доу узнает что-то относительно Джона Доу, является тем же самым, каким Джон Доу узнает что-то о Ричарде Роу. Отказавшись от надежд на Привилегированный Доступ, мы избавляемся также от страха перед эпистемологической изоляцией. Мы избавляемся одновременно и от горечи, и от сладости солипсизма.

(2) СОЗНАНИЕ (CONSCIOUSNESS)

Прежде чем начать обсуждение философского понятия или понятий сознания, полезно рассмотреть некоторые способы употребления слов "сознающий" и "сознание" в обычной жизни вне рамок специальных теорий.

(а) Люди часто используют эти слова. Они говорят, например, "Я осознал, что мебель переставлена" или "Я осознал, что он настроен менее приязненно, чем обычно". В таких контекстах слово "осознал" используется вместо слов вроде "обнаружил", "понимал", "открыл". Они указывают на некоторую достойную упоминания туманность и обусловленную ею неартикулированность постижения. Мебель выглядела как-то не так, чем раньше, однако наблюдатель не мог сказать, в чем состоит различие. Или поведение человека чем-то отличалось от обычного, однако говорящий не мог уточнить, чем именно. Хотя имеются некоторые интересные философские проблемы, связанные с такой туманностью и неартикулированностью, данное использование слова "осознал" не предполагает существования каких-то особых способностей, методов или путей постижения. В этом смысле слов "сознающий" и "сознать" то, что мы осознаем, может быть как физическим фактом, так и фактом, касающимся состояния сознания какого-то другого человека.

(b) Люди нередко употребляют слова "осознал" или "сознал себя", описывая озабоченность некоторых, особенно молодых, людей тем, что о качествах их характера и интеллекта думают другие. Само-осознание в этом смысле проявляется обычно в застенчивости и неестественности.

(c) Осознающим себя иногда называют в более общем смысле человека, достигшего в своем развитии стадии, когда обращают внимание на качества своего характера и интеллекта независимо от того, озабочен ли человек тем, как эти качества оценивают другие или нет. Когда ребенок начинает замечать, что он любит арифметику или скучает по дому меньше, чем большинство его знакомых, то он становится осознающим себя в широком смысле слова.

Самосознание в этом широком значении имеет, разумеется, первостепенное значение для жизни, и понятие о нем важно поэтому для этики. Однако его использование не предполагает никаких особых учений о том, как человек получает или проверяет свое знание о качествах собственного характера или интеллекта или как он сравнивает свои качества с качествами своих знакомых.

Фрейдовские понятия "бессознательного" и "подсознательного" тесно связаны именно с таким использованием слова "сознающий". Ибо когда мы описываем зависть, фобии или сексуальные импульсы как "бессознательные", то по крайней мере частично имеем в виду, что носитель этих качеств не только не признает их силы или их присутствия в самом себе, но каким-то образом *не желает* их признавать. Он частично уклоняется от задачи понять, что он собою

представляет, или систематически искажает такое понимание. Однако эпистемологический вопрос о том, как человек оценивает или ошибается в оценке своих собственных диспозиций не решается и не должен решаться фрейдовским анализом происхождения, диагноза, прогноза и терапии тенденций уклонения или искажения самопонимания.

(d) Совершенно отлично от указанных употреблений слов "сознающий", "сознающий себя" и "бессознательный" такое использование, когда о человеке под общим или местным наркозом говорят, что он перестал чувствовать (сознавать) свою ногу от колена. Тут слово "осознающий" означает "чувствующий", а "бессознательный" — ничего не чувствующий. Мы говорим, что человек перестал сознавать, если он перестал чувствовать шлепки, звуки, уколы или запахи.

(e) Отличается от этого, однако и тесно связано с ним такое словоупотребление, при котором говорят, что человек не осознает какое-то ощущение, если он не обращает на него внимание. Путник, ведущий жаркий спор, может не осознавать боли в натертой ноге. А читатель этих строк, начиная читать данное предложение, возможно, не осознавал мышечные и кожные ощущения в спине, шее или в левом колене. Человек может не осознавать также, что он хмурится, отбивает ритм или бормочет.

"Осознающий" при таком употреблении слова означает "обращающий внимание". Можно сказать, что ощущение едва замечается, даже будучи довольно острым, если внимание человека поглощено чем-то другим. И наоборот, человек может обращать пристальное внимание на самые слабые ощущения. Если, например, он боится аппендицита, то будет чутко сознавать (в этом смысле слова) все ощущения в своем животе, даже не очень заметные. В этом смысле можно также говорить, что человек слабо осознает, сильно осознает или совершенно не осознает какие-то свои переживания, например тревоги или сомнения.

Тот факт, что человек обращает внимание на свои органические ощущения и переживания, не подразумевает, что он не может ошибаться относительно их. Он может заблуждаться относительно их причин или локализации. Он может также заблуждаться относительно того, реальные они или фантомные, как это бывает у ипохондриков. "Обращать внимание" не значит особого способа получать познавательную достоверность.

Философы, особенно со времен Декарта, в своих теориях познания и поведения оперировали понятием осознания, имеющим весьма слабое отношение к вышеописанным его понятиям. Представляя сознание некоей второй театральной сценой, на которой разыгрываются эпизоды, обладающие предполагаемым статусом "ментальных" и потому лишенные статуса "физических", мыслители самых разных направлений считали главным отличительным свойством этих эпизодов то, что, когда они происходили, они осознавались. Состояния и опера-

ции сознания являются такими, о которых мы необходимо осведомлены в определенном смысле слова "осведомленный", причем эта осведомленность не может быть неадекватной. То, что сознание делает или испытывает, само предъясняет ему себя, и это считается постоянной отличительной чертой действий и переживаний сознания. Частью определения, что такое "ментальное", как раз является то, что, когда ментальное событие происходит, оно само предъясняет себя сознанию. Если я думаю, надеюсь, вспоминаю, желаю, сожалею, слышу звук или чувствую боль, я обязан *ipso facto* знать, что я это делаю. Даже если я вижу во сне дракона, то я должен знать о том, что вижу дракона, даже если при этом я часто не знаю, что сплю.

Если некто отрицает существование этого второго театра, то ему непросто объяснить, что имеют в виду, когда описывают разыгрываемые в нем эпизоды как сами себя предъясняющие сознанию. Но некоторые моменты достаточно ясны. Тут не предполагается, что когда, например, я хочу знать решение какой-то головоломки и *ipso facto* сознаю, что я хочу этого, то я одновременно совершаю два акта внимания, один из которых направлен на головоломку, а другой — на мое желание знать ее решение. Не предполагается и того, если взять в более общем плане, что мой акт желания знать и то, что он сам предъясняет себя моему сознанию, составляют два различных акта или процесса, неразрывно связанных друг с другом. Скорее, если повторить уже использованное сравнение, здесь предполагается, что ментальные процессы фосфоресцируют, как воды тропических морей, которые оказываются видимыми в том свете, который сами же и испускают. Или, употребляя другую аналогию, сознание "прослушивает" свои ментальные процессы подобно тому, как человек может сам услышать произносимые им слова.

Эпистемологическое понятие сознания, по-видимому, приобрело в свое время популярность в связи с тем, что явилось в какой-то мере видоизмененным применением протестантского понятия совести. Протестанты утверждали, что человек может знать моральное состояние своей души и желания Бога без помощи исповедников и теологов. Они говорили в связи с этим о данном Богом "свете" совести отдельной личности. В связи с утверждением механистической картины мира Галилея и Декарта казалось необходимым спасти сознание от механицизма. Тогда-то оно и стало представляться конституирующим свой мир, являющийся дубликатом физического мира. Тогда и появилась необходимость объяснить, как познаются содержания этого призрачного мира, опять-таки без обучения или чувственного восприятия. Метафора "света" казалась особенно подходящей для этого, поскольку и галилеевская наука имела дело с оптически познаваемым миром. "Сознание" было перенесено в эпистемологию, чтобы играть в ментальном мире роль, которую к механическому миру играл свет. В этом метафорическом смысле содержания ментального мира мыслились как само-светящиеся или мерцающие.

Данная модель была потом использована Локком, который описывал направленную деятельность наблюдения за своими состояниями и процессами, которую время от времени предпринимает сознание. Он назвал это предполагаемое внутреннее восприятие "рефлексией" (соответствует тому, что мы называем "интроспекцией"), позаимствовав этот термин из знакомой области оптических явлений: отражение (рефлексия) лица в зеркале. Сознание способно "смотреть" и "видеть" свои собственные действия в "свете", излучаемом ими самими. Миф об осознании — это пара-оптика.

Подобные сравнения с "прослушиванием", "фосфоресценцией" или "самосвечением" подсказывают, что нужно провести еще одно различие. Верно, конечно, что, когда я что-то делаю, чувствую или на что-то обращаю внимание, я обычно могу и нередко действительно сразу после действия обращаю внимание на то, что я только что сделал, почувствовал или заметил. Время от времени я как бы делаю зарубку или заметку, отмечая, чем был занят. Так что, если меня спросят, что я только что слышал, представлял себе или говорил, я обычно способен дать правильный ответ. Разумеется, я не могу постоянно актуально возвращаться к недавнему прошлому. Иначе получилось бы так, что спустя несколько секунд после того, как меня окликнули утром, я припомнил бы, что я только что припоминал, что я припоминал, что ... меня окликнули утром. Любое событие порождало бы бесконечную последовательность воспоминаний о воспоминании о ... нем, заполняя все сознание и не оставляя мне никакой возможности обращать внимание на последующие события. Тем не менее есть вполне определенный смысл, в котором обо мне можно сказать, что я знаю, что именно только что привлекло мое внимание: имеется в виду, что я могу вспомнить и рассказать об этом в случае необходимости. Тут не исключается возможность, что я ошибусь при рассказе, ибо даже кратковременная память не свободна от пропусков и искажений.

Я упомянул о том очевидном факте, что мы обычно можем, если нас спросят, отчитаться в том, чем мы только что были заняты, чтобы обратить внимание, что сознание, как его описывают господствующие концепции, отличается от ведения дневника или оставления зарубок, в одном или двух важных отношениях. Во-первых, согласно этим концепциям, ментальные процессы являются осознанными не в том смысле, что мы сообщаем о них или можем сообщать *post mortem*, но в том смысле, что ментальные события предъявляют себя сознанию самим фактом своего существования, т. е. не после, а одновременно. Если бы такое осознание выражалось словами, то рассказ был бы в настоящем, а не в прошедшем времени. Далее, предполагается, что, осознавая свои текущие ментальные состояния и акты, я знаю, что я испытываю и делаю, в недиспозициональном смысле глагола "знать": не только в том смысле, что, если бы меня спросили, я мог бы сказать себе или вам, что я испытываю или делаю, но в том, что я постоянно и активно обладаю

знанием этого. Хотя тут и нет двойного акта внимания, тем не менее, когда я обнаруживаю, что мои часы остановились, я одновременно обнаруживаю, что я обнаруживаю, что мои часы остановились. Истина обо мне самом вспыхивает передо мной в тот же самый момент, что и истина о моих часах.

Я намереваюсь доказать, что описываемое подобным образом осознание является мифом. Поэтому есть опасность, что меня поймут так, будто я полагаю, что ментальные процессы в каком-то мертвящем смысле бессознательны, может быть, подобны нашим привычным или рефлекторным движениям, о которых мы часто ничего не можем сказать. Чтобы мне не приписывали подобных утверждений, я кратко замечу, во-первых, что мы обычно знаем, чем занято наше сознание, однако не требуется никакой теории флюоресцирующего сознания, чтобы объяснить, как мы это знаем; во-вторых, что это знание не подразумевает реально осуществляющегося непрерывного мониторинга или исследования наших деяний и чувствований, но подразумевает только склонность *inter alia* рассказывать о них, когда мы хотим этого или когда нас об этом просят; и, в третьих, что тот факт, что мы обычно знаем, чем занято наше сознание, не подразумевает, что мы действительно наблюдаем в своем опыте какие-то события призрачного характера.

Радикальное возражение против теории, утверждающей, что сознание должно постоянно знать о своих состояниях, поскольку ментальные события якобы осознаваемы по определению или метафорически самосвещающиеся, состоит в том, что нет никаких таких событий, происходящих в этом вторичном мире, поскольку никакого такого мира не существует, и, соответственно, нет необходимости в особых способах познания его обитателей. Однако имеются и другие возражения, не зависящие от нашего отказа от догмы "духа в машине".

Первый аргумент носит чисто мотивационный характер. Он состоит в том, что ни один человек, свободный от каких-то философских теорий, никогда не попытается оправдать ни одно свое фактуальное утверждение тем, что он будто бы обнаружил это "в сознании", "как прямое свидетельство сознания", или "из непосредственного постижения". Он будет обосновывать свои фактуальные утверждения тем, что он сам видит, слышит, чувствует, обоняет или осязает это; или же он сошлется, с меньшей степенью уверенности, на то, что помнит, как видел, слышал, чувствовал, обонял или осязал это. Но если его спросят, действительно ли он знает что-то, верит во что-то, делает заключения о чем-то, боится чего-то, напоминает или осязает что-то, то они никогда не ответит: "О, разумеется, это так, потому что я это осознаю и даже очень отчетливо". А ведь именно к этому как к чему-то исходному должен он апеллировать, согласно обсуждаемой концепции.

Далее, предполагается, что мое осознание собственных ментальных состояний и операций либо состоит в моем знании их, либо образует необходимое и

достаточное условие для этого. Но говорить так — значит злоупотреблять логикой и грамматикой глагола "знать". Бессмысленно говорить о знании или незнании этого раската грома или того приступа боли, этой окрашенной поверхности или того акта логического вывода или схватывания смысла шутки. С глаголом "знать" не сочетаются подобные существительные в винительном падеже. Знать или не знать можно только то, что нечто имеет место, например что этот рокот есть раскат грома, а та окрашенная поверхность есть корка сыра. И именно тут метафора света бесполезна. Хорошее освещение может помочь нам увидеть сырную корку, но мы не скажем, например: "Здесь слишком плохое освещение, чтобы я знал корку сыра", поскольку знать — это не то же самое, что видеть, и то, что мы знаем, отличается от тех вещей, которые могут быть освещены. Конечно, мы можем сказать: "Из-за темноты я не признал в том, что увидел, корку сыра". Однако понять, что именно я увидел, — уже не дело оптики. Мы не скажем, что одна лампочка позволила нам что-то разглядеть, а вторая — понять, что именно мы видим. Поэтому, даже если возможна некоторая аналогия между освещенностью вещи и осознанием ментального процесса, отсюда никак не следует, что носитель какого-то ментального процесса сразу распознает, какой это процесс. Даже если предположить, что такая аналогия может объяснить, как мы различаем свои ментальные процессы, она не может объяснить, как мы приходим к истинным суждениям относительно них, как при этом избегаем ошибок или исправляем их.

Далее, нет никакого противоречия в признании, что кто-то может не распознать собственную структуру сознания. Вообще-то известно, что люди постоянно ошибаются в таких вещах; они заблуждаются относительно своих собственных мотивов; удивляются, заметив, что часы, оказывается, остановились, потому что до того они не замечали их тиканья; во сне они не всегда сознают, что спят, а иногда не уверены, что не спят; они чистосердечно доказывают, что ничуть не раздражены, будучи явно раздраженными. Если бы осознание действительно было таково, как оно описывается в указанных теориях, то все это было бы логически невозможно.

Наконец, даже если бы процесс самопредъявления, составляющий, как предполагается, необходимую компоненту любого ментального состояния или процесса, и не требовал отдельного акта внимания или отдельной когнитивной операции, все равно то, что я осознаю, осуществляя, например, процесс логического вывода, отличается от того, что схватывается в самом выводе. Я осознаю процесс собственного вывода, а выводу, скажем, геометрическое заключение из геометрических посылок. Мой вывод будет выражаться словами: "Поскольку это равнобедренный треугольник, каждый его угол составляет 60 градусов". А то, что я осознаю при этом, будет выражаться словами: "Сейчас я осуществляю дедукцию такого-то положения из таких-то посылок". Но если это так, то можно было бы

спросить, не должен ли я также, согласно доктрине, осознавать, что осознаю процесс логического вывода, т. е. могу сказать: "Сейчас я осознаю тот факт, что сейчас я осуществляю дедуцию". И это можно продолжать без остановки. Как чешуя луковицы, будут наслаиваться друг на друга осознания осознаний любых ментальных актов и процессов. А если мы откажемся принять такое заключение, нам придется признать, что некоторые элементы ментальных процессов не могут осознаваться. Причем именно те элементы, которые образуют как раз самопредъявление ментальных процессов. Следовательно, "осознанность" не может быть частью определения "ментального".

Поэтому должен быть отвергнут аргумент, согласно которому ментальные события являются достоверными, поскольку самообнаружения сознания представляют собой непосредственные и неоспоримые свидетельства их существования. Точно так же должен быть отвергнут и отчасти параллельный аргумент от данных интроспекций.

(3) ИНТРОСПЕКЦИЯ

"Интроспекция" — это специальный термин, практически не используемый в самоописаниях обычных людей. Несколько чаще встречается прилагательное "интроспективный", которое обычно используется в безобидном смысле для того, чтобы обозначать человека, слишком озабоченного теоретическими и практическими проблемами, связанными с собственным характером, способностями, недостатками и особенностями. Иногда данное слово имеет дополнительную коннотацию, что человек озабочен этими материями больше, чем следовало бы.

Как специальный термин "интроспекция" используется для обозначения некоего предполагаемого вида восприятия. Подобно тому, как человек в определенный момент может слушать флейту, вдыхать аромат вина или смотреть на водопад, он также может, как это допускалось, в некотором неоптическом смысле "рассматривать" свои текущие ментальные состояния и процессы. Ментальное состояние или процесс сознательно и внимательно изучаются, становясь, таким образом, объектами наблюдения. В то же время признается, что интроспекция в некоторых важных отношениях отличается от наблюдения с помощью органов чувств. Вещи, воспринимаемые чувствами, являются объектами, доступными восприятию любого другого, подходящим образом расположенного наблюдателя, тогда как ментальные состояния и процессы может интроспективно изучать только их обладатель. Чувственное восприятие, далее, требует функционирования телесных органов, таких, как глаза, уши, язык, интроспекция же не предполагает функционирования никаких телесных органов. И, наконец, чувственное восприятие всегда может оказаться ошибочным, в то время как

человеческая способность наблюдения собственных ментальных процессов — по крайней мере согласно наиболее смелым теориям такого рода — всегда совершенна. Человек может быть не обучен тому, как использовать эту способность или как различать и упорядочивать ее свидетельства, и, тем не менее, тут он гарантирован от глухоты, астигматизма, цветовой слепоты, ослепления или ряби в глазах. Согласно подобным теориям, внутреннее восприятие является образцом безошибочного истинного восприятия, недостижимым для чувственного восприятия.

По меньшей мере в одном отношении интроспекция признается отличающейся от данных сознания: она связана с сосредоточением внимания и осуществляется от случая к случаю, тогда как осознание считается постоянным элементом всех ментальных процессов, не требующим специальных актов внимания. Более того, мы занимаемся интроспекцией, имея намерение найти ответы на какие-то проблемы, в отличие от этого мы осознаем содержание своего сознания независимо от того, хотим мы этого или нет. Любой, кто бодрствует, непрерывно осознает, а интроспекцией занимаются только те люди, которых время от времени интересуют происходящие в их сознании процессы.

Можно было бы допустить, что об интроспекции говорят только люди со специальной подготовкой; однако в таких фразах, как "он поймал себя на том, что ему хочется знать, как делается то-то и то-то" или "когда я поймал себя на том, что впадаю в панику, я сделал вот это и вот то", обычные люди выражают что-то отчасти подобное обозначаемому этим словом.

Даже если мы примем предположение (его опровержение является негативной задачей этой книги), что на самом деле существуют события этого полагаемого призрачного статуса, все равно останутся возражения против показавшегося вначале правдоподобным допущения о существовании особого вида восприятия, собственными объектами которого являются подобные события. С одной стороны, подобный акт внутреннего восприятия потребовал бы, чтобы внимание наблюдателя могло быть направлено одновременно на две вещи. Он должен был бы, например, решить встать рано и одновременно наблюдать свой акт решения; обратить внимание на этот план своевременного вставания и обратиться внимание на свое обращение внимания на этот план. Такое возражение не является, конечно, логически непреодолимым, поскольку можно указать, что некоторые люди в состоянии, например, после некоторой практики сочетать внимательное управление автомашиной с вниманием к ведущейся в салоне беседе. Тот факт, что мы говорим иногда обо "всем внимании", наводит на мысль, что внимание может делиться, хотя некоторые люди, возможно, предпочтут описывать распределение внимания между разными предметами как непрерывное осциллирование единого внимания, а не как его синхронное разделение. Однако многие из тех, кто готов поверить, что действительно может зани-

маться описываемой в этом духе интроспекцией, пожалуй, усомнятся в этом, когда убедятся, что для этого они должны будут концентрировать свое внимание одновременно на двух процессах. Они скорее сохраняют уверенность в том, что не концентрируют внимание одновременно на двух процессах, чем в том, что способны заниматься интроспекцией.

Но даже если согласиться, что в процессе интроспекции мы имеем одновременно два фокуса внимания, все равно надо признать, что есть предел числу возможных одновременных актов внимания. Но из этого следует, что некоторые ментальные процессы непостижимы интроспективно, а именно это интроспекции над максимально возможным числом одновременных актов внимания. Тогда перед сторонниками теории интроспекции встанет вопрос, как мы обнаруживаем, что такие процессы протекают, ибо, если такое познание не может быть интроспективным, отсюда следует, что человеческое знание о собственных ментальных процессах не всегда опирается на интроспекцию. А если такое знание не всегда получается интроспективно, то можно поставить вопрос: а что если оно всегда проистекает не из интроспекции, а из других источников? В ответ на такое возражение можно было бы прибегнуть к другой форме Привилегированного Доступа, сказав, что мы знаем об этом не потому, что интроспективно изучаем свою интроспекцию, но благодаря непосредственному осознанию. Тем, кого прибило к Харибде, и Сцилла представляется более гостеприимным прибежищем.

Когда психологи были еще не такими осторожными, какими они стали со временем, они часто утверждали, что интроспекция является главным источником эмпирической информации о работе нашего сознания. Они не слишком смущались тем, что данные интроспективных наблюдений одного психолога часто противоречили данным другого. Они обвиняли друг друга, и часто справедливо, в приписывании интроспекции данных, которые должны были бы ожидаться с точки зрения излюбленной теории того или иного психолога. До сих пор ведутся споры, которые можно было бы окончательно разрешить с помощью интроспекции, будь эти взаимосвязанные теории внутренней жизни и внутреннего восприятия истинными. Теоретики спорят, например, существуют ли действия сознания, отличные от интеллектуальных и одновременно от выполняемых привычным и ритуальным способом? А почему бы не посмотреть и не увидеть это интроспективно? Если же сторонники этих теорий так и поступают, то почему их отчеты о подобных наблюдениях противоречат друг другу? Далее, многие теоретики, рассуждавшие о человеческом поведении, заявляли, что существуют некоторые процессы, *sui generis* отвечающие определению "воления". Я же доказывал, что таких процессов нет. Почему же мы спорим об их существовании, коль этот вопрос мог бы разрешиться так же легко, как вопрос о том, пахнет ли в кладовке луком?

Есть и еще одно возражение против возможности интроспекции, выдвинутое Юмом. Существуют такие состояния сознания, которые мы не можем хладнокровно изучать, ибо сам факт, что мы находимся в таком состоянии, исключает возможность быть хладнокровным, а возможность предаваться деятельности хладнокровного изучения исключает пребывание в подобном состоянии. Никто не сможет интроспективно изучать состояние паники или ярости, поскольку бесстрастность научного наблюдения по определению несовместима с состоянием паники или ярости. Сходным образом, поскольку приступ буйного веселья не сочетается с состоянием сознания трезвого научного наблюдателя, такие состояния тоже недоступны интроспективному изучению. Подобные состояния сознания, связанные с более или менее сильным возбуждением, можно исследовать только ретроспективно. Тем не менее из данного ограничения не следует ничего ужасного. Мы располагаем о панике или радостном возбуждении не меньшей информацией, чем о других состояниях сознания. Если ретроспекция может дать нам требуемые данные для познания некоторых состояний сознания, то почему она не может обеспечить нас информацией относительно всех состояний сознания? Представляется, что именно на такую мысль наводит обиходное выражение "поймать себя на мысли о том, что делаешь то-то и то-то". Мы ловим себя на том, что уже прошло. Я ловлю себя на том, что мечтаю о прогулке в горы, возможно, сразу же после того, как я начал мечтать; или я ловлю себя на том, что напеваю какую-то мелодию, только после того, как пропел несколько звуков. Непосредственно примыкающая во времени или отложенная ретроспекция является самостоятельным процессом; к ней не относятся трудности множественно разделенного внимания; она свободна от возражения, связанного с тем, что в состояниях сильного возбуждения мы не способны на хладнокровное наблюдение.

Поэтому частью того, что имеют в виду, говоря об интроспекции, является аутентичный процесс ретроспекции. Но в объектах ретроспекции нет ничего специфически призрачного. Точно так же как я могу поймать себя на мечтании, я могу поймать себя на том, что чешусь; аналогично тому, как я могу уловить себя произносящим внутренний монолог, я могу застать себя говорящим вслух.

Остается верным и важным, что мои припоминания всегда так или иначе выразимы в форме "вспоминаю, как я делаю то-то и то-то". Я вспоминаю не раскат грома, но то, как я услышал раскат грома; или я ловлю себя на том, что ругаюсь, но я не могу в том же смысле уловить ваше произнесение ругательств. Объектами моей ретроспекции являются элементы моей автобиографии. Но, сколь бы они ни были личными, они вовсе не обязательно происходят только приватно или лишь в моем уме. Я могу припомнить, как я что-то видел и как я что-то воображал; мои внешние действия, равно как и мои ощущения. Я могу сообщить результат вычисления, которое я проделал в уме, но могу также сообщить результат расчетов, которые я выполнил в тетради.

Ретроспекция несет на себе часть бремени, тяжесть которого пытались возложить на интроспекцию. Но она не может взять на себя все это бремя, особенно самую его философски драгоценную и хрупкую часть. Можно оставить в стороне то, что даже осуществленное по текущим следам припоминание подвержено испарению и искажению, и все равно, сколь бы тщательно я ни припоминал свое действие или ощущение, я все же могу ошибаться относительно его природы. Были ли вчерашние переживания, о которых я сегодня вспоминаю, подлинным сопереживанием или угрызениями совести, это не станет для меня яснее от того факта, что они сохранились в моей памяти как живые. Хроники не объясняют то, память о чем они сохраняют.

Автобиографичность ретроспекции не означает, что она дает нам Привилегированный Доступ к особому рода фактам. Однако она действительно дает нам массу данных, способствующих пониманию нашего поведения и характеристик сознания. Дневник является не хроникой призрачных эпизодов, а ценным источником информации относительно характера, ума и деятельности его автора.

(4) ЗНАНИЕ О СЕБЕ БЕЗ ПРИВИЛЕГИРОВАННОГО ДОСТУПА

Здесь приводились различные доводы в пользу того, что, когда мы говорим о сознании человека, то говорим не о некоей второй сцене, на которой разыгрываются особого рода события, но об определенных способах упорядочения событий его единой жизни. Его жизнь не является двойной серией событий, образованных из разного материала; это — единое сочетание событий, различие между классами которых в значительной степени сводится к применимости или неприменимости к ним различных логических типов законосообразных (*law-propositions*) и законоподобных (*law-like propositions*) суждений. Утверждения о сознании личности являются, следовательно, особого рода утверждениями об этой личности. Поэтому вопросы об отношении между личностью и ее сознанием, подобно вопросам об отношении между телом личности и ее сознанием, являются неуместными. Они столь же неуместны, как вопрос: "Как взаимодействуют палата общин и британская конституция?"

Отсюда следует, что принятая некоторыми теоретиками манера говорить, что чье-то сознание знает то или выбирает это, является логической ошибкой. Знает или выбирает личность, хотя сам факт, что она это делает, можно при желании классифицировать как ментальный факт, относящийся к этой личности. Примерно по тем же основаниям неправильно говорить, что мои глаза видят то-то, а мой нос обоняет то-то. Мы должны вместо этого говорить, что я вижу и я обоняю и что данные утверждения содержат некоторую информацию о моих глазах и моем носе. Но эта аналогия неточна, поскольку мои глаза и нос являются органами чувств, а выражение "мое сознание" не означает никакого дополнительного орга-

на. Оно обозначает мою способность и склонность делать вещи определенного рода, а не какое-то индивидуальное устройство, без которого я бы не стал или не смог это делать. Сходным образом, британская конституция не является еще одним политическим институтом, функционирующим наряду с институтом государственной службы, правовой системой, государственной церковью, палатами парламента и королевской семьей. Не является она и суммой всех этих институтов или соединительным материалом для них. Допустимо сказать, что Великобритания пришла на выборы, но нельзя говорить, что британская конституция пришла на выборы, хотя тот факт, что Великобритания пришла на выборы, может быть описан как конституционный факт относительно Великобритании.

Вообще надо признать, хотя и не всегда возможно изменить сложившуюся практику, что использование существительных "сознание" и "сознания" несет в себе немалую логическую опасность. Такая языковая форма позволяет слишком легко выстраивать логически некорректные конъюнктивные, дизъюнктивные и условные причинно-следственные суждения типа "то-то и то-то происходило не только в моем теле, но и в моем сознании", "мое сознание заставляет мою правую руку писать", "в человеке тело и сознание взаимодействуют" и т. п. Там, где от нас требуется логическая честность, мы должны следовать примеру новеллистов, биографов и авторов дневников, которые говорят только о том, что делают или испытывают люди.

Вопросы "Какого рода знание может получить человек о работе собственного сознания?" и "Как он добывает это знание?" самими своими формулировками подсказывают абсурдные ответы. Они наводят на мысль, что, для того чтобы человек знал, что он ленив или что он правильно вычислил сумму, он должен заглянуть в некую комнатку без окон, которая освещена особого рода светом и в которую может заглядывать только он один. Когда проблема ставится таким образом, то и параллельные вопросы "Какого рода знание может получить человек о работе другого сознания?" и "Как он добывает это знание?" самой своей формой закрывают путь к ответу. Потому что они подводят к мысли, что человек может знать, что другой человек ленив или правильно вычислил сумму, только заглянув в чужую потайную комнатку без окон, куда он, — *ex hypothesi*, — заглянуть не может.

Проблема же на самом деле имеет другой характер. Это есть обыкновенный методологический вопрос о том, как мы получаем и как применяем некоторые законоподобные предложения относительно видимого или невидимого поведения людей. Я получаю возможность оценить умение и тактику шахматиста, наблюдая, как он и другие играют в шахматы. Я узнаю, что один из моих учеников ленив, амбициозен и остроумен, наблюдая за его работой, замечая его отговорки, слушая его разговоры и сравнивая его выполнение заданий с другими. И нет никакой существенной разницы в случае, если этим учеником являюсь я сам. Тогда, правда, я смогу услышать больше его разговоров, потому что ко мне

будут обращены его внутренние монологи, и больше отговорок, потому что всегда буду при них присутствовать. Но в то же время мне будет труднее сравнивать его выполнение заданий с работой других, поскольку в этом случае мне будет труднее сохранять беспристрастность.

Повторимся снова: проблема не в глобальном вопросе "Как я обнаруживаю, что я или вы обладаем сознанием?", а в целой серии частных вопросов, имеющих вид "Как я обнаруживаю, что я менее эгоистичен, чем вы; что я могу хорошо делить большие числа, но плохо решаю дифференциальные уравнения; что вы страдаете некоей фобией и избегаете вещей определенного рода; что я более раздражителен, чем многие другие люди, зато менее подвержен панике, голововокружению, ипохондрии?" Помимо таких чисто диспозиционных вопросов существует целый ряд вопросов относительно действий и событий типа "Как я обнаруживаю, что я понял смысл шутки, а вы — нет; что вы действуете более отважно, чем я; что я оказал вам услугу из чувства долга, а не из корысти; что хотя я не вполне понял, что было сказано, но потом, прокрутив это в голове, понял до конца, тогда как вы все прекрасно поняли с самого начала; что я вчера тосковал по дому?" В вопросах такого рода нет ничего таинственного; мы прекрасно знаем, что надо делать, чтобы найти на них ответ. И хотя часто оказывается, что мы не в состоянии дать окончательный ответ и останавливаемся на чем-то предположительном, но все равно у нас нет сомнения в том, какого рода информация помогла бы разрешить наши затруднения и каким путем ее можно было бы получить. Например, выслушав мое рассуждение, вы утверждаете, что прекрасно его поняли. Но вы можете заблуждаться или пытаться ввести меня в заблуждение. Если теперь мы расстанемся на день или на два, я так и не смогу проверить, правда ли, что вы меня прекрасно поняли. Тем не менее я знаю, какая проверка могла бы прояснить это. Если бы вы пересказали мое рассуждение своими словами, или перевели его на французский язык, или придумали бы подходящую конкретную иллюстрацию для обобщений и абстракций, содержащихся в рассуждении; если бы вы могли ответить на вопросы по поводу рассуждения, или сделали правильные дальнейшие выводы и указали аспекты, в которых развиваемая мною теория несовместима с другими теориями; или если бы вы смогли на основании данного рассуждения правильно заключить об интеллектуальных и моральных качествах его автора и предсказать дальнейшее развитие его теории, то я не мог бы требовать никаких иных свидетельств, чтобы сделать вывод, что вы вполне поняли рассуждение. И в точности такие же проверки показали бы мне, что я прекрасно понял рассуждение. Единственная разница состояла бы в том, что я не произносил бы вслух формулировки своих дедукций, иллюстраций и прочее, но проговаривал бы их более небрежно про себя в молчаливом одиночестве; и, вполне возможно, я скорее считл бы достаточными свидетельства моего собственного понимания, нежели вашего.

Короче, частью значения фразы "вы понимаете это" является то, что вы способны сделать то-то и то-то и, если будут налицо известные условия, вы действительно это сделаете. А проверкой того, на самом ли деле вы поняли это, является некоторое множество действий, удовлетворяющих консеквенту данных общих условных суждений. Следует заметить, с одной стороны, что нет никакого единичного базисного действия, будь оно внешним или внутренним, осуществляемым "в уме", которого было бы достаточно для установления того, что вы действительно поняли рассуждение. Даже если вы заявили, что испытали озарение и теперь вам все понятно, вам все равно придется взять свое заявление назад, если обнаружится, что вы не можете пересказать рассуждение своими словами, проиллюстрировать его примерами или придать ему другую форму. И вы должны будете признать, что кто-то другой понял рассуждение, если он отвечает на все относящиеся к нему вопросы, хотя бы этот человек и признавался, что у него не было никакого озарения. С другой стороны, следует отметить, что хотя невозможно четко определить, как много и каких именно проверок должен выдержать человек, чтобы о нем можно было сказать, что он прекрасно понял рассуждение, однако всегда бывает достаточно конечного множества проверок. Чтобы решить, умеет ли ребенок делить большие числа, мы не станем давать ему ни миллион, ни тысячу, ни даже сотню различных задач. Конечно, один пример успешно выполненного деления нас еще не удовлетворит, но после двадцати примеров нам все станет понятно, если только примеры были достаточно разнообразными, а ребенок не решал их раньше. Хороший учитель обращает внимание не только на правильный или неверный ответ, но смотрит и на процесс решения. Поэтому он придет к заключению еще раньше, и даже намного раньше, если ребенок опишет ему ход своих действий и объяснит, почему он выполняет именно эти действия, хотя, конечно, многие дети умеют делить большие числа, но не в состоянии описать свои действия и объяснить, почему надо поступать так, а не иначе.

Свои или ваши мотивы я познаю путем, схожим, хотя и не вполне совпадающим с тем, каким я изучаю свои или ваши умения и навыки. Существенная практическая разница состоит в том, что я не могу ускорить исследование, подвергнув вас определенным тестам, как это можно было сделать в случае с умениями. Чтобы узнать, насколько вы тщеславны или насколько патристически настроены, я должен наблюдать за вашим поведением, занятиями, манерами и интонациями, но я не могу подвергнуть вас прямой проверке, про которую вы сами бы знали, что это — проверка, потому что тогда у вас возникли бы особые мотивы для определенных реакций. Из чистого тщеславия вы стали бы тушеваться, а из чистой скромности попытались бы выглядеть тщеславным. Тем не менее обычные повседневные наблюдения позволяют довольно быстро решать подобные вопросы. Быть тщеславным — значит стремиться хвастаться соб-

ственными достоинствами, подчеркивать недостатки других людей, мечтать о триумфах, все время вспоминать о своих реальных успехах, быстро терять интерес к разговорам, в которых не удастся выставить самого себя в выгодном свете, лебезить перед известными людьми и держаться холодно с людьми незначительными. Тестами на тщеславие являются действия и реакции человека в подобных обстоятельствах. Не так уж много эпизодов, усмешек или словечек требуется, чтобы обычный наблюдатель составил свое мнение о наблюдаемом, если только наблюдатель и наблюдаемый не совпадают в одном лице.

Заключение о ментальных качествах и наклонностях индивида является индуктивным процессом — выводом законоподобных суждений из наблюдаемых действий и реакций. Удостоверившись в долговременных качествах характера человека, мы объясняем отдельные его действия и реакции с помощью результатов такой индукции (если откровенное признание человека не дает нам объяснения его действий без дальнейшего исследования). Подобные индуктивные выводы, разумеется, осуществляются не в лабораторных условиях, не опираются на статистику — как и, скажем, знания пастуха о погоде, — а также на общую концепцию структуры данной личности. Тем не менее они бывают обычно довольно надежными. Можно высказать банальность: оценка характера и объяснение поведения, предлагаемые критичным, непредвзятым и интересующимся подобными объяснениями наблюдателем, будут и быстрыми, и надежными. Если наблюдатель не обладает такими качествами, его оценка и объяснение будут вырабатываться медленнее и окажутся менее надежными. Сходным образом, оценки, выставляемые опытным и проницательным экзаменатором, хорошо знающим свой предмет и настроенным благожелательно по отношению к экзаменуемым, тяготеют к тому, чтобы быть почти правильными, а оценки экзаменатора, не обладающего такими качествами, в значительно большей степени отклоняются от правильного порядка. Эти банальности приведены здесь для напоминания о том, что в реальной жизни мы хорошо владеем техникой оценки людей и объяснения их поступков, хотя, согласно стандартной теории, такой техники не может быть.

Однако трудно оценить качества и структуру сознания людей, которые делают вид, что обладают качествами, которых у них нет, или скрывают качества, которые у них есть. Я имею в виду лицемеров и шарлатанов, тех, кто притворяется, изображая некоторые мотивы, и тех, кто притворяется, что обладает некоторыми умениями; т. е. я имею в виду большинство людей в некоторые моменты их жизни и некоторых людей в большей части их жизни. Всегда можно притвориться, что обладаешь способностями и руководствуешься мотивами, которых нет или которые на самом деле не столь сильны, как их изображает притворщик. Не было бы театра, если бы невозможно было убедительное притворство в такого рода делах. Более того, человек всегда может обмануть дру-

гих или себя, играя роль (я не имею в виду зрителей в театре, ибо они запла-тили деньги, чтобы посмотреть, как играют роли люди, которые сами призна-ются, что они — актеры). На первый взгляд может показаться, что никто ни-когда не может достичь адекватного познания своего собственного сознания или сознаний других, поскольку не существует такого наблюдаемого поведе-ния, про которое мы сказали бы: "Ну, так притвориться невозможно". Конечно, обычно мы мало задумываемся о такой возможности, но некоторые люди ус-матривают в этом теоретическое затруднение, ибо если любое действие или реакция могут быть симуляцией, то разве нельзя предположить, что всякое действие может быть симуляцией? Разве не могут все наши оценки поведения других людей и нас самих быть ошибочными? Люди иногда чувствуют анало-гичное затруднение в связи с чувственным восприятием, ибо, поскольку лю-бое отдельное чувственное впечатление может оказаться иллюзией, то ничто, как кажется, не может гарантировать, что и все чувственные восприятия не являются иллюзиями.

Тем не менее угроза всеобщего притворства — это пустой звук. Мы знаем, что такое притворство. Это намеренное поведение, воспроизводящее поведение других, не притворяющихся людей. Симулировать раскаяние — значит подра-жать жестам, интонациям, словам и поступкам раскаяющихся людей. Следова-тельно, и лицемер, и люди, которых он обманывает, должны знать, что значит — раскаяваться, а не притворяться раскаявающимся. Если бы мы не имели опыта правильного понимания поведения раскаяющихся людей, мы бы и про лице-мера не подумали, что он и в самом деле раскаявается. Далее, мы знаем, что значит быть лицемером: стараться выглядеть, как выглядят люди, увлекаемые иным (нежели реальный мотив лицемера) мотивом. Мы знаем, какие уловки может использовать лицемер. У нас есть какие-то, хотя и не всегда примени-мые, критерии, по которым мы судим, применяются ли эти уловки, применяют-ся ли они умело или глупо. Поэтому иногда мы можем, а иногда не можем об-наружить лицемерие. Но даже если нам это не удастся, то мы знаем, какого рода информация помогла бы разоблачить лицемера. Мы бы хотели, например, по-смотреть, как он станет действовать, если бы дело, в преданности которому он клянется, потребовало половину его состояния или его жизнь. Все что нам не-обходимо, хотя часто мы этого не можем осуществить, это *experimentum crucis*, подобно тому как врач нередко нуждается в таком эксперименте, чтобы остано-виться на одном из двух возможных диагнозов, однако не может его провести. Распознавание лицемерия и шарлатанства — дело индуктивного вывода, но тако-го, который в отличие от обычных индуктивных выводов относительно мотивов и способностей представляет собой индукцию второго порядка. Это попытка обнаружить, не стремится ли некто смоделировать свои действия по образцу такого поведения людей, которое и он, и мы индуктивно определили как лишен-

ное притворства. Когда и мы, и лицемер узнавали, как проявляется лицемерие, нам, возможно, пришлось иметь дело с лицемерием второго порядка, с двойным притворщиком, который знает, как не надо себя вести, чтобы не показаться лицемером первого порядка. В притворстве нет ничего таинственного, хотя, конечно, умелое притворство обнаружить нелегко. А успешное притворство остается неразоблаченным, но это, собственно говоря, тавтология.

До сих пор мы рассматривали в основном те виды самопознания и познания других, которые состоят в более-менее беспристрастном определении долговременных склонностей и способностей и применении этих знаний для объяснения отдельных поступков. Нас интересовало, что представляет собой интерпретация или понимание линий поведения. Однако у слова "знать" есть и другой смысл; в этом смысле мы обычно говорим, что человек знает, что он в данный момент делает, думает, чувствует и т. д. Данный смысл ближе к тому, что безуспешно пытаются описать философские теории флюоресцирующего сознания. Чтобы установить все аспекты данного понимания слова "знать", мы должны прежде всего рассмотреть некоторые виды ситуаций, в которых человек признает, что он в какой-то момент не знал, что он делал, хотя и осуществлял не автоматические, а требующие соображения действия. Человек, пытающийся решить кроссворд, сталкивается с анаграммой и после некоторой паузы пишет правильное слово, но при этом отрицает, что сознательно перебирал какие-то варианты в поисках решения или следовал какому-то методу. Он может даже сказать, что размышлял, и знал, что размышляет, о какой-то другой части кроссворда. Он и сам слегка удивлен, что нашел решение анаграммы, потому что сам не сознавал, что занимается перетасовкой букв. Точно так же мы иногда изумляемся, выдав экспромтом удачную шутку.

Но мы обычно не удивляемся, поймав себя на том, что свистим, что-то планируем или представляем себе. Если нас спросят, мы говорим, что в этом нет ничего странного, поскольку мы знали, что делали, в то время как это делали. Что же именно мы добавляем, когда говорим: "Я делал то-то и то-то, и в то же время я знал, что я это делаю"? Можно попробовать ответить так: "Ну, когда я это делал, меня озарило и до меня дошло, что я это делал" или "Если действие длилось некоторое время, то я должен был пребывать какое-то время в состоянии озарения, что я занимаюсь тем-то и тем-то". Однако в подобных метафорах — меня озарило, до меня дошло — нас что-то смущает, потому что обычно мы не припоминаем ничего подобного, даже если совершенно уверены, что знали, что делали, в то время как этим занимались. Более того, если случилось подобное озарение, встали бы те же самые вопросы. Вы сознавали, что пережили озарение, когда оно на вас снизошло? Вы знали, что не получили озарения, когда его не было? Озарило ли вас, что вас озарило, что вы насвистываете? Или же ваше знание того, что нечто происходит, не всегда связано с озарением?

Если о человеке говорят, что он не удивлен, когда что-то происходит, о нем можно также сказать, что он ожидал этого или готов к этому. Но слово "ожидать" используется по меньшей мере в двух существенно различных значениях. Иногда мы имеем в виду, что в определенный момент он продумал и принял суждение, что определенное событие могло бы или весьма вероятно могло бы произойти. Когда речь идет об ожидании в этом смысле, то можно дать ответ на вопрос: "Когда именно вы сделали такое предсказание?" Но иногда мы имеем в виду, что, независимо от того, делал некто такое предсказание или нет, он постоянно готовился или был готов к тому, что произойдет что-то такое. Садовник, который в этом смысле слова ожидает дождя, необязательно переключает свое внимание с обычных дел на молчаливое или проговариваемое вслух предсказание дождя — просто он убирает лейку под навес, держит плащ под рукой, высаживает побольше рассады и т. п. Он предвидит дождь не тем, что изрекает вербальные формулировки предсказания, а тем, что определенным образом ведет свои дела. После обеда он все время ждет и все готовит к дождю. На это можно возразить: "Да, но при этом он постоянно обдумывает суждение, что будет дождь. Именно поэтому он держит плащ под рукой и убирает лейку под навес". Но на такое возражение несложно ответить: "Скажите, в какой конкретно момент он говорит себе или другим, что собирается дождь, и объясните, ожидает ли он дождя также и в промежутках между этими высказываниями". Он прогнозирует дождь и в тот, и в этот, и во все другие моменты, потому что он все это время ожидает дождя; он держит плащ недалеко и убирает лейку под навес по той же причине. В этом смысле слово "ожидает" означает не событие, а постоянное условие или настрой сознания. После обеда настрой его сознания все время был таков, что он был склонен произносить некоторые фразы в будущем времени, а также садовничать определенным образом, держать под руками плащ и пр. В этом смысле "ожидать" значит "быть готовым"; одной из мер предосторожности, наряду с другими, будут при этом предостережения, которые человек безмолвно адресуется себе или вслух и публично окружающим. Поэтому, когда мы говорим, что дождь не застал садовника врасплох, или что он был уверен, что скоро пойдет дождь, или что он был готов к дождю, мы не ссылаемся, разве что *per accidens*, ни на какие-то внутренние озарения или инсайты, ни на высказываемые про себя или вслух предложения в будущем времени. Вся его вербальная или садоводческая деятельность после обеда осуществлялась в рамках ожидающего дождя настроя сознания.

Применим теперь этот вывод к нашей проблеме. Существует много задач, выполнение которых требует постоянного внимания и прилежания, продвижения от предыдущего шага к последующему. Иногда эти шаги относятся друг к другу как цель к средству, например, когда мы накрываем на стол, чтобы поесть. Иногда более ранние шаги относятся к последующим иным образом: мы

едим первое блюдо не для того, чтобы съесть второе, или мы напеваем первую ноту не для того, чтобы пропеть последующие. Нередко занятие, требующее постоянного внимания, лишь очень условно может быть разделено на шаги или этапы, однако все равно можно осмысленно сказать, что это занятие может быть внезапно прервано, после того как сделана половина или три четверти дела. Теперь представим себе, что человек выполняет такое сериальное действие с какой-то степенью внимания. В таком случае на каждом этапе работы он должен держать в уме то, что должно быть сделано на следующем или было сделано на предыдущем этапе. Он должен хранить в памяти пройденный путь и ожидать или намереваться перейти к последующим шагам. Иногда это выражают, говоря, что в таких последовательных действиях, если они осуществляются осмысленно, человек должен с самого начала иметь план или программу действий и по ходу дела постоянно сверяться с этим планом. И такое действительно часто случается. Но так не может быть всегда; и даже когда дело происходит именно так, разработки плана и постоянной сверки с ним недостаточно, чтобы объяснить последовательное и методичное осуществление деятельности, поскольку построение плана и сверка с ним сами являются последовательными действиями, осуществляемыми осмысленно. Ведь было бы абсурдом полагать, что бесконечные последовательности последовательных действий должны предшествовать осмысленному выполнению любой последовательной деятельности. Сверка с планом по ходу дела не может также объяснить, как мы узнаем, с каким пунктом плана надо сверяться на разных этапах деятельности, или как мы узнаем, что то, что мы сейчас делаем, соответствует плану, с которым мы незадолго до того сверялись.

Прежде всего человек, осуществляющий последовательную деятельность, держит в уме, что надо делать на последующих этапах, он готов, например, совершить шаг три, когда настанет подходящий случай, т. е. когда выполнен шаг два; с этим связано и то, что он готов сказать себе или другим о дальнейших шагах, если, конечно, его не прервут. Приступая к любому этапу такой деятельности, он готов к тому, что должно или может последовать, и он не удивляется, когда это действительно происходит. В этом смысле он может ясно понимать, что делает в течение всего времени своей деятельности, даже если его внимание сконцентрировано на задаче и не поделено между ней и созерцанием или описанием собственной деятельности.

Есть случаи иного рода. Например, если человек экспромтом шутит, он сам удивляется тому, как это у него получилось. Он уже не скажет о себе, что он знал, что он делает, когда шутка складывалась в его голове, или что он пытался удачно пошутить. То же самое верно относительно и других внезапных действий, совершенных под влиянием момента. Действие может быть правильным, но человек не знает, как ему это удалось, поскольку он не собирался этого

делать. Сказать, что он не собирался этого делать, и сказать, что он не знал, что он делал, — значит сказать одно и то же.

В отличие от человека, который с удивлением поймал себя на том, что он удачно пошутил экспромтом, человек, строящий новое рассуждение, обычно ясно понимает, что он делает. Он может быть удивлен заключением, к которому он придет, но он не удивится тому, что вообще сделал какое-то заключение. Его последовательная деятельность рассуждения является результатом его попыток достичь какого-то заключения. То, что он знал, что он делал, не означает, что он разбавлял свое рассмотрение посылок рассуждения актами рассмотрения своего рассмотрения этих посылок. Это просто означает, что он был готов не только к тем конкретным шагам рассуждения, которые он совершил, но также к целому набору других возможностей, большинство из которых не реализовались: что его спросят, что он делал, на каком основании его рассуждение следует по тому, а не по другому пути, и пр. Теория фосфоресцирующего сознания отчасти представляла собой попытку истолковать понятия, относящиеся к таким установкам сознания, как "готовиться", "быть готовым", "быть настороже", "иметь в виду", "не удивиться, если", "ожидать", "понимать" и "ясно понимать", как понятия, обозначающие особые внутренние события.

Тот же подход годится и для анализа таких феноменов, как "не-забывание". Когда человек, вовлеченный в разговор, доходит до середины фразы, он обычно не забывает начала своего предложения. В каком-то смысле он продолжает непрерывную траекторию того, что было ранее сказано. И тем не менее было бы абсурдом полагать, что он сопровождает каждое произносимое им слово внутренним повторением всех предшествующих. Помимо физической невозможности повторения предыдущих семнадцати слов в момент, когда за восемнадцатым должно последовать девятнадцатое, процесс повторения тоже является последовательным действием, исполнение которого само потребует, чтобы человек, исполняя каждый шаг, сохранял в сознании след всех предыдущих. Поэтому нельзя описывать "не-забывание" как осуществление реальных припоминаний; наоборот, само припоминание является реализацией одного из условий "не-забывания". "Держать в уме" не значит реально припоминать; это то, что делает возможным, кроме всего прочего, и припоминание.

Поэтому осмысленное осуществление последовательных действий подразумевает, что человек в ходе своей деятельности *au fait* имеет дело и с уже выполненными шагами, и с теми, что ему предстоит сделать; однако это не подразумевает, что осуществление такой деятельности опирается на осуществление деятельности второго уровня — мониторинга осуществления деятельности первого уровня. Разумеется, человек может время от времени, если его к тому побуждают, говорить себе и миру что-то вроде: "Привет", вот я на свистваю "О, милый дом!". Его способность делать это составляет часть того,

что имеется в виду, когда говорят, что он пребывает в той особой структуре сознания, которую называют "ясно осознавать, что ты делаешь". Но его ясное осознание или сосредоточенность на данной деятельности совсем не подразумевают, что он делает подобные заявления; наоборот, сосредоточенность на деятельности прерывается в моменты подобных заявлений.

До сих я пояснял, что я имею в виду под последовательным действием, приводя примеры таких относительно коротких операций, как насвистывание мелодии или произнесение предложения. Однако в более широком и растяжимом смысле можно назвать последовательным действием беседу в целом, осуществление кем-то значительной работы или отдых в течение дня или года. Даже каша съедается не в один присест, тем более весь завтрак; чтение лекции является последовательным действием, еще в большей степени таковым является чтение курса лекций.

Отметим далее, что, почти так же как человек может ясно осознавать, что он делает, он может так же ясно осознавать, что делает другой. В последовательном действии прослушивания предложения или лекции, произносимых кем-то другим, слушатель, как и говорящий, не забывает, хотя и не повторяет постоянно, более ранние части сказанного. При этом слушатель в какой-то мере подготовлен к тому, что последует дальше, хотя он и не говорит самому себе, какого продолжения высказывания или лекции он ожидает. Разумеется, структура его сознания существенно отличается от структуры сознания говорящего, поскольку говорящий осуществляет творческую и активную деятельность, а слушатель — пассивную и воспринимающую. Слушатель часто может быть удивлен тем, что ему говорят, тогда как говорящий удивляется этому весьма редко. Слушатель может испытывать затруднение, если бы ему пришлось воспроизвести ход аргументации и последовательность предложений, тогда как говорящий может сделать это без труда. Если говорящий собирается сказать что-то очень необычное или специальное, слушатель лишь в самых общих чертах может предвидеть, о каких сюжетах может пойти речь.

Но все это — различия в степени, а не в роде деятельности. Хотя говорящий лучше слушающего знает то, что он делает, это не означает, что у него есть Привилегированный Доступ к фактам, совершенно недоступным для слушателя. Просто у говорящего весьма выгодная позиция для того, чтобы знать это, тогда как у слушающего, как правило, далеко не выгодная. Повороты, которые могут принять разглагольствования мужа, не удивляют и не озадачивают жену так, как удивляли и озадачивали ее, когда она была еще невестой. А люди, работающие в одной области, объясняют друг другу свои мысли совсем не так, как они должны бы это делать для новых учеников.

Для целей изложения я рассматривал по отдельности то, как обычный человек обычно осознает, чем он в данный момент занят, и то, как способный разоб-

раться в тонкостях человек постигает черты характера и объясняет действия других людей и самого себя. Разумеется, тут есть большая разница. Последнее требует особого дара, интересов, навыка, опыта, способности сравнения и обобщения, непредвзятости; тогда как ясно осознавать, что свистишь или гуляешь, может даже ребенок. И тем не менее самое наивное знание того, что ты сейчас делаешь, незаметно переходит в самое изощренное постижение отдельных поступков, подобно тому как интерес ребенка к малиновке на книжной картинке перерастает в профессиональное занятие орнитологией. Ребенок, решающий арифметический пример, обладает наиболее примитивной формой ясного осознания того, что он делает, ибо, в то время как он думает о числах (а не о том, как он думает о числах), он не забывает более ранние шаги своего вычисления, он держит в уме правила умножения и не удивлен, когда обнаруживает, что завершил вычисление. Но он отличается только по степени бдительности, осторожности и умелости от ребенка, который проверяет свои результаты, от ребенка, который пытается сам найти свои ошибки, или от ребенка, который находит и объясняет ошибки в чужих вычислениях. А этот последний ребенок, опять-таки, отличается только по степени от помогающего ему родителя, учителя или экзаменатора. Ребенок, который только что выучился складывать маленькие числа, еще может быть, не способен точно сказать, что он делает или почему он предпринимает именно такие шаги при вычислении. Профессиональный же экзаменатор способен оценить реальные действия экзаменуемого по решению задачи с помощью весьма точной и высоко формализованной системы баллов. Но, опять-таки, неартикулированность знания новичка о том, что он делает, постепенно, через серию промежуточных этапов, переходит в точные числовые оценки такого знания, даваемые экзаменатором.

Знание человека о себе и других может иметь много разных, с трудом отличимых одна от другой степеней, соответствующих различным и также приблизительно различимым смыслам слова "знать". Человек может сознавать, что он насвистывает модный мотивчик, и не сознавать, что он делает это для того, чтобы выглядеть хладнокровным, тогда как на самом деле в данную минуту он далек от хладнокровия. Или он может сознавать, что он притворяется хладнокровным, не зная, что нервная дрожь, которую он пытается скрыть, объясняется чувством вины. Он может знать, что чувствует себя виновным, но не знать, что это обусловлено каким-то специфическим подавлением влечений. Но ни в одном из случаев, когда мы обычно говорим, что человек знает или не знает что-то о себе самом, нам не поможет для объяснения того, как достигается или могло бы быть достигнуто такое знание, постулат Привилегированного Доступа. В некоторых отношениях мне легче получить такое знание о себе, чем о ком-то другом, а в других — труднее. Но такая разница не происходит и не ведет к качественному различию между знанием индивида о самом себе и его знанием

о других людях. Не существует метафизического Железного Занавеса, безусловно отделяющего нас от других людей, хотя обычные обстоятельства вместе с некоторой намеренной установкой поддерживают разумную дистанцию. Сходным образом, не существует и метафизического глазка, через который мы непрерывно подглядываем и понимаем самих себя, хотя на основе повседневного поведения в общественной и частной жизни мы выучиваемся объяснять самим себе свои мотивы и действия.

(5) РАСПОЗНАНИЕ ПОСРЕДСТВОМ БЕЗЫСКУСНОЙ РЕЧИ

Наше знание других людей и самих себя зависит от нашего внимания к тому, как они и как мы сами ведем себя. Однако есть один тип человеческого поведения, на который мы особенно полагаемся. Если интересующий нас человек говорит на хорошо известном нам языке, мы используем его речь как первичный источник информации о нем. Точнее, мы используем для этого спонтанную, неподготовленную и откровенную речь. Разумеется, хорошо известно, что люди нередко умалчивают о многих вещах, вместо того чтобы выставлять их наружу. Известно также, что люди часто бывают неискренни и их речь сознательно рассчитана на то, чтобы производить ложное впечатление. Но уже сам факт, что высказывания можно сдерживать, предполагает, что возможны несдерживаемые, безыскусные высказывания. Быть сдержанным — значит специально воздерживаться от того, чтобы быть открытым; лицемерить — значит сознательно воздерживаться от того, чтобы говорить то, что приходит в голову, делая вид, что ты искренен, и при этом высказывая то, чего на самом деле не думаешь. В известном смысле слова "естественный" людям естественно говорить то, что приходит в голову, а воздерживаться от этого, тем более делать вид, что говоришь то, что думаешь, скрывая на самом деле свои мысли, есть более сложное и изощренное поведение. Более того, безыскусная речь (*unstudied talk*) является также и нормальной речью. Нам приходится предпринимать особые усилия, чтобы скрыть что-то, потому что нормальная реакция человека — показывать и проговариваться о себе. Мы постигаем технику неискренности только на основе знакомства с безыскусной, открытой речью, которой и пытается подражать лицемер. Все это говорится здесь совсем не для того, чтобы воспеть высокий моральный уровень человеческой природы. Безыскусные высказывания не объясняются ни искренностью, ни откровенностью. Искренность есть весьма сложная диспозиция, заключающаяся в воздержании от неискренности, а открытость тоже есть сложная диспозиция воздержания от скрытности. Человек, не знающий, что такое неискренность или скрытность, не может быть искренним и открытым, подобно тому как не может быть неискренним и скрытным тот, кто даже не подозревает, что такое искренность и открытость.

Существуют другие виды высказываний, некоторые из которых будут обсуждаться позже. Это обдуманые, преднамеренные высказывания, встречающиеся не в обычном общении, но только в специальных сферах. Врач, судья, проповедник, политик, астроном и геометр могут давать советы, заключения, поучения, излагать теории и формулы посредством устной речи, но при этом они разговаривают не в смысле "болтают" (chat), а в смысле "произносят", "изрекают". Свои слова они, скорее всего, готовят заранее, во всяком случае они их взвешивают. Они не говорят первое, что приходит в голову; их высказывания подчинены определенной дисциплине. То, что они говорят, как правило, может быть записано и даже напечатано — в отличие от обычной болтовни. Их речь не является ни импровизированной, ни спонтанной — она обдуманна. Они обдумывают, что сказать и как сказать, чтобы произвести требуемое впечатление. Такая речь является в буквальном смысле слова прозой.

Необходимо противопоставить обычную безыскусную речь как такой специализированной разговорной речи, так и специализированной неразговорной речи, притом что первая является основанием обеих последних. Мы пользуемся безыскусной разговорной речью не только до того, как научаемся быть в разговоре скрытными и неискренними, но и до того, как обучаемся говорить продуманно. Но и после этого преобладающая часть произносимого нами в течение дня состоит из того, что просто приходит нам в голову. Маскировка или взвешивание слов функционируют на этом фоне.

Мы говорим первое, что приходит в голову, не только в открытых, неестественных беседах с другими, но и в наших, обычно безмолвных, разговорах с самими собой.

В безыскусной болтовне мы говорим обо всем, что нас в данный момент больше всего интересует. Интерес к речи не соперничает тут с интересом к материи, о которой идет речь. Мы разговариваем о своем саде под действием тех же мотивов, которые заставляют нас возиться в нем, т. е. интереса к садоводству. Мы треплемся о нашем обеде не потому, что не интересуемся им, но как раз наоборот. Мы можем говорить об обеде как раз потому, что чувствуем голод, точно так же как мы съедаем обед, потому что голодны. Забираясь на холм, мы не можем не обсуждать то, какой он крутой, подобно тому как не можем помочь нашим ногам не уставать от такой прогулки. Спонтанные высказывания не обусловлены каким-то отдельным интересом; они обусловлены интересом к тому, чем мы заняты в это время.

Человек, который не любит завязывать шнурки на ботинках, если он умеет говорить, будет использовать вербальные выражения для этой своей неприятности. Он будет говорить раздраженным тоном. То, что он говорит, вместе с тем, как он это говорит, позволяет нам распознать строй его сознания именно благодаря тому, что его безыскусное использование данных выражений является одной из

тех вещей, к которым его располагает его структура сознания. Другой такой вещью является то, что он раздраженно тянет за шнурки ботинок. Он рассержен всеми этими узлами настолько, чтобы говорить об этом раздраженно.

Безыскусные высказывания не являются, с одной стороны, причинными следствиями структур сознания, в которых они употребляются, поскольку эти структуры не являются происшествиями; с другой стороны, они не являются и сообщениями об этих структурах сознания. Если водитель грузовика озабоченно спрашивает: "Как проехать в Лондон?" — то этим он обнаруживает свое желание найти дорогу на Лондон, но его вопрос не является ни автобиографическим, ни психологическим заявлением об этом. Он говорит то, что он говорит, не из желания сообщить нам или себе что-то о себе самом, но из желания узнать дорогу на Лондон. Безыскусные высказывания не являются высказываниями человека о самом себе, хотя, как мы вскоре увидим, они составляют первичные свидетельства для таких высказываний, если почему-то для нас будут представлять интерес именно они.

Многие безыскусные высказывания включают в себя фразы, явно выражающие интерес, или то, что я выше назвал "формулами признания": "я хочу", "я надеюсь", "я намереваюсь", "я не люблю", "я подавлен", "я удивляюсь", "я догадываюсь", "я голоден". Грамматика таких оборотов порождает искушение истолковать все предложения, в которые они входят, как самоописания. Однако выражение "Я хочу" в первую очередь используется не для сообщения информации, а для просьбы или требования. Она дает для познания не больше, чем слово "пожалуйста". На такое выражение невозможно ответить: "Вы действительно хотите?" или "Откуда вы знаете, что хотите?" Да и фразы типа "я ненавижу..." или "я намереваюсь..." используются прежде всего не для того, чтобы сообщить слушателю факты относительно говорящего. Иначе мы не удивлялись бы, услышав такие фразы, высказанные холодным и беспристрастным тоном, каким мы можем сказать "он ненавидит ..." или "они намереваются ...". На самом же деле мы ожидаем, что подобные фразы будут произноситься возбужденным или решительным тоном. Такие высказывания присущи человеку в возбужденной или решительной установке сознания. Они говорятся как знак отворачивания или решимости, а не для выражения биографического знания о собственной ненависти или решимости.

Человек, который фиксирует безыскусные высказывания говорящего (этим говорящим может быть он сам или другое лицо), оказывается, если он имеет соответствующий интерес к говорящему и знает язык, на котором сделано высказывание, в особенно выгодном положении, чтобы истолковывать качества и состояние сознания говорящего. Хотя внимательное наблюдение за другими формами его поведения, например за его поступками, колебаниями, слезами и смехом, тоже может многое сказать об этом человеке, однако его поведение не

является *ex officio* легкодоступным для понимания и интерпретации. А вот речь *ex officio* предназначена для того, чтобы ее воспринимали и истолковывали. Учиться говорить — это значит учиться делать так, чтобы тебя понимали. Мне не требуется никакого особого нюха или детективных способностей, чтобы по словам и тону вашей (или даже моей собственной) безыскусной речи понять вашу или свою установку сознания.

Когда человек сдерживает свои слова (а мы часто не знаем, скрытен он или нет и даже скрытны мы сами или нет в признаниях, делаемых самим себе), тут нужны детективные способности. Здесь мы должны на основании того, что человек сказал и сделал, сделать вывод, что он сказал бы, если бы не осторожничал, а также разобраться в мотивах его скрытности. Выяснить, что написано на страницах открытой книги, — вопрос простой техники чтения. А вот чтобы выяснить, что написано на страницах запечатанной книги, нужны гипотезы и данные. Но из того, что можно проникнуть в утаиваемое, не следует, что нам также надо проникать и в неутаиваемое.

Когда говорят о самосознании (*self-consciousness*), то часто имеют в виду наши наблюдения за нашими собственными безыскусными высказываниями, включая наши явные признания, независимо от того, произнесены ли они вслух, вполголоса или про себя. Мы подслушиваем наши собственные высказывания вслух и внутренние монологи. Направив на них внимание, мы готовим самих себя к новой задаче, а именно к описанию той структуры сознания, в которой были сделаны высказывания. Однако для данной деятельности не имеет принципиального значения, направили ли мы свое внимание на собственные высказывания или на высказывания других людей, хотя, конечно, я не могу слышать ваши внутренние монологи. Но я не могу также прочитать ваш дневник, если вы его зашифровали или спрятали. Дело не просто в том, что данный вид самоисследования ничем, по сути, не отличается от исследования безыскусных, а позднее и продуманных высказываний других, но и в том, что мы вообще учимся изучать нашу собственную речь, принимая участие в публичных обсуждениях высказываний других людей и читая в романах речи персонажей вместе с объяснениями их характеров.

Критически настроенный читатель может спросить меня, почему я избегаю употребления глагола "думать" и говорю о таких тривиальных глаголах, как "разговаривать", "трепаться", "беседовать" или "проговариваться"; ведь ясно, что разговор идет о вполне осмысленных высказываниях, авторы которых понимают, что они говорят, поскольку упоминается осмысленная речь, а не хохот, вздор или лепет. Отвечу, что на то у меня было две причины, тесно связанные между собой. Во-первых, рассматриваемые мною высказывания принадлежат социальным ситуациям общения говорящего и слушающего (возможно, совпадающих в одном лице). Их назначением является их функция в беседе. И по-

сколько беседы в значительной мере складываются не из высказываний в изыскательном наклонении, а из вопросов, приказаний, просьб, жалоб, уверток, брали, поздравлений и пр., то мы не можем в связи с ними говорить о столь любезных эпистемологам "мыслях" или "суждениях", якобы ими выражаемых. Во-вторых, мы обычно используем глагол "думать" применительно к использованию тех искусственных и подчиняющихся жестким правилам высказываний, из которых складываются теории и стратегии. Ведь мы учимся болтать еще в яслях, а азам теоретизирования обучаемся только в школе. Технике теоретизирования обучаются на лекциях, тогда как умение вести повседневные беседы приобретает практически полностью через практику разговора. Поэтому использование предложений, особенно повествовательных предложений определенного рода, для обсуждения теоретических проблем, т. е. выдвижения посылок и извлечения из них следствий, является достаточно поздним и изощренным делом, поэтому оно, разумеется, вторично по отношению к разговорному использованию предложений и фраз. Когда теория или часть теории проговаривается вслух вместо того, чтобы пребывать, как это ей свойственно, напечатанной на бумаге, мы навряд ли назовем это "речью" (talk) и уж, конечно, не назовем "трепом" или "разговором". Устное изложение теории предназначено для получения, а не для общения. Это — разновидность работы, а безыскусная речь вовсе не является работой, даже легкой или приятной.

(6) Я (SELF)

Не только теоретики, но и совершенно неискушенные люди, включая маленьких детей, испытывают затруднения с понятием Я. Дети иногда ломают голову над такими вопросами, как "Что будет, если я стану тобой, а ты — мной?" или "Где я был до того, как родился?" Теологи обсуждают вопрос "Что именно в индивиде подлежит спасению или гибели?", а философы спекулируют вокруг того, обозначает ли Я особую отдельную субстанцию и в чем состоит неделимая и непрерывная самоидентичность Я. Не все подобные головоломки возникают из-за неосознанного принятия пара-механических гипотез, и я в этом разделе собираюсь заняться одним семейством таких загадок, изложение и разрешение которых может представлять некоторый общетеоретический интерес.

Все загадки, которые я имею в виду, вращаются вокруг того, что я назову "систематической неуловимостью" понятия Я. Когда ребенок, например Ким, безо всякой теоретической подготовки, не владея никакими понятиями, впервые вопрошает себя "Кто я?" или "Что я такое?", то он не спрашивает об этом из желания узнать свое имя, возраст, пол, национальность или в каком классе он учится. Он знает все эти обычные персональные данные. Но он чувствует, что есть еще что-то на заднем плане, остающееся неопианным после того, как пе-

речислены эти стандартные сведения. Он также смутно ощущает, что, к чему бы ни относилось слово *Я*, это нечто является очень важным и совершенно уникальным — в том смысле, что оно не принадлежит никому другому. Такое *Я* должно быть одно. Местоимения вроде "ты" или "они" не несут в себе ничего таинственного, тогда как в *Я* чувствуется тайна. Таинственность эта связана с тем, что чем более ребенок старается ткнуть пальцем в то, что обозначается словом *Я*, тем менее ему это удастся. Удастся схватить только фалду его сюртука, а само *Я* всегда ускользает. Как тень от собственной головы, *Я* никак не дает через себя перепрыгнуть. И при этом *Я* никогда не убегает далеко; а иногда даже кажется, что оно вообще не опережает своего преследователя. Ему удается стать неуловимым, расположившись внутри самих мускулов своего преследователя. Оно оказывается столь близким, что его даже не ухватишь рукой.

Да и над теоретиками понятие *Я* насмехается таким же образом. Даже Юм признается, что, когда он пытался обрисовать все объекты своего опыта, он не нашел ничего соответствующего слову *Я*. Однако он не испытывал беспокойства из-за того, что остался без чего-то большого и важного, без чего его обзор не был бы описанием его опыта.

Другие эпистемологи ощущали такое беспокойство. Должен ли я или не должен вписывать мое знание самого себя в список вещей, которые я могу познавать? Если я скажу "нет", то мое знание о самом себе превратится в теоретически бесплодную тайну; если я скажу "да", то получится, что я причисляю рыболовную сеть к одной из рыб, которых этой сетью надлежит ловить. Кажется одинаково рискованным и признать, и отрицать, что судью можно поместить на скамью подсудимых.

Вскоре я попытаюсь объяснить эту систематическую неуловимость понятия *Я* и явную несимметричность понятия *Я* и понятий "ты" и "он". Но вначале следует рассмотреть некоторые моменты, верные относительно всех личных местоимений.

Люди, в том числе и философы, склонны ставить вопросы о *Я*, спрашивая, именами чего являются слова *Я* или "ты". Им известна река, называемая "Темзой", и собака по кличке "Фидо". Они знакомы также с некоторым кругом людей и знают их имена и фамилии. Они смутно чувствуют, что *Я* и "ты" отличаются от обычных собственных имен, поэтому они считают, что это должны быть имена особого рода и притом обозначающие особых индивидов, спрятанных внутри людей, известных под своими обычными именами и фамилиями. Поскольку местоимения не регистрируются в Сомерсет Хаус, их носители должны каким-то образом отличаться от носителей обычных имен и фамилий, зарегистрированных там. Однако такая постановка вопроса изначально ошибочна. Разумеется, *Я* и "ты" не являются обычными именами, как "Фидо" или "Темза", но они не являются и необычными собственными именами. Они не являются ни

собственными именами, ни именами вообще, подобно тому как "сегодня" не является эфемерным именем текущего дня. Беспочвенные мистификации начинаются, как только мы приравниваем местоимения к именам. Предложения, содержащие местоимения, в самом деле содержат отсылки к конкретным людям, но отсылают совсем не так, как это делают собственные имена.

Это различие может быть предварительно описано следующим образом. Существует класс слов (будем называть их все для простоты "индексными"), указывающих слушателю или читателю на отдельную вещь, событие, человека или момент времени, которые они обозначают. Так, "сейчас (теперь)" есть индексное слово, указывающее тому, кто слышит предложение "Поезд сейчас пересекает мост", на определенный момент пересечения. Слово "сейчас" может, разумеется, использоваться в любой момент дня или ночи, однако оно не означает "любой момент дня или ночи". Оно обозначает тот определенный момент, когда слушатель, как предполагается, слышит слово "сейчас". Момент, когда поезд пересекает мост, указывается высказыванием как момент "теперь". Момент произнесения и есть тот момент времени, на который указывает это слово. Сходным образом слово "тот" часто используется для указания на определенную вещь, на которую направлен в момент произнесения указательный палец говорящего. Слово "здесь" иногда указывает на то особое место, откуда говорящий отправляет данное слово в пространство, а страница, на которую указывает выражение "эта страница", может быть такой, на которой напечатано слово "эта". Однако другие индексные слова указывают на свой объект косвенным образом. Слово "вчера" указывает на день, предшествующий дню, когда оно было произнесено или напечатано в газете. Слово "тогда" в некоторых употреблениях указывает на момент или период времени, стоящий в особом отношении к моменту, когда оно было услышано или прочитано.

Местоимения типа *Я* или "ты" являются, по крайней мере иногда, прямыми индексными словами, тогда как местоимения типа "он", "они" и в некоторых использованиях "мы" — косвенными индексными словами. *Я* может указывать на определенного человека, издавшего этот звук или написавшего эту букву. "Ты" может указывать на человека, который слушает, как я произношу "ты", или любого человека, кем бы он ни был и сколько бы их ни было, которые прочитают написанное мной или напечатанное слово "ты". Во всех случаях условия произнесения (написания) индексного слова тесно связаны с тем, на что оно указывает. Поэтому слово "вы" не является странным именем, которым я и другие иногда вас зовем. Это — индексное слово, указывающее в конкретных условиях беседы именно на вас, кому я адресую свое замечание. Слово *Я* не является дополнительным именем для дополнительного существа. Когда я произношу или пишу его, оно указывает на того индивида, к которому можно обратиться по имени "Гилберт Райл". *Я* — это не прозвище "Гилберта Райла". Это слово ука-

зывает на человека, именуемого "Гилбертом Райлом", когда слово *Я* произносит Гилберт Райл.

Но это еще далеко не все. Теперь мы должны обратить внимание на то, что мы используем местоимения — как и собственные имена — самыми разными способами. Если мы не поймем различия в употреблении слова *Я* и, несколько менее выраженные, в употреблении слов "ты" и "он", то возникнут дальнейшие мистификации.

В предложении "I am warming myself before the fire" ("Я согреваюсь у огня") слово "myself" можно без нарушения смысла заменить словами "мое тело". Но местоимение *Я* нельзя заменить на "мое тело", не превратив фразу в бессмыслицу. Сходным образом в предложении "Кремируйте меня после того, как я умру" слова *Я* и "меня" используются по-разному. Поэтому иногда мы можем, а иногда не можем заменять местоимения первого лица на оборот "мое тело". В некоторых случаях я даже могу говорить о части моего тела, но не могу использовать для этого местоимения *Я* и "меня". Если мои волосы обгорели в огне, я могу сказать "Я не обгорел, только волосы у меня обгорели", хотя я никогда не мог бы сказать "Я не обгорел, обгорели только мои лицо и руки". Часть тела, нечувствительная к боли, которой я не могу двигать по собственному желанию, является моей, но не является частью меня. Наоборот, можно иногда говорить *Я* и "меня" о механических добавлениях к телу, таких, как автомашина или трость: "Я задел почтовый ящик" означает, что машина, которую я вел, задела почтовый ящик.

Рассмотрим теперь некоторые контексты, в которых местоимения *Я* и "меня" невозможно заменить словами вроде "мое тело" или "моя рука". Возьмем высказывание "Я сожалею, что я вмешался в этот конфликт". Тут, может быть, я соглашусь на подстановку слов "мой кулак вмешался" вместо "я вмешался". Но, уж конечно, я не соглашусь на подстановку "мой кулак" вместо *Я* в выражении "Я жалею". Не менее абсурдно было бы говорить, что "моя голова напоминает", "мой мозг делит большие числа" или "мое тело борется с усталостью". Может быть, именно вследствие абсурдности таких подстановок многие люди склонны описывать человека как соединения тела и чего-то бестелесного.

Мы, однако, еще не исчерпали весь список своеобразных использований слов *Я* и "меня". Ибо мы находим еще одну группу их употреблений, в которой вообще невозможна замена личных местоимений первого лица словами, обозначающими мое тело. Вполне осмысленно сказать, что я поймал самого себя на том, что начинаю засыпать, но я не могу поймать мое тело на том, что начинаю засыпать, как и мое тело не может поймать меня на этом. Можно сказать также, что ребенок рассказывает сам себе сказку, но бессмысленно объявлять его тело рассказчиком или слушателем.

Такого рода противоположности, связанные прежде всего с описаниям операций самоконтроля, побудили многих проповедников и некоторых мыслите-

лей говорить, что обычная личность — это своего рода комитет или команда лиц, размещающаяся под одной кожей, словно мыслящее и решающее Я — это одна личность, а жадное и ленивое Я — другая. Но такого рода образы совершенно бесполезны. Частью того, что мы понимаем под "личностью", является способность ловить себя на том, что начинаешь засыпать, рассказывать себе сказки или обуздывать свою жадность. Поэтому предполагаемое сведение личности к команде лиц просто умножит их, не объясняя, как одна и та же личность может одновременно быть рассказчиком и слушателем, существом бдительным и сонным, бешено несущимся в автомобиле и одновременно получающим удовольствие от такой гонки. Приемлемое объяснение должно начинаться с осознания того, что в утверждениях типа "Я поймал себя на том, что начинаю засыпать" два местоимения — Я и "себя" (myself) — не являются именами разных лиц, поскольку они вообще являются не именами, а индексными словами, используемыми в разных смыслах в разных контекстах, как это мы видели в утверждении "Я греюсь у огня" (хотя сама эта разница различна в разных контекстах). Если кому-то покажется неправдоподобным, что в одном и том же предложении дважды использованное местоимение первого лица¹ одновременно и указывает на одного и того же человека, и имеет два различных смысла, то пусть вспомнят, что так же бывает и с обыкновенными собственными именами и другими словами, обозначающими личность. Так, в предложении "После венчания мисс Джонс уже не будет больше мисс Джонс" не утверждается, что такая-то женщина перестанет быть самой собой и станет другой личностью. Речь просто идет о том, что изменится ее фамилия и социальный статус. А предложение "После возвращения Наполеона во Францию он перестал быть Наполеоном" означает только то, что изменился его статус как военачальника. Аналогичен этому смысл распространенного выражения: "Я — уже не я". Утверждения "Я только что начинал засыпать" и "Я поймал себя на том, что только что начинал засыпать" принадлежат различным с логической точки зрения типам, поэтому местоимения Я имеют в них различную логическую силу.

Рассматривая специфически человеческое поведение, т. е. то, на которое не способны животные, младенцы и идиоты, мы должны обратить особое внимание на тот факт, что некоторые виды действий относятся к другим действиям. Когда человек мстит другому за что-то, насмехается над ним, отвечает ему или играет в прятки, его действия относятся к действиям партнера. В известном смысле (который будет уточнен ниже) выполнение действий этого человека включает мысль о действиях другого. Если человек шпионит за другим или одобряет его действия, то он имеет дело с действиями другого челове-

¹ В русском предложении роль второго местоимения играет возвратная частица «сь» на конце глагола «греюсь», т. е. «грею себя». — *Прим. перев.*

ка. Я не могу вести себя как покупатель, если вы (или кто-то еще) не станете вести себя как продавец. Если кто-то изучает показания, то для этого сначала некто должен был их дать; кто-то должен играть на сцене, чтобы другие могли быть театральными критиками. Для описания таких действий, предполагающих действия других, иногда удобно использовать термин "действия более высокого порядка".

Некоторые, хотя и не все, действия более высокого порядка влияют на действия более низкого порядка. Если я просто обсуждаю ваши действия за вашей спиной, то мое действие относится к вашим поступкам в том смысле, что предполагает мысль о том, как вы осуществляете свои действия. Но это не меняет ваших действий. Это особенно ясно в случае, если комментатор или критик выступает после смерти лица, о чьих действиях он выносит суждение. Историк не может изменить поведение Наполеона во время битвы при Ватерлоо. Но время и тактика моей атаки влияют на время и методы вашей защиты. А то, что я продаю, имеет самое непосредственное отношение к тому, что вы покупаете.

Далее, когда я говорю о действиях одного лица, влияющих на действия другого, я включаю сюда и действия, осуществляющиеся в силу ложного представления, что другой сделал нечто такое, чего он в действительности не делал. Ребенок, восхищающийся тем, как ловко я притворяюсь спящим, когда я вовсе не притворяюсь, а по-настоящему уснул, осуществляет действие, предполагающее мое действие в разъясненном выше смысле. И Робинзон Крузо действительно беседовал со своим попугаем, если верил (или отчасти верил), что птица его слушает, даже если его вера была ошибочной.

И, наконец, есть много видов деятельности, имеющих отношение к действиям будущим, вероятным или только возможным. Когда я подкупаю вас, чтобы вы за меня голосовали, вашего акта голосования еще нет и может вообще не быть. Упоминание о вашем голосовании входит в описание моего подкупа, но оно должно иметь вид "что вы будете голосовать за меня", а не "потому, что вы голосовали за меня" или "потому, что я думаю, что вы голосовали за меня". Сходным образом мое обращение к вам предполагает (только в этом смысле), что вы поймете меня и согласитесь со мной, а именно что я разговариваю, чтобы вы могли понять и согласиться со мной.

Поэтому, когда Джон Доу рассчитывает, обнаруживает, описывает, пародирует, эксплуатирует, одобряет, передразнивает, поощряет, копирует или интерпретирует действия Ричарда Роу, то любое описание его действий предполагает косвенное указание на то, что делал или предположительно делал Ричард Роу, тогда как в описание действий Ричарда Роу не должно входить описание действий Джона Доу. Описание того, как Джон Доу следит или передразнивает, должно включать в себя (но не включаться) описание того, за кем именно он следит или кого передразнивает. Это и означает, что действие Джона Доу —

более высокого порядка, чем действие Ричарда Роу. Более высокий или низкий порядок действия не имеет никакого отношения к их моральному достоинству. Так, шантажировать дезертира есть действие более высокого порядка, чем дезертирование, а реклама — более высокого порядка, чем торговля. Вспоминать добрые дела ничуть не более благородно, чем их совершать, однако это — действие более высокого порядка.

Полезно не упускать из виду, что, хотя действия описания или комментирования действий других людей за их спиной и являются разновидностью действий более высокого порядка, это — далеко не единственная и не главная форма действий, связанных с действиями других людей. Академическое накопление информации относительно того, что делает Ричард Роу, является лишь одним из возможных способов, каким Джон Доу может реагировать на действия Ричарда Роу. Вопреки излюбленным представлениям интеллектуалистов, построение и использование повествовательных предложений не составляет ни необходимый первый, ни предполагаемый последний шаг Джона Доу. Если это так, то в каком же смысле действия более высокого порядка "подразумевают мысль о" соответствующих действиях более низкого порядка? Совсем не в том смысле, что если, например, я подражаю вашим жестам, то должен делать одновременно две вещи: и описывать себе словами ваши жесты, и производить жесты, соответствующие моему описанию. Говорить себе о ваших жестах — само по себе является деятельностью более высокого порядка. Поэтому она тоже должна подразумевать мысль о ваших жестах. Фраза "подразумекает мысль о" не указывает на причинное взаимодействие или наложение процесса одного рода на процесс другого рода. Подобно тому как комментирование ваших жестов уже должно *само быть* известным образом мыслью о ваших жестах, так и подражание, чтобы быть подражанием, должно *само быть* известным образом мыслью о ваших жестах. Но это, разумеется, неестественное употребление слова "мысль": подражание не подразумевает ни обдумывания предложений, ни выведения одних предложений из других. Оно подразумевает, что я должен знать, что я делаю, а, поскольку я подражаю вашим жестам, я должен знать ваши жесты и использовать это знание соответствующим образом, чтобы получилось именно подражание, а не, скажем, комментирование ваших действий.

Действия более высокого порядка не являются инстинктивными. Они могут быть эффективными и неэффективными, уместными и неуместными, умными или глупыми. Дети должны научиться таким действиям. Они должны научиться тому, как нужно сопротивляться, парировать, отвечать тем же самым; как предвидеть, уступать и сотрудничать; как обмениваться и торговаться, поощрять и наказывать. Они должны научиться подшучивать над другими и понимать шутки, мишенью которых являются они сами; подчиняться приказам и отдавать их; требовать и получать; получать оценки и оценивать. Они должны научиться-

ся составлять и выслушивать отчеты, описания и комментарии; критиковать и понимать критику; принимать, отвергать, исправлять и составлять вердикты; допрашивать и подвергаться расспросам. Не слишком поздно (но и не слишком рано) они должны научиться скрывать некоторые вещи, которые так и тянет разгласить. Сдержанность образуется актами более высокого порядка, чем несдержанность.

Думаю, уже понятно, с какой целью я напоминал обо всех этих детсадовских и школьных банальностях. На определенной стадии развития ребенок учится направлять акты более высокого порядка на свои собственные акты более низкого порядка. В общении с другими он попеременно научается быть и автором, и мишенью шуток, критики и подражания, учится допрашивать и подвергаться допросам. И в конце концов он обнаруживает, что можно играть обе роли одновременно. Раньше он слушал сказки или рассказывал их другим, а теперь он рассказывает их самому себе. Раньше его уличали в неискренности, или он уличал кого-то в неискренности, а теперь он применяет технику уличения к самому себе. Он обнаруживает, что может отдавать самому себе приказы с такой твердостью, что иногда подчиняется им, пусть даже и с неохотой. Самовещания и саморазубеждения становятся более-менее эффективными. В подростковом возрасте ребенок выучивается применять к своему собственному поведению большинство из применяемых взрослыми методов регулирования поведения детей. Тогда говорят, что он вырос.

Более того, как когда-то раньше он приобрел не только способность, но и склонность к действиям более высокого порядка по отношению к действиям других людей, так теперь он обретает не только умение, но и склонность занимать такую же позицию по отношению к собственному поведению. И так же как он ранее выучился иметь дело не только с конкретными действиями других, но и с их намерениями и склонностями, так теперь он обретает одновременно способность и готовность совершать теоретические и практические действия, направленные на его собственные привычки, мотивы, способности и даже на собственные действия более высокого порядка. Ибо относительно любого действия любого порядка всегда можно осуществить разнообразные действия более высокого порядка. Если я высмеиваю что-то, сделанное вами или мною самим, то я могу (хотя обычно этого не делаю) перейти к словесному комментированию моего высмеивания, извиняясь за него или приглашая других посмеяться вместе со мной; затем я могу одобрить или упрекнуть себя за это, а потом еще и записать в дневник, что я это сделал.

Ниже мы увидим, что обсуждаемые здесь понятия покрывают значительную часть того, что называется обычно "самосознанием" и "самоконтролем", хотя они относятся также и к другим явлениям. В самом деле, человек может и должен иногда докладывать о собственных действиях, а иногда — регулировать

свое поведение. Но данные действия более высокого порядка, направленные на самого себя, являются только двумя из бесчисленного множества; точно так же как и соответствующие действия, направленные на поведение других людей, являются только двумя из огромного количества возможных.

И вовсе не обязательно принимать допущение, что отчеты, которые человек дает сам себе о своих действиях или о правилах, которым он подчиняет собственное поведение, всегда свободны от предвзятости или упущений. Мой самоотчет может страдать теми же изъянами, что и мой отчет о вас, а увещания, корректировки и запреты, которые я адресую себе, могут быть столь же неудачными, как и советы, которые я даю другим. Если уж говорить о самопознании, то оно не должно описываться в духе освященной столетиями оптической модели — как светильник, освещающий сам себя лучами, отражающимися от находящегося внутри него зеркала. Совсем наоборот. Оно является просто особым случаем обычного более-менее эффективного оперирования более-менее правдоподобными и разумными свидетельствами. Аналогично этому самоконтроль не предполагает управления не совсем дисциплинированным подчиненным со стороны преисполненного совершенной мудрости и авторитета высшего начала. Он является просто особым случаем управления одного обыкновенного человека другим обыкновенным человеком; но при этом один и тот же человек, например Джон Доу, играет сразу обе роли. Истина состоит не в том, что существуют якобы некоторые действия более высокого порядка, которые выше всякой критики, но в том, что любое такое действие может быть само подвергнуто критике; не в том, что имеет место нечто безошибочное, но в том, что не бывает ничего безошибочного; не в том, что некое действие является действием высшего уровня, а в том, что для любого действия любого порядка возможны действия более высоких уровней.

(7) СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ НЕУЛОВИМОСТЬ Я

Теперь мы в состоянии разобраться в систематической неуловимости понятия Я и частичной асимметрии между ним и понятиями "ты" и "он". Быть озбоченным и заниматься самим собой, будь то теоретически или практически, означает совершать действие более высокого порядка, так же как и когда мы относимся к кому-либо еще. Например, пытаться описать то, что только что сделал или делаешь сейчас, означает комментировать шаг, который сам по себе, разве что *per accidens*, не является действием комментирования. Однако это действие, которое суть комментирование, не является и не может быть тем шагом, которому дается комментарий. Так, и акт высмеивания не относится к самому себе. Действия более высокого порядка не могут относиться к самим себе. Поэтому мой комментарий по поводу моих действий ничего не может сказать об одном моем действии, а именно о самом этом комментировании.

Последнее может быть объектом лишь другого действия комментирования. Самокомментарии, самонасмешки или самоувещевания логически обречены всегда быть предпоследними. Даже если нечто ускользнуло от какого-то частного комментария или увещевания, оно не является столь привилегированным, чтобы избежать вообще комментариев и замечаний. Напротив, оно всегда может быть мишенью последующих комментариев или упреков.

Это можно проиллюстрировать такой картинкой. Учитель пения может критиковать акцент своего ученика или то, как он берет какие-то ноты, подчеркнута передразнивая каждое слово, которое пропел ученик. А если ученик пел достаточно медленно, может оказаться так, что учитель смог спародировать каждое пропетое учеником слово еще до того, как тот начнет следующее. Но затем, чтобы не показаться нескромным, учитель постарается раскритиковать тем же способом свое собственное пение и, более того, спародировать с преувеличением каждое слово, которое он пропел, включая те, что он пропел в самопародии. При этом сразу же ясно, во-первых, что он никогда не сможет выйти за пределы самого первого слова своей песни, и, во-вторых, что в каждый данный момент он издает звук, который ему еще предстоит спародировать, как бы быстро он ни пел. Он, в принципе, может схватить, так сказать, только полу шюртука пародируемого объекта, поскольку никакое слово не может быть пародией самого себя. Тем не менее существует ни одного пропетого им слова, которое осталось бы неспародированным. Он всегда оказывается "днем позже", и любой достигнутый им день оказывается вчерашним. Он никогда не сможет перепрыгнуть тень от собственной головы, хотя и находится на расстоянии всего лишь одного прыжка до нее.

Обычный рецензент может написать рецензию на книгу, а рецензент второго порядка может раскритиковать его рецензию. Но рецензент второго порядка не критикует сам себя. Он может быть раскритикован только в рецензии третьего порядка. Если предположить безграничное терпение редактора, то могут появиться любые рецензии любых порядков, хотя всегда какие-то рецензии останутся нераскритикованными, ибо они сами своей собственной критикой быть не могут. Также и автор дневника не может записать в дневник обо всех своих действиях, ибо про последнюю запись всегда надо будет добавить, что "я сделал еще и вот эту запись".

Это, я думаю, и объясняет то чувство, что мое прошлогоднее Я (self) или мое вчерашнее Я можно, в принципе, описать и объяснить полностью, также и ваше прошлое и настоящее Я я могу для себя описать и объяснить исчерпывающе, но мое сегодняшнее Я ускользает от всех ловушек, которые я ему расставляю. Это объясняет также невозможность проведения аналогии между понятиями Я и "ты", не прибегая к допущению таинственного и неуловимого остатка.

Но надо объяснить и еще одну вещь. Когда рассматривают проблему свободы воли и пытаются вообразить свою собственную деятельность по аналогии с

работой часов или падением водопада, то стараются, тем не менее, как-то увильнуть от мысли, что собственное ближайшее будущее уже в каком-то смысле определено и предсказуемо. Кажется нелепым предполагать, что уже предопределено то, что я вскоре буду думать, чувствовать или делать, хотя люди обычно не считают столь же абсурдными подобные предположения относительно других людей. Так называемое "чувство спонтанности" тесно связано с этой неспособностью вообразить предопределенность того, что я буду думать или делать. Но, с другой стороны, когда я обдумываю то, что я думал или делал вчера, то мне вовсе не кажется абсурдным предположение, что все это можно было заранее предвидеть. Лишь тогда, когда я пытаюсь предвидеть мое следующее действие, такая задача выглядит как попытка пловца обогнать волны, расходящиеся от его движений.

Решение тут такое же, как и раньше. Предсказание поступков или мыслей является действием более высокого порядка, и его выполнение не может располагаться среди событий, к которым относится предсказание. А поскольку состояние сознания, в котором я нахожусь непосредственно перед осуществлением своего действия, влияет на мое действие, то получается, что я неизбежно не учитываю один из важных для моего предсказания факторов. Сходным образом я могу давать вам самый полный из возможных советов, но при этом вынужден опустить одну часть наставления, поскольку не могу одновременно сообщать, как вам применять мой совет. Поэтому нет ничего парадоксального в утверждении, что хотя я обычно не удивляюсь, обнаруживая, что я делаю или думаю то-то и то-то, тем не менее, когда я пытаюсь предвидеть, что я буду делать или думать, мое предсказание всегда может оказаться ложным. Мой процесс предугадывания может отвлечь ход моих действий в другом направлении, чего не мог учесть мой прогноз. Я не могу подготовить себя к одной вещи: следующей мысли, которая будет у меня в голове.

Тот факт, что мое ближайшее будущее подобным образом систематически ускользает от меня, разумеется, никоим образом не доказывает, что мои действия в принципе непредсказуемы для других пророков или что они необъяснимы задним числом для меня самого. Я могу своим указательным пальцем указать на любую вещь, а другие люди могут указать также и на мой палец. Я лишь не могу своим указательным пальцем указать на него самого. Так и снаряд не может быть своей собственной мишенью, хотя чем-то другим его можно сбить.

Общее заключение о том, что любое действие может быть объектом действия более высокого порядка, но не может быть своим собственным объектом, связано с тем, что говорилось ранее об особой функции индексных слов, таких, как "теперь", "ты" и Я. Предложения со словом Я указывают, о ком конкретно идет речь, благодаря тому, что произносятся или пишутся конкретным человеком. Я обозначает человека, произносящего это слово. Когда человек произно-

сит предложение со словом *Я*, его произнесение может быть частью действия более высокого порядка, например сообщения о своих поступках, самоуверения или самоутешения, поэтому оно не может относиться к тому действию, которое является произнесением данного предложения. Даже если человек, предаваясь философским спекуляциям, на мгновение сосредоточится на Проблеме *Я*, он не сможет — и знает, что не сможет, — ухватить ничего, кроме фалл сюртука того, за кем он охотится. Его добычей является охотник.

Завершая рассуждение, скажем еще раз: нет ничего таинственного или оккультного в действиях и установках более высокого порядка, которые мы напрасно собираем под общей вывеской "самосознания". Они такие же по роду, как и действия и установки более высокого порядка, присутствующие в нашем поведении по отношению к другим людям. Первые — лишь специальные применения последних и выучиваются на их основании. Если я осуществляю действие третьего порядка — комментирую действие второго порядка, например, мою насмешку над самим собой за неловкость — я использую личное местоимение первого лица двумя различными способами. Я скажу себе или окружающим: "Я смеялся над собой из-за того, что я вымазал пальцы в масле". Это вовсе не означает, что в моей шкуре сидят два *Я*, тем более нет речи о третьем; тут я просто применяю обычную фразу, в которой обычно бывает два местоимения (когда говорят, что она смеялась над ним). Я применяю эту фразу, потому что я применяю метод межличностного взаимодействия, в котором обычно и применяется подобная фраза.

Прежде чем окончательно завершить эту главу, следует упомянуть, что есть существенная разница между личным местоимением первого лица и всем остальным. *Я*, когда я употребляю это слово, всегда указывает на меня и только на меня. "Ты", "она" и "они" указывают в разное время на разных людей. *Я* — это как моя собственная тень. Я не могу убежать от нее, как могу убежать от вашей тени. Но в этом нет ничего таинственного. И я упомянул о данном обстоятельстве только потому, что из-за него *Я* наделяют исключительностью и прилипчивостью. "Теперь" — такая же прилипчивая вещь.

ГЛАВА VII. ОЩУЩЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ

(1) ПРЕДИСЛОВИЕ

Одним из главных критических мотивов этой книги было стремление показать, что "ментальное" не обозначает такого положения дел, при котором можно осмысленно спросить, относится ли данная вещь или событие к ментальным или физическим и находятся ли они "в сознании" или "во внешнем мире". Говорить о сознании человека — не значит говорить о некоем вместилище объектов, где запрещается размещать то, что называется "физическим миром". Говорить о сознании — значит говорить о человеческих способностях, обязанностях и склонностях что-то делать или претерпевать, причем делать или претерпевать в повседневном мире. В самом деле, нет смысла говорить, будто существуют два или одиннадцать миров. Манера именовать миры по родам специфической деятельности не ведет ни к чему, кроме путаницы. Даже напыщенное словосочетание "физический мир" философски столь же бессмысленно, как бессмысленны словосочетания "нумизматический мир", "галантерейный мир" или "ботанический мир".

Однако здесь будет отстаиваться та точка зрения, что "ментальное" не обозначает положения дел, обеспечивающего особый статус для ощущений, чувств и образов. Экспериментальные науки предоставляют описания и корреляции разнообразных вещей и процессов, но в этих описаниях наши впечатления и идеи не упоминаются. Следовательно, последние должны относиться к чему-то еще. Поскольку очевидно, что наличие ощущения, к примеру, характерно для человека, испытывающего боль или страдающего от рези в глазах из-за яркого света, то ощущение должно находиться в этом человеке. Однако это "в" имеет особый смысл, ибо хирург не обнаружит ощущения под эпидермисом человека. Так что ощущение должно находиться в человеческом сознании.

Более того, ощущения, чувства и образы — суть нечто такое, что должно сознаваться их "владельцем". Из чего бы еще ни состоял поток его сознания, но ощущения, чувства и образы во всяком случае составляют часть этого потока. Они во многом, если не целиком, образуют тот субстрат, из которого состоит сознание.

Сторонники этого аргумента с особой уверенностью относят его к образам — тем, которые "я вижу мысленным взором" или которые "вертятся в голове". Они

испытывают некоторые сомнения, чересчур радикально разводя ощущения и состояния тела. Боли в желудке, резь и стрельба в ушах имеют физиологическую подоплеку, которая грозит замутить воды ментального опыта. Зато картины, которые я вижу, даже когда закрываю глаза, музыка и голоса, которые я могу слышать, даже если вокруг царит тишина, прекрасно подходят на роль подданных царства сознания. Я могу в определенных пределах составлять, разлагать и изменять их по своей воле, причем расположение, поза и состояние моего тела, по-видимому, никак не коррелируют с их появлением или свойствами.

Подобная вера в ментальный статус образов влечет за собой заманчивый вывод. Ретроспекция показывает, что когда человек думает про себя, то по крайней мере часть того, что происходит при этом, представляет собой череду слов, как бы произнесенных им самим. Отсюда следует, что почтенная доктрина, считающая дискурс в форме безмолвного монолога неотъемлемой собственностью сознаний, усиливает и усиливается самой доктриной, согласно которой аппарат чистого мышления не принадлежит к грубому миру физических шумов, а состоит из того же эфирного субстрата, из которого сотканы сновидения.

Однако, прежде чем приступить к обсуждению образов, еще многое следует сказать насчет ощущений, и эта глава полностью посвящена понятиям ощущения и наблюдения. Понятие воображения будет рассмотрено в следующей главе.

По ряду соображений, развитых в последней части данной главы, я остался ею неудовлетворенным. Я выразил согласие с официальной версией, гласящей, что восприятие включает в себя наличие ощущений. Однако при этом термин "ощущение" используется в теоретизированном смысле. Обычно мы не используем его в таком виде, когда прибегаем к существительному "ощущение" или глаголу "чувствовать". Как правило, мы используем эти слова для обозначения особого круга перцепций, а именно тактильных, кинестетических, термических перцепций, а также для обозначения локализуемых болей и недомоганий. В этом смысле зрение, слух, вкус и обоняние включают в себя ощущения не более, чем зрение включает в себя слух или чувство прохлады — какой-либо вкус. В своем теоретизированном значении "ощущение" оказывается наполовину физиологическим, наполовину психологическим термином, применение которого связано с определенными псевдонаучными картезианскими теориями. Это понятие не встречается среди того, что говорят о людях новеллисты, биографы, мемуаристы или медсестры; не пользуются им в разговорах со своими пациентам и терапевты, дантисты или окулисты.

В своем привычном бесхитростном употреблении слово "ощущение" обозначает не составную часть перцепций, а вид перцепции. Однако и при теоретическом употреблении оно не обозначает идеи, входящей в идею перцепции. Люди знали, как им говорить про свои зрение, слух и осязание задолго до того, как они стали строить физиологические и психологические гипотезы или прослышали о каких-то теоретических загадках взаимодействия между сознаниями и телами.

Я не знаю правильных формул для обсуждения таких вопросов, но я надеюсь, что мой анализ их на языке господствующих идиом, по крайней мере, может иметь действенность некой внутренней пятой колонны.

(2) ОЩУЩЕНИЯ

По ряду причин удобнее разделить ощущения на те, которые *ex officio* входят в чувственное восприятие, и те, которые в него не входят. Грубо говоря, мы делим их на ощущения, связанные со специфическими органами чувств, такими, как глаза, уши, язык, нос, кожа, и на ощущения, связанные с другими чувствительными, но не сенсорными органами тела. Но такое деление все же произвольно. Когда глазу больно от яркого света, а нос щиплет от острого запаха, мы склонны относить эти ощущения к органическим ощущениям боли и пощипывания. И наоборот, когда у нас возникают определенные ощущения в горле или желудке, мы говорим, что чувствуем рыбью кость или жирную пищу. Специфическое мускульное ощущение можно описать равнозначно и как ощущение усталости, и как ощущение тяжести, и как сопротивление. А услышавший что-то человек мог бы сказать одному из своих спутников, что он слышал звуки очень далекого поезда, а другому — что едва мог отличить этот шум от обычного звона в ушах.

В силу очевидных причин нам приходится постоянно ссылаться на ощущения, связанные с органами чувств, ибо нам столь же постоянно приходится упоминать о том, что мы видим или не видим, слышим, обоняем, пробуем на вкус и осязаем. Однако мы не говорим об этих ощущениях в их чистом виде. Обычно мы упоминаем их только в связи с вещами или событиями, которые мы наблюдаем, или уверяем, что наблюдаем, или же пытаемся наблюдать. Люди говорят о мимолетном впечатлении, но только в том контексте, что это было мимолетное впечатление от малиновки или чего-то движущегося. Они не изменяют этой привычке и тогда, когда их просят описать внешний вид, издаваемые звуки или вкус некоторой вещи. Они, как правило, скажут, например, что эта вещь похожа на стог сена, или издает жужжащий звук, или имеет такой вкус, словно в нее наложили перца.

Подобная процедура описания ощущений через соотнесение с обычными объектами¹ вроде стога сена, жужжащих и наперченных вещей, имеет огром-

¹ Часто встречающееся в этой главе выражение «common objects» мы будем переводить для простоты как «обычные» или «обыкновенные объекты», хотя при этом теряется важный смысл слова «common» — «публичный». Здесь речь идет об объектах, доступных для наблюдения всеми людьми, в отличие от объектов «приватного» опыта. — Прим. перев.

ное теоретическое значение. Стог сена, к примеру, это нечто такое, описание чего ни у кого не вызывает разногласий. Его могут обозревать любые наблюдатели, и мы вправе ожидать, что их мнения совпадут или, по крайней мере, поддадутся коррекции вплоть до совпадения. Положение, форма, размер, вес, дата создания, состав и назначение этого стога — суть факты, которые может установить всякий с помощью обычных методов наблюдения и исследования. Но это еще не все. Теми же методами можно установить, как этот стог должен выглядеть, осязаться и пахнуть для обычных наблюдателей в обычных условиях наблюдения. Когда я говорю, что нечто выглядит как стог сена (хотя в действительности это может быть висящее на бельевой веревке шерстяное одеяло), я описываю его вид в терминах, в которых любой другой мог бы описать внешний вид стога, когда его обозревают в соответствующей перспективе, при соответствующем освещении и на соответствующем фоне. Это значит, что я сравниваю то, как выглядит для меня шерстяное одеяло здесь и сейчас, не с каким-то иным конкретным впечатлением у меня или у любого другого конкретного человека в конкретной ситуации, а с *типом* впечатления, с которым могли бы столкнуться любые обычные наблюдатели в определенного рода ситуациях, а именно в ситуациях, когда они находятся поблизости от стогов при свете дня.

Подобным же образом сказать, что нечто на вкус перчит, означает, что оно сейчас воздействует на мой вкус так же, как воздействовали бы любые перченные яства на любого человека с нормальным вкусом. Предполагается, что я никоим образом не могу знать, что разные люди испытывают от перца именно одинаковые ощущения, но в данном случае достаточно отметить, что наши обычные способы сообщения о собственных ощущениях содержат ссылки на то, что, как мы думаем, мог бы установить при наблюдении обычных объектов любой другой человек. Мы описываем личное для нас на языке нейтральных или безличных терминов. В самом деле, наши описания вне такого языка не выражали бы ничего. В конце концов именно этот язык мы усваиваем от окружающих. Мы не описываем стога сена в терминах того или иного набора ощущений, да и не умеем этого делать. Мы описываем наши ощущения, так или иначе ссылаясь на других наблюдателей и вещи вроде стогов сена.

Точно так же мы поступаем и при описании органических ощущений. Когда человек, испытывающий боль, описывает эту боль как колющую, ноющую или жгучую, он вовсе не обязательно думает, что эта боль причиняется ему ножом, сверлом или тлеющим углем, и все же он говорит о ней так, как испытал бы ее всякий поранившийся этими вещами. Точно так же обстоит дело с такими дескрипциями, как "у меня звенит в ушах", "у меня кровь стынет", "у меня искры из глаз". Даже просто сказать о чьем-то мнении, что оно туманно, — значит уподобить его тому, как выглядят для любого наблюдателя обычные объекты в туманную погоду.

Эти способы описания наших ощущений упомянуты здесь для того, чтобы показать, в чем заключаются лингвистические трудности при обсуждении логики понятий ощущения и почему они возникают. Мы не прибегаем к словарю "чистых" ощущений. Мы описываем конкретные ощущения, ссылаясь на то, какие звуки издают, как осязаются и как обычно выглядят обычные объекты для любого нормального человека.

Эпистемологи любят использовать слова вроде "боль", "зуд", "резь", "жар" и "ослепительный свет" так, как если бы они были наименованиями "чистых" ощущений. Однако подобная практика вдвойне ошибочна. Большинство из этих слов не только черпают свой смысл из ситуаций, содержащих такие объекты, как кинжалы, радиаторы и блохи, но также косвенно указывают, что человеку, который ощущает, нравится, или не нравится, или же могло бы понравиться, или стать противным эти ощущения иметь. Боль в колене — ощущение, которого я не желаю, поэтому "незамеченная боль" оказывается абсурдным выражением, в то время как "незамеченное ощущение" лишено абсурдности.

Это обстоятельство позволяет ввести концептуальное различие, которое вскоре обнаружит свою кардинальную значимость. Это различие между наличием ощущения и наблюдением. Когда о человеке говорят, что он нечто видит, рассматривает или на что-то глядит, что он что-то слушает или смакует, то при этом лишь отчасти имеется в виду, что у него возникают визуальные, слуховые или вкусовые ощущения. Однако для того, чтобы что-то наблюдать, человек также должен по крайней мере попытаться кое-что выяснить. Его осматривание можно соответственно описать как тщательное или поверхностное, методичное или беспорядочное, точное или приблизительное, профессиональное или любительское. Наблюдение оказывается задачей, которая не лишена некоторой трудности, и мы можем быть более или менее удачливы и результативны в ее решении. Однако ни одна из этих характеристик применения наших способностей к наблюдению не может быть отнесена к обладанию визуальными, слуховыми или вкусовыми ощущениями. Можно внимательно слушать, систематически всматриваться или пытаться различить оттенки вкуса, но не может быть внимательного ощущения звона в ушах, систематического ощущения слепящего света или попытки получить вкусовые ощущения. Опять же, очень часто мы занимаемся наблюдением из любопытства или по обязанности, но нам не бывает щекотно по этой или иной подобной причине. Мы целенаправленно наблюдаем, но не ощущаем, хотя и можем целенаправленно вызывать ощущения. При наблюдении мы можем совершать ошибки, но было бы нелепо говорить о совершении или избегании ошибок в ощущениях. Ощущения не могут быть корректными или некорректными, правдивыми или неправдоподобными. Они не являются ни верными, ни ложными представлениями. Наблюдение означает выяснение или попытку выяснить что-либо, однако наличие ощущения

не является ни выяснением, ни попыткой к нему, ни даже неудачей в выяснении чего бы то ни было.

Этот набор контрастов позволяет нам заметить, что если указание на степень, способы и объекты, в соответствии с которыми человека называют наблюдательным или ненаблюдательным, составляют часть описания его способностей и характера, то указание на его сенсорные возможности и актуальные ощущения не входит в эту дескрипцию. Ювора без обиняков, в ощущениях нет ничего "ментального". Глухота не есть разновидность глупости, а косоглазие — порочности; острое чутье охотничьей собаки еще не доказывает ее разумности. Мы ведь не пытаемся переучить или пристыдить детей-дальтоников и не считаем их умственно отсталыми. Ставить диагноз и прописывать средства для улучшения зрения — дело окулиста, а не моралиста или психиатра. Наличие ощущения не указывает на качество интеллекта или характера. Вот почему мы без особого высокомерия признаем ощущения за рептилиями.

Каким бы набором ощущений ни располагал разумный человек, допустимо представить себе, что и проще устроенное живое существо может иметь точно такие же ощущения. И если под "потоком сознания" имелись бы в виду "серии ощущений", то из простой описи содержания подобного потока никак нельзя было бы заключить, является ли существо с такими ощущениями животным или человеком, идиотом, лунатиком или здоровым и уж еще меньше — изощренным филологом или же туповатым, но усердным судебным клерком.

Как бы то ни было, но эти рассуждения не удовлетворяют теоретиков, желающих видеть в потоке человеческих ощущений, чувств и образов субстрат его сознания и тем самым разделяющих догму, согласно которой сознания суть вещи с особым статусом, образованные из особого субстрата. Они будут, и вполне корректно, настаивать на том, что, хотя окулист и дантист могут изменять ощущения пациента, применяя химические или механические средства лечения органов его тела, они все же лишены возможности сами наблюдать эти ощущения. Они могут наблюдать физиологические отклонения в глазах и деснах, однако вынуждены полагаться на рассказ больного для того, чтобы узнать, что именно он видит и чувствует. Только тот, кто носит туфли, знает, где они жмут. Исходя из этого, правдоподобно, но ошибочно утверждается, что на самом деле все-таки существует пресловутая антитеза между публичным физическим миром и приватным ментальным миром; между вещами и событиями, свидетелями которых может стать каждый, и теми вещами и событиями, свидетельствовать о которых может только их носитель. Планеты, микробы, нервы и барабанные перепонки являются публично наблюдаемыми вещами внешнего мира, а ощущения, чувства и образы суть приватно наблюдаемые составляющие наших отдельных ментальных миров.

Я хочу показать, что эта антитеза фальшива. Это верно, что сапожник действительно не может чувствовать ту боль, которую я испытываю, когда мне жмут туфли. Но неверно то, что я сам ее наблюдаю. Причина, по которой сапожник не может чувствовать боль в моих ногах, заключается не в том, что некий Железный Занавес мешает ей стать очевидной для всех, кроме меня, а в том, что она вообще не относится к тем вещам, о которых можно осмысленно говорить, наблюдаемы они или нет даже для меня самого. Я чувствую или испытываю боль в ногах, но не открываю ее и не всматриваюсь в нее. Она не относится к тому, о чем я могу что-то выяснить, взглядевшись, вслушавшись или вникнув. Было бы нелепо сказать, что человек наблюдал приступ боли в том же смысле, в котором мы говорим, что он наблюдал малиновку. Свидетелем дорожной аварии может быть один или несколько человек, однако у приступа дурноты не может быть ни нескольких, ни даже одного свидетеля.

Мы знаем, что значит применять или нуждаться в таких вспомогательных инструментах, как телескопы, стетоскопы и фонари для наблюдения за планетами, сердццебиением и мотыльками. Однако непонятно, что значит применять подобные приспособления к нашим ощущениям. Подобным же образом, хотя нам хорошо известны те виды помех, которые стесняют наблюдение обычных объектов или препятствуют ему, к примеру туманы, покалывание в пальцах или звон в ушах, мы не можем представить себе аналогичных препятствий, встающих между нами и теми же ощущениями покалывания и звона в ушах.

Говоря, что ощущения не относятся к вещам, которые можно наблюдать, я не имею в виду, что они ненаблюдаемы точно так же, как ненаблюдаемы микроорганизмы, летящие пули или горы на другой стороне Луны. Или что они ненаблюдаемы так же, как планеты для слепого человека. Я имею в виду примерно следующее. Всякое слово, которое может быть записано, за исключением слов, состоящих из одной буквы, имеет правописание (spelling). Некоторые слова более сложны для написания и прочтения по буквам, чем другие, а некоторые имеют несколько различных написаний. Однако, если нас спросят, как по складам читаются буквы алфавита, мы ответим, что вообще никак. Однако это "никак" не означает, что сама эта задача неразрешима. Это значит лишь то, что вопрос: "Из какой последовательности каких букв состоит данная буква?" — является неправомерным. Я утверждаю, что, подобно тому, как написание или прочтение букв по складам не является ни легким, ни крайне тяжелым делом, точно так же и ощущения не являются ни наблюдаемыми, ни ненаблюдаемыми. Соответственно, подобно тому факту, что мы не вправе даже спросить, как пишется или читается буква по складам, и это никоим образом не мешает нам знать, как буквы пишутся, так же и факт, что мы не вправе говорить о наблюдении ощущений, нисколько не мешает нам говорить о том внимании, которое люди уделяют своим ощущениям, или о тех признаниях и отчетах, которые они

могут сделать об отслеженных ими ощущениях. Головную боль нельзя наблюдать, однако ее можно заметить, и если неуместно посоветовать человеку не замечать, что ему щекотно, то посоветовать ему не обращать на это внимание вполне правомерно.

Мы видели, что наблюдение предполагает наличие ощущений. Человека, даже мельком не видевшего малиновку, нельзя описать как смотрящего на нее, а того, кто не почувствовал даже слабого запаха сыра, нельзя описывать как нюхающего сыр. (Я делаю вид, хотя это и неправильно, что словосочетания типа "мимолетное впечатление" и "слабый запах" означают ощущения. Тот факт, что мимолетное впечатление может быть охарактеризовано как "четкое" или "расплывчатое", доказывает, что оно является словом, описывающим наблюдение, а не "чистое" ощущение.) Объект наблюдения вроде малиновки или сыра должен, таким образом, относиться к вещам, от которых наблюдатель может получить мимолетное впечатление или почувствовать веяние запаха. Однако многие теоретики просят нас отвлечься от обычных объектов вроде малиновки и сыра ради таких вещей, как мимолетное впечатление и слабые запахи. Они просят признать, что я, хотя и никто другой, могу наблюдать эти получаемые впечатления и запахи, причем в том же смысле слова "наблюдать", в котором каждый может наблюдать малиновку или сыр. Но допустить такое означало бы: когда я ловлю впечатление от малиновки, я могу наблюдать за этим впечатлением, и, тем самым, я должен чувствовать что-то вроде впечатления или запаха от того самого первоначального впечатления от малиновки. Если ощущения являются подлинными объектами наблюдения, тогда наблюдение за ними должно повлечь за собой ощущение этих ощущений аналогично впечатлениям от малиновки, без которых я не мог бы ее видеть. А это явный абсурд. Таким выражениям, как "впечатление от впечатления", "запах боли", "звук укуса" или "звон от звона в ушах", ничто не соответствует, иначе этот ряд можно было бы продолжать до бесконечности.

Опять же, человека, следящего за скачками, уместно спросить, хорошо или плохо ему было видно, смотрел он внимательно или небрежно, пытался ли он увидеть как можно больше. Поэтому если бы высказывание, что человек наблюдает собственные ощущения, было корректным, то законен был бы и вопрос, был ли его осмотр собственной щекотки затруднительным или беспрепятственным, глубоким или поверхностным и мог ли он узнать о ней больше, если бы постарался. Но никто и никогда не задает подобных вопросов, так же как никто не просит написать или произнести по складам первую букву в слове "Лондон". Здесь просто не о чем спрашивать. Прояснение этой ситуации отчасти затрудняется тем, что слово "наблюдать", обычно используемое для обозначения таких процессов, как глядывание, вслушивание, пробование на вкус, или даже таких действий, как раскрытие и обнаружение, иногда употребляется в каче-

стве синонима для "обращать внимание" и "замечать". Вглядывание и обнаружение действительно включают в себя обращение внимания, но само обращение внимания не содержит в себе вглядывания.

Отсюда следует, что с самого начала было неправильно противопоставлять обычные объекты наблюдения вроде малиновки и сыра якобы особым объектам моего привилегированного наблюдения, а именно моим ощущениям, ибо ощущения вообще не являются объектами наблюдения. Мы, следовательно, не должны возводить одну сцену под названием "внешний мир" для размещения обычных объектов всеобщего наблюдения и другую сцену под названием "сознание" для объектов каких-то монопольных наблюдений. Отчасти антитеза "публичного" и "приватного" была неверным истолкованием антитезы между объектами, которые можно видеть, трогать и пробовать на вкус, с одной стороны, и ощущениями, которые можно испытывать, но нельзя увидеть, пощупать или вкусить — с другой. Это верно и даже тавтологично, что сапожник не может почувствовать, как мне жмут туфли, если, конечно, этот сапожник не я сам; однако не потому, что ему недоступно открытое только мне зрелище, а потому, что полной бессмыслицей было бы сказать, что он испытывал мою боль, и, следовательно, нет смысла говорить, что он внимал той боли в ногах, от которой я страдал.

Из этого следуют дальнейшие выводы. Свойства, характерные для обычных объектов, которые мы устанавливаем с помощью наблюдения или не без его помощи, нельзя осмысленно приписывать или отрицать для ощущений. Ощущения не имеют размера, формы, положения, температуры или запаха. В том смысле, в каком всегда отвечают на вопросы: "Где сейчас малиновка?" или "Где была малиновка?" — невозможно ответить на вопросы: "Где сейчас?" или "Где было ваше мимолетное впечатление от малиновки?" Конечно, вполне осмысленно и допустимо говорить, что щекотно "в пятке" или что щиплет "в носу", однако в ином смысле, чем тот, в котором в моей стопе находятся кости, а в носу — частички перца. Таким образом, в том расплывчатом смысле слова "мир", в котором люди говорят, что "внешний" или "публичный мир" содержит в себе малиновок и сыр, местоположение и взаимосвязи коих в этом мире могут быть установлены, — в этом смысле не существует другого мира или группы миров, в которых могут быть установлены местоположения и взаимосвязи ощущений. Точно так же не существует и пресловутой проблемы по выяснению связей между тем, что наполняет публичный мир, и тем, что содержится в любом из частных миров. Далее, если некоторый обычный объект вроде иголки может находиться внутри или снаружи другого объекта, например стога сена, то в отношении ощущений соответствующей антитезы "внутреннего" и "внешнего" не существует. Моя боль в ноге скрыта от сапожника не потому, что она находится внутри меня, будь то буквально под моей кожей или метафорически где-то, куда доступ ему закрыт. Как раз наоборот, ее нельзя, подобно иголке, описать

в качестве находящейся внутри или снаружи обычного объекта, например меня самого. Ее нельзя так же описать ни как спрятанную, ни как несокрытую. Это аналогично тому, как невозможно классифицировать буквы ни в качестве существительных, глаголов или прилагательных, ни описать, как они подчиняются или же не подчиняются правилам английского синтаксиса. Конечно, это верно и важно, что я единственный человек, способный "из первых рук" предоставить отчет о своей боли, возникшей из-за тесной обуви, а окулист, не имеющий возможности говорить за меня, лишен главного источника информации о моих зрительных ощущениях. Однако из того факта, что лишь я один могу "из первых рук" отчитаться о своих ощущениях, не следует, что я могу, в отличие от остальных, наблюдать эти мои ощущения.

Отсюда можно сделать два взаимосвязанных замечания. Во-первых, имеется философски безразличный, хотя и сам по себе важный смысл слова "приватный", в котором мои ощущения, конечно же, приватны и принадлежат исключительно мне. т. е., подобно тому как вы не можете, по здравой логике, за меня двигаться, побеждать на скачках, есть мой обед, хмурить мои брови или видеть мои сны, точно так же вы не можете переживать приступы моей боли или воспоминания о ней. У Венеры не может быть спутников Нептуна, а у Польши — истории Болгарии. Просто в силу логики построения предложений, в которых винительный падеж, употребляемый с переходным глаголом, составляет с ним одно смысловое целое. Такие переходные глаголы не обозначают отношений. Предложение "Я соблюдал свою выгоду" не утверждает между мной и выгодой такого отношения, которое вместо меня можно было бы осмысленно распространить на вас. Оно не тождественно ситуации типа "Я остановил свой велосипед", ведь вы могли бы легко меня опередить и остановить мой велосипед сами.

Во-вторых, говоря, что предложение "У меня был приступ боли" не утверждает того же отношения, что предложение "У меня была шляпа", я говорю, что выражение "приступ моей боли" не обозначает какую-либо вещь или "термин". Оно не обозначает даже какого-либо эпизода, хотя предложение "У меня был приступ боли" утверждает, что некоторый эпизод имел место. Вот, в частности, почему нелепо говорить, что ощущения наблюдаются, рассматриваются, свидетельствуются или исследуются, ибо объекты, соответствующие этим глаголам, являются предметами или эпизодами.

И все же, когда мы рассуждаем об ощущениях, мы в значительной мере склонны говорить о них так, как если бы они были неуловимыми вещами или эпизодами. Мы безотчетно работаем с моделями наподобие той, в которой уединившийся человек, находящийся внутри палатки, видит пятна и блики света на парусине и ощущает вмятины в ней. Он, возможно, желал бы увидеть и потрогать те фонари и ботинки, из-за которых появились эти пятна света и вмятины. Но, увы, это ему никогда не удастся, так как парусина всякий раз преграждает ему путь.

Представим теперь, что освещенные или выпуклые части парусины являются вещами, а мелькание света и колебания парусины — эпизодами. Если это так, то они относятся к тому виду объектов, которые допустимо описывать как обнаруживаемые, наблюдаемые и исследуемые человеком, находящимся внутри палатки. И о них можно также сказать, что они там есть, но они не наблюдаются и не обнаруживаются. Более того, человек, который может наблюдать или обнаружить освещенную или продавленную парусину, мог бы обнаружить фонари и ботинки, если бы они не были экранированы от него. Таким образом, ситуация человека, испытывающего ощущения, совершенно отлична от ситуации человека в палатке. Обладать ощущениями не значит обнаруживать или наблюдать объекты, а обнаружение и наблюдение вещей и эпизодов не означает обладания ими в том же смысле, в котором обладают ощущениями.

(3) ТЕОРИЯ ЧУВСТВЕННЫХ ДАННЫХ

В связи с нашей темой уместно прокомментировать теорию, известную как "теория чувственных данных" ("Sense Datum Theory"). Эта теория нацелена прежде всего на прояснение понятия чувственного восприятия, в том числе и понятия ощущений, связанных со зрением, осязанием, слухом, обонянием и вкусом.

Такие повседневно употребляемые глаголы, как "видеть", "слышать" и "пробовать на вкус", не применимы для обозначения "чистых" ощущений, ибо мы говорим, что видим скачки, слышим поезда и пробуем коллекционные вина, хотя скачки, поезда и вина не являются ощущениями. Скачки не прекратятся, если я закрою глаза, а аромат коллекционного вина не исчезнет оттого, что у меня простуда. Таким образом, нам, по-видимому, нужны способы вести речь о том, что прекращается или исчезает, когда я закрываю глаза или бываю простужен. Причем эти способы не должны зависеть от ссылок на обычные события или напитки. Подходящий набор существительных нетрудно найти, ибо можно, вполне соответствуя идиомам, сказать, что зрелище скачек для меня прерывается, когда я закрываю глаза; что очертания и внешний вид лошадей меняются, когда глаза слезятся; что аромат вина исчезает при простуде, что шум поезда ослабевает, когда я затыкаю уши. Считается, что мы можем говорить об ощущениях в собственном смысле слова, когда ведем речь о "видах" (looks), "образах", "обликах", "звуках", "запахах", "вкусах", "звоне в ушах", "мимолетных впечатлениях" и т. д. Считается также, что такого рода идиомы необходимы, чтобы можно было отличить то, что привнесено в наблюдение обычных объектов нашими ощущениями, от того, что привносится в него обучением, умозаключением, памятью, догадкой, привычкой, воображением или ассоциацией.

Тогда, согласно данной теории, наличие зрительного ощущения может быть описано как получение моментального визуального образа, а наличие обоня-

тельного ощущения — как улавливание кратковременного дуновения запаха. Но что значит получить моментальный образ или моментальный запах? И что это за род объектов? Прежде всего, образ скачек не является спортивным событием, происходящим на ипподроме. Тем способом, каким каждый может наблюдать скачки, невозможно увидеть мой моментальный образ этих скачек. Вы не можете видеть то, что воспринимаю я, точно так же как вы не можете мучиться моей болью в ноге. Чувственные данные, т. е. мимолетный образ, запах, звон в ушах или звук, принадлежат только одному перципиенту. Далее, образ скачек описывается как мгновенная мозаика цветов, заполняющих поле зрения того или иного человека. Однако здесь следует уточнить, что об этой мозаике цветов можно говорить только в особом смысле. Как правило, когда люди говорят о цветовой мозаике, они ссылаются на обычные объекты наблюдения, такие, как стеганные одеяла, гобелены, живописные полотна, сценические декорации или покрытая плесенью штукатурка, т. е. на плоские поверхности предметов, которые находятся у них перед глазами. Однако визуальные облики или образы предметов, которые описываются как цветочные пятна, заполняющие в данный момент определенное поле зрения, не должны мыслиться как поверхности обычных плоских объектов. Это просто цветочные плоскости, а не поверхности цветочной ткани или штукатурки. Они заполняют приватное зрительное пространство своего владельца, хотя он, конечно, испытывает постоянное искушение переадресовать их к поверхностям общедоступных объектов в обычном пространстве. Наконец, хотя сторонники теории чувственных данных и согласны с тем, что образы, запахи и звоны в ушах, которые воспринимаю я, не доступны больше ни для кого другого, они не согласны, что это обусловлено их ментальным статусом, тем, что они существуют "в моем сознании". Эти теоретики, по видимому, связывают их возникновение скорее с физическими и физиологическими состояниями реципиента, чем непременно с психологическими.

Показав, как они полагают, что существует такие моментальные и приватные объекты, как образы, запахи, звуки и т. д., сторонники данной теории затем сталкиваются с вопросом "Что значит для реципиента воспринимать или иметь эти объекты?" И дают простой ответ. Согласно данной теории, реципиент воспринимает и наблюдает эти объекты в том смысле слов "воспринимать" и "наблюдать", в котором говорят, что он видит цветочные пятна, слышит звуки, чувствует запахи, различает привкусы и ощущает щекотку. Действительно, зачастую считается не только допустимым, но и правильным говорить, что люди на самом деле не видят скачки и не пробуют вина. В действительности они видят только цветочные пятна и смакуют вкус. Иначе говоря, в качестве уступки привычкам просторечья признается, что действительно существует вульгарный смысл глаголов "видеть" и "пробовать", в котором люди говорят, что они видят скачки и пробуют вина, однако из теоретических соображений нам следует

вкладывать в эти глаголы другой, более тонкий смысл и вместо этого говорить, что мы видим цветочные пятна и ощущаем привкусы.

Однако в последнее время появилась тенденция использовать новый набор глаголов. Некоторые сторонники обсуждаемой теории предпочитают теперь говорить, что мы интулируем (intuit) цветочные пятна, прямо схватываем запахи, что мы обладаем непосредственным знакомством со звуками и находимся в прямых когнитивных отношениях с щекоткой — в общем, что мы чувствуем чувственные данные. Но в чем же реальный выигрыш от этих внушительных словесных оборотов? А вот в чем. Существует ряд глаголов, таких, как "предполагать", "открывать", "заключать", "знать", "верить" и "интересоваться", которые употребляются только с дополнениями типа "... что завтра воскресенье" или "... действительно ли это красные чернила". Существуют и другие глаголы, например "разглядывать", "слушать", "наблюдать", "обнаружить" и "натолкнуться", для которых соответствующими дополнениями служат такие выражения, как "... эту малиновку", "... грохот барабанов" и "... Джона Доу". Таким образом, теория чувственных данных, согласно которой образы, запахи и т. д. являются специфическими объектами или событиями, вынуждена использовать когнитивные глаголы второй группы для того, чтобы истолковать такие глаголы, как "получать" и "иметь" в выражениях типа "получать мимолетное впечатление" или "иметь [ощущение] щекотки". Она заимствует общеизвестный смысл глаголов вроде "наблюдать", "просматривать" и "смаковать" и переносит его на свои напыщенные глаголы "интулировать", "познавать" и "ощущать". Разница здесь лишь в том, что простой человек говорит, что наблюдает малиновку и просматривает страницы "Таймс", а теория — вместо этого — об интулировании цветочных пятен и прямом осознании запахов.

Теория не утверждает, что ее объяснение того, что значит обладать, к примеру, зрительным ощущением — а именно интулировать или опознавать приватно данную цветочную мозаику — само по себе решит всю проблему нашего познания обычных объектов. Споры о том, как соотносятся лошадиные скачки, которые "в строгом смысле" и "непосредственно" мы не видим, и образы этих скачек, которые мы "в строгом смысле" и "прямо" видим, хотя их и нет на ипподроме, продолжаются. Однако сторонники этой теории надеются, что их разъяснение того, чем является ощущение (sensing), пролет свет и на то, чем является наблюдение за скачками.

Утверждается, в частности, что данная теория разрешает парадоксы, возникающие при описании иллюзий. Когда человек, страдающий косоглазием, сообщает, что он видит две свечи, тогда как налицо имеется только одна, или когда алкоголик говорит, что он видит змею там, где ее вовсе нет, то их сообщения могут теперь быть истолкованы с помощью этих новых выражений. Про человека, страдающего косоглазием, можно теперь сказать, что он действительно

видит два "образа свечи", а алкоголик на самом деле видит "змеиное обличье". Ошибкой было бы, если они стали полагать, что при этом еще и физически имеются две свечи или змея. Опять же, если человек, сидящий перед отодвинутой от него круглой тарелкой, говорит, что он видит объект в форме эллипса, то он ошибается, если полагает, что на кухне есть посуда такой формы; однако он совершенно прав, говоря, что обнаружил нечто эллиптическое, ибо в его поле зрения на самом деле присутствует эллипсоидное белое пятно и он действительно "интуирует" и созерцает его там. Заключать от того, что он находит в поле своего зрения, к тому, что реально имеется на кухне, всегда рискованно, а в данном случае и неверно. Но то, что этот человек обнаруживает в своем визуальном поле, на самом деле существует там и имеет форму эллипса.

Я постараюсь доказать, что вся эта теория покоится на грубой логической ошибке, состоящей в том, что понятие ощущения приравнивается к понятию наблюдения. Я также постараюсь показать, что подобное приравнивание обесмысливает одновременно как понятие ощущения, так и понятие наблюдения. Теория говорит, что, когда человек получает зрительное ощущение, к примеру, моментальный образ скачек, то наличие этого ощущения заключается в обнаружении или интуировании ощущаемого (*sensum*), т. е. цветовой мозаики. А это значит, что обладание образом скачек объясняется через обладание образом чего-то другого, а именно мозаики цветowych пятен. Однако если образ скачек предполагает наличие по крайней мере одного ощущения, то и образ цветowych пятен должен снова включать в себя наличие по крайней мере одного соответствующего ощущения, анализ которого, в свою очередь, приведет к ощущению еще более раннего ощущаемого, и так далее до бесконечности. На каждом шагу наличие ощущения толкуется как своеобразное обнаружение чего-то определенного, часто всерьез называемого "чувственным объектом", и на каждом шагу это обнаружение должно предполагать наличие ощущения. Употребление внушающих благоговение слов вроде "интуировать" отнюдь не освобождает нас от необходимости признать, что для человека находить, смотреть, слушать, вглядываться или смаковать — значит обязательно быть чувственно аффектированным, а быть чувственно аффектированным — значит обладать по крайней мере одним ощущением. Таким образом, независимо от того, видим ли мы, как обычно думаем, скачки, или же, как разъясняет теория, интулируем цветочные пятна, видение нами чего бы то ни было подразумевает, что мы обладаем ощущениями. Обладание же ощущениями само по себе не является рассмотрением, точно так же как кирпичи не являются домами, а буквы — словами.

Как уже было показано выше, существует важная логическая связь между понятием ощущения и понятиями наблюдения и восприятия, само существование которой уже подразумевает, что это разные понятия. Будет противоречием сказать, что некто смотрит или разглядывает что-то, но не получает при этом

никакого впечатления или что некто что-нибудь слушает, но не получает никаких слуховых ощущений. Наличие хотя бы одного ощущения предполагается смыслом глаголов "воспринимать", "подслушивать", "смаковать" и пр. Отсюда следует, что обладание ощущением само не может быть видом восприятия, распознавания или обнаружения. Хотя одежда и состоит из сцепления петель, но абсурдно было бы сказать, что каждая петелька сама по себе — это крошечная одежда.

В этой главе уже отмечалось, что между понятием ощущения и понятиями наблюдения, исследования, выявления и т. д. существует ряд ясных различий, обнаруживающихся во взаимозаменяемости эпитетов, с помощью которых даются описания различных предметов. Так, можно говорить о мотивах, по которым человек что-то слушает, но не о мотивах, по которым он обладает слуховым ощущением. Он может продемонстрировать навык, терпение и методичность в наблюдении, но не в обладании зрительными ощущениями. И наоборот, ощущения вкуса или зуда могут быть сравнительно острыми, тогда как процессы наблюдения и выяснения подобным образом описать нельзя. Имеет смысл говорить, что некто воздержался от зрелища скачек или отказался смотреть на рептилию, но бессмысленно говорить, что некто воздержался от чувства боли или отказался от зуда в носу. Хотя, если зуд в носу, как на этом настаивает обсуждаемая теория, был бы интуированием особого объекта, то остается неясным, почему такой дискомфорт нельзя устранить, воздержавшись от его интуирования.

Итак, ощущения не являются восприятиями, наблюдениями или обнаружениями. Не являются они и расследованиями, изысканиями или инспекциями. Это также и не понимание, познание или интуитивное схватывание. Ощущать — не значит находиться в когнитивном отношении к чувственно воспринимаемому объекту. Таких объектов нет. Как нет и такого отношения. Ложно не только, как это утверждалось выше, что ощущения могут быть объектами наблюдений, но также и то, что они сами по себе суть наблюдения объектов.

Защитник теории чувственных данных мог бы согласиться с тем, что для описания человека, слышащего поезд, нужно, чтобы этот человек уловил хотя бы один звук и, таким образом получил как минимум одно слуховое ощущение. Тем не менее он все же отрицает, что, допустив это положение, он неизбежно оказывается на краю предсказанной пропасти. Ему нельзя признавать при описании человека, слышащего звук, что тот должен уже иметь предварительное ощущение, для того чтобы ощутить это чувственное данное. "Обладание ощущением" — это всего лишь вульгарная форма сообщения о простом интуировании особого чувственного объекта, и сказать, что человек интуирует подобный объект, не значит, что этот человек был как-либо чувственно аффицирован. Он может быть неким ангельским и бесстрастным созерцателем звуков и цвето-

вых пятен, и, какой бы ни была степень их интенсивности, в нем ничто нельзя было бы описать в терминах большей или меньшей чувствительности или остроты. Он может столкнуться со щекоткой, когда его никто не щекочет, а для того, чтобы познакомиться с запахами или болями, ему не требуется иной восприимчивости, чем та, с которой он способен просто обнаружить и рассмотреть подобные вещи.

В сущности, такая защита объясняет обладание ощущениями как не обладание никакими ощущениями. Она избегает обвинений в регрессе героическим предположением, что ощущение является когнитивным процессом, не требующим от своего носителя восприимчивости к раздражениям и не приписывающим ему ни высокой, ни слабой чувствительности. Истолковывая ощущение как простое наблюдение особых объектов, эта аргументация, во-первых, упраздняет само понятие, которое она вызвалась разъяснить, и, во-вторых, обесмысливает само понятие наблюдения, ибо из этого понятия следует понятие ощущений, которые сами по себе не являются наблюдениями.

В качестве альтернативы для защиты теории чувственных данных можно взять другое основание. Можно сказать, что, какой бы логике ни подчинялись понятия ощущения и наблюдения, остается неоспоримым фактом то, что в зрительном восприятии мне непосредственно дана мозаика цветов, мгновенно заполняющих поле моего зрения, при слушании мне непосредственно даны звуки, в обонянии — запахи и т. д. То, что чувственные данные ощущаются, вне всяких сомнений и не зависит от теории. Двухмерные цветовые пятна — вот что я вижу в самом строгом смысле глагола "видеть", и это не лошади и не жокеи, а в лучшем случае образы или визуальные картинки лошадей и жокеев. Там, где двух свечей на самом деле нет, страдающий косоглазием человек реально их и не видит, но, несомненно, он видит пару каких-то ярких предметов, и это не что иное, как два его собственных "образа свечи", или чувственные данные. Теория чувственных данных не изобретает фиктивных сущностей, она просто привлекает наше внимание к непосредственным объектам чувств, которыми мы из-за нашей повседневной поглощенности обычными объектами обыкновенно пренебрегаем. Если с логической точки зрения выходит, что обладать ощущением — не то же самое, что следить за ястребом или глазеть на скачки, то тем хуже для такой логики, ибо наличие зрительного ощущения — это отнюдь не выводное опознание конкретного чувственного объекта.

Обратимся теперь к банальному примеру с человеком, смотрящим на отодвинутую от него круглую тарелку, которую он поэтому может описать как выглядящую эллипсовидной. И посмотрим, что все-таки заставляет нас говорить, будто он наблюдает нечто, действительно имеющее форму эллипса. Понятно, что тарелка имеет не эллипсовидную, а круглую форму, однако для последовательности рассуждений допустим, что наблюдатель искренен, когда со-

общает, будто тарелка выглядит как эллипс (хотя круглые тарелки, как их ни наклоняй, обычно не выглядят эллиптическими). Весь вопрос в том, действительно ли истинность его сообщения, что тарелка выглядит эллиптической, подразумевает, будто он действительно обнаруживает и рассматривает чувственный объект, который имеет форму эллипса, — нечто такое, что, не будучи само по себе тарелкой, может быть названо "видом" (look) или "визуальным образом тарелки". Мы можем также согласиться с тем, коль скоро мы говорим, что он столкнулся с чувственным объектом, который действительно эллипсовиден и является визуальным образом тарелки, что этот эллипсовидный объект представляет собой двухмерное цветное пятно с мимолетным существованием, приватно принадлежащим одному перципиенту, т. е. такой объект является чувственным данным, и, следовательно, чувственные данные существуют.

Человек, у которого нет никакой теории, не испытывает сомнений, говоря, что круглая тарелка может выглядеть эллиптической. Или что она выглядит так, будто имеет форму эллипса. Однако он бы усомнился, если ему разъяснят, что он видит эллиптический образ круглой тарелки. И хотя он легко говорит в одних контекстах об образах вещей, а в других — о видении вещей, все же в обиходной речи он не говорит, что видит или разглядывает образы вещей, следит за видом на скачки, ловит мелькнувший образ от промелькнувшего сокола или присматривается к визуальной картине крон деревьев. Он почувствовал бы, что, смешивая понятия подобным образом, несет такую же чепуху, как если бы от разговора о том, как едят печенье и как его надкусывают, он перешел к разговору о поедании надкусывания печенья. И был бы совершенно прав: нельзя осмысленно говорить о "поедании надкусывания", ибо "надкусывание" уже является существительным для обозначения процесса еды. И нельзя говорить о "видении видов" ("seeing looks"), ибо "вид" — это существительное, уже обозначающее процесс видения.

Когда он говорит, что наклонно расположенная тарелка имеет форму эллипса или выглядит так, как если бы была эллиптической, он имеет в виду, что она выглядит точно так же, как выглядело бы стоящее прямо эллиптическое по форме блюдо. Наклоненные круглые предметы в самом деле иногда почти или в точности напоминают стоящие прямо предметы эллиптической формы. Прямая палка, наполовину погруженная в воду, порой очень похожа на кривую палку, а отдаленный горный массив иногда выглядит плоской настенной декорацией, развернутой прямо перед носом. Говоря, что тарелка выглядит эллиптической, человек не характеризует некий дополнительный (extra) объект, а именно "образ" в качестве эллиптического, он просто сравнивает то, как выглядит наклоненная круглая тарелка с тем, как выглядело бы стоящее прямо эллипсовидное блюдо. Он говорит не: "Я вижу гладкое эллиптическое пятно Белого", а скорее: "Я, должно быть, вижу гладкий и стоящий прямо предмет из белого

фарфора". Мы можем сказать, что движение ближнего к нам самолета кажется более быстрым, нежели движение отдаленного самолета, однако вряд ли скажем, что он имеет "более быстрый образ". "Выглядеть быстрее" — значит здесь "выглядеть так, как если бы он быстрее летел по воздуху". Разговор о видимых скоростях самолетов не является разговором о скоростях видимых образов самолетов.

Иначе говоря, грамматически бесхитростное предложение "Тарелка имеет эллиптический вид" не выражает, как то предполагает рассматриваемая теория, одной из тех основных относящихся к делу истин, которые так ценятся в теории, но так редко встречаются в повседневной жизни. Оно выражает довольно сложную пропозицию, в которой одна часть является одновременно и общей, и гипотетической. Оно применяет к наличному виду тарелки правило (или описание) типичного вида стоящих прямо эллиптических тарелок вне зависимости от того, существуют подобные фарфоровые предметы или нет. Это как раз то, что я в другом месте назвал смешанным категориальным суждением. Это аналогично тому, когда о ком-то говорят, что он рассуждает беспристрастно, как педагог. Когда человек, страдающий косоглазием и знающий о своем дефекте, сообщает, что на столе, как ему кажется, находятся две свечи или что он, должно быть, видит две свечи, то он описывает вид одной-единственной свечи, при этом прибегая к описанию того, как обычно выглядит пара свечей для наблюдателей, не страдающих косоглазием. Если же, не сознавая свое косоглазие, он говорит, что на столе находятся две свечи, то в этом случае он неверно использует то же самое общее правило. Выражения "Оно выглядит...", "Оно выглядит так, как если бы...", "Оно похоже на...", "Я, должно быть, вижу...", как и многие другие выражения этого типа, обладают значением своего рода открытых гипотетических предписаний, применяемых к наличным ситуациям. Когда мы говорим, что у кого-то вид педанта, мы не подразумеваем при этом, что существует две педантичные сущности, а именно сам человек и его внешность. Мы подразумеваем, что этот человек выглядит так же, как и некоторые другие педантичные люди. Точно так же не существует и двух эллиптических объектов, а именно тарелок и их образов, а существуют только тарелки, имеющие эллиптическую форму, и другие тарелки, которые выглядят так, как если бы они были эллиптическими.

В повседневной жизни мы ведем речь о цветах и красках вполне определенным образом. Домохозяйка могла бы сказать, что ее гостиней подошли бы малиновые тона, не уточняя при этом, о чем идет речь — о малиновых обоях, декоративных растениях, ковриках или занавесках. Она может попросить своего мужа пойти и купить "чего-нибудь малинового...", предоставляя ему самому заполнить этот пробел с помощью "герани", "краски", "кретона" или всего остального, что отвечает ее пожеланиям. Подобным же образом наблюдатель, смотрящий

сквозь дырку в заборе, мог бы сказать, что он видел желтое цветное поле, но при этом не смог бы уточнить, что именно он видел: желтые нарциссы, цветы дикой горчицы, желтую парусину или еще какие-то обыденные объекты или материалы. Закончить свою речь он мог бы только так: "Я видел что-то желтое".

В противоположность этому обычному использованию лакунных выражений вроде "пятно желтого..." и "оттенок чего-то малинового" теория чувственных данных рекомендует другую идиому, по которой мы должны говорить: "Я вижу пятно Белого" (а не "Я вижу белое пятно...") или: "Он обнаружил двухмерное эллиптическое простираание Синего" (а не "что-то синее, плоское на вид, похожее на эллипс или вроде того").

Итак, я отрицаю, что наличие зрительного ощущения является видом наблюдения, которое можно описать как запечатление или интуирование цветовых пятен. Однако я не отрицаю, что женщина может осмысленно попросить своего мужа купить что-нибудь малиновое, а о прохожем вполне можно сказать, что он заметил какую-то желтую поверхность через щель в заборе. То, что проделала теория чувственных данных, было попыткой снять эфемерные сливки с обыкновенных лакунных дескрипций публично данных объектов, рассуждая о них так, будто бы был найден новый класс объектов. В действительности же эта теория просто неверно истолковала хорошо известный класс суждений, указывающих на то, как иным образом обнаруживают себя обычные, не приватно данные объекты.

Разговор об образах, звуках и запахах, протяжении, формах и цветах, точно так же как и разговор о проекциях, о чем-то туманном, о фокусировках и смутных представлениях, уже сам по себе является разговором о привычных объектах, ибо служит применением усвоенных при обучении способов восприятия типичного внешнего вида обыденных объектов ко всему тому, в чем человек пытается разобраться в данный момент. Сказать, что некто уловил мимолетное впечатление или услышал звук, уже значит сказать больше, чем требуется для простого описания его зрительных или слуховых ощущений, ибо то, на что человек обратил внимание, уже подводится под весьма общие правила восприятия.

Этот пункт можно проиллюстрировать ссылкой на старинную доктрину вторичных качеств. В ней во многом верно отмечалось, что, когда обычный объект описывается как зеленый, горький, холодный, едкий или пронзительно звучащий, то тем самым он характеризуется как имеющий для воспринимающего его наблюдателя такой-то и такой-то вид, вкус, запах или звук. Было также верно замечено, что условия, влияющие на его восприимчивость, вносят различия в то, как человек видит, ощущает на вкус, осязает, обоняет или слышит предметы. Уровень шума от поезда частично зависит от расстояния между ним и наблюдателем, от степени остроты его слуха, от поворота его головы, от того, прикрыты или нет его уши и т. д. Покажется ли человеку вода холодной или нет, зависит от

начальной температуры его рук. От подобных фактов был совершен теоретический скачок к доктрине, согласно которой утверждение о том, что объект зеленый, есть высказывание о зрительных ощущениях конкретного наблюдателя, который сообщает, что объект зеленый. При этом считалось, что "зеленый", "горький", "холодный" и т. д. суть прилагательные, которые уместно применять к ощущениям и которые лишь по ошибке применяются к обыкновенным объектам.

А поскольку явным абсурдом было бы говорить, что ощущение является зеленым, эллиптическим или холодным предметом, то сочли необходимым наделить ощущения собственными специфическими объектами — так, чтобы прилагательное "зеленый" можно было бы корректно отнести не к имеющемуся ощущению, а к особому объекту, возвращенному внутри этого ощущения. Запрет на описание общедоступных объектов наблюдения посредством прилагательных, выражающих вторичные качества, привел к изобретению скрытых объектов-двойников для перенесения на них этих характеристик. Поскольку прилагательные, выражающие вторичные качества, выступали не иначе как предикаты в отчетах о наблюдении, то сами ощущения должны были истолковываться в качестве наблюдений особых объектов.

Однако, когда я описываю обычный объект как зеленый или горький, я тем самым еще не сообщаю ничего фактического о своем наличном ощущении, хотя и говорю о том, как этот объект выглядит или каков он на вкус. Я говорю, что этот объект на вкус и на вид был бы таким-то и таким-то для всякого, кто окажется в подходящих условиях для того, чтобы смотреть на него или пробовать его на вкус. Поэтому я не противоречу себе, когда говорю, что поле зеленое, а плод горек, хотя в данный момент поле кажется мне серовато-голубым, а плод — совершенно безвкусным. Даже когда я говорю, что трава, хотя она на самом деле зеленая, кажется мне серовато-голубой, я все равно описываю свое наличное ощущение, уподобляя его тому, как реальные серо-голубые объекты выглядят в нормальных условиях для каждого, кто может надлежащим образом их видеть. Прилагательные, выражающие вторичные качества, используются только для сообщения о публично удостоверяемых фактах, касающихся обычных объектов. Ибо тот факт, что поле зеленое, т. е. что оно выглядело бы так-то и так-то для любого, кто в состоянии его надлежащим образом видеть, это публично удостоверяемый факт. Что еще могли бы сказать люди, обучающие других людей применять такие прилагательные? Следует заметить, что формулу "Это выглядело бы так-то и так-то для каждого" нельзя перефразировать в "Это выглядело бы *зеленым* для каждого", ибо сказать, что нечто выглядит зеленым, — значит сказать, что оно выглядит так, как оно выглядело бы, будь оно зеленым и при нормальных условиях. Мы не можем сказать, как что-то выглядит или выглядело бы, если не укажем на общепризнанные свойства обычных объектов,

и лишь тогда говорим, что нечто выглядит сейчас так, как этого и можно было ожидать.

Таким образом, хотя и верно, что фраза "Поле зеленое" предполагает наличие наблюдателей с определенными оптическими способностями и возможностями, но вовсе не верно, будто она сообщает что-либо о своем авторе. Эта фраза аналогична высказыванию "Этот велосипед стоит 12 фунтов", которое предполагает гипотетическое описание реального или возможного покупателя, но не задает и не влечет никаких категорических утверждений об авторе фразы. То, что товар имеет цену, это факт, относящийся к данному товару и покупателем, но не вообще ко всякому товару и не к какому-то конкретному покупателю; и уж тем более этот факт не связан исключительно с некоторым данным покупателем.

Человек, говорящий, что "прожектор слепит", сам может не испытывать каких-либо связанных с этим неприятных ощущений, но, тем не менее, он все же говорит о неприятных ощущениях в ином смысле и иным образом, хотя бы и включающим упоминание о прожекторе. Было бы ошибкой утверждать, что прожектор нельзя назвать ослепляющим до тех пор, пока сам говорящий не будет им ослеплен, и что, следовательно, ослепительность является качеством не прожектора, а чувственных данных этого индивида. Сказать, что прожектор ослепляет, еще не означает, что он сейчас кого-то слепит. Этим говорится лишь, что он ослепит любого человека с нормальным зрением, если тот посмотрит на него с определенного расстояния и без всяких средств защиты. Мое утверждение "Прожектор слепит" сообщает о моем наличном ощущении не больше, чем фраза "Этот велосипед стоит 12 фунтов" — о моей денежной наличности. В расхожем смысле "субъективного" вторичные качества не субъективны, хотя и верно, что в стране слепых прилагательные, обозначающие цвет, не нашли бы применения, тогда как прилагательные для обозначения формы, размеров, расстояния, направления движения и т. д. имели бы такое же употребление, как и в Англии.

Аргументы в пользу субъективности вторичных качеств фактически держатся на любопытной вербальной уловке. Такие прилагательные, как "зеленый", "сладкий" и "холодный", приравниваются к прилагательным, выражающим чувства дискомфорта и их противоположности, например, "ослепляющий", "аппетитный", "обжигающий" и "промозглый". Но даже и при этом желаемого вывода, как мы видели, ниоткуда не следует. Назвать воду "до боли горячей" не значит сказать, что говорящий или кто-то еще испытывают боль. Но косвенным образом оно действительно относится к людям, испытывающим боль; и поскольку переживание боли есть состояние сознания, а именно состояние страдания, то можно сказать, что выражение "до боли горячей" косвенно и *inter alia* намекает на состояние сознания. Тем не менее из этого, конечно, не следует, что выраже-

ния "вода тепловатая" и "небо синее" даже косвенно намекают на состояния сознания. "Тепловатый" и "синий" не суть прилагательные, выражающие дискомфорт или удовольствие. Об одной дороге можно сказать, что она скучнее другой и длиннее третьей. Однако если первое описание действительно указывает на чувство скуки путешественника, то второе вообще не имеет отношения к его настроению.

Лингвистическое следствие из всей этой аргументации заключается в том, что у нас нет какого-либо применения для таких выражений, как "объект чувств", "ощущаемый объект", "ощущаемое", "чувственные данные", "содержание ощущения", "поле ощущений" и "sensibilia". Используемый эпистемологами переходный глагол "ощущать" (sense), а также их устрашающее "непосредственное осознание" и "узнавание" можно сдавать в архив. Они всего лишь напоминают о попытке придать понятиям ощущения значимость понятий наблюдения — попытке, неотвратимо повлекшей постулирование чувственных данных в качестве двойников обычных объектов наблюдения.

Из этого также следует, что нам нет нужды ни возводить какие-то приватные сцены, чтобы вывести на них эти излишние постулированные объекты, ни ломать голову над описанием неопишуемых отношений между подобными объектами и повседневными вещами.

(4) ОЩУЩЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ

В задачу этой книги не входит создание новых теорий познания вообще и восприятия в частности. Скорее, одним из ее мотивов было желание показать, что множество теорий с таким названием либо сами являются ненужными парамеханистическими гипотезами, либо включают их в себя. Когда теоретики ставят вопросы, предполагающие "механику проволочек и шкивов", вроде: "Каким образом в сознании сохраняются прошлые переживания?", "Как сознание прорывается сквозь экран ощущений и постигает внешнюю физическую реальность?", "Как мы подводим данные чувств под понятия и категории?" — они подходят к этим проблемам так, как будто речь идет о существовании и взаимосвязях потайных частичек духовных механизмов. Они рассуждают об этом, словно занимаются спекулятивной анатомией или даже контршпионажем.

Однако, поскольку мы не считаем факт наличия у человека ощущения фактом, говорящим о его сознании, в то время как факт его наблюдения или уклонения от наблюдения вещей определенного рода мы действительно включаем в описание его ментальных способностей и операций, то будет не лишним рассмотреть это различие подробнее.

Мы используем глагол "наблюдать" в двух случаях. В первом случае сказать, что кто-то за чем-то наблюдает, значит сказать, что он пытается, с боль-

шим или меньшем успехом, выяснить что-то об объекте наблюдения, прибегая в той или иной степени к зрению, слуху, вкусу, обонянию или осязанию. В другом случае про человека говорят, что он что-то наблюдал, его исследование было успешным, т. е. он кое-что выяснил с помощью этих чувств. Такие глаголы восприятия, как "видеть", "слышать", "обнаруживать", "различать", и многие другие обычно используются для того, чтобы зафиксировать успешные наблюдения, тогда как глаголы типа "смотреть", "слушать", "зондировать", "просматривать" и "пробовать" используются для фиксации попыток наблюдения, исход которых может оставаться под вопросом. Следовательно, правильнее говорить, что человек внимательно и успешно смотрит, а не что он внимательно и успешно видит; что он систематически ведет исследование, а не что он систематически обнаруживает и т. д. Простое на вид суждение "Я вижу коноплянку" сообщает о результате, тогда как выражение "Я пытаюсь разглядеть, что там движется" — всего лишь о процессе исследования.

Для наших рассуждений двусмысленное слово "наблюдать" удобно просто потому, что оно обозначает как обнаружение, так и поиск. Слова "восприятие" и "воспринимать", столь важные для нашего исследования, слишком узки, ибо они, как и специфические глаголы восприятия "видеть", "слышать", "чувствовать вкус", "обонять" и "осязать", обозначают только достижение результата.

Уже отмечалось, что наблюдение предполагает наличие по крайней мере одного ощущения, тогда как наличие ощущений само по себе не подразумевает ведения наблюдения. Теперь мы могли бы спросить: "Что еще, кроме наличия по крайней мере одного ощущения, содержится в наблюдении?" Однако такая формулировка вопроса совершенно сбивает с толку, ибо подразумевает, что визуальное наблюдение за малиновкой включает в себя одновременно и наличие по крайней мере одного ощущения, и исполнение или наличие чего-то еще, т. е. совмещение двух состояний или процессов, подобно тому как можно одновременно прогуливаться и напевать. Но этого вовсе не требуется. Как было доказано в пятой главе (раздел 4), существует коренное различие между выполнением некоторого действия со вниманием и бессознательным его выполнением. Однако отличие тут не в том, что внимание оказывается сопутствующим актом, происходящим в другом "месте". Так что нам следует спросить не: "Что делает наблюдатель помимо того, что испытывает ощущения?" — а "Что еще содержит описание наблюдателя, кроме описания его в качестве испытывающего эти ощущения?" Этот момент вскоре окажется важным.

Мы должны начать с отказа от модели, которая в той или иной форме доминирует во многих спекуляциях по поводу восприятия. Излюбленный, но неправомерный вопрос "Каким образом человек постигает внешнюю реальность по ту сторону своих ощущений?" часто задается так, как если бы предполагалась следующая ситуация. В камере без окон заключен пленник, живущий в одиноч-

ном заточении с самого рождения. Все, что доходит до него из внешнего мира, сводится к бликам света на стенах его темницы и едва слышному сквозь камни постукиванию. Тем не менее благодаря этим бликам и стукам ему, вероятно, становится известно о невидимых для него футбольных матчах, цветниках и затмениях солнца. Но как же он овладел шифрами, которым подчиняются входящие до него сигналы, или даже просто выяснил, что существуют такие вещи, как шифры? Каким образом он смог интерпретировать расшифрованные им сообщения, если язык этих сообщений относится к футболу и астрономии, а не к языку проблесков и постукиваний?

В этой модели, конечно, легко узнается изображающая сознание в виде духа в машине картина, об общих недостатках которой больше нет нужды говорить. Однако некоторые частные недостатки все-таки следует отметить. Использование подобной модели эксплицитно или имплицитно подразумевает, что подобно пленнику, который может видеть блики света и слышать постукивания, но, к сожалению, не может видеть или слышать футбольные матчи, мы тоже можем наблюдать собственные визуальные и прочие ощущения, но, к сожалению, не можем наблюдать за малиновками. Однако это двойное злоупотребление понятием наблюдения. С одной стороны, как было показано, нелепо говорить, что человек наблюдает ощущение, а с другой стороны, обычное употребление таких глаголов, как "наблюдать", "замечать", "уставиться" и т. д., встречается как раз в контекстах типа "наблюдать малиновку", "замечать божью коровку" и "уставиться в книгу". Футбольные матчи принадлежат как раз к такому роду вещей, от которых мы получаем моментальные впечатления, в то время как говорить, будто кто-то получает моментальные впечатления от ощущений, были бы полным абсурдом. Другими словами, модель темницы предполагает, что про малиновок и футбольные матчи мы узнаем, совершая что-то вроде умозаключения от наблюдаемых ощущений к птицам и играм, которых мы никогда не могли бы наблюдать, хотя на самом деле мы наблюдаем именно малиновок и игры, а ощущения суть именно то, что мы не наблюдаем никогда. Вопрос: "Как из обнаружения и обследования ощущений мы узнаем о малиновках и футбольных матчах?" — является неправомерно поставленным как-вопросом.

Теперь ясно, что никакой уникальной и центральной проблемы восприятия не существует. Есть целый ряд частично пересекающихся вопросов, большинство из которых утратит свою таинственность, стоит только прояснить некоторые из них. Можно проиллюстрировать некоторые из этих проблем следующим образом. Описать, как человек ищет наперсток, значит не только сказать нечто о его зрительных, тактильных и слуховых ощущениях, но и сказать нечто большее. Подобным же образом описать, как человек пытается разобраться, что, собственно, он видит, зяблика или малиновку, палку или тень, муху на окне или соринку в глазу, значит сказать кое-что о его зрительных ощущениях, но

при этом еще сказать и нечто большее. Наконец, описать как кто-то "видит" змею там, где ее нет, или "слышит" голоса, когда кругом тишина, значит, по-видимому, сказать кое-что если и не о его ощущениях, то о его образах, но при этом еще добавить и нечто большее. Так что же это за "нечто большее"? Или: в чем специфичность подобных описаний, в силу которой они отличаются и друг от друга и от "чистых" описаний ощущений, если допустить, что таковые возможны? То есть речь идет о вопросах, имеющих не пара-механистическое оформление типа "Как мы видим малиновок?", а о вопросах типа "Как мы пользуемся такими описаниями, как "он видел малиновку"?"

Когда мы описываем человека, обнаруживающего в своей комнате комара, то о чем еще мы говорим помимо специфического звона у него в ушах? Мы начинаем с того, что он не только слышал звон, но также и распознал в нем или отождествил с ним близко жужжащего комара. Мы склонны пойти еще дальше и сказать, в самом общем смысле, что он не только слышал звон в ушах, но также помыслил определенные мысли. Возможно, он связал этот звон с каким-то понятием или ассоциировал некий интеллектуальный процесс со своим чувственным состоянием. Тем не менее, говоря подобные вещи, мы правы только наполовину. Мы пойдем по ложному пути, если будем говорить, что должны иметь место такие-то и такие-то концептуальные или дискурсивные процессы, ибо это, по сути дела пусть и непреднамеренно, означало бы, что комара нельзя было обнаружить, если бы не завертелись некие особые, но недоступные для наблюдения призрачные колеса, чье существование и функции в силах установить только эпистемологи. С другой стороны, говоря подобные вещи, мы стоим также и на верном пути. Несомненно, человек не смог бы обнаружить комара, если бы не знал, что это такое и какие звуки он издает, или из-за рассеянности, паники или бестолковости не смог применить это знание к текущей ситуации, так как все это входит в понятие "обнаруживать".

Другими словами, нам не требуется новых известий или гипотез насчет чего-то такого, что наш наблюдатель мог внутри себя проделать или претерпеть. Даже если бы подобных *entr'actes* произошло три или семнадцать, ссылка на них не позволила бы объяснить, чем обнаружение комара отличается от ощущения пронзительного звона в ушах. Мы хотим знать только то, чем с логической точки зрения фраза "Он обнаружил комара" отличается от таких фраз, как "У него звенело в ушах", "Он тщетно пытался разобрать, что послужило источником звука" и "Он по ошибке принял его за свист ветра в телефонных проводах".

Рассмотрим теперь несколько иную ситуацию, в которой описывается, что человек не просто что-то слышит, к чему-то прислушивается или пытается разобраться в том, что он слышал, но и распознает и идентифицирует услышанное. Такова ситуация, в которой человек пытается узнать мелодию. Для этого

требуется, чтобы он мог услышать сыгранные ноты, т. е. не был глухим, не спал и не был под наркозом. Узнавание услышанного предполагает работу слуха. Оно также требует внимания, ибо рассеянный или отвлекшийся человек не следит за мелодией. Однако это еще не все. Он должен был слышать эту мелодию раньше, причем не просто слышать, но и запомнить ее. Не зная он мелодию в этом смысле, нельзя было бы сказать, что он узнает эту мелодию, вслушиваясь в нее сейчас.

Так что же значит, что человек знает мелодию, то есть выучил и не забыл ее? Конечно, это еще не предполагает, что он знает ее название, ибо она может его не иметь; и даже если он даст ей неправильное название, он все равно может знать саму мелодию. Необязательно также, чтобы он был способен описать мелодию словами или написать ее партитуру, ведь лишь немногие из нас могут это сделать, притом что большинство способно узнавать музыкальные произведения. Человеку необязательно даже уметь напевать или насвистывать мотив, хотя такое умение лишней раз доказывает, что мелодия ему известна. Если же он может напеть или насвистеть множество других мелодий, но не в силах (даже с подсказки) воспроизвести именно эту, то мы вправе счесть, что он эту мелодию не знает. Говоря, что человек знает мелодию, мы имеем в виду по меньшей мере, что он способен ее узнать, как только услышит. Про него скажут, что, услышав мелодию, он ее узнал, при соблюдении частично или полностью следующих условий: если он после первых тактов ожидает услышать те такты, которые действительно за ними следуют; если ошибочно не ожидает повторения предыдущих тактов; если он обнаруживает недостатки или ошибки в исполнении; если он после краткого перерыва музыки ожидает ее возобновления примерно с того самого места, с которого она действительно начинает звучать снова; если среди людей, насвистывающих разные мелодии, он может определить человека, насвистывающего именно этот мотив; если он может правильно отбивать такт; если он может сопровождать мелодию, напевая или насвистывая в такт, и т. д. И когда мы говорим, что он ожидает услышать те ноты и такты, которые должны последовать, а не те, что последовать не должны, мы не требуем от него продумывать что-либо наперед. Видя, что он удивляется, усмехается или морщится, когда ноты или такты звучат не впопад, будет правильно сказать, что он ожидал услышать их правильный ход, хотя и неверно, что он проходил через какой-либо процесс их предвидения.

Короче говоря, он в данный момент узнает мелодию и следит за ней, если, зная как она развивается, он использует это знание и использует его, не просто слушая мелодию, а слушая ее в особом состоянии сознания — таком, что он готов слышать и то, что слышит сейчас, и то, что он услышит или ожидает услышать, если пианист продолжает играть и играет правильно. Этот человек знает мелодию, и теперь он слышит, как она развивается с каждой нотой. Он

слышит тона в соответствии с построением мелодии в том смысле, что слышит то, во что вслушивается. И все же сложность такого описания, когда человек одновременно слышит звучание и настроен, готов услышать тона, которые вот-вот должны прозвучать, не подразумевает, что он совершает ряд неких операций. Ему, к примеру, не нужно соединять слышимые тона с какой-либо артикуляцией, шепотом или про себя, или же "подводить" то, что он слышит, под "понятие мелодии". Конечно, если бы его попросили помыслить "болеро", не воспроизводя, не воображая и не слыша этой мелодии, то он бы ответил, что тогда ему нечего и помыслить. А если бы ему сказали, что тот факт, что он смог узнать мелодию в различном исполнении в различных ситуациях, означает, что он располагал Понятием или Абстрактной Идеей этой мелодии, то он резонно возразил бы, что не представляет себе, что это значит — помыслить или применить Абстрактную Идею "болеро", если только при этом не имеется в виду всего-навсего, что, услышав мелодию, он способен ее узнать, обнаружить ошибки и недостатки исполнения, напеть некоторые ее отрывки и т. д.

Это позволяет нам заново пересмотреть сказанное раньше, а именно что человек, узнающий то, что он слышит, не только воспринимает слуховые ощущения, но также и мыслит. Неверно, будто человек, внимающий знакомой мелодии, обязательно мыслит при этом так, что мог бы ответить на вопрос: "Какие мысли его занимают?" — или даже: "К каким общим понятиям он прибежал?" Неверно, что он при этом обязательно думает или говорит фразами, про себя или вслух, по-английски или по-французски. Неверно и то, что он должен при этом выстраивать какие-либо визуальные или слуховые образы. Зато верно, что он должен быть достаточно бдительным; ноты, которые он слышит, должны были прозвучать тогда, когда он их ожидал, или же исполнение должно было поразить его тем, что этого не случилось. То есть человек в такой ситуации слушает не просто так, как прислушиваются к незнакомым звукам, но, с другой стороны, вовсе необязательно, что он совмещает свое слушание с какими бы то ни было другими процессами. Он просто слушает согласно тому, что воспринимается.

Чтобы еще более прояснить смысл, в котором прослеживание знакомой мелодии является или не является "мышлением", рассмотрим случай с человеком, впервые слышащим некий вальс. Он не знает, как звучит именно эта мелодия, но поскольку он знает, как звучат другие вальсы, то представляет, какого рода ритм он услышит. Он подготовлен к последующим тактам не полностью, а частично, и может лишь частично определить в строе мелодии место того или иного уже услышанного или слышимого сейчас тона. Его интересует, как построена мелодия, и поэтому он пытается воссоздать всю аранжировку. Но всякий раз он не готов безошибочно угадать следующую ноту. Таким образом, этот человек мыслит в том специфическом смысле, что пытается в чем-то разобраться.

Напротив, знающий эту мелодию человек следит за ней, не прилагая усилий к тому, чтобы выяснить, как она построена. Для него это совершенно ясно и так. Ему не требуется каких-то усилий, даже минимальных, каких-то попыток разрешить неопределенности, поскольку таких неопределенностей нет. Он слушает без всякого напряжения, просто слушает. И все же он слышит не просто звучащие ноты — он слышит "болеро". Ему отчетливо слышны не только звуки (они могут быть нечеткими), для него вполне прозрачна сама мелодия, а это уже не факт его слуховой чувствительности, но обстоятельство, относящееся к тому, чему он научился и не позабыл, а также к его умению применять эти уроки.

Наконец, хотя слежение за знакомой мелодией и предполагает прежнее знакомство с ней, оно не требует никакой операции припоминания. Дело совсем не в том, что воспоминания о прошлых прослушиваниях должны быть сильны или воспроизводимы снова и снова. Человек, следящий за знакомой мелодией, "думает" в том смысле, что он мыслит то, что слышит, а не в том, что у него возникают мысли о прежних прослушиваниях. Он не забыл, как эта мелодия звучит, но это не значит, что он припоминает, как она звучала прежде.

Грубо говоря, знать, как звучит мелодия, — значит обладать набором предрасположенностей в слуховом ожидании, а узнавать или проследивать мелодию — значит слышать вслед за одним ожидаемым тоном другой ожидаемый тон. При этом вовсе не предполагается каких-либо других ожиданий, помимо слушания того, что слышится, и того, что должно слышаться. Описание человека, слышащего ожидаемые тона, конечно же, отличается от описания человека, слышащего неожиданные тона, или того, кто слышит тона, вообще ничего не ожидая услышать (например, человека, который слышит, но не слушает). Однако это не означает, что в первом человеке происходит нечто сверх того, что происходит во втором или в третьем человеке. Это значит лишь, что слуховой процесс у них протекает по-разному и описание этих отличий содержит не сообщение о неких дополнительных процессах, а только характеристику его специфической организации. То, что человек следит за мелодией, является, если угодно, фактом, относящимся как к его ушам, так и к его сознанию. Но это отнюдь не конъюнкция двух фактов: одного — насчет его ушей, а другого — насчет его сознания. Это и не сводное сообщение о двух событиях: одном — в сфере чувственной жизни, другом — в сфере жизни интеллектуальной. Это как раз то, что я называю "полугипотетическим" или "смешанным категориальным" утверждением.

Теперь мы можем обратиться к некоторым перцептивным эпизодам, которые обычно принимаются в качестве стандартных моделей перцептивного распознавания. Мы увидим, что во многих важных аспектах они аналогичны случаю с узнаванием мелодии. Я выбрал пример со слежением за знакомой мелодией, потому что это продолжительное занятие. Можно окинуть одним взглядом дверной косяк, но нельзя мгновенно услышать все "болеро", следовательно, здесь

нет и соблазна постулировать молниеносные интеллектуальные процессы, слишком быстрые для того, чтобы их заметить, но достаточно интеллектуальные, чтобы совершить все подвиги Геракла, которых требуют эпистемологи.

Когда описывают человека, увидевшего наперсток, то среди прочего говорят, что он имел по крайней мере одно зрительное ощущение. Однако помимо этого говорится и о многом другом. Теоретики обычно истолковывают это в том смысле, что описание человека, увидевшего наперсток, говорит одновременно и об одном, по крайней мере, зрительном ощущении, и о том, что он проделал или претерпел кое-что еще. Соответственно, они спрашивают: "Что еще дополнительно проделал или претерпел нашедший наперсток человек такого, без чего он не смог бы его найти?" В ответ следует рассказ о неких очень быстрых и незаметных умозаключениях, о внезапных и не остающихся в памяти интеллектуальных скачках, о влиянии понятий, управляющих зрительным восприятием, т. е. они считают, что поскольку утверждение "Он заметил наперсток" в логическом плане весьма сложно, то оно, следовательно, указывает и на весьма сложные процессы. А так как эти процессы протекают ненаблюдаемо, то постулируется, что они должны протекать в таком месте, где их и нельзя наблюдать, а именно в потоке сознания нашедшего наперсток человека.

Наш анализ того, что мы имеем в сознании, когда говорим, что некто узнает мелодию, может быть применен и к этому новому случаю. Разумеется, человек, заметивший наперсток, узнает то, что он видит, а это само собой предполагает не только наличие у него зрительного ощущения, но и то, что он однажды уже усвоил и не забыл, как выглядит наперсток. Он усвоил, как выглядят наперстки, достаточно хорошо для того, чтобы узнавать их в обычных условиях, при обычном свете, удалении и расположении. Когда он замечает наперсток подобным образом, он применяет эти свои умения, он реально проделывает то, чему научился. Зная, как выглядят наперстки, он может предвидеть, хотя актуально он и не нуждается в такой антиципации, как будет выглядеть этот наперсток вблизи или в отдалении. Когда же он, без всяких таких предвосхищений, приближается к наперстку или отдаляется от него, то наперсток выглядит именно таким, каким он был готов его увидеть. Когда реальные впечатления от наперстка соответствуют своему образцу, они удовлетворяют усвоенным им ожиданиям-предрасположенностям; в этом и заключается его наблюдение наперстка.

Ситуация с мелодией аналогична ситуации с напертком. Если опознанию ничто не мешает, т. е. наперсток узнается наблюдателем с первого взгляда, то не требуется и никаких дополнительных размышлений, усилий или припоминаний. Ему не нужно ничего говорить по-английски или по-французски, про себя или вслух; не нужно вызывать в памяти или выдумывать новые образы; проявлять любопытство, строить догадки, остерегаться, припоминать прошедшие эпизоды — вообще не нужно ничего такого, что можно описать как мышле-

ние. Хотя, при хорошем владении языком, он смог бы проделать что-то из вышеперечисленного, если бы его попросили. Он думает, а не просто воспринимает зрительное ощущение в том смысле, что он воспринимает зрительное ощущение в состоянии сознания, направленном на видение наперстка. Подобно тому, как человек, который без всяких дополнительных подготовительных операций узнает мелодию по первым тактам, готов одновременно и к тому, что он уже слышал или слышит сейчас, и к тем тактам, которые ему только предстоит услышать (причем эта готовность направлена и в прошлое, и в будущее), так же и человек, с первого взгляда узнающий корову, подготовлен к многообразию сопутствующих впечатлений, звуков и запахов, мысль о которых совсем необязательно должна прийти ему в голову.

Возможно, нас ждет еще одно затруднение. Ведь даже если подобная оценка визуальной очевидности наперстков и слуховой очевидности мелодий верна, все же главный вопрос остается без ответа. Прежде всего, как мы узнаем, что существуют наперстки? Как человек от простых ощущений доходит до осознания того, что существуют физические объекты? Однако этот тип как-вопроса сомнителен, ибо в известном смысле все мы прекрасно знаем ответ. Мы знаем, как маленькие дети учатся различать, что одни шумы относятся к мелодиям, а другие — нет, что одни немusыкальные последовательности звуков, вроде детских считалочек, имеют характерный ритм, другие (например, звуки часового механизма) — узнаваемо монотонны, а такие, как треск, грохот, — случайны и беспорядочны. Нам известны также те игры и упражнения, с помощью которых мамы и няни учат этому своих чад. В том, как маленькие дети усваивают правила восприятия, содержится не больше эпистемологических загадок, чем в описании того, как дети учатся ездить на велосипеде. Они учатся этому на практике, и мы можем точно указать те ее виды, которые ускоряют это обучение.

Ясно, что одни рассказы про обучение на практике не дают ответа на поставленный выше вопрос. Этот вопрос не имел в виду ни уровней, которые проходят в своем развитии способности и интересы, ни вспомогательных средств или помех в этом развитии. Тогда что же имелось в виду? Наверное, задавший его человек мог бы сказать примерно следующее: "Быть может, и нет никакой философской загадки в том, как дети запоминают мелодии и узнают запомненное. Может быть, ее нет и в аналогичном усвоении правил, относящихся к зрительным впечатлениям, вкусам и запахам. Однако есть огромная разница между запоминанием мелодии и осознанием того, что существуют такие вещи, как скрипки, наперстки, коровы и дверные косяки. Осознание существования материальных объектов, в отличие от запоминания мелодии требует прорыва за границы зрительных впечатлений, шумов, вкусов и запахов на уровень общезначимого (public) существования, отличного и независимого от наших персональных ощущений. Причем под метафорическим выражением "прорыв за гра-

ницы" имеется в виду осознание того, что подобные объекты существуют, на основании первоначального знания о существовании только этих ощущений. Загадка, следовательно, вот в чем: согласно каким принципам и исходя из каких предпосылок человек может с уверенностью заключить, что коровы и ворота существуют? Если же он без всяких умозаключений, а просто благодаря счастливому инстинкту верит в это, то с помощью каких умозаключений он может оправдать сами эти инстинктивные верования?" Другими словами, этот как-вопрос должен быть истолкован в духе вопроса Шерлока Холмса: "Какие улики подтверждают подозрения детектива, что убийцей был лесник?" Но сформулировав вопрос подобным образом, мы сразу увидим, что он неправилен. Когда мы говорим об уликах, добытых детективом, мы имеем в виду вещи, которые он или его информаторы наблюдали или засвидетельствовали. Это могли быть отпечатки пальцев на бокалах или разговоры, подслушанные согладатаями. Но ощущение не является чем-то таким, что может наблюдать или засвидетельствовать его владелец. Оно не улика. Подслушивание разговора включает в себя наличие слуховых ощущений, ибо это — внимательное слушание, а оно предполагает получение слуховых ощущений. Однако наличие ощущений — это не то же самое, что обнаружение улики. Улики находят, подслушивая разговоры и рассматривая отпечатки пальцев. Если бы мы не могли наблюдать одни вещи, то у нас не было бы улики, относящихся к другим вещам. И разговоры суть как раз нечто такое, к чему мы действительно прислушиваемся, так же как отпечатки пальцев и столбик калитки относятся к тому типу вещей, которые мы действительно наблюдаем.

Этот неправомерный как-вопрос невольно напрашивается отчасти из-за склонности ошибочно полагать, будто всякое обучение является результатом вывода из уже удостоверенного прежде. И тогда процессу восприятия чувственных данных приписывают роль установления достоверных начал. Конечно, мы учимся делать выводы из предварительно установленных фактов точно так же, как учимся играть в шахматы, кататься на велосипеде, узнавать воротные столбы, а именно на практике и, возможно, под чьим-то руководством. Применение правил вывода — это не условие обучения на практике, это просто одно из тех бесчисленных умений, которым мы учимся практически.

Как было показано, слушать и смотреть не означает просто иметь ощущение; это и не комбинированные процессы — наблюдения ощущений и умозаключения о внешних объектах. Человек, который слушает или смотрит, делает нечто такое, чего не делал бы, будь он глух; или слеп, или, что не то же самое, если бы он был рассеян, сбит с толку или совершенно незаинтересован; или, что опять-таки не то же самое, если бы он не был обучен пользоваться своими ушами и глазами. Наблюдение — это применение глаз и ушей. Но использование глаз и ушей не влечет за собой в некоем другом смысле использования

визуальных и слуховых ощущений в качестве каких-то улик. Нелепо говорить об "использовании" ощущений. Нелепо даже говорить, что, наблюдая за коровой, я обнаруживаю ее "посредством" зрительных ощущений, ибо это также предполагает, что ощущения суть инструменты, т. е. объекты, которыми мы можем манипулировать подобно тому, как мы манипулируем видимыми и слышимыми вещами. Этот способ выражения вводит в заблуждение даже больше, чем если сказать, что умелое обращение с молотком начинается с умелого обращения со своими пальцами или что я контролирую молоток посредством контроля за своими пальцами.

Существует еще одна излюбленная модель для описания ощущений. Подобно тому как мука, сахар, молоко, яйца и корица служат сырьем, из которого кондитер выпекает торты, а кирпичи и бревна — материалом для строителя, точно так же и об ощущениях говорят как о сыром материале, из которого мы конструируем известный нам мир. В качестве противовеса еще более несообразным выдумкам эта модель обладала рядом важных достоинств. Однако понятия сбора, хранения, сортировки, распаковки, обработки, соединения и размещения, которые применимы к ингредиентам тортов и строительным материалам, неприложимы к ощущениям. Можно спросить, из чего сделан торт, но не из чего сделано знание. Можно спросить, что получится из данных ингредиентов, но нельзя спросить, что сочинит или сконструирует из своих зрительных и слуховых ощущений ребенок.

Итак, мы можем сделать вывод, что между узнаванием мелодий и узнаванием калитки нет никакой принципиальной разницы, хотя существует немало различий в деталях. Об одном из таких различий следует упомянуть, прежде чем перейти к другой теме. Уже на самом раннем этапе своего развития ребенок учится координировать визуальные, слуховые и осязательные средства и способы восприятия таких, например, вещей, как погремушки и котятка. Узнавая, как те или иные вещи должны выглядеть, ощущаться и восприниматься на слух, ребенок тем самым узнает, и как они себя ведут: когда, например, погремушка или котенок издадут звуки, а когда — нет. То есть он наблюдает за вещами экспериментальным образом. Однако прослушивание мелодии как относительно созерцательное занятие само по себе мало связано с координацией зрительных образов со звуками и оставляет мало места для экспериментирования. Но это различие лишь в степени, а не по существу.

Коротко остановимся еще на паре моментов. Прежде всего, говоря, что человек усваивает правила восприятия, я не имею в виду, что он открывает какие-либо причинные законы вроде законов физиологии, оптики или механики. Наблюдение обычных объектов предшествует обнаружению общих корреляций между специфическими классами таких объектов. Далее, говоря, что человек обладает правилами восприятия, т. е. знает, как обыкновенные объекты должны

выглядеть, ощущаться и восприниматься на слух, я тем самым не приписываю ему способность формулировать или сообщать эти правила. Подобно тому как большинство из нас знают, как завязывать несколько разных узлов, но не способны их описать или разобраться в их устном или письменном описании, точно так же мы с первого взгляда узнаем корову задолго до того, как сможем что-либо сказать о тех визуальных приметах, по которым мы ее узнаем. Проходит немало времени, прежде чем мы становимся способны начертить, нарисовать или даже просто узнать картинки с изображением коров. В самом деле, если бы мы не научились узнавать предметы на взгляд или на слух прежде, чем говорить о них, мы вообще никогда не сдвинулись бы с места. Способность говорить и понимать речь уже сама по себе предполагает узнавание произносимых и слышимых слов.

Хотя большинство приведенных мной примеров видения в соответствии с перцептивными правилами относятся к случаям безошибочного наблюдения вроде обнаружения воротного столба там, где он действительно находится, сам подход в целом справедлив и в отношении ошибочного наблюдения — когда, например, издавек "замечают" охотника там, где на самом деле стоит столб с почтовым ящиком, "различают" палку, хотя это только тень, или "узревают" змею на одеяле, на котором в действительности ничего нет. Неправильное восприятие предмета предполагает то же, что и правильное восприятие, а именно использование некоторой техники. Не тот невнимателен или неосторожен, кто не освоил какой-то метод, а только тот, кто научившись, не применяет его должным образом. Потерять равновесие может лишь тот, кто способен балансировать; совершать ошибки — лишь тот, кто умеет рассуждать. Только тот, кто способен отличить охотника от почтового ящика, может их перепутать, и только знающий, как выглядят змеи, способен вообразить, будто он видит змею, не отдавая себе отчета, что это всего лишь наваждение.

(5) ФЕНОМЕНАЛИЗМ

Применительно к нашей теме интересно обсудить, хотя бы кратко, теорию, известную как "Феноменализм". Эта теория утверждает, что подобно тому, как, допустим, разговор о крикетной команде — это в определенном смысле разговор об одиннадцати составляющих ее индивидуумах, так и разговор об обычном объекте вроде столба у ворот — это в определенном смысле разговор о чувственных данных, которые наблюдатель действительно воспринимает или мог бы воспринять посредством зрения, слуха или осязания. И подобно тому, как о крикетной команде нечего сообщить, кроме как о некотором ряде действий и переживаний ее членов, когда они играют, путешествуют, обедают и общаются в качестве команды, так и о столбе нельзя сказать ничего, помимо того, как он

выглядит, воспринимается на слух, на ощупь и т. д. В самом деле, ведь даже говорить, как *он* выглядит и т. д. ошибочно, ибо "он" — это просто сокращение для совокупности упоминаний об этих образах, звуках и т. д., которые следует объединить в одно целое. Признается, что фактически эта программа неосуществима. Мы могли бы ценой долгих усилий оценить шансы крикетной команды, суммируя данные о ее результатах, привычках и настроениях отдельных членов, но мы не смогли бы сказать все, что мы знаем о воротном столбе, путем одного только описания относящихся к делу ощущений наблюдателя, которые он имеет или мог бы иметь. У нас нет словаря для "чистых" ощущений. Фактически мы можем специфицировать наши ощущения только со ссылкой на объекты обыденного опыта, к которым относятся и люди. Тем не менее предполагается, что это лишь несущественный дефект языка, который может быть устранен в специально построенном языке, отвечающем всем требованиям логической строгости.

Одним из привлекательных мотивов этой теории было желание обойтись без скрытых сущностей и принципов. Ее поборники обнаружили, что современные теории восприятия постулируют ненаблюдаемые сущности и факторы, наделяющие предметы вроде воротных столбов свойствами, в обладании которыми ощущениям было отказано. В то время как ощущения скоротечны, столб постоянен. Он общедоступен, а ощущениями располагает только их носитель; столб не нарушает порядок причинности, тогда как ощущения беспорядочны. Столб представляет собою единство, тогда как ощущения множественны. Поэтому проявлялась тенденция говорить, будто позади того, что доступно для наших чувств, лежат скрытые и очень важные свойства воротного столба, а именно что он есть Протяженная Субстанция, Вещь-в-Себе, Центр Причинности, Объективное Единство и разные другие важные штуки высокопарного языка теоретиков. Соответственно, феноменализм пытается обойтись без этих бесполезных панацей, хотя, как я надеюсь показать, он и сам при этом не может ни определить, ни излечить ту болезнь, против которой они оказались бессильны.

У истоков феноменализма стоял еще один мотив, на этот раз не заслуживающий одобрения. Причем из этого же мотива берут свое начало как раз те теории, против которых и взбунтовался феноменализм. Речь идет о предположении, будто обладание ощущением само по себе является нахождением чего-то или же что в ощущении нечто "обнаруживается". Это близко к принципу теории чувственных данных, согласно которому обладание ощущением само по себе является частью процесса наблюдения, причем, по сути, единственным его видом, который заслуживает имени "наблюдение", поскольку гарантирован от ошибок. Мы можем реально установить с помощью наблюдения факты только о таких объектах, которые непосредственно даны нам в ощущениях, — таких, как

цветовые пятна, шумы, покалывания и запахи. Высказывания только о таких объектах верифицируемы с помощью наблюдения. Отсюда, видимо, следует, что на самом деле мы не можем наблюдать воротные столбы и, значит, не из наблюдения узнаем все то, что нам о них хорошо известно.

Теперь мы видим, что и феноменализм, и та теория, которой он противостоял, были изначально ошибочны. Последняя утверждала, что, раз мы можем наблюдать только чувственные объекты, то воротные столбы должны частично состоять из элементов, которые невозможно обнаружить посредством наблюдения. Феноменализм утверждал, что раз мы можем наблюдать только чувственные объекты, то высказывания о воротных столбах должны быть переводимы в высказывания о чувственных объектах. Истина же заключается в том, что выражение "чувственный объект" бессмысленно точно так же, как и выражение "высказывания о чувственных объектах". Неверно, что мы не можем наблюдать воротные столбы. Словосочетание "воротные столбы" — это пример дополнения, которое только и можно осмысленно подставить во фразу типа "Джон Доу смотрит на то-то и то-то". То, что воротные столбы сохраняются в течение долгого времени, особенно если обработаны креозотом; что в отличие от струи дыма они твердые и плотные; что в отличие от теней каждый может найти их во всякое время суток; что они несут на себе тяжесть ворот, но могут быть истреблены огнем, — все это можно узнать и узнается при помощи наблюдения и эксперимента. Точно таким же образом можно узнать, что воротные столбы могут по виду сильно напоминать деревья или людей и что при определенных условиях очень легко ошибиться насчет их размера и удаленности. Разумеется, подобные факты относительно этих столбов напрямую не даны чувствам и не открываются непосредственно в ощущениях. Но так вообще ничего не дается и не открывается, ибо обладание ощущением — это не обнаружение.

Из сказанного также видно, почему язык не позволяет нам формулировать те высказывания, в которые, согласно феноменализму, должны быть переводимы высказывания о воротных столбах. Происходит это не потому, что наши слова-ри неполны, а потому что не существует самих объектов, для которых якобы недостает дополнительных способов выражения. Вопрос не в том, что мы располагаем словарем только для обычных объектов и лишены словаря для чувственных объектов, а в том, что само понятие чувственных объектов абсурдно. Поэтому дело не только в ошибочности убеждения, будто в идеале мы должны говорить не на языке столбов, а исключительно на языке ощущений, но и в том, что мы не можем описать ощущения как таковые, не прибегая к словарю, описывающему общедоступные объекты.

Нам могут возразить, что неуместно присваивать почетный титул "наблюдение" тем операциям, с помощью которых и мы, и астрономы обычно убеждаемся в существовании малиновок и спиральных туманностей. Мы не только

часто ошибаемся, путая одни вещи с другими, но и лишены вообще каких-либо гарантий, что всякий раз не совершаем подобных ошибок. А "наблюдение" должно подразумеваться как безошибочный процесс.

Но почему? Если имеет смысл называть одного человека внимательным, а другого небрежным наблюдателем, то почему тогда мы должны брать свои слова назад и говорить, что ни один из них не наблюдает по-настоящему, ибо абсолютной тщательности не бывает? Мы же не говорим, что никто и никогда по-настоящему не рассуждает, только потому, что никто и никогда не имел гарантий от ошибок. Тогда почему мы должны предполагать, что существует некая безошибочная операция, единственно только и удовлетворяющая глаголу "наблюдать"? На самом деле глагол "наблюдать" в своем рабочем смысле принадлежит именно к тем глаголам, к которым применимы наречия вроде "тщательно", "небрежно", "успешно", "бесплодно", из чего видно, что в этом смысле не бывает такого наблюдения, которое не нуждалось бы и не соблюдало мер предосторожности против ошибок.

Один из мотивов, почему от наблюдения требуют гарантированной безошибочности, по-видимому, следующий. Было бы нелепо говорить, что есть или могли бы быть такие эмпирические факты, которые в принципе нельзя было бы обнаружить посредством наблюдения. А поскольку любое обычное актуальное наблюдение может быть ошибочным, то должен существовать особый тип безошибочного наблюдения, в терминах которого можно было бы определить "эмпирическое". Вот эту роль и отвели чувственному ощущению, ибо говорить об ошибочном ощущении, конечно, нелепо. Однако причина, почему ощущение не может быть ошибочным, заключается не в том, что оно является безошибочным наблюдением, а в том, что оно вообще не наблюдение. Называть ощущение "правдивым" так же нелепо, как называть его "ошибочным". Чувства не лживы и не правдивы. Не дает этот аргумент и права постулировать какой-либо иной тип автоматически истинного наблюдения. Все, что требуется, соответствует хорошо известным фактам, а именно нужно только, чтобы ошибки, возникающие при наблюдении, подобно любым другим ошибкам, можно было обнаружить и исправить. Так что, если какой-то эмпирический факт был по ошибке упущен из виду, то вовсе не обязательно, что это случилось из-за бесконечной серии ошибок. Требуется не какой-то особый удостоверяющий процесс, а обычные тщательно выполняемые процессы; не некие непогрешимые наблюдения, а обычные наблюдения, которые можно скорректировать; не панацея от ошибок, а обычные меры предосторожности против них, их выявление и исправление. Удостоверение — не процесс, черпающий из некоего кладезя достоверности, не некая надстройка над догадками. Это процесс движения к уверенности. Достоверность — это то, что мы устанавливаем, а не дело случая или чьей-то благой воли. Это плата за труд, а не дары откровения. Когда пустое понятие "Данно-

го" уступит место трудовым будням "удостоверенного", мы распрощаемся и с феноменализмом, и с теорией чувственных данных.

Был и другой мотив, чтобы отстаивать вожаделенную безошибочность наблюдения. В той или иной мере было осознано, что некоторые слова, описывающие наблюдение, типа "воспринимать", "видеть", "обнаруживать", "слышать" и "наблюдать" (в значении "находить"), представляют собой то, что я назвал "глаголами достижения". Подобно тому, как нельзя безуспешно победить в скачках или некорректно разрешить анаграмму, ибо глагол "победить" значит здесь "выиграть скачки", а глагол "решить" — значит "сделать правильную перестановку", точно так же человек не может ошибочно обнаруживать или неправильно видеть. Сказать, что он нечто обнаружил, значит иметь в виду, что он не ошибся, а сказать, что он нечто видит (в основном значении глагола), значит подразумевать, что он в этом не заблуждается. И дело тут не в том, что воспринимающий человек применил какую-то процедуру, защитившую его от ошибок, или обнаружил некую Способность действовать непогрешимо, а в том, что используемые глаголы восприятия сами по себе уже содержат дополнительное значение, что человек не ошибается. Однако, когда мы используем более специфические глаголы "просматривать", "прослушивать", "искать" и им подобные, всегда можно сказать, что обозначенные ими операции могли оказаться ошибочными или бесплодными. Такого рода исследования уже ничто не застрахует от путаницы и тщетности. Уже элементарная логика "препятствует" тому, чтобы исцеление, обнаружение, решение или попадание в глаз быку могли быть безуспешными или безрезультатными. Тот факт, что врачи не могут исцелить безуспешно, означает не непогрешимость врачей, но всего лишь противоречивость высказывания, что успешный курс лечения оказался неуспешным.

Вот почему человек, утверждающий, будто он видел коноплянку или слышал соловья, берет назад свои слова, как только его убедят, что никакого соловья или коноплянки не было. Он не настаивает на том, что видел коноплянку, которой не существовало, или слышал воображаемого соловья. Так и человек, заявлявший, что он решил анаграмму, но которого затем убедили, что решение неправильное, отказывается от своих претензий. Он же не говорит, что в "строгом" или "чистом" смысле слова он нашел "искомый объект", который просто не совпал со словом, зашифрованным в анаграмме.

В основе едва ли не всех точек зрения, подвергнутых критике в данной главе, лежит, судя по всему, одно общее допущение, а именно что всякое знание приобретает либо путем выведения заключения из посылок, либо, в случае исходных посылок, посредством некоторого невыводного, "очного" отношения. Эта очная ставка традиционно именовалась "осознанием", "непосредственным усмотрением", "узнаванием", "прямым доступом", "интуицией" и т. д. — слова-

ми, которыми человек, не вооруженный эпистемологической теорией, никогда не обозначает какие-то особые эпизоды своей повседневной жизни.

Эта излюбленная дихотомия "либо через вывод, либо через интуицию", по-видимому, исторически коренится в преклонении эпистемологов перед геометрией Евклида. Истины геометрии — это теоремы и аксиомы, а поскольку геометрия долгое время служила образцом научного знания, то все другие процедуры обнаружения и обоснования истин благочестиво сводились к этой единственной специальной процедуре.

Однако предпосылка о таком подобии ложна. Существует множество других форм достоверного познания, которые не относятся ни к чисто пассивному созерцанию, ни к процедурам вывода. Рассмотрим ответы, которые мы ожидаем получить на следующие вопросы типа "Как и откуда вы знаете?". "Откуда вы знаете, что в этой комнате двенадцать стульев?" — "Я их подсчитал". "Как вы узнали, что 9×17 равно 153?" — "Я перемножил числа, а затем проверил ответ, вычтя 17 из произведения 10×17 ". "Откуда вы знаете, как пишется слово "фуксия"?" — "Я справился по словарю". "Как вы узнали даты правления королей Англии?" — "Я выучил их наизусть для строгого учителя". "Откуда вы знаете, что у вас болит нога, а не плечо?" — "Но ведь это мои нога и плечо, не так ли?" "Откуда вы знаете, что огонь горит?" — "Я посмотрел дважды и ощутил это собственной рукой".

Ни в одной из этих ситуаций нам не пришлось ни строить каких-либо умозаключений, ни прибегать к подобию каких-либо аксиом. Не приходится нам и жаловаться на применимость этих различных техник открытия, разве что в случае сомнительного результата можно говорить о небрежности в их исполнении. Мы ведь не требуем, чтобы в теннис играли так, как будто это варьете.

(6) ПОСЛЕСЛОВИЕ

Как я уже говорил во введении, есть что-то глубоко неверное в дискуссиях, которым посвящена эта глава. Я рассуждал так, будто бы мы знаем, как пользоваться понятием ощущения, излагал свои мысли с почти что формальным сожалением о нехватке у нас слов, описывающих "чистые" ощущения, и многословно распространялся о слуховых и зрительных ощущениях. Однако я убежден, что все это неудовлетворительно.

Иногда мы используем слово "ощущение" в некоей усложненной манере, желая показать свою осведомленность в современных физиологических, неврологических и психологических изысканиях. Мы упоминаем его наравне с такими научными терминами, как "стимул", "нервные окончания", "палочки и колбочки сетчатки глаза". И когда говорим, что вспышка света служит причиной зрительного ощущения, то думаем, что экспериментаторы в состоянии сейчас

или будут способны в один прекрасный день рассказать нам, что же это за штука — зрительное ощущение. Но совершенно иначе обстоит дело с бесхитростным употреблением слов "ощущение" и "чувство", когда я говорю, забыв про всякие теории, что от удара током я ощутил покалывания в руке или что к моей онемевшей ноге возвращается чувствительность. В этом смысле мы уверенно говорим, что песчинка или ослепительный свет вызывают у нас в глазах неприятные ощущения, но никогда не скажем, что вещи, на которые мы обычно смотрим, вызывают у нас в глазах вообще какие-либо ощущения. После того как песчинка удалена, мы можем ответить на вопрос: "Как теперь чувствует себя ваш глаз?" Однако, когда мы переводим взгляд с земли на небо, мы не можем ответить на вопрос: "Как эта смена взгляда изменила ощущения в ваших глазах?" Опираясь на собственное знание, мы можем сказать, как изменилась панорама, а, вспомнив услышанные когда-то специальные теории, можем добавить, что, по-видимому, произошла смена раздражителей и изменились реакции в палочках и колбочках сетчатки. Но и в том, и в другом ответе нет ничего, что мы обычно называем "чувством" у нас в глазах.

Подобным же образом некоторые острые или едкие запахов вызывают в нас особые и поддающиеся описанию чувства в носу и в горле, однако большинство запахов не вызывают в носу подобных ощущений. Я могу отличить запах розы от запаха хлеба. Но я не стану наивно описывать эту разницу, говоря, что розы вызывают во мне один, а хлеб — другой вид чувства или ощущения, тогда как электрошок и горячая вода действительно вызывают у меня в руке различные виды ощущений.

В обыденном употреблении слова "ощущение", "чувствовать" и "чувство" прежде всего обозначают восприятия. Ощущение — это ощущение чего-то, и мы чувствуем, как вибрирует или качается корабль, так же как видим трепетание его флага или слышим завывание его сирены. В этом смысле мы чувствуем вещи отчетливо или неотчетливо, как, например, отчетливо или неотчетливо распознаем их по запаху. Точно так же как мы видим глазами и слышим ушами, мы ощущаем вещи посредством своих рук, губ, языка или коленей. Для того чтобы выяснить, является ли нет обыкновенный объект липким, теплым, гибким, твердым или рассыпчатым, нам не требуется на него смотреть, вслушиваться, нюхать или пробовать на вкус — нужно только пощупать его. Отчет об ощущении в этом простом бесхитростном смысле — это отчет о том, что обнаруживается при тактильном или кинестетическом наблюдении.

Правда, мы часто употребляем слова "чувствовать" и "ощущение" иным, хотя и производным от указанного, образом. Если человек, у которого болят глаза, говорит, что у него такое чувство, будто под веками песок, или другой человек, которого лихорадит, утверждает, что он ощущает жар в голове и холод в ступнях, то их нельзя переубедить, уверяя, что под веками нет никакого песка

или что голова и ступни одинаковой температуры. Ибо в данном случае "чувствовать" означает "чувствовать так, как если бы", подобно тому как "выглядеть" часто значит "выглядеть так, как если бы". Но для того чтобы закончить предложение с "так, как если бы", нужна ссылка на некоторое положение дел, которое, если бы оно реализовалось, было бы обнаружено чувствами в первичном смысле этого слова — в том, в котором говорящий отозвал бы свое высказывание "Я чувствую под веком песчинку" назад, если бы убедился в том, что никакой песчинки там нет. Такой случай можно назвать "постперцептивным" употреблением глаголов "чувствовать", "выглядеть", "звучать" и остальных.

Однако имеется значительное несоответствие между глаголами "чувствовать", с одной стороны, и глаголами "видеть", "слышать", "пробовать на вкус" и "обонять" — с другой. Человек, у которого онемела нога, может сказать, что он не только не чувствует ею предметы, но и ее самою, тогда как на мгновение ослепленный или оглушенный человек сказал бы, что ничего не видит правым глазом или не слышит правым ухом, но он бы не сказал, что он не может видеть свой глаз или слышать свое ухо. Когда к онемевшей ноге возвращается чувствительность, ее обладатель снова в состоянии что-то сообщить как о дороге, так и о своей ступне.

Очевидно, что это первичное понятие ощущения не является компонентом родового понятия восприятия, ибо оно относится к нему как вид к роду. Я могу что-то видеть, при этом ничего не чувствуя, точно так же могу что-то чувствовать, при этом ничего не видя.

А что можно сказать о другом, теоретическом смысле слова "ощущение" — том смысле, в котором говорят, что зрение включает в себя наличие зрительных ощущений или впечатлений? Ощущения или впечатления в этом смысле не упоминаются людьми до тех пор, пока они хотя бы понаслышке не получают представление о физиологических, психологических или эпистемологических теориях. И все же задолго до того, как они что-то узнают про эти теории, они уже знают, как пользоваться глаголами восприятия типа "видеть", "слышать", "пробовать на вкус", "обонять" и "осязать" и продолжают точно так же использовать их и после знакомства с теориями. Так что теоретизированное понятие об ощущениях и впечатлениях не является частью их концепций восприятия. Нам следовало бы обсудить понятие восприятия у Платона, и если бы мы сделали это, то убедились бы, что нет ни малейшего повода сожалеть, что он еще не дорос до умения обращаться с понятиями зрения, слуха и осзания, поскольку еще не был посвящен в новейшие теории о сенсорных стимулах.

Физиологи и психологи иногда сокрушаются, а иногда гордятся тем, что не могут перекинуть мост через пропасть, разделяющую впечатления и те нервные возбуждения, которые их вызывают. Они принимают за факт существование этих впечатлений, но вот только каузальный механизм ставит их в тупик.

Как можно усомниться в существовании чувственных впечатлений? Разве, по крайней мере со времен Декарта, не получило широкую известность положение, будто они служат исходными, простыми и неизменными элементами сознания?

Когда мы говорим, что человек что-то осознает, мы, как правило, имеем в виду, что он способен дать в этом отчет себе и другим без всякого исследования или специального обучения. Но этого-то как раз никто и никогда не делает со своими якобы имеющимися впечатлениями. Люди обычно готовы рассказать о том, что они видят, слышат, пробуют на вкус, обоняют или осязают. А также о том, что нечто выглядит так-то и так-то, что оно по звуку или на ощупь такое-то и такое-то. Но они не могут, да и не располагают для этого даже языковыми средствами, рассказать, каковы впечатления, которые у них есть или были. Так что представление о том, что подобные эпизоды имеют место, проистекает отнюдь не из изучения того, что и как говорят обычные здравомыслящие люди. Наивное "сознание" никогда не упоминает о них. Скорее, подобное представление возникает из особого рода каузальной гипотезы, утверждающей, что мое сознание вступает в контакт с воротным столбом только в том случае, если этот столб аффицирует некоторый процесс в моем теле, который в свою очередь аффицирует некий другой процесс, протекающий в моем сознании. Впечатления оказываются призрачными импульсами, постулированными в интересах пара-механической теории. Само слово "впечатление", заимствующее образ отпечатка на воске, выдает мотивы такой теории. Это беда философии, что подобная теория смогла возобладать и извратить язык, на котором мы высказываемся о том, что обнаруживаем посредством наших чувств. Тот факт, что мы благодаря ощущениям обнаруживаем, что вещи теплые, липкие, вибрирующие или упругие, является фрагментом нашего обычного знания, а не какой-то специальной теории. Соответственно, наличие у нас ощущений, когда мы видим, слышим или обоняем, было представлено просто как более обобщенное представление этого обычного знания. Теоретическая идея чувственных впечатлений была контрабандой введена в оборот под прикрытием обыденной идеи тактильного восприятия.

Я должен упомянуть и другое бесхитростное употребление слов вроде "ощущение" и "чувство". Иногда человек говорит не о том, что он чувствует под веком песчинку или что у него такое чувство, будто под веко попала песчинка, а то, что он чувствует боль в глазу или болезненное ощущение. Такие существительные, выражающие дискомфорт, как "боль", "зуд", "дурнота", истолковываются некоторыми теоретиками в качестве имен специфических ощущений, где слово "ощущение" берется в теоретизированном смысле как синоним другого теоретизированного термина — "впечатление". Однако если человека, испытывающего неприятные ощущения, спросят, что именно он чувствует, то он

не удовлетворит вопрошающего теоретика, если ответит "боль", "дискомфорт", поскольку от него ожидают: "чувство покалывания", "саднящее чувство" или "чувство жжения". Ему придется использовать постперцептивные выражения, чтобы показать, что у него такое чувство, будто его колет что-то острое, саднит, как от песка, или жжет что-то раскаленное. То, что он испытывает легкое, значительное или сильное недомогание, — это уже информация другого рода, предназначенная для другого типа вопросов. Таким образом, предположение, что в существительных типа "боль", "зуд" и "дурнота" мы ко всему прочему имеем еще и зачатки словаря для выражения и описания впечатлений, ошибочно. Тем не менее имеется интересное и, возможно, существенное различие между тем смыслом, в котором мне досаждают песчинка, и смыслом, в котором мне досаждают услышанный диссонанс или увиденная дисгармония цветов. Песчинка буквально раздражает мой глаз, тогда как диссонанс, режущий ухо, — это только метафора. Чтобы прекратить мучение, причиненное мне дисгармонией цветов, не нужны глазные капли, и, если меня спросят, какой глаз при этом больше страдает — правый или левый, мне нечего будет ответить, остается разве что объяснить, что глаза болят не буквально, не так, как от песчинок и ослепительного света.

Такие слова, как "недомогание", "отвращение", "печаль" и "досада", суть имена настроений. Но не таковы "боль", "зуд" и "дурнота" в их буквальном значении. Мы локализуем боль и зуд там, где мы локализуем песчинку или соломинку, которые ощущаем на самом деле или в воображении. И все же "боль" и "зуд" — это не существительные восприятия. Боль и зуд не могут, к примеру, быть отчетливыми или неотчетливыми, ясными или неясными. Зрительное или тактильное обнаружение чего-либо является достижением, тогда как фраза "У меня ужасный зуд" не сообщает о достижении и не описывает чего-либо установленного. Я не знаю, что еще можно сказать о логической грамматике подобных слов, хотя сказать следовало бы гораздо больше.

ГЛАВА VIII. ВООБРАЖЕНИЕ

(1) ПРЕДИСЛОВИЕ

Я уже упоминал о том терминологическом факте, что слово "ментальный" подчас используется в качестве синонима слова "воображаемый". Иногда симптомы ипохондрии не принимаются в расчет в качестве "чисто ментальных". Но гораздо важнее, чем этот лингвистический казус, тот факт, что среди теоретиков и простых людей бытует более-менее общая тенденция приписывать воображаемому своего рода иномирную реальность с последующей трактовкой сознаний в качестве скрытой среды обитания такого рода бестелесных сущностей. Операции воображения, конечно же, являются проявлением ментальных способностей. Но я в этой главе попробую показать, что попытка ответа на вопрос "Где же существуют те вещи и события, которые люди воображают существующими?" представляет собой стремление ответить на беспредметный вопрос. Они не существуют нигде, хотя и воображаются существующими, скажем, в этой комнате или в Хуане Фернандесе.

Ключевое значение имеет проблема описания того, что такое "увиденное мысленным взором" или "услышанное в голове". То, что называют "визуальными образами", "ментальными картинками", "слуховыми образами", а также, в некоторых случаях, "идеями", обычно признается за реально существующее, причем существующее где угодно, только не во внешнем мире. Поэтому сознания принимают за сцены, где действуют подобные сущности. Но, как я попытаюсь показать, общеизвестная истина, что люди постоянно что-то видят своим мысленным взором и что-то слышат внутренним слухом, не доказывает того, что действительно существуют те вещи, которые они видят и слышат, или того, что люди при этом что-то действительно видят и слышат. Многие, как, например, убийства на театральной сцене, обходятся без жертв и не причисляются к реальным убийствам, так что созерцание чего-либо посредством некоего умственного взора не предполагает ни существования увиденного, ни актов их лицезрения. Таким образом, они не нуждаются в убежище для существования или осуществления.

Заключительные соображения, представленные в конце предыдущей главы, охватывают также и кое-что из того, что говорится об ощущениях в этой главе.

(2) ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ВИДЕНИЕ

Видеть — это одно, представлять (picture) же или мысленно видеть (visualise) — другое. Человек может видеть предметы только тогда, когда его глаза открыты и когда то, что его окружает, освещено; но он может созерцать картины мысленным взором и с закрытыми глазами, и когда все кругом погружено во мрак. Аналогично этому он может слышать музыку только в таких ситуациях, в которых ее могут слышать и другие люди, но мелодия может звучать в его голове и тогда, когда человек, находящийся рядом, вообще не слышит никакой музыки. Более того, он может видеть только то, что может быть увиденно, и слышать то, что может быть услышано, и часто ему не удается услышать и увидеть того, что можно видеть и слышать. Однако в некоторых случаях он сам может выбирать, какие картины предстанут перед его мысленным взором и какие мелодии будут звучать в его голове.

Одним из способов, каким люди склонны выражать это различие, служит указание на то, что деревья они видят и музыку слушают, тогда как объекты, относящиеся к воспоминанию и воображению, они "видят" и "слышат" в кавычках. Жертву *delirium tremens* описывают не в качестве видящего змей, но как "видящего" змей. Это различие в способах выражения усиливается еще и другим. Человек, который говорит, что он "видит" дом своего детства, часто применяет для описания своего видения такие прилагательные, как "яркий", "достоверный" или "словно живой", каковыми он вообще-то не стал бы обозначать то, что находится у него под носом. Ведь о кукле можно сказать "как живая", а о ребенке — нельзя; портрет может быть правдоподобным, а само лицо — нет. Другими словами, когда человек говорит, что он "видит" нечто, чего он на самом деле не видит, он знает, что происходящее с ним — нечто совершенно иное, чем акт зрения, просто потому, что этот глагол берется в кавычки, а "видимое" им может описываться как более или менее правдоподобное или яркое. Он может сказать: "Я мог бы быть там сейчас", но слово "мог бы" уместно здесь именно потому, что оно указывает, что он в данный момент там не находится. Тот факт, что при определенных условиях он перестает понимать, что он не видит, но всего лишь "видит" — как это бывает во сне, в бреду, при сильнейшей жажде, в гипнозе и в магическом шоу, — ни в коей мере не приводит к устранению различий между понятием видения и понятием "видения", во всяком случае не в большей мере, чем то, что трудности в различении настоящей подделки от поддельной не заставляют нас стирать различия между понятием личного начертания собственного имени и понятием о его подлоге. Подделка описывается как хорошая или плохая имитация подлинника; настоящую же подпись вообще нельзя характеризовать в качестве имитации, поскольку она является тем самым подлинником, без которой нечего было бы имитировать.

Насколько визуальное наблюдение преобладает над остальными чувствами, настолько же у большинства людей визуальное воображение сильнее, чем слуховое, тактильное, кинестетическое, обонятельное и вкусовое, а следовательно, и язык, на котором мы обсуждаем эти проблемы, в значительной степени основан на языке зрения. Например, люди говорят о "представлении" и "визуализации" предметов, но у них нет соответствующих характерных отглагольных форм для обозначения воображения других видов.

Неутешительный результат налицо. Среди обычных объектов визуального наблюдения существуют как видимые вещи, так и их видимые подобия — лица и портреты, настоящие и поддельные подписи, горы и их снимки, дети и куклы, — что вполне естественно побуждает переосмыслить язык, описывающий воображение.

Если человек говорит, что он представляет свою детскую комнату, то мы испытываем искушение истолковать его замечание так, что оно означает созерцание не его детской комнаты, а другого видимого объекта, а именно картины его детской комнаты, только не на фотографии или на живописном полотне, а в виде некоего дубликата фотографии, причем сделанного из материала какого-то другого сорта. Более того, эта выполненная не на бумаге бесплотная картина, наличие которой мы предположили в его созерцании, не из числа тех, что и мы тоже можем лицезреть, поскольку она висит не в рамке на стене перед нашим носом, но в некоей галерее, в которую вхож только он один. И тогда мы склоняемся к выводу, что картина его детской комнаты, которую он созерцает, должна находиться в его сознании, а "глаза", с помощью которых он ее созерцает, — это не телесные глаза, каковы, возможно, мы видим закрытыми, но его умственные глаза. Тем самым мы невольно присоединяемся к теории о том, что "зрение" в конечном счете тоже есть зрение, а то, что "видится" человеком, дает столь же подлинное сходство и наблюдается столь же подлинно, как и картина, написанная маслом, которую может увидеть каждый. Правда, картина эта мимолетна, но таковы ведь и кинематографические кадры. Верно также и то, что она предназначена для одного зрителя, чьей галерее она принадлежит; но ведь и монополия — дело довольно обычное.

Я хочу показать, что понятие о представлении, мысленном видении или "зрении" правильно и полезно, но его использование не влечет за собою существования ни картин, которые мы созерцаем, ни галереи, где они эфемерно парят. Короче говоря, акт воображения происходит, но образы не видятся. Мелодии действительно крутятся в моей голове, но не существует мелодий, которые можно слышать в то время, когда они крутятся в моей голове. Правда, человек, представляющий свою детскую комнату, в определенной мере похож на человека, видящего свою детскую комнату, но это сходство заключается не в реальном взгляде на реальное подобие его детской комнаты, а в реальной кажимости того,

что он видит саму эту детскую комнату, в то время, как на самом деле не видит ее. Он не наблюдает подобия своей детской комнаты, хотя и подобен ее наблюдателю.

(3) ТЕОРИЯ ОСОБОГО СТАТУСА ВООБРАЖАЕМЫХ КАРТИН

Рассмотрим сначала некоторые выводы из другой теории, согласно которой при мысленной визуализации я вижу (в обычном смысле этого глагола) картину, обладающую особым статусом. Эта теория утверждает, что картина, которую я вижу, не присутствует, подобно снимкам, перед моим взором; наоборот, она должна находиться не в физическом пространстве, но в некоем пространстве другого рода. Тогда девочка, которая рисует в воображении улыбку находящейся перед ней восковой куклы, видит картину улыбки. Но эта картина улыбки не может находиться там, где расположены губы куклы, поскольку эти губы находятся напротив лица девочки. Таким образом, воображаемая улыбка вообще не имеет отношения к губам куклы. Однако это абсурд. Никто не может вообразить не относящуюся ни к чему улыбку, и никому не нужна была бы кукла без улыбки вкупе с отдельным от нее образом улыбки, парящим неизвестно где. На самом деле девочка не видит никакой чеширской улыбки, витающей где-то отдельно от губ куклы; она воображает, что видит перед своим взором улыбку на губах куклы, хотя она не видит ее там, и сильно испугалась бы, если бы увидела. Подобным же образом фокусник вынуждает нас "видеть" (а не видеть) кроликов, выскакивающих на сцену из его шляпы прямо перед нашим носом, но при этом он не заставляет нас видеть (а не "видеть") призрачных кроликов, выскакивающих из какой-то другой призрачной шляпы, которая находится не в его руке, а в пространстве какого-то иного рода.

Получается, что воображаемая улыбка не является физическим феноменом, т. е. реальным искажением черт лица куклы; однако это и не нефизический феномен, наблюдаемый девочкой и пребывающий в некоей сфере, совершенно обособленной от ее детской коляски и детской комнаты. Не существует вообще никакой улыбки, как не существует и изображения улыбки. Существует лишь девочка, воображающая, что она видит, как улыбается ее кукла. Итак, хотя она действительно представляет свою куклу улыбающейся, она не смотрит на картину улыбки; также и я, хотя воображаю, что вижу кроликов, выскакивающих из шляпы, не вижу реальных фантомов кроликов, выскакивающих из реальных фантомных шляп. Нет никакой реальной жизни вовне, которую изнутри имитировали некие бесплотные подобия-двойники; существуют только вещи и события, а также люди, становящиеся свидетелями некоторых из них, и люди, воображающие себя свидетелями вещей и событий, которых они на самом деле не наблюдают.

Возьмем еще один пример. Я начинаю писать длинное и незнакомое слово и, написав слог или два, чувствую, что не уверен, как оно пишется дальше. Тогда я, возможно, обращусь к воображаемому словарю и, может быть, в некоторых случаях смогу "увидеть", как там напечатаны последние три слога. В случаях такого рода возникает искушение сказать, что я на самом деле вижу картинку напечатанного слова, но только эта картинка находится "в моей голове" или "в моем уме", поскольку начертание букв в слове, которое я "вижу", воспринимается как их начертание в словарной статье или на фотографии такой статьи, которую я вижу на самом деле. Но в другом случае, начав писать слово, я "вижу" следующий слог или два на той самой странице, на которой я пишу, и в том месте, где я должен их написать. Ощущение такое, словно я обвожу прозрачные контуры слова, проступающие на странице. Однако при этом нельзя сказать, что я гляжу на картинку или призрак слова, находящиеся в некоем странном пространстве, ином по отношению к физическому пространству, поскольку то, что я "вижу" располагается на моей странице справа от моего пера. Снова мы должны сказать, что, хотя я и представляю слово в определенном месте, напечатанное определенным шрифтом либо написанное определенным почерком, и, хотя я могу разобрать по буквам это слово на основе своего представления его напечатанным либо написанным, все же не существует ни картинки, ни тени, ни призрака слова, и я не вижу ни картинки, ни тени, ни его призрака. Мне кажется, что я вижу слово на самой странице, и чем это ощущение живее и устойчивее, тем легче мне перенести то, что мне кажется, на бумагу при помощи ручки.

Юм, как известно, считал, что существуют и "впечатления", и "идеи", то есть ощущения и образы, и тщетно пытался четко разграничить два эти вида "перцепций". Он считал, что идеи менее отчетливы, чем впечатления, и возникают позже них, поскольку являются следами, копиями или репродукциями впечатлений. При этом он признавал, что и впечатления могут быть сколь угодно слабыми и тусклыми и, несмотря на то, что каждая идея является копией, она заслуживает обозначения "копия" или "подобие" не в большей мере, чем впечатление — обозначения "подлинник" или "прообраз". Итак, если следовать Юму, невозможно с первого взгляда решить, является ли перцепция впечатлением или идеей. Тем не менее это не отменяет радикального различия между тем, что слышится в беседе, и тем, что "слышится" в грезах, между змеями в зоопарке и змеями, которых "увидит" пропойца, между моими занятиями в данный момент и детской комнатой, в которой "я мог бы быть сейчас". Ошибка Юма заключалась в предположении, что "зрение" есть разновидность зрения, а "перцепция" обозначает род, состоящий из двух видов, а именно впечатлений и призраков или отголосков впечатлений. Таких призраков не существует, а если бы они и существовали, то просто были бы дополнительными впечатлениями и относились к зрению, а не к "зрению".

Юмова попытка провести различие между идеями и впечатлениями, указав, что последние бывают ярче и живее первых, содержала одну из двух возможных грубых ошибок. Во-первых, предположим, что "яркий" означает "живой". Человек может что-то живо себе представлять, но не может живо что-то видеть. Одна "идея" может быть живее другой, однако впечатления вообще не могут описываться как живые, точно так же как одна кукла может больше походить на живую, чем другая, но младенец не может быть более-менее похож на живого. Сказать, что различие между младенцами и куклами состоит в том, что младенцы более похожи на живых, — значит сказать очевидную нелепость. Один актер может играть убедительнее другого, но человек, который ничего не играет, не может быть ни убедителен, ни не убедителен, а потому и не может описываться как более убедительный, чем актер. И наоборот, если Юм под термином "живой" подразумевал не "похожий на живого", а "интенсивный", "острый" или "сильный", то он допускал другую ошибку, ибо, хотя ощущения можно сравнивать друг с другом по интенсивности, остроте или силе, они не сопоставимы в этом отношении с образами. Когда я воображаю, что слышу очень сильный звук, то я на самом деле не слышу ни сильного, ни слабого звука; я не испытываю и никакого умеренного слухового ощущения, поскольку вообще не испытываю слуховых ощущений, хотя и воображаю, что эти ощущения весьма интенсивны. Воображаемый визг не режет ухо, но его не примешь и за успокоительный шепот; и никакой воображаемый визг не будет ни сильнее, ни слабее реально услышанного шепота. Они не могут заглушить друг друга.

Подобным же образом не бывает двух видов убийц — тех, кто убивает людей, и тех, кто играет роль убийц на сцене, поскольку последние вообще не являются убийцами. Они не совершают явно бутафорских убийств, они приговариваются, что совершают обычное убийство; и инсценирование убийства влечет не убийство, но лишь его видимость. Как мнимые убийцы не являются убийцами, так и воображаемые образы и звуки не являются видами и звуками. Поэтому они не суть ни блеклые виды, ни глухие звуки. Не представляют они собой также и приватных видов и звуков. Не существует ответа на беспредметный вопрос "Куда вы спрятали жертву вашего мнимого убийства?", поскольку никакой жертвы не было. Не существует ответа и на столь же незаконный вопрос "Где находятся объекты, которые мы воображаем себе?", поскольку таких объектов не существует.

Можно спросить: "Как возможно, чтобы человеку казалось, что он слышит звучащую у него в голове мелодию, если никакой мелодии он не слышит?" Отчасти ответить на такой вопрос нетрудно, а именно: ему не казалось бы и он не воображал бы, что слышит мелодию, в том случае, если бы он на самом деле слышал ее, — во всяком случае не в большей мере, чем актер имитировал бы убийство, если бы и вправду кого-нибудь убивал. Но это еще не все, что можно

сказать. Вопрос "Как возможно, чтобы человеку казалось, что он слышит мелодию, когда нет никакой мелодии, какую можно было бы слышать?" имеет форму вопроса о "винтиках и шпунтиках"¹. То есть вопрос исходит из того, что проблема носит механический или пара-механический характер (и о ней можно спрашивать так же, как спрашивают о фокусах и автоматических телефонах) и что нам необходимо описание скрытых операций, которые совершает человек, когда воображает, что слушает мелодию. Однако для понимания того, что имеется в виду, когда говорят, что некто воображает себя слышащим мелодию, не нужно никакой информации о каких-либо скрытых процессах, протекающих в это самое время. Мы и так знаем с самого детства, в каких ситуациях можно говорить, что люди воображают, что они что-то видят, что-то слышат или делают что-то. Проблема, если таковая существует, заключается в том, чтобы избежать в такого рода описаниях выражений, которыми мы пользуемся, говоря о созерцаемых скачках, о прослушивании концертов или о совершаемых убийствах. Именно эти выражения вынуждают нас говорить, что воображать, что видишь дракона — значит видеть некий реальный фантом дракона, или что инсценировать убийство — значит совершать настоящее псевдубийство, или что слышать воображаемую мелодию — значит слышать некую реальную ментальную мелодию. Принимать подобную лингвистическую практику — значит превращать в видовые понятия те понятия, которые предназначались, во всяком случае отчасти, для отрицания фактичности. Когда говорят, что некое действие является воображаемым убийством, то это означает не то, что речь идет о каком-то тихом или неясном убийстве, но то, что никакого убийства не было вообще; когда говорят, что некто воображает дракона, то это значит не то, что он смутно видит некоего дракона или что-то на него похожее, но что он вообще не видит никакого дракона или нечто схожее с ним. Точно так же человек, который "видит Хелвеллин умственным взором", на самом деле не видит ни самой горы, ни какого-либо ее подобия. В поле его зрения нет никакой горы, как нет и никакой мнимой горы ни в каком поле нетелесного зрения. Но все же верно и то, что он "как бы видит сейчас Хелвеллин", даже если он не в состоянии осознать, что ничего подобного с ним не происходит.

Рассмотрим другой вид воображения. Иногда, когда кто-нибудь упоминает о кузнечном горне, я мгновенно переношусь в прошлое, в свое детство, когда мне случалось бывать в кузнице. Я могу живо "видеть" раскаленную до красна подкову на наковальне, совершенно отчетливо "слышать" молот, бьющий по железу, и не менее живо "чувствовать запах" паленого копыта. Как же следует опи-

¹ Идиома английского языка "wires and pulleys" дословно переводится как "блоки и лебедки", но в русском языке имеет эквивалент — "винтики и шпунтики". — Прим. ред.

сывать это "обоняние умственным носом"? В обычном языке нет средств для выражения того, что я чувствую "подобие" запаха паленого копыта. Как уже было отмечено, на белом свете есть видимые лица и горы, равно как и доступные зрению другие объекты, например, картины, изображающие лица или горы; есть видимые люди и видимые изображения людей. Деревья, равно как и их отражения, могут быть сфотографированы или отражаться в зеркале. Визуальное сравнение реально видимых вещей с их видимыми подобиями привычно нам и не представляет трудности. Со звуками дело обстоит не так просто, но мы различаем сами звуки и их эхо, живое исполнение песни и ее воспроизведение в записи, голоса и подражания им. Отсюда возникает соблазн описывать визуальные образы воображения так, словно это взгляд на подобие, а не на сам оригинал; то же самое происходит и при описании звукового воображения — как если бы оно было услышанным эхом или записью вместо самого голоса. Но у нас нет подобных аналогий для обоняния, вкуса и осязания. Поэтому, когда я говорю, что "чувствую запах" паленого копыта, я не могу подобрать слова, чтобы перефразировать свое утверждение так, чтобы получилось "Я чувствую запах копии паленого копыта". Язык оригиналов и копий не применим к запахам.

Тем не менее я могу сказать со всей определенностью, что живо "чувствую запах" паленого копыта или что этот запах оживает в моей памяти, а само употребление этого глагола показывает, что я знаю, что я не чувствую запаха, но лишь "чувствую запах". Запахи не бывают живыми, достоверными или похожими на настоящие, но только более или менее сильными. Только "запахи" могут быть живыми и, соответственно, не могут быть более или менее сильными, хотя мне и может показаться, что я ощущаю более или менее сильный запах. Как бы живо я ни "чувствовал запах" кузницы, все же запах лаванды в моей комнате, пусть даже слабый, он заглушить не в состоянии. Между запахом и "запахом" нет никакой конкуренции, каковая может быть между запахом лука и запахом лаванды.

Когда недавно побывавший на пожаре человек заявляет, что он все еще "чувствует запах" дыма, то ведь он не думает, что и дом, где он говорит об этом, тоже охвачен огнем. Как бы живо он ни "чувствовал запах" дыма, он знает, что никакого дыма не чувствует. По крайней мере, он понимает это, если пребывает в здравом уме, а если не понимает, то он не скажет, что "запах" живой, но ошибочно назовет запах сильным. Но если верна теория о том, что "чувствовать запах" дыма на самом деле означает чувствовать подобие запаха дыма, то он не смог бы отличить "запах" от запаха в соответствии с тем общеизвестным способом, каким мы отличаем восприятие лица и восприятие его изображения или слушание живых голосов и их записи.

Существует немало наглядных способов, позволяющих различать предметы и их снимки или изображения. Так, картина — это плоскость с краями, возмож-

но, в рамке, ее можно повернуть к стене, перевернуть вверх ногами, снять и разорвать. Даже эхо или запись голоса можно отличить от реального голоса если не на слух, то во всяком случае с помощью определенных технических средств. Но подобного рода размежевания нельзя провести между запахом, вкусом, щекоткой и их копиями, подобиями. В самом деле, не имеет смысла использовать такие слова, как "копия", "подобие", "муляж", по отношению к запахам, вкусам и осязательным ощущениям. Следовательно, мы не рискуем поддаться искушению и сказать, что человек, который "чувствует запах" кузницы, на самом деле чувствует запах некой факсимильной копии или изображения. Ему кажется, что он чувствует запах, либо он воображает, что чувствует какой-то запах, хотя нет таких способов и форм речи, чтобы сказать, будто существует некий внутренний двойник запаха, его факсимильная копия или эхо. Поэтому в данном случае представляется ясным, что "ощущение запаха" не связано с реальным запахом, а значит, и процесс воображения не является восприятием подобия, поскольку это вообще не восприятие.

В таком случае откуда же берется это естественное искушение ошибочно описывать "видения предметов" как видения картин предметов? Дело тут не в том, что "картины" обозначают род, в котором фотоснимки относятся к одному виду, а ментальные картинки — к другому, поскольку термин "ментальные картинки" обозначает картины не в большей степени, чем "мнимые убийства" — реальные убийства. Напротив, мы говорим о "видении" так, как если бы это было видение картин, потому что хорошо знакомый нам опыт восприятия снимков предметов и людей столь часто вызывает "видение" этих вещей и людей. Ведь для того и существуют снимки. Когда я смотрю на стоящий предо мной портрет человека, мне часто кажется, что передо мной сам этот человек, хотя это не так и, может статься, он давно уже умер. Я не стал бы хранить этот портрет, если бы он не отвечал этой функции. Точно так же, когда я слышу запись голоса друга, я представляю себе, будто слышу, как он поет или разговаривает здесь, в этой комнате, хотя нас разделяют мили. Здесь родом выступает кажущееся восприятие, а общеизвестной его разновидностью является кажущееся видение чего-либо при рассматривании обычного фотоснимка этого предмета. Кажущееся видение при отсутствии физической копии предмета — другой его вид. Процесс воображения — это не наличие призрачных картин перед призрачным органом, именуемым "умственным взором", вместе с тем наличие рисунка в поле зрения служит обычным стимулом для воображения.

Портрет друга, выполненный маслом, мы можем описать как "словно живой", если он создает иллюзию того, будто я вижу черты своего друга детально и с большой ясностью в то время, когда его самого я не вижу. Простая карикатура может быть очень похожей, не обладая при этом никаким сходством с похожим на оригинал портретом того же самого человека. Ибо для картины, чтобы

живо походить на оригинал, точное воспроизведение очертаний и цвета лица субъекта не является ни необходимым, ни достаточным условием. Поэтому, когда я живо "вижу" чье-то лицо, это не значит, что я вижу его точную копию, поскольку я мог бы видеть точную копию и без живого "видения" лица и *vice versa*. Но признание портрета человека словно живым или "выразительным" предполагает опору на кажущееся восприятие оригинала, поскольку именно таков смысл слов "словно живой" и "выразительный".

Люди склонны описывать "видение" как видение настоящего, но призрачного подобия, поскольку предпочитают объяснять живость и близкое подобие в терминах сходства, как если бы мне для того, чтобы живо "увидеть" Хелвеллин, на самом деле было необходимо видеть что-то еще, очень похожее на Хелвеллин. Но это ошибочная точка зрения. Рассмотрение репродукции, сколь бы точной она ни была, необязательно приводит к живому "видению", а выразительность физического подобия следует описывать не в терминах сходства, а в терминах живости "видения", которое оно вызывает.

Короче, не существует объектов такого рода, как ментальные картины, а если бы они и существовали, то лицезрение их все же не было бы тем же самым, что кажущееся созерцание лиц и гор. Мы представляем или воображаем себе лица и горы точно так же, как мы, хотя и гораздо реже, "чувствуем запах" палевого копыта. Но представлять себе лица или горы не значит иметь перед собой их изображения; наличие физических копий в поле зрения обычно помогает нашему воображению, хотя мы можем воображать нечто, и часто делаем это, без всяких подсказок такого рода. Опять же, сновидения — не сеанс в приватном кинотеатре. Наоборот, просмотр публичного киносеанса может вызывать определенного вида сновидения. Зритель в кинотеатре видит пестро расцветенный кусок парусины, но при этом он "видит" расстилающиеся прерии. Поэтому высказывание о том, что сновидец рассматривает разнообразно освещенный кусок "ментальной" парусины, переворачивает с ног на голову истинное положение дел, поскольку не существует никакого ментального экрана, а если бы он и существовал, то созерцание этих мелькающих пятен света и цвета не было бы сном, в котором спящий скачет через прерии.

Тенденция описывать визуализацию как видение подлинных, но внутренних подобий усиливает теорию чувственных данных и в свою очередь усиливается последней. Многие сторонники этой теории, ошибочно полагая, что во время "видения" я вижу особый призрачный снимок (хотя его, как это ни странно, нельзя перевернуть), считают, что *a fortiori* во время видения как такового я вижу особые нефизические цветные протяженности. Ошибочно полагая, что имеющий визуальное ощущение рассматривает плоскую цветную мозаику, пребывающую в его "частном пространстве", они тем более склонны утверждать, что в воображении мы разглядываем некую тонкую и призрачную цветную

картинку, парящую в той же самой галерее, что и оригинальная цветовая мозаика. Подобно тому, как в моем кабинете могут быть и сам человек, и его тень или его портрет, так и в моей приватной зрительной галерее одновременно могут находиться как чувственные данные, так и репродукции этих чувственных данных. Мои возражения по поводу интерпретации представления в качестве видения картин сами по себе не опровергают упомянутую теорию чувственных данных в отношении ощущений, но они, как я надеюсь, подрывают эту вспомогательную теорию, утверждающую, что представление — это созерцание репродукций чувственных данных. И если я прав, говоря, что наличие визуального ощущения неверно описывать как некий вид наблюдения за мешаниной цветов, поскольку понятие ощущения отличается от понятия наблюдения, то из этого следует (что можно обосновать и по-другому), что процесс воображения не только не является наблюдением чего бы то ни было, но и не предполагает, что воображающий имеет какие-то особые ощущения. Кажущийся очень громким звук — не оглушает, кажущийся очень ярким свет — не ослепляет. До тех пор, пока считается, что идеи возникают из особого рода впечатлений, описывать что-либо в качестве идеи в этом смысле — значит отрицать наличие впечатления.

(4) ПРОЦЕСС ВООБРАЖЕНИЯ

Уместно задаться вопросами: "Что в таком случае означает для человека представить себе, что он видит или чувствует запах чего-либо? Как ему может казаться, что он слышит мелодию, которую на самом деле не слышит? И, в частности, как он может не понимать, что ему только кажется, что он слышит или видит нечто, как этого явно не понимает запойный алкоголик? В каких именно отношениях "видение" настолько похоже на видение, что человек часто не может, находясь в здравом уме и твердой памяти, сказать, в каком из двух состояний он находится?" Если не связывать эти вопросы с вопросами о "винтиках и шпунтиках", то можно увидеть, что все это просто вопросы, касающиеся понятий процесса воображения или фантазии — понятий, о которых я пока что не сказал ничего позитивного. Не сказал по той причине, что считал необходимым начать с вакцинации нас самих против зачастую неявно принимаемой теории, утверждающей, что процесс воображения должен описываться как созерцание картин, обладающих особым статусом.

Но я надеюсь, что теперь уже ясно, что то, что люди обычно описывают как "наличие ментальной картины Хелвеллина", или "наличие Хелвеллина перед мысленным взором", на самом деле представляет собой особый случай воображения, а именно такой, при котором мы воображаем, что видим Хелвеллин перед собой; а звучание мелодии в чьей-то голове — это воображение себе той мелодии, исполнение которой человек слышал, может быть, в концертном зале.

Я также показал, если это прозвучало убедительно, что ошибочным является мнение о сознании как "месте", где созерцаются ментальные картины и прослушиваются записи голосов и мелодий.

Существует множество самых разнообразных форм поведения, при которых нам обычно и вполне справедливо приписывают игру воображения. Лжесвидетель на допросе, размышляющий над новой машиной изобретатель, сочинитель любовных романов, играющий в медведя ребенок, Генри Ирвинг — все они демонстрируют богатство воображения. Но то же самое делает и судья, выслушивающий ложные показания, коллеги, обсуждающие идеи изобретателя, читатель беллетристики, терпеливо сносящая нечеловеческие вопли "медведя" няня, а также театральные критики и зрители. Ведь мы говорим о проявлении воображения во всех этих случаях не потому, что думаем, что за всеми такими подчас очень разными операциями стоит некая общая составляющая их ядро операция — во всяком случае не в большей степени, чем мы считаем двух разных людей фермерами в силу того, что они оба одинаковым образом выполняют некое коренное (nuclear) фермерское действие. Точно так же, как пахота является одним из видов сельскохозяйственных работ, а опрыскивание деревьев — другим, так и изобретение новой машины — это один способ проявлять дар воображения, а игра в медведя — другой. Никто не думает, что существует некая коренная операция фермерской деятельности, уже одно осуществление которой дает право называть человека "фермером". Но понятия, которыми оперирует теория познания, трактуются менее выдержанно. Здесь часто исходят из того, что действительно существует одна, коренная операция, в которой, собственно, и заключается воображение. То есть утверждается, что и судья, разбирающий ложные показания свидетеля, и ребенок, играющий в медведя, используют свое воображение только если ими обоими выполняется операция, содержащая одинаковый специфический ингредиент. Обычно считают, что эта предполагаемая коренная операция заключается в видении мысленным взором, слышании мысленным слухом и т. д., то есть в некотором специфическом мысленном восприятии. Конечно, при этом не отрицается, что ребенок делает еще много чего другого: он рычит, ползает по полу, щелкает зубами и притворяется спящим в сооруженной им пещере. Но с рассматриваемой точки зрения он вообще что-либо воображает, только если видит своим умственным взором картины косматых лап, занесенной снегом берлоги и пр. Его возгласы и ужимки могут способствовать воображению этих картин или быть его результатом, но само воображение проявляется не в них, но лишь в процессах "видения", "слышания", "обоняния", "вкушания" и "осязания" вещей, которых нет в поле реального восприятия. И соответствующие вещи будут подлинными для внимательного и скептически настроенного эксперта.

Изложенная столь прямо и резко, эта теория выглядит явным абсурдом. Подавляющая часть из того, в чем мы обычно видим проявление дара воображения у детей, игнорируется в пользу ограниченного числа операций, наличие и характер которых трудно выяснить, особенно у относительно не способных к артикуляции детей. Мы видим и слышим, как они играют, но не видим и не слышим их "видящими" или "слышащими". Мы читаем книги Конан Дойля, но не можем заглянуть в то, что он видел своим умственным взором. Итак, исходя из этой теории, мы не можем сразу сказать, наделены или нет способностью воображения дети, актеры и писатели, хотя само слово "воображение" стало использоваться в теории познания именно потому, что мы все знаем, как употреблять его в наших повседневных описаниях детей, актеров и писателей.

Не существует никакой особой Способности Воображения, занимающейся исключительно иллюзорными образами и звучаниями. Напротив, "видение" предметов является одним из проявлений воображения, рычание по-медвежьи — другим; мысленное обоняние запахов — не столь уж обычный акт фантазии, а симуляция болезни — самое обычное дело и т. д. Возможно, что главным мотивом, исходя из которого многие теоретики ограничивали проявление воображения особым классом иллюзорных восприятий, было следующее предположение: поскольку сознание официально подразделялось на три сферы — когнитивную, волевою и эмоциональную, — а воображение относили к первой из них, то его следовало поэтому исключить из двух остальных. Общеизвестно, что ошибки в познании происходят из-за недисциплинированного Воображения, а некоторые его победы — благодаря его более примерной деятельности. Итак, будучи (сумасбродным) оруженосцем Разума, оно не может служить другим хозяевам. Но не стоит делать остановку и обсуждать эту феодальную аллегорию. В самом деле если нас спрашивают, относится ли процесс воображения к познавательной или к непознавательной деятельности, то мы вправе игнорировать этот вопрос. Понятие "познавательный" относится к словарю экзаменационных билетов.

(5) ПРИТВОРСТВО

Начнем с обсуждения понятия притворства, отчасти конститутивного для таких понятий, как мошенничество, исполнение роли, игра в медведя, симуляция болезни и ипохондрия. Отметим, что существуют такие случаи выдумки, при которых притворщик умышленно симулирует или лицемерит, в других случаях он может сам не знать, в какой степени он симулирует или лицемерит. А есть случаи, когда он целиком находится в плену у собственной выдумки. В уменьшенном масштабе иллюстрацией здесь может служить ребенок, играющий в медведя: он знает, если находится в ярко освещенной гостиной, что он

всего-навсего играет в забавную игру, но он же испытает смутное беспокойство, выйдя на пустую лестничную площадку, и не сможет почувствовать себя в безопасности в темном коридоре. Притворство допускает все степени скептицизма и доверчивости, что является обстоятельством, напрямую относящимся к поставленной проблеме: "Как может человек воображать, что он видит нечто, не понимая при этом, что он ничего не видит?" Но если мы поставим аналогичные вопросы: "Как ребенок может изображать из себя медведя, временами не осознавая, что это всего лишь игра? Как может симулянт воображать себе симптомы болезни, не отдавая себе полностью отчета, что это всего лишь его фантазии?" — то увидим, что эти и множество других вопросов подобного рода вообще не являются подлинными "как-вопросами". Тот факт, что люди могут воображать, будто они что-то видят, будто за ними гонится медведь или что у них шалит аппендикс, не сознавая, что это всего лишь их выдумка, — это просто следствие того привычного и общего факта, что далеко не все люди не во всякое время, не во всяком возрасте и не при всех обстоятельствах могут быть столь здравомыслящими и критичными, как того бы хотелось.

Описывать кого-нибудь притворяющимся — значит полагать, что он играет роль, а играть роль означает, как правило, играть роль того, кто сам в свою очередь не играет роли, но бесхитростно и естественно делает что-либо или является кем-либо. Труп неподвижен, и человек, притворяющийся трупом, тоже неподвижен. Но человек, притворяющийся мертвым в отличие от трупа старается сохранить неподвижность и, опять же, в отличие от трупа сохраняет неподвижность из желания походить на мертвеца. Возможно, он искусно и убедительно изображает неподвижность, тогда как труп просто неподвижен. Труп мертв по определению, но мнимый покойник ведь жив. На самом деле последний должен не только быть живым, но также и бодрствующим, не лишенным сознания, не грезящим, а сознательно играющим свою роль.

Разговор о человеке, притворяющемся медведем или мертвецом, косвенно предполагает и речь о том, как ведут себя медведи и трупы. В этой роли он или рычит, как рычат медведи, или лежит неподвижно, как лежат мертвецы. Нельзя правильно играть роль, не зная, на что похож и каков в жизни тот прототип, которого нужно сыграть, нельзя признать инсценировку убедительной или неубедительной, счесть ее искусной или никуда не годной, не зная того, как все изображаемое обстоит на самом деле. Рычать, как медведь, или лежать неподвижно, как труп, — это умышленное и нарочитое притворство, тогда как медвежье рычание и трупное оцепенение выглядят безыскусно.

Это различие аналогично разнице между цитированием суждения и самим актом суждения. Если я цитирую ваши слова, то я говорю только то, что сказали вы; я даже могу произнести их в точности с вашей интонацией. Однако полное описание моего действия совсем не схоже с вашим. Возможно, что вы — опыт-

ный, искусный проповедник, а я — лишь репортер или пародист. Вы — первоисточник, а я — эхо; вы говорили о том, во что верили, а я говорю то, во что не верю. Короче, слова, которые я произношу, как бы заключены в кавычки. Слова же, которые произносили вы, не были бы таковыми. Вы говорили в *oratio recta*, то, что говорю я, следует воспринимать как *oratio obliqua*. Точно так же медведь просто рычит, а рычание ребенка — это рычание, если так можно сказать, в кавычках. Его непосредственное действие в отличие от медведя — это акт представления, что косвенно включает рычание. Однако ребенок продельвает одновременно два действия, как и я, цитируя вас, не говорю дважды. Подражательное действие отличается от настоящего не тем, что является комплексом из двух действий, а тем, что есть одно действие, требующее особого рода комплексного описания. Упоминание о подлинном положении дел входит в описание притворных действий. Звуки, издаваемые ребенком, могут быть сколь угодно похожими на рев медведя, точно так же как то, что слетает с моих губ, может быть сколь угодно похожим на произносимое вами в вашей проповеди, хотя понятие о такого рода подражаниях логически весьма отличается от понятия о подлинных действиях. При описании их авторов мы пользуемся совершенно разными наборами предикатов.

Относится ли поддельная подпись к тому же самому роду вещей, что и настоящая, или же это вещь иного рода? Если подделка безупречна, то в таком случае один банковский чек реально неотличим от другого, а значит, в этом смысле обе подписи можно отнести к одному сорту. Но поддельвание подписи совсем не то же самое, что простое подписывание; первое требует того, чего не нужно для второго, — желанья и способности изобразить знаки, неотличимые от подписи. В этом смысле они суть совершенно разные вещи. Мошенник пускает в ход всю свою изобретательность, пытаясь сделать безупречное факсимиле настоящего чека, тогда как собственная подпись не требует от настоящего владельца никаких ухищрений. Результат подлога следует описывать в терминах сходства почерков точно так же, как детскую игру — в терминах сходства звуков, издаваемых ребенком, и рычанием настоящего медведя. Умышленное уподобление является частью понятия копирования. Само подобие между копиями и оригиналами составляет типологическое отличие копирования от того, что копируют.

Существует много различных видов притворства и различных мотивов, по которым люди притворяются, а также различных критериев, при помощи которых их притворство оценивается как умелое или неумелое. Ребенок притворяется ради смеха, ханжа — из корысти, ипохондрик — из-за патологической самовлюбленности, шпион — иногда из чувства патриотизма, актер — временами ради искусства, а преподавательница кулинарного мастерства — для наглядности рецепта. Рассмотрим пример с боксером, работающим в спарринге

со своим инструктором. Они двигаются, как в серьезном поединке, хотя ведут бой не всерьез; они притворяются, что атакуют, отступают, наносят и парируют удары, хотя не ставят себе цели победить и не опасаются поражения. Ученик осваивает маневры, разыгрывая их, а инструктор обучает им, разыгрывая их. Но хотя они только изображают поединок, это вовсе не означает, что они делают два дела одновременно. Дело обстоит не так, что они наносят удары и в то же время тянут с ними, идут на уловки и в то же время обнаруживают их, усердно молотят кулаками и при этом непрерывно обсуждают свои действия. Они могут выполнять только один порядок действий, но выполняют эти движения в гипотетическом, а не в категорическом стиле. Намерение причинить боль лишь косвенно содержится в описании того, что они пытаются сделать. Они не пытаются ни причинить боль, ни избежать боли, но лишь стараются отработать приемы нанесения или избежания повреждений с целью подготовки к настоящим боям. Главное в учебном бою — удержаться от нанесения сокрушающих ударов, когда они в принципе возможны, т. е. в ситуациях, при которых в серьезном бою такого рода удары были бы нанесены. Грубо говоря, условный поединок — это серия точно рассчитанных пропусков боевых ударов.

Основная идея этих примеров заключается в том, что имитируемое или притворное действие может быть единым, хотя его описание содержит некоторую внутреннюю двойственность. Делается всегда что-то одно, однако описание сделанного требует фразы, состоящей по меньшей мере из главного и придаточного предложений. Осознать это — значит понять, почему говорить об актере, играющем роль идиота, что он остроумно изображает дурацкие гримасы, или о клоуне, что он ловко неуклюж и блестяще глуп, — не более чем вербальное противоречие. Уничжительное прилагательное относится к поведению, упомянутому в придаточном предложении описания, а лестное прилагательное или наречие — к деятельности, упомянутой в главном предложении, хотя речь идет о едином порядке действий. Точно так же, когда я цитирую какое-либо утверждение, вы справедливо могли бы подметить, что я говорю одновременно "точно" и "неточно", поскольку это могла быть совершенно точная цитата абсолютно неверного утверждения о размере национального дохода и *vice versa*. И это при том, что я высказал только одно утверждение.

Акт симулирования — не единственный случай, описание которого содержит такой дуализм прямого и косвенного. Если я повинуюсь приказу, то я делаю то, что мне сказано, и соглашаюсь с командой; но соглашаясь с приказом и выполняя его, я осуществляю только одно действие. Однако описание того, что я делаю при этом, носит комплексный характер в том смысле, что оно вполне справедливо характеризует мое поведение посредством двух на первый взгляд несовместимых предикатов. Я делаю то, что мне приказано, в силу привычки подчиняться, хотя то, что мне приказано делать, не входит в мои привычки. Или

же я повинуюсь, как положено хорошему солдату, хотя то, что мне приказано, предназначено для того, чтобы наказать плохого солдата. Аналогично этому я могу, разумно следуя совету, сделать что-нибудь неразумное или же с трудом довести до конца то, что намерен был сделать с легкостью. В шестом разделе главы VI мы для удобства провели вербальное различие между задачами более высокого и более низкого уровня и соответствующими уровнями действий, понимая под "задачей высшего уровня" такую, описание которой включает в себя упоминание о другой задаче, описание которой носит менее сложный характер. Впоследствии станет ясно, что тот факт, что действия по выполнению одной задачи целиком совпадают с действиями по выполнению другой, совместим с тем обстоятельством, что описания этих задач не просто различны, но типологически различны в указанном выше смысле.

Но вернемся к притворству. Расположение духа человека, притворяющегося раздраженным, отличается от расположения духа человека, который раздражен на самом деле, и отличие здесь не сводится только к тому, что первый реально не испытывает раздражения. Он не раздражен, хотя и ведет себя так, словно раздражен; и такая симуляция некоторым образом предполагает наличие мысли о раздражительности. Он должен не только знать, что значит быть раздраженным, но и определенным образом применять это знание. Он сознательно копирует действия раздраженного человека. Но когда мы говорим, что имитация поведения раздраженного человека включает мысль о раздражительности, мы подвергаемся определенному риску, а именно риску предположить, что симуляция раздражения является двойственным процессом, одна операция которого — размышление о состоянии раздражения — направляет и контролирует вторую операцию по демонстрации псевдораздражения. Такое предположение было бы ошибочным. Независимо от того, были ли сцены подражания заранее продуманы и спланированы или нет и насколько явственно это проступает, осмысление имитируемого включено в процесс имитации иным образом. Попытка вести себя так, как ведет себя раздраженный человек, отчасти уже сама по себе является продумыванием того, как он мог бы себя вести. Более-менее достоверное изображение его недовольных гримас и жестов является активным использованием знания о том, как ведет себя раздраженный человек. Мы признаем, что человек знает, что представляет собой нрав трактирщика, хотя он и не способен дать себе или нам хотя бы приблизительное его вербальное описание в том случае, если он может в лицах разыграть эту роль; а если у него это получается, то он не может сказать, что неспособен помыслить поведение раздраженного трактирщика. Подражание ему *и есть* мышление о том, как тот себя ведет. Если мы спросим человека, как он представляет себе трактирщика, то не станем отвергать ответ в виде попытки перевоплотиться в последнего и требовать взамен словесного описания. На самом деле все обстоит пря-

мо противоположным образом, нежели в понятии о симуляции раздражения, требующем каузального объяснения того, как операции планирования управляют операциями псевдо раздраженного поведения. Чтобы объяснить, в каком смысле планирование линии поведения ведет к исполнению запланированного, необходимо показать, что выполняющий запланированное задание совершает не два действия, но одно. Но выполненное действие является актом высшего порядка, поскольку его описание представляет собой логический комплекс, такой же как и описание притворства и повиновения. Действовать согласно плану, как и рычать медведем, — довольно изощренное занятие. Для его описания мы должны косвенно упомянуть о действиях, описание которых не включает соответствующих косвенных упоминаний. К такого же типа актам относятся раскаяние в содеянном, следование принятому решению, насмешка над действиями другого, подчинение принятым правилам. Во всех перечисленных случаях, впрочем, как и во многих других, выполнение действий высшего уровня подразумевает размышление о действиях более низкого уровня, однако сама фраза "под подразумевает размышление о" не означает побочного выполнения другого, когнитивного, акта.

В этой связи заслуживает упоминания одна разновидность притворства. Человек, планирующий нечто или размышляющий над какой-то задачей, может посчитать полезным или забавным перебрать в уме и опробовать те мысли, которые он вообще или же покамест не собирался воспринимать всерьез. Допускать, предполагать, играть с идеями, рассматривать возможные варианты — все это суть формы притворного принятия схем и теорий. Высказывания, в которых выражаются принятые таким образом утверждения, употребляются не всерьез и не искренне. Говоря метафорически, они берутся в кавычки. Кавычки — неотъемлемая часть интеллектуального стиля теоретика. Он высказывается в гипотетической, а не в категорической установке сознания. Весьма вероятно, что он дает понять, что его высказывания носят утонченный, а не наивно-прямолинейный характер, посредством использования таких специальных слов-сигналов, как "если", "предположим", "допустим", "так, сказать" и т. д. Или же он говорит, вслух или про себя, тоном, который можно уподобить учебному бою в отличие от реального боя. Но все равно его могут неправильно понять и обвинить в том, что он придает слишком серьезное значение высказываемому, и тогда ему придется объяснять, что он отнюдь не связывает себя с утверждаемым, но лишь рассматривает то, с чем пришлось бы столкнуться, будь оно так на самом деле. Он просто обкатывал эту мысль, быть может, для того, чтобы попрактиковаться в ней и испытать ее. Иначе говоря, выдвижение предположений — это более тонкая и изощренная операция, чем простое бесхитростное размышление. Мы должны научиться выносить вердикты прежде, чем научимся оперировать такими подвешенными суждениями.

Этот момент стоит особо отметить отчасти из-за его тесной связи с понятием воображения, а отчасти по той причине, что логики и эпистемологи нередко думают, как и я сам думал долгое время, что согласие с некоторым утверждением представляет собой более простое и безыскусное действие, чем само утверждение о том, что нечто обстоит так-то и так-то, и, следовательно, обучение, например тому, как пользоваться словом "поэтому", требует прежде научиться использовать слово "если". Это ошибка. Понятие притворства относится к более высокому порядку, чем понятие веры.

б) ПРИТВОРСТВО, ФАНТАЗИРОВАНИЕ И ВООБРАЖЕНИЕ.

Не так уж велика разница между ребенком, играющим в пирата, и человеком, который воображает, что он пират. Каково здесь различие, видно по используемым нами словам. Такие слова, как "играть", "притворяться" и "исполнять роль", мы применяем, когда говорим, что зрители сочли спектакль более-менее убедительным, тогда как "фантазировать" и "воображать" используем, когда считаем, что сам актер только отчасти выглядел убедительно. Такие слова, как "играть" и "притворяться", употребляются также для обозначения нарочитого театрализованного, отрепетированного действия, тогда как словами "фантазировать" и "воображать" мы чаще всего обозначаем то притворство, в плен которого люди попадают случайно и нередко даже против своей воли. В основе этих двух отличий лежит, возможно, более радикальное различие: мы применяем слова "притворяться" и "исполнять роль" для внешних, телесных представлений чего бы то ни было, тогда как словами "воображать" и "фантазировать" мы обозначаем, хотя и со многими исключениями, нечто такое, что у людей происходит скрытно, невидимо и неслышно — "в голове", т. е. их воображаемые перцепции, а не их подражательные действия.

Нас тут главным образом интересует именно та особая сфера вымысла, которую мы называем "воображением", "визуализацией", "видением мысленным взором" и "происходящим в голове". Даже те, кто согласны, что спарринг представляет собой ведение боя в гипотетической манере, вряд ли согласятся, что то же самое можно сказать относительно мысленного созерцания горы Хелвеллин. О каких гипотетических по своей манере движениях можно говорить в этом случае? Даже при том, что, говоря о "видении" алкоголиком змей, мы используем кавычки, как используем их и тогда, когда говорим, что ребенок "снимает скальп" своей няни или что боксер "наносит удар" своему спарринг-партнеру, все же следует иметь в виду, что смысл кавычек не равнозначен в этих двух типах случаев. Мысленное представление — это не поддельное видение в том же смысле, в каком спарринг — мнимый бой.

Я надеюсь, что мы уже избавились от идеи, будто визуальное представление Хелвеллина — это созерцание картины, изображающей Хелвеллин, или что

вертящаяся в голове мелодия болеро — это прослушивание некоего приватного репродуктора или внутреннего эха этой мелодии. Теперь настал черед избавиться от еще более утонченных суеверий. Эпистемологи на протяжении долгого времени внушали нам, что ментальная картина или визуальный образ относятся к визуальному ощущению, подобно тому как соотносятся эхо и звук, синяк и удар, отражение в зеркале и лицо. В развитие этой мысли было выдвинуто предположение, что происходящее во мне, когда я "вижу", "слышу" или "чувствую запах", соответствует тому элементу восприятия, который является чисто сенсорным, а не тому, который обуславливает узнавание или понимание, — т. е. что воображение есть проявление общей чувствительности, а не функция рассудка, поскольку он состоит не из собственно ощущений, а из признаков-следов ощущений.

Однако это совершенно ложная точка зрения. Поскольку человек может слышать звучание неизвестной ему мелодии, то он может слушать ее, не зная при этом, как она построена; но мы ведь не скажем о человеке, в чьей голове звучит некая мелодия, что он не знает, как она строится. Звучание мелодии в голове — это общеизвестный способ, каким проявляется знание той или иной мелодии. Поэтому звучание мелодии в голове нельзя уподоблять простому наличию слуховых ощущений; это, скорее, похоже на слежение за знакомой мелодией, а такое отслеживание слышимой мелодии не является функцией сенсорной чувствительности.

Точно так же если я загляну в щель забора в туманный день, то я, возможно, не смогу определить, что вижу дождевой поток, стекающий вниз по склону горы. Но было бы абсурдом сказать: "Я живо вижу нечто мысленным взором, но даже приблизительно не могу понять, что это такое". Правда, я могу мысленно видеть чье-то лицо и одновременно не суметь вспомнить имя этого человека, точно так же как мысленно слышать какую-то мелодию, название которой уже стерлось в моей памяти. Но я знаю, как звучит эта мелодия, и знаю, что за лицо я себе представил. Мысленное созерцание данного лица — это одно из проявлений моего знания этого лица; словесное его описание — другая и реже встречающаяся способность, а узнавание его во плоти — самый обычный и заурядный случай.

В предыдущей главе мы говорили, что восприятие вызывает как наличие ощущений, так и нечто еще, что можно с известной натяжкой назвать "мышлением". Теперь мы можем сказать, что представлять, воображать или фантазировать, что ты что-то видишь или слышишь, тоже включает мышление — в указанном только что смысле. В самом деле, это должно быть очевидным, если мы считаем, что наше представление о чем-то должно характеризоваться как более или менее живое, ясное, достоверное или точное, т. е. описываться при помощи прилагательных, означающих не просто наличие, но и применение зна-

ния о том, как представленный объект выглядит или же выглядел бы в реальности. С моей стороны было бы абсурдом сказать, что я живо помню запах жженого копыта, но мне вовсе не обязательно узнавать этот запах, если бы копыто дымилось в моем присутствии. Таким образом, процесс воображения не является функцией чистой чувственности, и существо, которое было бы наделено ощущениями, но не было способно к обучению, могло бы "видеть" или представлять предметы не более успешно, чем писать или произносить слова.

Человек, в голове у которого звучит мелодия, тем самым уже применяет свое знание этой мелодии; он некоторым образом понимает, что именно он услышал бы, прозвучи эта мелодия на самом деле. Подобно тому как боксер во время учебного боя наносит и парирует гипотетические удары, так и человек со звучащей в голове мелодией может быть описан как слушающий ее гипотетическим образом. Далее, так же как актер, который реально никого не убивает, человек, представляющий Хелвеллин, не видит этой горы. В самом деле, как мы знаем, он может представлять себе эту гору и с закрытыми глазами. Процесс представления горы — это вовсе не переживание или что-то вроде переживания визуальных ощущений, он совместим с отсутствием такого рода ощущений и чего-либо сходного с ними. Нет ничего в представлении, что было бы сродни ощущениям. В этом смысле осознание того, как выглядел бы Хелвеллин, так же соотносится с зрительным восприятием горы, как умышленное подражание соотносится с бесхитростным действием, указание на какое-то косвенно содержится в описании действия более высокого порядка.

Но остается, или только по видимости остается, еще одно принципиальное различие, которое можно пояснить следующим образом. Моряк, которого просят показать, как вяжется некий морской узел, обнаруживает, что у него нет веревки для такой демонстрации. Тем не менее он делает примерно то же самое, показывая движениями рук, как завязывается данный узел. Зрители видят, как он завязывал бы этот узел, наблюдая за его руками и пальцами, в которых нет никакой веревки. И хотя он, можно сказать, гипотетически завязывает узел на веревке, он все же при этом реально шевелит руками и пальцами. Но человек, воображающий Хелвеллин с закрытыми глазами и наслаждающийся, конечно же, только гипотетическим видом горы, не кажется реально совершающим что бы то ни было. Возможно, его несуществующее визуальное ощущение соответствует несуществующему куску веревки у моряка, но что в таком случае соответствует движениям рук и пальцев последнего? Моряк все-таки показывает зрителям, как нужно завязывать узел; но человек, который мысленно видит гору, ведь не демонстрирует тем самым своему спутнику ее очертания или ее цвета. Но показывает ли он их хотя бы самому себе?

Это различие между двумя разновидностями имитации является, однако, не чем иным, как следствием различия между восприятием чего-либо и осуществ-

лением чего-либо. Но это не различие между частным и публичным осуществлением чего-либо, поскольку восприятие вообще не есть осуществление чего бы то ни было. Оно есть получение или, иногда, сохранение чего-нибудь, но оно никогда ничего не производит. Видение и слышание не являются ни наблюдаемыми, ни ненаблюдаемыми действиями, поскольку они вообще не суть действия. Высказывания "Я видел ваше созерцание заката" или "Я не заметил, что слушаю музыку" представляют собой бессмыслицу. А если бессмысленно говорить, что я мог или не смог быть очевидцем сцен слышания или видения, то это *a fortiori* лишает смысла и речь о том, что я был или не смог быть свидетелем сцен воображаемого слышания или воображаемого видения. Ни слышание, ни видение тут вообще, не имеют места.

Представим себе человека в концертном зале. Его сосед может видеть, как наш герой, положим, постукивает в такт музыке, или даже невольно слышать, как он тихонько насвистывает или мурлычет себе под нос мелодию, которую исполняет оркестр. Но мы не только не скажем, что сосед может видеть или подслушать, как этот человек слушает музыку, подобно тому, как он видит или подслушивает, как тот подпевает ей, но мы не скажем и того, что соседу не удалось воочию удостовериться, что этот человек слушает музыку. Слова "тайно" и "явно" не применимы к "слушанию" так, как они применимы к "сквернословию" или "плетению интриг". *A fortiori*, хотя путешественник в поезде может заметить, что его попутчик отбивает такт какой-то мелодии, крутящейся в его в голове, он не станет утверждать при этом, что заметил или не смог заметить "слушание" им воображаемой мелодии.

Далее, как мы видели в предыдущей главе, прослушивание знакомой мелодии включает не только слышание нот, но также и нечто большее. Оно включает, если так можно сказать, наличие соответствующей готовой ниши для каждой ноты, по мере того как они приближаются. Каждая нота звучит так и тогда, как и когда она ожидается; слышится то, во что вслушались. Такое вслушивание в ноты, которые должны зазвучать вовремя, предполагает, что данная мелодия разучена и не забыта и, следовательно, является результатом тренировки, а не просто функцией слуховой чувствительности. Глуховатый человек может следить за мелодией лучше, чем имеющий более острый слух.

Человек, слушающий едва знакомую мелодию, иногда может поймать себя на том, что воспринимает мелодию неверно, подразумевая под этим тот факт, что, хотя он сам не играл и не напевал эту мелодию и всего лишь вслушивается в нее, ему то там, то здесь слышатся какие-то иные ноты, чем те, которым полагалось бы звучать. Он также удивлен, услышав вдруг особенный ритм, хотя и осознает, что удивление вызвано его собственной ошибкой. Следует заметить, что его заблуждение относительно хода мелодии вовсе не нуждается (и обычно так и не бывает) в выражении в виде ложного суждения, частного или высказанного

публично. Все что он "делал" — это прислушивался к тому, что не должно было звучать, а не к тому, что должно было звучать, и такое вслушивание в ноты не может считаться осуществленным действием или серией таких действий.

Именно этот момент проясняет ситуацию человека, слушающего воображаемую мелодию. Ожидать, что мелодия примет один вид, когда на самом деле она принимает другой, — это уже делать предположение, фантазировать или воображать. Когда услышанное не соответствует ожидаемому, то ожидаемое может быть описано только как звуки, которые могли бы быть услышаны, а установка сознания, в которой они ожидалась, была поэтому установкой ошибочного ожидания. Слушателя либо разочаровывает, либо смущает то, что он слышит на самом деле. Человек, мысленно проигрывающий какую-то мелодию, находится отчасти в схожей ситуации. Он также слушает нечто, чего он не воспринимает, хотя он все время отчетливо сознает, что и не собирался ничего воспринимать. Он тоже может ошибаться в мелодии и понимать или не понимать свою ошибку — факт, который сам по себе доказывает, что процесс воображения суть не просто наличие ощущений или эха ощущений, поскольку его нельзя характеризовать как восприятие ошибочной или верной версии мелодии.

Мысленное прокручивание мелодии похоже на прослушивание реально звучащей мелодии и по сути дела является своего рода ее повторением. Однако сходство воображаемого действия с реальным заключается не в том, как часто считается, что оно включает в себя слышание призрачных нот, во всем, кроме громкости, подобных нотам реально звучащей мелодии, а в том, что оба действия — суть реализация знания того, как звучит данная мелодия. Это знание проявляется в узнавании и умении следить за мелодией, когда та слышна на самом деле; оно проявляется в напевании или подыгрывании ей, в обнаружении ошибок при ее исполнении, а также в воображаемом подпевании или исполнении ее или же лишь в воображаемом ее прослушивании. Знание этой мелодии как раз и есть способность узнавать ее и следить за ней, воспроизводить ее, фиксировать ошибки при ее исполнении и мысленно проигрывать ее в голове. Мы не можем допустить, что человек, который правильно насвистывал и мысленно прокручивал мелодию, не знал, как она звучала. Действия такого рода и есть понимание того, как звучит мелодия.

Но чисто воображаемое действие является более утонченным, чем простое прослушивание звучащей мелодии или напевание ее себе под нос, поскольку оно предполагает мысль о ее прослушивании или воспроизведении — точно так же как учебный предполагает мысль о серьезном поединке, а повторение чьих-то слов предполагает мысль об их первоисточнике. Воображаемое прослушивание знакомой мелодии подразумевает "прислушивание" к нотам, которые должны были быть услышаны в случае реального исполнения мелодии. Это и есть прислушивание к нотам гипотетическим образом. Точно так же вообра-

жаемое напевание знакомой мелодии подразумевает "готовность" к звукам, которые следовало бы напевать, если бы некто в самом деле напевал эту мелодию. Это и есть готовность к соответствующим нотам в гипотетическом плане. И это отнюдь не очень-очень тихое напевание, скорее, это умышленное воздержание от пения вслух, которое могло бы последовать, если бы не нужно было соблюдать тишину. Можно сказать, что сам процесс воображения себя говорящим или напевающим представляет собой серию воздержаний от воспроизведения звуков, которые должны были бы стать словами или нотами, если бы кто-то говорил или напевал вслух. Вот почему такие операции покрыты непроницаемой завесой тайны. Дело не в том, что слова и ноты воспроизводятся в некоей герметически закрытой капсуле, а в том, что сама операция состоит в воздержании от их воспроизведения. Вот почему умение воображать себя говорящим или напевающим приходит позже, чем навык говорить или напевать. Разговор про себя — это поток невысказанных содержаний. Воздержание от высказываний, конечно же, подразумевает и знание того, что было бы сказано, и того, как это было бы сказано.

Несомненно, бывает так, что, воображая мелодию, люди представляют себе, что они не просто пассивно слушают, но и сами активно воспроизводят звуки этой мелодии, точно так же как воображаемый разговор чаще всего содержит не только воображаемое выслушивание, но и воображаемую ответную речь. Весьма вероятно также, что человек, который воображает, что он издает звуки, слегка напрягает те мышцы, которые были бы полностью задействованы, если бы он пел или говорил в полный голос. Но это уже другой вопрос, и его мы здесь не касаемся. Наша задача состоит в выяснении значения того, что некто "слышит" что-то, чего он на самом деле не слышит.

Нетрудно применить наш подход к визуальным и другим образам. Созерцание Хелвеллина мысленным взором не вызывает визуальных ощущений в отличие от восприятия самой этой горы и ее фотоснимков. Но оно предполагает мысль о наличии вида Хелвеллина и, следовательно, является более изощренной операцией, чем простое видение горы. Это одна из форм применения знания о том, как должен выглядеть настоящий Хелвеллин, или, в известном смысле, это понимание того, как он должен выглядеть. Те ожидания, которые сбываются при узнавании Хелвеллина с первого взгляда, на самом деле не сбываются при его мысленном представлении, но это представление есть своеобразная репетиция исполнения такого рода ожиданий. В отличие от мысленного представления, якобы подразумевающего наличие слабых ощущений или неких призраков этих ощущений, такая репетиция подразумевает отсутствие именно того, что было бы воспринято при созерцании самой горы.

Конечно, не всякое воображение является представлением реальных лиц и гор или же "слышанием" знакомых мелодий и голосов. Мы в состоянии предста-

вить себя созерцающими сказочные горы. По всей видимости, композиторы могут представлять себе, что они слышат мелодии, которые до этого никогда не исполнялись. Соответственно, можно предположить, что в такого рода случаях речь не идет о достоверном изображении воображаемых сцен или о том, что сочиняемая в уме мелодия "слышится" иначе, чем она звучит на самом деле, — с тем же успехом Ганса Христиана Андерсена можно было бы обвинить в неверном описании походов его героев или же похвалить за фактуальную точность его сказок.

Рассмотрим некоторые параллели между имитацией и цитированием. Допустим, что некий актер играет сегодня роль француза, а завтра — пришельца с Марса. Относительно его первой роли мы можем знать, в какой мере она была сыграна убедительно или неубедительно, но что мы могли бы сказать относительно второй? Или, к примеру, я мог бы начать цитировать сказанное вами, а затем высказать то, что вы могли бы или же должны были бы сказать. Мы знаем, что такое точность в цитировании, однако мнимая цитата не может быть ни точной, ни неточной; она единственно, в некотором слабом смысле, может быть в духе или же не в духе того, что вы обычно говорили или могли бы сказать. Тем не менее актер претендует на создание верного образа марсианина, а я претендую на то, что цитирую ваши собственные слова. Это есть пример двойного представления. В сходной ситуации оказывается мальчик, подражающий учебному бою боксеров, так как он не ведет настоящего боя и не репетирует такого боя, — он инсценирует некоторые движения человека, репетирующего ход реального поединка. Он воображает, что ведет воображаемый бой. Точно так же как предикаты, описывающие реальный бой, не применимы к описанию спарринга, так и предикаты, описывающие спарринг, не применимы к описанию имитации этого спарринга. Соответственно, не только те предикаты, при помощи которых мы описываем вид на Хелвеллин, раскинувшийся перед нами, не применимы к нашему мысленному представлению Хелвеллина, но также и предикаты, при помощи которых мы описываем наши визуализации этой горы, не применимы к нашим же визуализациям Атланта или Джека Бобового Стебля. Тем не менее мы претендуем на то, что именно так и выглядел бы Атлант или Джек Бобовый Стебель. Мы совершаем акт двойного воображения.

Теперь мы в состоянии определить и исправить ошибку, допущенную Юмом. Неверно предположив, что "видеть" или "слышать" означает иметь некоторую тень ощущения (что влечет дальнейшую ошибку, допускающую существование ощущений-призраков), он выдвинул каузальную теорию о том, что нельзя получить никакой конкретной "идеи", не получив предварительно соответствующего ощущения, — примерно так же как наличие синяка подразумевает, что перед этим человек ударился об угол. Юм, по-видимому, думал, что цвета, которые я вижу умственным взором, суть следы, каким-то образом оставленные

теми цветными предметами, которые перед этим я видел открытыми глазами. Единственно верной мыслью здесь является вот что: то, что я вижу мысленным взором и что я слышу "в своей голове", определенным образом связано с тем, что я раньше видел или слышал. Но сущность этой связи совершенно не такова, как ее себе представлял Юм.

Мы видели, что воображаемые действия предполагают настоящие в том смысле, что изображение первых особым образом включает в себя мысль о вторых. Человек, который не имеет представления о том, как рычат медведи или как убийцы совершают свое дело, не смог бы изображать медведей и играть роли убийц. Не мог бы он и критически оценить такого рода действия. Точно так же человек, не знающий, как выглядит нечто голубое или как стучит в дверь почтальон, не смог бы мысленно увидеть голубой предмет или "услышать" стук почтальона. Не смог бы он и распознать, что перед ним голубая вещь или что стучит именно почтальон. Изначально и главным образом мы узнаем, каковы вещи на вид и какие они издают звуки, лишь когда видим и слышим их. Процесс воображения, будучи одним из многих способов применения наших знаний, требует, чтобы соответствующее знание было получено и не стерлось из памяти. Пара-механическая теория следов нужна нам для объяснения нашей ограниченной способности видеть умственным взором не больше, чем для объяснения нашей ограниченной способности переводить с французского на английский. Требуется только понять, что усвоение уроков восприятия подразумевает сам процесс восприятия, а применение таких уроков подразумевает их усвоение и что процесс воображения является одним из способов применения этих уроков. Поклонники теории следов должны весьма постараться, чтобы приспособить свою теорию к случаю мелодии, звучащей в голове. Что это — оживший след слухового ощущения или серия оживших следов серии слуховых ощущений?

(7) ПАМЯТЬ

Имеет смысл дополнить эту дискуссию о воображении кратким обсуждением способности припоминания. Прежде всего следует указать на два весьма различных способа обычного употребления глагола "помнить".

(а) Важнейшим и наименее спорным употреблением этого глагола является то, при котором помнить нечто означает усвоить его и не забывать. Именно в этом смысле мы говорим, что помним греческий алфавит, или дорогу, ведущую от карьера к месту промывки гравия, или доказательство теоремы, или то, как ездить на велосипеде, или то, что следующее заседание правления назначено на конец июля. Сказать, что человек не забыл нечто, не значит сказать ни того, что он сейчас что-то делает или претерпевает, ни даже того, что он регулярно либо иногда что-то делает или чему-то подвергается. Это значит, что он *может* нечто

делать, к примеру воспроизвести греческий алфавит, направить незнакомца назад от места промывки гравия туда, где его добывают, а также поправить того, кто говорит, что следующее заседание правления назначено на начало июля.

При таком употреблении говорят как о запомненном о любом усвоенном уроке. То, что усвоено и не забыто, может и не иметь никакого отношения к прошлому, хотя его усвоение, конечно же, предшествует ситуации, в которой усвоенное остается не позабытым. Глагол "помнить" в этом значении часто, хотя и не всегда, употребляется как вполне допустимый парафраз глагола "знать".

(b) Совершенно отличным от этого является употребление глагола "помнить", при котором о человеке говорят, что он помнит или вспоминает нечто в определенный момент или что он в настоящий момент вспоминает, обзревает или останавливается на каком-то эпизоде из собственного прошлого. В этом случае воспоминание есть некое событие, нечто такое, что человек может пытаться проделать с успехом или же тщетно, что на время занимает его внимание и что может вызывать удовольствие или страдание, что дается легко или с трудом. Адвокат заставляет свидетеля вспомнить какие-то детали случившегося, тогда как учитель натаскивает своих учеников, чтобы те не забывали выученное.

Процесс воспоминания имеет некоторые общие черты с процессом воображения. Я вспоминаю только то, что сам увидел, услышал, сделал или почувствовал, подобно тому как воображаю, что я сам вижу, слышу, делаю или замечаю; и я вспоминаю так же, как и воображаю, — более или менее живо, легко и связно. Кроме того, я воображаю нечто иногда намеренно, а иногда — невольно; так же я и вспоминаю — когда намеренно, а когда и невольно.

Между представлением об удержании в памяти некоторой информации и ее воспоминанием существует связь, которая представляется важной. Когда говорят, что человек действительно вспоминает или может вспомнить что-то или ему можно напомнить о чем-то, то подразумевают, что он не забыл об этом. Вместе с тем сказать, что он не забыл нечто, не означает, что он когда-либо вспоминает или может вспомнить об этом. Противоречиво было бы говорить, что я припоминаю или мог бы припомнить происшествие на пикнике, которому стал свидетелем, хотя я уже не знаю, что там произошло. И не будет противоречием сказать, что я знаю, когда родился или когда у меня удалили аппендикс, хотя я не могу вспомнить, как это происходило. Абсурдно говорить, что я вспоминаю или могу вспомнить поражение Наполеона при Ватерлоо или то, как переводить с английского на греческий, хотя я и не забывал этого; все это не относится к тому, о чем я могу вспоминать, в том смысле этого глагола, что то, что я вспоминаю, непременно должно быть тем, чему я сам был свидетелем, что сам сделал или испытал.

Теоретики иногда говорят о памяти-знании, памяти-вере и свидетельствах памяти. И в дискуссиях об "источниках" знания и путях познания вещей они порой заявляют, что память и есть один из таких источников, а процесс припо-

минания — один из способов познания вещей. Соответственно, память иногда ставится в один ряд с восприятием и умозаключением в качестве когнитивной способности или силы, а припоминание приравнивается к актам восприятия и умозаключения в качестве когнитивного акта или процесса.

Это ошибка. Если свидетеля спросить, откуда он знает, что нечто имело место, он может ответить, что сам видел это, или что ему говорили об этом, или же что он пришел к такому выводу на основе увиденного или услышанного им. Он не мог бы дать ответ в том смысле, что разузнал о том, что произошло, поскольку не забыл этого или же благодаря припоминанию того, как он это выяснил. Воспоминание и не-забвение не являются ни "источниками" знания, ни способами его достижения, если тут есть какая-то разница. Первое вызывает усвоенное и не забытое, второе и есть обладание усвоенным и удержанным в памяти. И то, и другое — отнюдь не процессы усвоения, открытия или установления. Еще в меньшей степени воспоминания о происшедшем используются как элементы очевидности, из которых выводятся достоверные или вероятностные заключения о том, что произошло, за исключением того смысла, в котором жюри присяжных может сделать вывод из показаний очевидца. Сам свидетель не утверждает: "Я припоминаю, что инцидент произошел тотчас после удара грома, так что, вероятно, он действительно произошел сразу после удара грома". Здесь нет никакого вывода, но даже если бы он и был возможен, то дело хорошего свидетеля — все хорошенько вспомнить, а не строить умозаключения.

Разумеется, свидетеля можно заставить признать, даже к его удивлению, что он, скорее всего, фантазирует, раз по той или иной причине не может вспомнить того, о чем заявлял, что помнит. При других обстоятельствах он может сам сознаться, что у него имеются сомнения, действительно ли он вспоминает или же выдумывает. Но из того, что предполагаемые воспоминания могут оказаться выдумкой, еще не следует, что правдивые воспоминания представляют собой открытия или плодотворные исследования. Человек, которого попросят рассказать то, что ему известно о Млечном Пути, или начертить карту дорог и рек Беркшира, может рассказать и начертить нечто такое, о чем он не знал, но что соответствует фактам, и он может удивиться, узнав о том, что совершил это, или же усомниться в этом своем поступке. Но никто при этом не подумает, что такой рассказ или чертеж являются "источниками" знания, путями познания вещей или свидетельствами, из которых можно было бы вывести какие-либо открытия. Рассказ и чертеж, в лучшем случае, суть способы передачи уже изученного. Таково же и припоминание наизусть заученного прежде. Это кружение вокруг чего-то, а не приближение к нему, это похоже на пересказ, а не на исследование. Человек может вспоминать какой-то эпизод двадцать раз на дню. Но никто ведь не скажет, что он двадцать раз подряд открывал для себя то, что произошло. Если последние девятнадцать раз не были таким открытием, то им не было и первое воспоминание.

Стандартные трактовки воспоминания создают впечатление, что когда человек вспоминает определенные эпизоды из своего прошлого, то детали таких эпизодов должны возникать перед ним в виде образов. Он должен "видеть" эти детали "своим умственным взором" или "слышать" их "в своей голове". Но здесь нет никакого "долженствования". Если слушатель после концерта захочет вспомнить, как сфальшивил скрипач во время исполнения определенного фрагмента, то он может так же фальшиво напеть эту мелодию или наиграть ее на собственной скрипке; и если он точно воспроизводит это, то он, конечно же, помнит ошибку исполнителя. Для него это может быть единственным способом вспомнить допущенную музыкантом ошибку, поскольку он, скажем, плохо умеет проигрывать мелодию в уме. Точно так же хороший пародист мог бы освоить жесты и мимику проповедника, только повторяя их своими руками и мимикой, поскольку, вполне возможно, ему плохо удастся видеть их мысленным взором. Или же хороший чертежник может не вспомнить очертаний или оснастки яхты до тех пор, пока у него в руке ни окажется карандаш, которым он изображает их на бумаге. Если подражание у пародиста и изображение у чертежника получились и если в случае ошибки они тотчас исправляют их без всякого напоминания, то их коллеги признают, что они вспомнили то, что видели, не требуя никакой дополнительной информации относительно яркости, полноты и связности их визуальных образов, ни даже относительно самого существования этих образов.

Никто не скажет, что слушатель на концерте, пародист или чертежник что-либо узнали благодаря воспроизведению фальшиво сыгранной мелодии, жестов проповедника или очертаний яхты; можно сказать только, что они показали, как звучала плохо сыгранная мелодия, как выглядели жестикулирующий проповедник и яхта с ее оснасткой. Воспоминание в образах в принципе ничем не отличается от всего этого, разве что имеет превосходство в скорости, хотя и значительно уступает в эффективности; и к нему, конечно же, нет прямого публичного доступа.

Люди склонны сильно преувеличивать фотографическую точность своих визуальных образов. Основная причина, по-видимому, здесь в том, что весьма часто, особенно при подсказках и наводящих вопросах, они могут дать вполне вразумительные, детальные и последовательные вербальные описания событий, при которых они присутствовали. Отсюда искушение предполагать, что поскольку они могут описывать давние события весьма близко к тому, как все обстояло на самом деле, то они могут сверять свои описания с некими наличными копиями или дарами памяти об ушедших событиях.

Если описание лица соответствует оригиналу как при его отсутствии, так и в его присутствии, это должно обуславливаться наличием чего-то подобного фотографии. Однако такого рода каузальная гипотеза безосновательна. Вопрос "Как я могу правдиво описать то, чему однажды стал свидетелем?" не более

загадочен, чем вопрос "Как я могу верно представить себе то, что однажды видел?". Способность к описанию познанных на основе личного опыта вещей — это один из навыков, который предполагается нами у людей, обладающих языковой компетентностью, а способность к визуальному представлению фрагментов этого опыта — другой навык, в той или иной степени предполагаемый нами у большинства людей и в наибольшей степени — у детей, модельеров, полицейских и карикатуристов.

Таким образом, процесс припоминания может принять форму достоверного вербального повествования. В этом случае он отличается от припоминания посредством подражания или наброска на бумаге, поскольку то, что имело место, описывается словесно, а не изображается на листе бумаги (хотя пересказ часто включает наглядные изображения). Ясно также, что никто не станет утверждать, будто пересказ послужил "источником" знания, или способом его приобретения. Пересказ относится не к этапам производства или сборки, а к стадии экспорта. Он сродни не усвоению урока, а изложению пройденного.

Тем не менее люди весьма склонны считать, что яркое визуальное воспоминание должно быть своего рода формой видения и, следовательно, формой получения данных. Один из мотивов такой ошибки может быть выявлен следующим образом. Если человек узнает, что произошло морское сражение, которого сам он не видел, то он может намеренно или непроизвольно представить себе его в визуальных образах. Весьма вероятно, что вскоре он станет представлять себе эту битву в той единообразной манере, в какой он делает это всякий раз, когда у него возникнет мысль о сражении, примерно так же, как он, вероятно, описывает подобное событие устоявшимся набором слов всякий раз, как его просят рассказать такую историю. Но хотя, возможно, он и не может не представлять себе подобные сцены иначе как в своей привычной теперешней манере, все же он по-прежнему осознает разницу между своим привычным способом воображения событий, свидетелем которых он не был, и тем способом, которым засевшие в памяти события, свидетелем которых он был, "возвращаются" к нему в визуальном воображении. Их он тоже может представлять себе единообразно, но это единообразие кажется ему неизбежным и естественным, а не просто закрепившимся из-за частого повторения. Он уже не может "видеть" это событие как ему вздумается — не в большей степени, чем когда он увидел его впервые. Он не мог впервые увидеть наперсток нигде, кроме как на каминной доске, просто потому, что именно там он и находился. Не может он, как бы ни старался, и припомнить теперь, что видел его лежащим в ином месте, ибо все что он может, если ему вдруг захочется, это вообразить, что видит наперсток лежащим в ящике для угля. В самом деле, он вполне может вообразить, что видит его в ящике для угля, когда спорит с кем-то, кто утверждает, что наперсток был именно там.

Читатель репортажа о скачках может, подчиняясь указаниям текста, сперва представить себе скачки одним образом, а после, сознательно или невольно, — иным, быть может, даже противоположным образом; однако очевидец скачек почувствует, что, хотя он может пересмотреть многое в своих впечатлениях от скачек, что-то жестко мешает ему создавать их взаимоисключающие образы. Вот откуда берется искушение считать воспоминание посредством воображения чем-то аналогичным процессу разглядывания фотографии или прослушивания граммофонной записи. Выражение "не могу" в контексте выражения "Я не могу" "видеть" это событие иначе, нежели так" молчаливо приравнивается к механистическому "не могу" в выражении "Камера не может лгать" или "Запись не может разниться с мелодией". Но на самом деле выражение "не могу" во предложении "Я не могу" "видеть" это событие иначе, нежели вот так" означает то же самое, что и в предложении "Я не могу по своему усмотрению записать по буквам слово "Эдинбург". Я не могу писать нужные буквы в правильном порядке, одновременно записывая их произвольным образом; я не могу писать слово "Эдинбург" по известным мне правилам правописания и одновременно делать это как-то иначе. Ничто не заставляет мою руку предпочесть одно написание другому, но простая логика исключает возможность одновременного написания слова — и так, как его надо писать, и так, как мне заблагорассудится. Подобным же образом ничто не заставляет меня вообще что-нибудь представлять или представлять так, а не иначе, но если я вспоминаю, как выглядела та сцена в момент, когда я стал ее свидетелем, то мое воспоминание уже не произвольно. Ничто не заставляет меня, направляясь от карьера, где добывают гравий, к месту его очистки, предпочесть одну тропу другой. Но если я знаю, что именно эта тропа ведет к цели, я не могу, рассуждая логически, выбрать одновременно ее и какую-нибудь другую.

Вернемся к случаю с посетителем концерта, который воспроизводит ошибку скрипача, напевая фальшиво сыгранные им такты. Единственным смыслом, в котором он "должен" напевать так, как это он делает, будет тот, что он не сможет воспроизвести ошибку скрипача, если будет напевать что-то другое. Он напевает то, что он напевает, потому что он не забыл исполнения скрипача. Но это не каузальный эффект "потому что". Его напевание каузально не контролируется и не управляется ни ошибочным исполнением скрипача, ни тем, как он его услышал впервые. Скорее, дело обстоит так: сказать, что он не забыл того, что слышал, значит сказать, что он может верно воспроизвести ошибку, напевая неверно сыгранную мелодию. До тех пор, пока он продолжает держать в уме ошибку скрипача, он сохраняет способность и готовность показать, в чем заключалась эта ошибка, точно ее повторив. Вот что подразумевается под выражением "держать в уме".

Если ребенок перевирает слова и сбивается, декламируя поэму, то мы не скажем, что он продекламировал поэму. Точно так же неправильное цитирова-

ние вообще не является цитированием. Если нам скажут, что кто-то разобрал или составил слово по буквам, мы не спросим: "А правильно ли он это сделал?" — поскольку ошибочное составление и разбор по буквам вообще не являлись бы таковыми. Хотя, разумеется, существуют случаи употребления этих глаголов, при которых они значат то же самое, что выражения "пытаться разобрать по буквам", "пытаться составить". В этих случаях их можно уверенно дополнить словом "безуспешно".

Глагол "вспомнить", за исключением случаев, когда имеется в виду "пытаться вспомнить", в том же самом смысле является глаголом "достижения". "Безуспешно вспомнить" и "вспомнить неправильно" суть логически незаконные фразы. Но это не значит, что мы обладаем некой привилегированной способностью, которая ведет прямо к цели, не требуя от нас никакой осмотрительности. Это означает лишь, что если мы, например, представляем себе какие-то происшествия иначе, чем, как мы знаем, они происходили на самом деле, то в этом случае мы ничего не вспомнили — точно так же как ничего не процитировали, если приписали оратору слова, которые, как мы знаем, он не произносил. Припоминание — это нечто такое, что иногда требует значительных усилий, и его нам часто до конца не удается достичь, а еще чаще мы просто не знаем, удалось ли нам завершить его успешно. Поэтому мы можем заявить, что вспомнили нечто, а позже бываем вынуждены взять это заявление обратно. Но хотя глагол "вспомнить" относится к глаголам "достижения", это не глагол открытия, решения или доказательства. Скорее, подобно "декламированию", "цитированию", "изображению" и "подражанию", он обозначает действие демонстрации или по крайней мере примыкает к ряду подобных глаголов. Обладать хорошей памятью еще не значит быть хорошим исследователем, это лишь обладание способностью воспроизводить. Это нарративное умение, если допустимо словом "нарратив" охватывать как словесные, так и несловесные репрезентации. Вот почему мы описываем воспоминания как сравнительно правдоподобные, живые или точные, а не как оригинальные, блестящие или остроумные. И мы не назовем человека "умным" или "наблюдательным" только потому, что у него хорошая память. Собиратель подробностей — это еще не детектив.

ГЛАВА IX. ИНТЕЛЛЕКТ

(1) ПРЕДИСЛОВИЕ

До сих пор я не сказал почти ничего позитивного о Разуме, Интеллекте или о Понимании (Understanding), о мышлении, суждении, умозаключении или понятии. В самом деле, то немногое, что я говорил на этот счет, в основном имело негативный характер, поскольку я настойчиво высказывался против того общепринятого взгляда, что употребление таких эпитетов, как "целенаправленный", "искусный", "точный", "честолюбивый" и "произвольный", предполагает в качестве каузальной предпосылки наличие интеллектуальных операций, или операций теоретизирования. Вероятно, в результате этого могло создаться впечатление, что, поскольку операции планирования и теоретизирования сами могут быть охарактеризованы как намеренные, искусные, точные, честолюбивые, произвольные и так далее, то я считаю интеллектуальную деятельность не более специфическим родом занятий, чем вязание узлов, воспроизведение мелодий или игра в прятки.

Подобная демократизация функций старинной и отборной части нашего понятийного аппарата покажется тем более шокирующей, если учесть, что существует широко распространенный обычай употреблять слова "сознание" и "ментальный" в качестве синонимов терминов "интеллект" и "интеллектуальный". Вполне характерным будет следующий вопрос в адрес экзаменатора: "Каковы интеллектуальные способности (mind) сдающего экзамен?" — притом что нас интересует только то, насколько хорошо он справляется с академическими заданиями определенного рода. Для задающего этот вопрос покажется странным услышать в ответ, что тот, кто сдает экзамен, любит животных, робок, музыкален и остроумен.

Настало время обсудить некоторые особенности понятий, описывающих интеллектуальные способности, склонности и действия. Мы обнаружим, что эти понятия действительно обладают некоторого рода первенством, хотя и не той каузальной первичностью, которую им обычно приписывают.

(2) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ИНТЕЛЛЕКТА

Место интеллекта в жизни человека (неважно, осознается это место метафорически или нет) принято описывать согласно определенным шаблонам. Об

Интеллекте иногда говорят как об особом органе, уподобляя сильный или слабый интеллект сильному или слабому зрению или бицепсам. О Понимании иногда говорят как о чем-то вроде издательской фирмы или монетного двора, которые пускают в обращение свою продукцию посредством розничных торговцев и через банки. О Разуме иногда говорят как о мудром преподавателе или судье, который, окруженный слушателями, излагает, что он знает и чем располагает, и дает рекомендации. Не будем сейчас пытаться доказать, что эти и подобные им шаблоны не подходят для описания терминологии, вокруг которой будет строиться наше обсуждение. Однако мы сразу же с подозрением должны отнестись к тем предпосылкам, которые изначально предполагают эти стереотипы. Мы можем достаточно точно определить, что именно мы способны или не способны выполнить благодаря силе или, наоборот, из-за слабости нашего зрения или мышц; мы можем сказать, какая продукция производится данным издательством или монетным двором, а какая нет; мы можем оценить, что сообщил и что упустил конкретный преподаватель в конкретной лекции. Если же у нас спросить, какие именно действия и реакции человека мы должны классифицировать в качестве интеллектуальных, то обнаружится, что у нас нет подобных критериев. Несомненно, к классу интеллектуальных занятий мы должны отнести математические вычисления, судебную аргументацию, философствование, сбор и обобщение фактов. Но как нам поступить в том случае, если математические вычисления содержат множество ошибок и случайных догадок или выполнены чисто механически; если поводом к судебной аргументации послужило желание представить факты в ложном свете; если, философствуя, мы принимаем желаемое за действительное; если мы собираем факты необдуманно и наши обобщения произвольны?

Некоторые люди считают, что характерным признаком интеллектуальных операций является их нацеленность на обнаружение истины. Бридж и шахматы — интеллектуальные игры, однако в них целью выполнения интеллектуальных операций является победа, а не открытие. И инженер, и генерал составляют планы благодаря своим умственным способностям, но не ставят перед собой цели приумножить знания. Законодатель должен мыслить систематически и с помощью абстрактных понятий, но его усилия находят выражение не в теоремах, а в законопроектах. Наоборот, воспоминания пожилых людей могут оказаться источником большого количества фактических истин, но мы остережемся классифицировать их как проявления интеллектуальных сил, разве что в минимальной степени. Старики не продумывают то, что когда-то с ними произошло, это как бы само возвращается к ним. Также мы обычно не считаем бесконечные открытия, которые делает наблюдательный ребенок посредством зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания, проявлениями интеллектуальных усилий. Ведь он не получает за эти открытия ученые награды.

Вряд ли мы сможем прояснить границу между тем, что является, и тем, что не является интеллектуальным, обратившись к понятию "мышление", поскольку это понятие не только не менее расплывчато, чем понятие "интеллектуальный", но обладает и собственной дополнительной неопределенностью. В некоторых случаях английский глагол "думать" (think) является синонимом для "полагать" (believe) и "предполагать" (suppose); в этом смысле, с одной стороны, человек может думать о большом количестве глупых вещей, а, с другой стороны, думать очень мало. Такой человек одновременно легковверен и интеллектуально пассивен. Есть еще один случай, когда о человеке можно сказать, что "он упорно думает над тем, что он делает", например, если он с полной концентрацией внимания играет на пианино. Но при этом он не размышляет и ни в коей мере не выглядит задумчивым. Если у него спросить, какие он рассмотрел послышки, какие сделал выводы или о чем он думал, то его ответом вполне может быть фраза: "Я ни о чем не думал. У меня не было ни времени, ни желания строить или выводить какие-либо пропозиции. Я использовал свои интеллектуальные способности для того, чтобы играть, а не для того, чтобы размышлять над проблемами или же давать себе наставления, как надо играть".

Иногда говорят, что под "интеллектуальным процессом" или под "мышлением" — в особом требуемом значении — подразумевается операция *par excellence* с использованием таких символов, как слова и предложения. "В процессе мышления душа разговаривает сама с собой". Но такое утверждение и слишком широко, и слишком узко. Ребенок, воспроизводящий наизусть детское стихотворение или таблицу умножения, проходит через определенный процесс овладения высказываниями, но он не следит за тем, что означают его слова и предложения. Он не использует свои речевые выражения, но повторяет их как попугай, так же как он мог бы повторять мелодию. Тем не менее мы не можем сказать, что мыслящий — это человек, который целенаправленно и осторожно оперирует выражениями. Поскольку, например, можно представить, что картина-головоломка сконструирована в соответствии с фрагментами некогда заученного ребенком рифмованного стишка на иностранном языке, тогда он, потратив некоторые усилия, мог бы вполне успешно расположить их в правильной последовательности, несмотря на то, что не имеет никакого понятия о смысле этих предложений. Также нельзя сказать, что мышление заключается в построении совокупности выражений в качестве средства передачи конкретного смысла, поскольку мы допускаем, что человек мыслит, даже если он только повторяет чьи-то высказывания. Он не вкладывает свои собственные идеи в слова, а извлекает идеи из чужих слов.

С другой стороны, мы должны признать, что в некоторых ситуациях человек выполняет настоящую интеллектуальную работу, не используя никаких выражений: ни слов, ни условных символов, ни диаграмм, ни иллюстраций. Распу-

тывание узелков спутанного клубка шерсти, изучение расположения фигур на шахматной доске и складывание картин-головоломок — все это мы обычно относим к размышлению, даже если оно не сопровождается каким-либо внутренним монологом.

Наконец, в дополнение к тому, что было сказано ранее, здесь становится существенным различие между непреднамеренными и преднамеренными высказываниями. В большинстве случаев в нашей обычной повседневной болтовне мы говорим то, что вертится у нас на языке, не обдумывая, что сказать или как сказать. Перед нами не стоит задачи отстаивать наши утверждения, объяснять связи между нашими высказываниями или делать ясной суть наших вопросов или смысл наших убеждений. Наша речь безыскусна, спонтанна и необдуманна. Она не является работой и не предназначена для запоминания, записи или для того, чтобы давать наставление. Тем не менее наши замечания имеют смысл и понятны нашему собеседнику, реагирующему на них соответствующим образом.

Все же это не тот вид речи, который мы имеем в виду, когда говорим, что некто рассуждает, размышляет, доказывает или обдумывает нечто. Мы не судим об интеллектуальных способностях человека исходя из того, как он болтает. Мы, скорее, оцениваем эти способности на основе того, как человек разговаривает, когда его речь сдержанна, дисциплинирована, серьезна и произнесена официальным тоном. Тем не менее мы все же отчасти судим об интеллектуальном потенциале человека по тому, как он шутит и какие шутки он ценит, хотя они относятся к неформальной коммуникации. Теоретики склонны допускать, что различие между непреднамеренной болтовней, дружеской беседой и обдуманным дискурсом — это лишь различие в уровне; т. е. то, что верится на языке, отражает те же мыслительные процессы, какие отражают основательно продуманные высказывания. Но на практике мы принимаем в расчет только последние, когда оцениваем здравомыслие человека, его сообразительность и способность схватывания на лету. Поэтому на практике для нас не все разумные употребления выражений являются мышлением, но лишь те, которые по большей части или полностью выполняются в качестве работы. Мы не рассматриваем непреднамеренную дружескую беседу в качестве теоретизирования или планирования, пусть даже низшего уровня, и это вполне справедливо, так как целью обычной болтовни не является выдвижение каких-либо теорий или планов. Мы также не считаем, что когда мы гуляем и что-то невнятно бормочем, то прилагаем хотя бы малейшее усилие. Но в конце концов разве это будет иметь какое-то значение, если все наши попытки дать строгое определение словам "интеллектуальный" и "мышление" потерпят неудачу? Мы вполне хорошо знаем, как отличить городской район от деревенского, игру от работы, весну от лета, и мы не смущаемся при обнаружении неразрешимых погранич-

ных случаев. Мы знаем, что решение математической задачи — это интеллектуальное занятие, игра в "наперсток" — неинтеллектуальное занятие, а поиск стихотворной рифмы — это нечто среднее. Бридж — это интеллектуальная игра, снэп¹ — неинтеллектуальная игра, а "разори соседа"² — не то, не другое. Мы ежедневно употребляем понятия интеллекта и мышления, не смущаясь при обнаружении значительного числа спорных случаев.

Конечно, для некоторых целей это не имеет значения, но для нас это очень важно. Это означает, что и старые теории, в которых Разум, Интеллект или Понимание были представлены в виде особой Способности или тайного органа, и более новые теории, в которых идет речь об особых интеллектуальных процессах суждения, постижения, предположения, рассуждения и пр., допускают одну и ту же ошибку. Они претендуют на то, что они могут указать на отличительные признаки того, что на самом деле они не всегда могут идентифицировать. Мы не всегда знаем, когда нам следует и когда не следует употреблять терминологию эпистемологии.

Давайте попробуем подойти к этой проблеме с другой стороны. Когда люди сопоставляют интеллектуальные способности и действия с другими способностями и действиями, на первый план для них выходит идея обучения. Интеллектуальные способности — это такие способности, которые развиваются посредством установленного ряда занятий и проверяются посредством набора экзаменов. Интеллектуальные задачи — это такие или некоторые из таких заданий, которые могут быть выполнены только теми, кто прошел соответствующую подготовку. Интеллектуалы — это люди, извлекающие выгоду из максимально доступного по уровню образования, а интеллектуальная речь является результатом наставления и сама при этом поучает. Природные или врожденные навыки не относятся к классу интеллектуальных навыков; и даже об умениях и способностях, приобретенных в основном посредством подражания (например, прыгать, играть в снэп или непринужденно болтать), не говорят как об интеллектуальных приобретениях. Такой сертификат резервируется за тем, что достигается посредством уроков, получаемых отчасти из книг и лекций или, в общем виде, из дидактического дискурса.

Очевидно, во-первых, что никто не смог бы следить за дидактическим дискурсом или использовать его, если до этого он не научился воспринимать и применять разговорную речь, и, во-вторых, что дидактический дискурс сам по себе является разновидностью изучаемого дискурса. Это такой дискурс, которому обучают и который сам в определенной степени является продуктом обучения. Он осваивается с помощью упражнений и излагается устно или пись-

¹ Карточная игра. — Прим. ред.

² Детская карточная игра. — Прим. ред.

менно в повелительной форме, пригодной для освоения и тренировки, а не для общения. Даже если при этом задействован яркий разговорный стиль, считается, что сугубо разговорное его восприятие неадекватно, поэтому такой разговорный стиль осознается ошибочным. Учительница только делает вид, что она с учениками на самом деле не работает. Позже мы увидим, что за этим, казалось бы, тривиальным способом разграничения того, что является и что не является интеллектуальным, стоит нечто очень важное.

Теперь необходимо обсудить некоторые из понятий, имеющих отношение к мысли и мышлению. Мы должны четко различать смысл этих понятий, используемый в том случае, когда мы говорим, что человек нечто обдумывает, и тот смысл, когда мы говорим, что он думает то-то и то-то, то есть между значением слова "мышление", при котором мышление может быть упорным, длительным, прерванным, небрежным, успешным или бесполезным, и тем его значением, когда мысли человека верны, неверны, ценны, ошибочны, абстрактны, опровергнуты, рассказаны другим, опубликованы или не опубликованы. В первом случае мы говорим о действии, в которое в течение какого-либо времени вовлечен человек. Во втором мы говорим о результатах такого действия. Необходимость проведения подобного различия обусловлена широко распространенной манерой описывать процессы мышления в терминах, заимствованных из описаний достигнутых результатов этих процессов. Нам рассказывают истории о том, что люди заняты тем, что производят суждения, абстракции, подведение под категории, дедукции, индукции, утверждения и т. д. таким образом, будто эти операции на самом деле выполнялись людьми на определенных этапах их размышлений и их можно было зафиксировать. А поскольку мы не можем наблюдать ни того, как другие это осуществляют, ни даже того, как мы сами проделываем такие вещи, то мы соглашаемся с тем, что это глубоко сокрытые события, наличие которых может быть установлено только посредством заключений и прорицаний специалистов-эпистемологов. Последние рассказывают нам, как мы делаем вещи такого рода, подобно тому как анатомы говорят нам о пищеварительных и церебральных процессах, происходящих внутри нас без нашего ведома. Раз эти пара-анатомы обнаруживают столько всего загадочного в функционировании наших интеллектов, то эти интеллекты должны быть своего рода бестелесными органами.

Я надеюсь, что сумею показать, что слова "суждение", "дедукция", "абстракция" и подобные им следует отнести к классу результатов размышления и что их употребление для обозначения актов, из которых состоит мышление, искажает реальную картину. Они относятся к лексике рецензий на книги, лекции, дискуссии и доклады, а не к лексике биографий людей. Эти существенные больше подходят для рецензента, чем для биографа.

(3) ПОСТРОЕНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРИЙ И ОВЛАДЕНИЕ ИМИ

Хотя существует множество видов деятельности, относящихся как к играм, так и к работе, которые мы описываем в качестве интеллектуальных, не подразумевая под этим, что их целью является обнаружение истины, у нас есть достаточное оснований, чтобы предварительно рассмотреть тот особый род занятий, при котором мы особенно заинтересованы в обнаружении истины. Я говорю "род занятий", так как мы ничего не добьемся, предположив, что Евклид, Фукидид, Колумб, Адам Смит, Ньютон, Линней, Порсон и епископ Батлер состояли в одной компании.

То, благодаря чему каждый из этих мужей приобрел свою репутацию, может быть названо работой по "построению теории", хотя слово "теория" имеет широкий спектр разных значений. Методы построения теорий у Шерлока Холмса отличалась от методов, которые были у Маркса, различными были также их использование и применение. Но их объединяло то, что они оба излагали свои теории в дидактической прозе.

Перед тем как вдаваться в подробности по поводу операций или процессов построения теорий, надо рассмотреть, что значит сказать, что некто *владеет* теорией. Строить теорию — значит пытаться обрести теорию, а владеть теорией — значит что ты ее уже обрел и еще не забыл. Строить теорию — все равно что путешествовать; владеть теорией — это значит, что пункт назначения достигнут.

Обладание теорией или неким проектом не подразумевает, что следует нечто делать или говорить, подобно тому как обладание пером не обязывает вас писать им. Иметь перо — значит быть в состоянии писать им, если возникнет соответствующая ситуация. Владеть теорией или проектом — значит быть готовым при случае рассказать о них или применить их. Работа по построению теории заключается в том, чтобы достичь соответствующие готовности.

Я говорю, что тот, кто владеет теорией, готов ее изложить либо применить. В чем здесь разница? Быть в состоянии изложить теорию — значит быть способным обстоятельно ответить тому (возможно, даже создавшему теорию человеку), кто хочет или кому необходимо узнать, что собой представляет эта теория, то есть предложить в устной или письменной форме понятную формулировку выводов из теории, проблем, которые она решает, и, возможно, также доводов в пользу принятия данных решений и отказа от других предлагаемых решений. Владение теорией включает в себя способность преподавать ее в качестве урока. Тот, кому даются подобные уроки, если он разумен, может сам стать обладателем теории или же, если он достаточно изощрен, понять и усвоить ее без принятия ее положений. Однако мы не создаем теории и проекты только для того, чтобы уметь их излагать. Главной задачей дидактических упражнений, пред-

назначенных как для самих себя, так и для других, является подготовка к использованию этих уроков в целях, отличных от дальнейшей дидактики. Колумб занимался своими исследованиями не только для того, чтобы внести добавления к излагаемым на уроках географии сведениям. Владеть теорией или планом — это не только быть способным рассказывать о них. Способность изложить теорию, по сути, есть осуществление лишь одного, а именно дидактического использования этой теории. Если мы в совершенстве овладели теоремами Евклида, то мы не только должны уметь цитировать их, но также уметь решать связанные с ними дополнительные задачи и определять с их помощью размеры земельных участков.

Нельзя однозначно ответить на вопрос: "В каких целях кроме дидактических можно использовать теорию?" Теории Шерлока Холмса предназначались главным образом для доказательства виновности преступников и их поимки, для предупреждения запланированных преступлений и оправдания невиновных подозреваемых. Они также могли быть предназначены для использования в качестве поучительных примеров успешных детективных методов. Его теории находили применение, если из них действительно делались какие-то выводы и если согласно им арестовывались преступники и освобождались подозреваемые. Теории Ньютона применялись, когда исходя из них делались верные прогнозы, предсказания или ретросказания, когда согласно им проектировались машины, когда была оставлена надежда построить вечный двигатель, когда некоторые другие теории были отвергнуты или согласованы с ньютоновскими теориями, когда издавались книги или читались лекции, что позволяло обучающимся полностью или частично усвоить его теории, и, наконец, когда его методы построения теорий были изучены и успешно применены в новых исследованиях. Быть ньютонианцем не только означает умение воспроизводить сказанное Ньютоном, но также говорить и делать то, что Ньютон мог бы сказать и сделать. Овладение теорией предполагает подготовку к тому, чтобы совершать множество различных действий, только часть из которых имеет отношение к преподаванию. Научить кого-либо (в том числе себя самого) чему-либо — это, в свою очередь, значит подготовить его к решению множества задач, только часть из которых будет преподаваться в дальнейшем.

Итак, мы могли бы сказать, что во время теоретизирования душа, *inter alia*, готовится к тому, чтобы говорить или писать дидактически, и что предполагаемая польза для того, кто воспринимает эту теорию, будет состоять в том, что бы научится по-другому действовать и реагировать, причем только часть из этих действий и реакций впоследствии найдет отражение в дидактических заявлениях. Это отчасти показывает, в чем заключается недостаток представления о Разуме как о способности порождать и воспринимать дидактические поучения. Но некоторые из выученных операций, несомненно, в дальнейшем станут пред-

метом дидактики, поскольку при внимательном восприятии дидактических пассажей мы учимся по крайней мере одному делу: говорить то же самое или нечто сходное либо, по крайней мере говорить в той же манере. Так новобранец по меньшей мере осваивает команды и то, как их выполняет его сержант. Любой урок всегда учит тому, как давать и усваивать уроки подобного рода. Когда Галилей разъяснял окружающим законы поведения звезд, маятников и телескопов, он также на своем примере учил их тому, как говорить на научном языке о любом другом предмете.

Перейдем теперь к проблеме построения теорий. Во-первых, я не ограничиваю это понятие теми операциями, которые, подобно тому как это происходит в математике, юриспруденции, филологии и философии, могут быть осуществлены сидя в кресле или за партой. Ни Колумб не смог бы дать характеристику западной части Атлантики, если бы не совершил туда путешествия, ни Кеплер не смог бы описать законы Солнечной системы, если бы он и Тихо Браге не провели томительные часы в наблюдении за небом. Тем не менее мы отличаем их теории, которые они в итоге устно или в напечатанном виде предложили образованному обществу, от тех усилий и наблюдений, без которых они не смогли бы построить эти теории. Формулировки их теорий включает в себя сообщения или ссылки на определенный ход событий и на проведенные наблюдения, но они не включают в себя и сами эти события или наблюдения. Результаты исследования могут быть изложены в прозаической форме, но само исследование обычно не сводится к работе с бумагой и пером, но состоит также из действий с микроскопами и телескопами, весами и гальванометрами, лаглинем и лакмусовой бумагой.

Далее, когда я говорю о построении теорий, я имею в виду не только классические примеры знаменитых открытий, но и тот круг задач, в решении которых в той или иной степени, при тех или иных обстоятельствах принимают участие все, у кого есть хоть какое-то образование. Домохозяйка, пытаясь выяснить, поместится ли ковер на полу, занята теоретизированием, вовсе не претендуя на это. Она занимается своего рода исследованием, и результаты ее исследования будут в итоге установлены. Ее теория выразится в том, что именно она сообщит своему мужу и что она сделает с ковром, поскольку, работая утром с рулеткой, карандашом и бумагой, она подготовилась к тому, чтобы положить ковер так, а не иначе, и к тому, чтобы рассказать своему мужу, что ковер можно положить таким образом вследствие такой-то формы и такого-то размера пола и ковра. Я также использую слово "теория", чтобы охватить результаты любого систематического исследования, не учитывая, составляют ли эти результаты дедуктивную систему или нет. Так, оценка, которую историк дает ходу сражения, будет его теорией.

Если фермер проложил дорожку, то он может потом беспрепятственно расхаживать по ней — собственно, для этого она и была сделана. Однако работа по

обустройству дорожки не была легкой прогулкой: ему пришлось делать разметку на земле, копать, разравнивать кучу гравия, укатывать дорожку, делать дренаж. Он копал и трамбовал землю там, где еще не было дорожки, для того чтобы в итоге она у него появилась, чтобы он мог по ней гулять и ему больше не пришлось копать и укатывать землю. Подобно этому владеющий теорией человек может, помимо прочего, излагать эту теорию или любую ее часть самому себе или окружающим; он может, образно говоря, прогуливаться от одной ее части к любой другой. Но работа по построению теории — это прокладывание дорожек там, где их еще не было. Смысл приведенной аналогии заключается в следующем: эпистемологи очень часто описывают работу по построению теорий в терминах, подходящих только для того, чтобы воспроизводить уже готовую теорию или обучать ей кого-либо. Это похоже на то, как если бы цепочки теорем, составляющих евклидовы "Начала", отражали аналогичную последовательность шагов по теоретизированию, которые Евклид предпринимал в ходе своей оригинальной работы, приведшей к новым открытиям в геометрии. Или же как если бы то, что Евклид освоил, когда уже обладал своей теорией, было тем же, что он знал, когда ее строил. Но это абсурдно. С другой стороны, иногда эпистемологи предлагают противоположную историю, описывая то, как Евклид излагал свои теории, когда он ими уже владел, в такой манере, как если бы это было повторное проявление исходной работы по теоретизированию, что также абсурдно. Одни эпистемологи описывают использование дорожки так, как если бы это было частью процесса ее прокладывания; другие же описывают ее создание так, как если бы это было одновременно и ее использованием.

Итак, подобно фермеру, который в поте лица прокладывает дорожку, готовя место для последующих приятных прогулок, так и человек, упорно работающий над построением теории, кроме всего прочего готовится к тому, чтобы беспрепятственно изложить теорию, которой он овладевает через ее построение. Его теоретическая работа является наряду с другими целями самоподготовкой к дидактическим задачам, которые уже не являются последующей самоподготовкой, но подготовкой других людей. Конечно, возможны промежуточные ситуации: на определенном этапе мыслитель уже владеет теорией, но далеко не в совершенстве. Он еще не до конца разобрался в ней: в ней есть фрагменты, где он иногда ошибается, запинается и сомневается. На этой стадии он будет в уме или на бумаге воспроизводить теорию или ее отдельные детали еще без той легкости, которая достигается практикой, но и без тех усилий, которые ему требовались при первоначальном построении теории. Он напоминает селянина, которому приходится утапывать дорожку, прохаживаясь по ней туда-сюда, чтобы устранить оставшиеся на ее поверхности неровности. Как и этот фермер, наш мыслитель одновременно и использует свое владение теорией, и все еще учится тому, чтобы достичь в этом совершенства. Ему еще достаточно трудно

излагать даже себе самому свою теорию, и одной из целей прилагаемого усилия является подготовка к тому, чтобы говорить о ней без труда.

Говорят, что правильное употребление повествовательного предложения отражает акт "суждения" или "высказывания суждения" и что правильное употребление повествовательного предложения, содержащего союзы "если", "поэтому" и "потому что", отражает акт "рассуждения", "вывода умозаключения" и "вывода следствия из посылок". Возникает вопрос, когда будут правильно употребляться повествовательные предложения: когда тот, кто их использует, занимается построением теории, или когда он уже обладает теорией и излагает ее в виде дидактического повествования, устного или письменного. Являются ли понятия, суждения, умозаключения или, одним словом, мыслительные операции действиями по прокладыванию дорожки или они относятся к некоторому классу действий по ее использованию, а именно по ее демонстрации или обучению тому, как делать такие дорожки? Являются ли они шагами или этапами процесса освоения некоего предмета или же они — фрагменты урока, который мы преподаем (при надобности), после того как мы сами выучили его? Будет трюизмом сказать, что эксперт, который чувствует себя как дома в рамках своей теории, с легкостью может толковать ее отдельные элементы. Ему не надо долго обдумывать, что сказать, иначе мы не стали бы говорить, что он прекрасно разбирается в своей теории. Эксперт использует старый фундамент, а не закладывает новый. Но произносимые им готовые и упорядоченные простые и сложные повествовательные предложения вовсе не похожи на те запутанные, незрелые и вымученные формулировки, которые, вероятно, возникали в длительном процессе построения теории. Это было подготовкой теоретика к тому, чтобы в итоге он был способен представить готовое изложение отдельных элементов своей теории. Итак, нам надо решить, искать ли нам акты понимания, высказывания суждений и вывода заключений из посылок в первоначальном исследовании теоретика или в его конечной деятельности по объяснению теории — в процессах обретения знания или же в том, как он рассказывает о своих знаниях. Где мы предполагаем найти суждения и выводы детектива — в его отчетах или в его следственных действиях?

Я считаю, что мы должны задать этот вопрос, хотя эпистемологи склонны думать, что такого вопроса не существует. Они обычно классифицируют элементы доктрин, уже хорошо разработанных и дидактически изложенных теоретиками, и полагают, что аналогичные элементы должны иметь место как эпизоды деятельности по построению этих теорий. Обнаружив посылки и заключения среди прочих элементов опубликованных теорий, они постулируют наличие изолированных, предварительных "когнитивных актов" суждения; находя аргументации, они постулируют наличие отдельных, предшествующих процессов перехода от "постижения" посылок к "постижению" заключений. Я на-

деюсь, мне удастся показать, что эти отдельные интеллектуальные процессы, постулируемые эпистемологами, являются пара-механическими инсценировками элементов построенных и изложенных теорий.

Нельзя отрицать, что наша работа по теоретизированию включает в себя немало монологов и диалогов, множество верных и ошибочных вычислений на бумаге и в уме, многочисленные наброски, на доске или мысленно, схем и диаграмм, большое количество опросов, дискуссий, эмпирических констатаций. Несомненно, некоторые из этих обрывочных употреблений выражений функционируют не в качестве промежуточных отчетов об уже построенных или понятых субтеориях, адресованных самому себе, но как составляющие тех упражнений, посредством которых мы готовимся к тому, чтобы овладеть теорией, которой у нас еще нет. Я проговариваю, например, много вещей, я как бы прокручиваю их на языке, и, если мне кажется, что в них что-то есть, я повторяю их снова и снова, настраиваясь на такой лад, чтобы привыкнуть к этим идеям. Так, посредством практики я готовлюсь работать с ними далее, если они окажутся подходящими, или же избавляюсь от них навсегда, если они оказываются непригодными. Я даю себе наставления рекомендательного характера, упрекаю себя, хвалю, подбадриваю, задаю авторитетным тоном наводящие вопросы, чтобы заставить себя не уклоняться от скучных или трудных проблем. Однако о подобных выражениях нельзя сказать, что они отражают суждения или умозаключения в том смысле, что они не являются дидактическим изложением полученных выводов или аргументов. Если дело доходит до публикации теории, в ее готовой формулировке большинство этих выражений не находит места, подобно тому как в окончательном варианте сочинений учеников не воспроизводятся галочки, восклицательные и вопросительные знаки и другие пометки, нанесенные учителем синим и красным карандашами на полях черновиков. Они являются частью тех строительных лесов, которые используются при теоретизировании, а не элементами здания, возникающего в результате успешной теоретической работы. Аналогично этому солдаты на поле боя не выкрикивают вслух и не говорят про себя строевые команды.

(4) ПРАВИЛЬНОЕ И НЕПРАВИЛЬНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

В словарь терминов, которыми традиционно описываются интеллектуальные способности и операции, входят следующие слова и выражения: "суждение", "доказательство", "концепция", "идея", "абстрактная идея", "понятие", "высказывание суждений", "вывод", "вывод заключений из посылок", "рассмотрение высказываний", "классификация", "обобщение", "выведение умозаключений посредством индукции", "познание", "представление", "интуиция", "мышление", "дискурсивное мышление". Такие выражения не используются обычными людьми

ми, но теоретики говорят на этом языке так, как если бы только с их помощью можно было дать корректное описание того, чем в конкретный момент был занят конкретный человек. Например, согласно этой позиции, можно или даже нужно в какое-то время описывать Джона Доу так, как если бы он проснулся и начал высказывать суждения, постигать нечто, классифицировать или абстрагировать; как если бы он потратил более трех секунд на то, чтобы принять утверждение или прийти от неких посылок к заключению; как если бы он сидел на заборе и попеременно то свистел, то дедуцировал; как если бы, перед тем как кашлянуть, он совершил акт интуиции.

Вероятно, большинство людей почувствуют оттенок нереальности в такого рода рекомендациях по описанию биографических эпизодов. Собственные рассказы Джона Доу о себе не содержат подобных терминов или слов, которые легко переводятся в такую терминологию. Предположим, ему зададут следующие вопросы: "Сколько когнитивных актов он осуществил до завтрака и что он при этом чувствовал? Устал ли он от этого? Понравился ли ему переход от посылок к заключению, соблюдал ли он при этом осторожность или действовал опрометчиво? Застал ли его звонок на завтрак на полпути между его посылками и заключением? Когда именно он в последний раз высказал суждение или сформулировал абстрактную идею, что произошло с ними, когда он закончил их высказывать, кто его этому научил? Является ли представление быстрым или постепенным процессом, легким или трудным; может ли он растягивать его или уклониться от того, чтобы его совершать? Сколько примерно ему понадобилось времени, чтобы рассмотреть утверждение, и отличался ли образ этого утверждения на более поздних этапах рассмотрения от того, который был у него поначалу? Было ли это больше похоже на бессмысленное глазение или на детальный осмотр?" Джон Доу не поймет, с чего и как начать ответ на подобные вопросы. Он может легко и уверенно отвечать на вопросы о случаях из своей жизни, о которых он действительно сообщает, но он ничего не может сказать о тех эпизодах, о которых, как полагают эпистемологи, он должен уметь сообщать.

Кроме того, считается, что эти постулированные когнитивные акты и процессы проходят за закрытыми дверями. Мы не можем наблюдать то, как они происходят в жизни Джона Доу. Он один мог бы сообщить об их наличии, но, к сожалению, он никогда не разглашает вещи подобного рода. Мы сами, сколь бы мы ни прониклись этой доктриной, никогда не сообщаем о подобных явлениях внутренней жизни, и причина того, почему мы так поступаем, ясна. Факты биографии, рассказанные в этих идиомах, являются мифами, что означает, что эти идиомы, или некоторые из них, имеют адекватное применение, однако их употребление при описании того, что в определенный момент делали или переживали люди, будет неверным. Тогда в каком случае они будут применяться адек-

ватно и почему будет ошибочным их употребление при описании человеческих действий и переживаний?

Когда мы читаем напечатанный научный труд или машинописный отчет следователя, когда слушаем лекцию историка о некоей военной кампании, то нам реально предъявляются аргументы, которые могут быть названы "умозаключениями" или "доказательствами"; нам предлагаются выводы, которые могут быть названы "вердиктами", "заключениями" или "суждениями"; мы обнаруживаем операции с абстрактными терминами, которые можно обозначить как "абстрактные идеи" или "понятия"; нам предлагаются классифицирующие утверждения, о которых можно сказать, что в них нечто подводится под какую-либо "категорию", и т. д. Сравнительная анатомия частей, суставов и нервов уже построенных теорий является вполне законной, правильной и необходимой областью исследования, и термины, с помощью которых в ней классифицируются эти элементы, необходимы для обсуждения истинности и согласованности определенных теорий, а также для сравнения методов различных наук.

В таком случае у нас могут спросить: "Почему нельзя описывать в подобных идиомах соответствующие этапы теоретизирования, если их позволительно применять при характеристике фрагментов опубликованных теорий? Если выраженные в печатном виде теории содержат утверждения определенных посылок и заключений, почему мы не можем сказать, что, обдумывая эту теорию, мы осуществляем соответствующие этим посылкам и заключениям когнитивные акты? Если в книге есть аргументация, разве это не означает, что в биографии мыслителя, который открыл то, что рассказывается в книге, должны были иметь место соответствующие эпизоды познания импликации? Если в отчете детектива содержится такой абстрактный термин, как "алиби", не должно ли отсюда следовать, что в ходе расследования у него имел место внутренний эпизод обладания соответствующей абстрактной идеей алиби? Разумеется, теории, напечатанные в книгах или изложенные в лекционных аудиториях подобны следу, оставленному прежде ступившей здесь ногой. Вполне законно прямое применение некоторых предикатов, относящихся к отпечатку ноги, которая его оставила, и выведение некоторых других утверждений, описывающих ноги из других предикатов, характеризующих след. Почему же тогда мы не можем сходным образом поступать с операциями теоретизирования, описывая их посредством предикатов, переносимых или выведенных из предикатов, характеризующих текущую работу теоретика. Из каких других причин могут простекать подобные следствия?"

Этот последний вопрос, который я настойчиво вкладываю в уста защитников критикуемой мною традиции, показывает, как мне кажется, саму природу этого мифа. Это один из вариантов того старого каузального мифа, который мы уже рассмотрели и опровергли. А именно: это пара-механическая гипотеза, специ-

фически применяемая к отдельным фрагментам дидактической прозы, входящим в положения теорий.

Эта аргументация может быть продолжена следующим образом. Должны протекать особые внутренние процессы абстрагирования, категоризации, рассуждения, иначе что же еще служит причиной появления в опубликованных теориях абстрактных терминов, классифицирующих высказываний и умозаключений? Должны протекать скрытые процессы дискурсивного мышления, иначе как могли бы в публичных лекциях или в печати появиться теоретически значимые пассажи? Или если мы попытаемся высказать эту пара-механическую позицию посредством излюбленного глагола "выражать", то должны существовать ментальные акты перехода от посылок к заключениям, поскольку характерные для теоретических текстов предложения с "потому что" и "поэтому" являются значимыми и, следовательно, выражают соответствующие им дополнительные когнитивные операции, протекающие в сознании теоретика. Каждое значимое выражение имеет смысл, так что, когда непосредственно употребляется некое выражение, где-то должен быть в наличии его смысл. И этот смысл может существовать только в виде мысли, которая имеет место в приватном потоке сознания говорящего или пишущего. Вероятно, если бы эпистемологи уделяли столько же внимания арифметическим и алгебраическим вычислениям, сколько они уделяют геометрическим доказательствам, то они бы стали приводить, что вполне последовательно, аналогичную аргументацию, чтобы доказать, что за нашим постулированным "Железным Занавесом" имеют место ментальные процессы сложения, вычитания, умножения и деления. Мы бы услышали от них, что помимо таких ментальных актов, как понятие, суждение и умозаключение, есть также когнитивные акты сложения, вычитания и деления. Нам могли бы даже приписать соответствующие природные способности: способность деления в столбик и способность решения квадратных уравнений. Внешним выражением каких же иных ментальных способностей можно считать написанные нами карандашом примеры на деление в столбик и продиктованные нами решения квадратных уравнений?

Не будем больше разбирать общие недостатки пара-механической гипотезы, а обратим внимание на некоторые особые моменты, возникающие при ее применении к интеллектуальным операциям. Во-первых, хотя мы, несомненно (поскольку это тавтология), будем правы, сказав, что "адекватно употребленные значимые выражения имеют определенные значения", это не дает нам права задать вопрос: "Когда и где возникают эти значения?" Медведь может следовать за своим вожаком, след был некогда оставлен чьей-то конкретной ногой, но когда мы говорим, что у некоего выражения есть значение, то мы должны полагать, что это выражение находится в подчинении какого-то призрачного вожака с именем "значение" или "мысль" или что выражение — это народная тропа,

проложенная чьей-то неслышимой и невидимой стопой. Чтобы понять какое-либо высказывание, нам не надо вводить некую скрытую причину. Сам факт, что высказывание предназначено для понимания всеми, показывает, что выражение не может описываться как нечто, являющееся событием или относящееся к событию, о котором может что-либо знать только один-единственный человек. Фраза "Такое-то и такое-то выражение означает то-то и то-то" вообще не описывает какую-то вещь или событие и *a fortiori* некую скрытую вещь или событие.

Далее, предположение о том, что когда человек осознанно употребляет значимое слово, фразу или предложение, то этому должно предшествовать или сопутствовать то, что иногда называется "мыслью, которая соответствует слову, фразе или предложению", заставляет нас ожидать, что нам дадут описания этих предполагаемых внутренних событий. Но когда нам предлагают такие описания, то они кажутся призрачными двойниками самих слов, фраз или предложений. "Мысль" описывается так, как если бы она была еще одним, но более туманным процессом наименования, утверждения или аргументации. Мысль, которая должна вести за собой сообщение "Завтра не может быть воскресенье, если сегодня не суббота", оказывается всего лишь сообщением самому себе, что завтра не может быть воскресенье при условии, что сегодня не суббота, т. е. лишь пересказом самому себе или невнятным повтором открыто высказанного утверждения. Конечно, мы можем пересказывать (и часто так делаем) в уме или *sotto voce* то, что мы собираемся сообщить аудитории или написать на бумаге. Но теоретически в этом нет никакой разницы, так как вновь возникают те же вопросы: "В чем состоит значение этого выражения, произнесенного себе или невнятно сказанного? Заключается ли оно в еще одной "мысли, которая ему соответствует" и имеет место в еще более сумеречной студии? И не будет ли это, в свою очередь, лишь еще одним пересказанным сообщением?" Сказать нечто значимое, осознавая при этом его значение, не означает сделать два дела, а именно произнести нечто вслух или про себя и одновременно с этим или непосредственно перед этим осуществить некое другое призрачное действие. Мы производим только одно действие с определенной сноровкой и с определенным настроением сознания, намеренно, аккуратно, согласно некоторой методике и *qui vive*, а не механически, бессмысленно болтая, опрометчиво, лицемерно, неосознанно или в горячке. Пворить что-либо при таком особом настроении — неважно, в слух или про себя, — значит продумывать мысль. Это не следствие предшествующего продумывания мысли, поскольку не может быть так, чтобы автор мысли мог предположительно продумывать мысль о мысли, но как бы уклоняться от того, чтобы высказывать что-то себе или другим. Конечно, продумывая ту же самую мысль, он может сказать и нечто другое, поскольку он может произнести предложение с тем же содержанием на другом языке или на том же языке, но другими словами. Вбивая гвоздь, мы не делаем два дела — одно с

молотком, а другое без молотка. Только лишь размахивая молотком, неуклюже или бесцельно, невозможно забить гвоздь, и все, что может сделать плотник, это попытаться вбить гвоздь другим молотком.

Итак, когда человек имеет теорию или овладел ею и, следовательно, готов предоставить себе или другим, кроме всего прочего, ее дидактическое изложение, он *ipso facto* готов сформулировать необходимые предложения-посылки, предложения-заключения, нарративные предложения, аргументацию, а также необходимые абстрактные существительные, уравнения, диаграммы, иллюстрации и т. д. Когда ему предложат дать подобную экспозицию теории, то он в определенные моменты времени фактически будет находиться в процессе развертывания этих выражений в уме, или *viva voce*, или печатая на пишущей машинке. Он должен мысленно настроиться на такую работу, то есть следовать определенной цели, методике, быть аккуратным и *qui vive*. Он будет говорить и писать, внимательно следя за своими словами. Поэтому, если угодно, мы можем сказать, что поскольку в определенные моменты он с полным вниманием развертывает абстрактную терминологию, предложения-посылки, предложения-заключения, аргументацию, графики, уравнения и т. д., то он делает это, "продумывая" здесь и сейчас, что они означают. Подобное высказывание будет справедливым, но несколько рискованным, поскольку причастие настоящего времени "обдумывающий" может вызвать у нас соблазн предположить, что человек является автором двух процессов: первого — явного процесса произнесения или печатания связанных фраз и предложений и другого — необходимо скрытого, остающегося в тени процесса обладания или создания некоторого рода призрачных предвестников того, что говорится или пишется, а именно неких "идей" или "суждений", "умозаключений" или "мыслей", так что речевые или письменные действия являются всего лишь "выражениями" или "отпечатками" этих "когнитивных актов". И именно этому соблазну поддаются те, кто описывает теоретические действия в качестве неких внутренних предвестников тех шагов прозаического повествования, которые осуществляются при дидактическом изложении законченной теории.

Это возвращает нас к поставленному ранее вопросу о том, должны ли мы искать предполагаемые акты "рассуждения", "обладания абстрактными идеями", "вывода умозаключений" в исследовании теоретика или же в его объяснении своей теории? Будут ли они проявляться в том, что он говорит — когда он уже знает, о чем говорить, или в его напряженной работе, когда он еще не знает, что говорить, поскольку он еще только стремится обрести это знание? Когда он применяет приобретенные навыки или когда он еще не преодолел всех трудностей? Когда он учит *как* или когда он еще учится *как*? Я полагаю, что и без дальнейшей аргументации ясно, что дидактическое изложение доводов с их заключениями и посылками, абстрактных идей, уравнений и т. д. относится к

той стадии, когда путешествие уже закончено, а не когда оно еще продолжается. Теоретик может преподавать свои уроки постольку, поскольку он сам уже закончил их освоение. Он может использовать свой багаж потому, что наконец его приобрел. Он может прогуливаться по дорожке только потому, что он закончил ее прокладывать, или, иными словами, он может легко обращаться с оружием, поскольку уже завершена тяжелая муштра. Его "мысли" — это то, чем он сейчас обладает, но не усилия, без которых у него бы их не было.

Если нам вообще стоит употреблять излишнее выражение "производство суждения", то мы должны сказать, что детектив производит суждение, что лесник убил помещика только в том случае, если он вкладывает в повествовательную прозу часть теории, которой он в данный момент обладает, и что он будет производить это суждение всякий раз, когда он будет вынужден излагать этот фрагмент своей теории самому себе, репортерам либо Скотланд-Ярду. И поэтому мы должны воздерживаться от того, чтобы говорить, что в качестве составной части его расследования имел место отдельный предшествующий акт производства этого суждения.

Итак, если мы хотим зарезервировать слово "мышление" в значении "продумывание" для обозначения некоторых предварительных мыслительных усилий, без которых детектив не овладел бы своей теорией, тогда мы не можем сказать, что это мышление заключается в производстве каких-либо суждений или что оно их содержит, за исключением того случая, когда он мог бы устанавливать *en route* некоторые субтеории, которые он, соответственно, готов был бы излагать себе самому, репортерам или Скотланд-Ярду в промежуточных отчетах. Поездка в Лондон не состоит из работы, выполненной в Лондоне, или из пересказа бесед, которые там состоялись.

Несомненно, в ходе своего расследования следователь побуждал и направлял свои усилия, задавая себе вопрос: "Был ли помещик убит именно лесником?" Однако вопросительное предложение, употребленное таким образом, не предлагает никакого вывода, а указывает на то, что надо искать этот вывод. Он спрашивает себя об этом не потому, что уже готов сообщить то, что обнаружил, а потому, что он еще что-то не уяснил для себя.

Опять-таки, несомненно, он может предварительно объявить самому себе или Скотланд-Ярду: "Возможно, это сделал лесник". Однако это не только не будет считаться актом производства суждения или сообщения о том, что лесник на самом деле убил помещика, но при определенном стечении обстоятельств будет принято за промежуточный отчет уже построенной и освоенной субтеории, которая поэтому далее не разрабатывается.

"Хорошо", согласятся со мной некоторые, "возможно, та идея, что теоретизирование следует описывать как состоящее из "актов суждения" или содержащее эти акты, не совсем верна. Разумеется, теоретик не может о чем-то рассказы-

вать до того, как он будет к этому готов; он не может объявлять о своих открытиях, пока продолжает исследование. Судебные разбирательства заканчиваются вынесением вердиктов, а не состоят из них. Однако как быть с выводом умозаключений? Несомненно, частью самого понятия разумного существа является то, что его мысли иногда развиваются посредством перехода от посылок к заключениям. В таком случае иногда будет справедливо в отношении любого разумного существа, например Джона Доу, сказать, что в данный момент он переходит от неких посылок к некоему заключению, пусть даже Джон Доу очень смутится, если у него спросить, получил ли он удовольствие от последних трех переходов подобного рода, сколько времени он на них затратил, было ли это пустой тратой времени, был ли он при этом максимально активен или пассивен и останавливался ли он когда-либо на полпути между посылками и заключениями".

Несомненно, будет справедливым сказать, что Джон Доу, обнаружив нечто или получив от кого-то определенные сведения, может затем рассказать себе самому и нам логически вытекающие из этого истины, которые не пришли ему на ум раньше. Открытия нередко делаются посредством вывода умозаключений, но не всякое доказательство будет открытием. Одна и та же аргументация может использоваться одним и тем же человеком снова и снова, но мы не можем сказать, что он постоянно делает одно и то же открытие. Допустим, детективу во вторник предоставили некоторые улики, и в среду в какой-то момент он впервые говорит себе: "Это не мог сделать браконьер, следовательно, помещика убил лесник". Когда же он будет докладывать о результатах своего расследования начальству, то ему необязательно говорить в прошедшем времени: "В среду вечером я доказал, что помещика убил лесник". Он может доложить: "Исходя из имеющихся улик, я делаю вывод, что помещика убил лесник", или "Из данных улик следует, что убийцей был лесник", или "Поскольку браконьер не убивал помещика, то его убил лесник". Он может сказать это несколько раз своему тугодуму-начальнику и затем неоднократно повторить в суде. Всякий раз он будет приводить свою аргументацию, делать вывод или высказывать свое умозаключение. Подобные описания нельзя относить только к тому моменту, когда его впервые осенило.

Собственно, вовсе не обязательно, чтобы у него был этот момент озарения. Вполне возможно, что мысль о том, что убийцей был лесник, уже приходила ему на ум и что новые улики, как ему показалось вначале, имели лишь отдаленное отношение к делу. Возможно, что в течение нескольких минут или дней он обдумывал и переоценивал эти улики и обнаружил, что лазейки, которые они, казалось, оставляли, постепенно все уменьшались и уменьшались, пока в какой-то момент совсем не исчезли. В подобной ситуации (а мы все находились в такой ситуации, когда начинали изучать доказательство первой теоремы Евклида) убедительность аргументации не возникает неожиданно, а постепенно осознается

мыслящим человеком точно так же, как переводчика не осеняет, в чем смысл сложного отрывка на латинском языке, — этот смысл постепенно приходит ему в голову. Мы в данном случае не можем сказать, что в такой-то и такой-то момент человек впервые сделал вывод; только после того, как он некоторое время все это прожевывал и переваривал, он наконец оказался готовым сделать этот вывод, сознавая, что имеет на это право. Он постепенно овладевает аргументацией, как это обычно происходит, когда осваиваешь что-то на практике. Когда же этот процесс завершен, он готов изложить аргументацию полностью, четко и уверенно, причем в различных формулировках и так часто, как это может понадобиться.

Этот хорошо знакомый нам факт, что перед тем, как быть готовыми привести аргументацию без особого труда, мы должны овладеть ею посредством более-менее постепенной практики, вероятно, несколько затемнила привычка логиков приводить в качестве примеров аргументов самые избитые образцы. Аргумент является избитым, когда в результате длительной привычки оперирования им или сходным с ним аргументом мы готовы к тому, чтобы использовать его без запинок и сомнений. Сила избитого аргумента сразу очевидна по той же причине, по какой сразу же ясен смысл предложения на латинском языке, если мы постоянно встречались и с лексикой, и с синтаксисом таких предложений. Сейчас нам это сразу же бросается в глаза и моментально становится ясным, но так было не всегда. Не будет так и если мы столкнемся с аргументами или предложениями на латыни, с которыми, или даже с их дальними родственниками, мы раньше никогда не встречались.

Поскольку неверно, что "вывод умозаключений" означает операцию, в ходе которой делается открытие и которая, следовательно, не может быть повторена, то под "выводом умозаключений" мы подразумеваем операцию, которую человек может повторить. Он не овладеет аргументацией до тех пор, пока не сможет применить ее при любых обстоятельствах и в различных формулировках. Недостаточно, чтобы однажды при получении какой-либо информации ему пришла на ум одна новая достоверная идея. Если о рассуждающем человеке можно сказать, что он вывел следствие из посылок, то он должен сознавать, что принятие данных посылок дает ему право принять и данное следствие. Проверка того, знает ли он об этом факте, будет еще одним применением принципа аргументации, хотя, конечно же, нельзя ожидать, что он сформулирует этот принцип *in abstracto*.

Итак, мы должны отличать этап обучения в использовании какой-то конкретной аргументации или любой аргументации определенного рода от того этапа, когда мы, используя подобную аргументацию, узнаем новые истины. Чем быстрее наступает этот второй этап, тем, вероятно, выше наше мастерство овладения аргументацией. Но приобрести это мастерство мы можем также постепенно, тем более что это, возможно, более надежный путь. Если человек

демонстрирует, что он может использовать аргументацию, адекватно применяя ее для обнаружения новой истины, он также показывает, что способен использовать эту же аргументацию не только для решения стоящих перед ним в данный момент вопросов, но и для множества других целей. Владение аргументацией, так же как владение пером, теорией или проектом, отличается как от ее приобретения, так и от ее использования. Ее использование подразумевает, что ты ею владеешь, а обладание ею подразумевает, что оно было достигнуто и не утрачено. Однако в отличие от некоторых видов теорий и планов мы не можем овладеть аргументацией, просто впитывая информацию, и не можем потерять это мастерство из-за плохой памяти. Аргументация, скорее, похожа на навык: для овладения ею необходима практика, и большие перерывы в ее употреблении редко приводят к тому, что человек забывает, как с ней работать. Под "практикой" я не имею в виду те специфические упражнения, которые даются весьма ограниченному кругу лиц преподавателями по логике; это обычные упражнения, которые выполняются всеми в их каждодневных дискуссиях или при чтении книг, а также задания более академического характера, с которыми почти всем приходилось иметь дело в школе.

Мы аргументируем или делаем заключения, когда говорим или пишем (для себя или для других) "это поэтому то", или "так как это, следовательно, то", или "из этого следует то" при условии, что знаем, что вправе так поступать. Говорить или писать при такой установке сознания — это, несомненно, ментальный, по-настоящему интеллектуальный акт, поскольку он является проявлением одной из тех способностей, которые правомерно относятся к "интеллектуальным". Но это не некий "ментальный акт" в том смысле, что он происходит за кулисами. Он может быть осуществлен в безмолвной беседе с самим собой, но с наименьшим успехом он может быть выполнен вслух или на бумаге. Действительно, мы ожидаем обнаружить самую искусную и точную аргументацию там же, где мы ожидаем найти наилучшие вычисления и доказательства математиков, а именно в тех рассуждениях, которые человек выносит на суд своих коллег в напечатанном виде. Известно, в чем можно заподозрить человека, когда он говорит, что у него есть хорошие аргументы, но он не хочет или не может их опубликовать.

Это подводит нас к другому вопросу. Мы отмечали, что вполне уместно сказать о человеке, что он в такой-то момент и в какой-то промежуток времени был вовлечен в процесс перехода от посылок к заключению. Выражение "выведение умозаключения" не используется для обозначения как медленного, так и быстрого процесса. "Я начал дедукцию, но мне не хватило времени ее закончить" — такого рода высказывания нельзя отнести к осмысленным. Признавая это, некоторые из теоретиков предпочитают говорить о выводе умозаключений как о мгновенной операции, которая, подобно проблеску или вспышке, заканчи-

вается, едва начавшись. Но такое описание неверно. Мы не можем говорить о выводе заключения как о медленном или быстром переходе или событии не потому, что это мгновенный переход, а по той причине, что это вообще не переход. Человек может быстро или медленно добраться до Лондона, решить анаграмму или поставить мат королю соперника; но осуществление заключения подобно прибытию в Лондон, решаемой анаграмме или объявлению мата королю не может быть описано как постепенный, внезапный или медленный процесс. Мы можем спросить, сколько времени понадобилось, чтобы пробежать дистанцию, а не сколько времени понадобилось, чтобы ее выиграть. Забег продолжался до определенного момента, с этого же момента он завершился, и кто-то оказался победителем. Но этот момент не был ни длинным, ни коротким. Другим примером подобного рода может быть вступление во владение какой-либо собственностью. Предварительные переговоры могут быть длительными или краткими, но переход от того состояния, когда мы еще не владеем определенным предметом, к тому, когда мы становимся его хозяином, не является ни быстрым, как вспышка молнии, ни длительным, как рассвет. Метафора "перехода" вводит здесь в заблуждение. Равным образом она вводит в заблуждение, когда используется для описания изменения, которое происходит, когда человек вступает во владение некой истиной, ради которой он в течение длительно-го или краткого времени также вел "переговоры".

Когда человек владеет аргументацией, ее изложение, устно или письменно, в первый или пятнадцатый раз, несомненно, требует определенного времени. Он может быстро пробубнить ее самому себе или произнести довольно медленно по телефону. Изложение аргументации может исчисляться в секундах или часах. Чтобы обозначить процесс изложения аргументации, мы чаще используем глагол "доказывать", реже — "выводить", "дедуцировать" или "выводить заключения". При таком употреблении мы можем сказать, что говорящего прервали на полпути между констатацией посылок и установлением заключений или что сегодня он проделал путь от посылок к заключениям гораздо быстрее, чем вчера. Подобным же образом заик может понадобиться немало времени, чтобы рассказать шутку, но мы не спрашиваем, сколько времени ему понадобилось, чтобы пошутить. Не спрашиваем мы о том, сколько времени рассуждающий потратил на прибытие (в отличие от путешествия) к заключениям. Глаголы "заключать", "дедуцировать" и "доказывать", как и "ставить мат", "выигрывать", "придумывать" и "прибывать", в своем основном употреблении являются тем, что я назвал "глаголами обладания" ("got it" verbs); и в то время, как публикация или другая эксплуатация того, чем овладел человек, может потребовать много или мало времени, его переход от того момента, когда он еще не овладел чем-то, к тому моменту, когда он этим уже владеет, не может квалифицироваться в эпитетах быстроты. Когда человек употребляет эти глаголы в настоящем

времени, которое не имеет конкретного временного значения, как, например, во фразах "я заключаю", "он дедуцирует" или "мы доказываем", он употребляет их в значении, производном от их основного значения. Они сообщают непосредственно не о приобретениях, а о чем-то похожем на обладание.

Традиционное допущение, что глаголы, описывающие логические выводы, обозначают процессы или операции, требовало от тех, кто их использовал, говорить, во-первых, что эти процессы или операции молниеносны, и, во-вторых, что их наличие является секретом, доступным только для их автора. Те аргументы, которые последний представляет в дискуссиях или в печатном виде, суть лишь "выражения" его скрытых операций и всего лишь побуждения к выполнению подобного же рода скрытых операций у тех людей, которые воспринимают его слова. Неправильное истолкование глаголов "для рецензий" в качестве глаголов "для биографий" неизбежно приводит к потребности в "двойных жизнеописаниях".

Эпистемология логических рассуждений наряду со многими другими областями эпистемологии поставила себя в невыгодное положение из-за своей приверженности особому предрассудку, заключающемуся в том, что операции теоретизирования, которым она пытается дать описание, должны быть описаны по аналогии со зрительным процессом. Она берет в качестве своей стандартной модели быстрое, не требующее усилий и адекватное визуальное узнавание того, что знакомо, ожидаемо и хорошо освещено, и совсем не упоминает запоздалое и неуверенное распознавание или же ошибочное узнавание того, что является странным, неожиданным или смутным. Более того, этот тип эпистемологии берет в качестве модели то, что обозначается глаголом визуального достижения "видеть", а не то, что обозначается словами зрительной задачи "вглядываться", "внимательно рассматривать" и "наблюдать". Обдумывание чего-либо описывается как состоящее, по крайней мере частично, из последовательного "видения" смыслов. Однако это означает описывать теоретическую деятельность по аналогии с тем, что является не деятельностью, а результатом, или описывать то, что на самом деле является более или менее сложным самообучением по аналогии с не представляющими для нас труда достижениями, которые доступны только лишь потому, что немалое число предыдущих усилий подготовило нас к беспрепятственному их выполнению. Это похоже на описание путешествий как состоящих из одних прибытий, поиска — только из находок и открытий, обучения — из удачно сданных экзаменов, или, проще говоря, на описание попыток и усилий как состоящих из одних успехов.

Верно, конечно, что очень часто смысл может быть непосредственно ясным, подобно тому как нам часто сразу же приятны шутки или то, что мы видим коров. При благоприятных условиях нам не требуется проводить исследования, чтобы выяснить, что данное существо на лугу — это корова, так же как не

нужно нечто изучить, чтобы быть готовым сказать, например, что "завтра будут Святки", если помнить, что сегодня Рождество. Здесь мы уже обладаем полным знакомством либо с определенной аргументацией, либо со многими родственными ей образцами. Если аргумент сам по себе избит или имеет отношение к избитым аргументам, то теперь больше не требуется никакого обучения или исследования, поскольку мы уже прошли через соответствующую подготовку, когда раньше сталкивались с этим или с родственными с ним аргументами, что и сделало их избитыми. Так, нам не надо особенно ломать голову, когда нас просят перевести на английский слово "*mensa*".

То же самое справедливо в отношении восприятия коров. Сейчас мы можем распознать их мгновенно и без особых усилий лишь потому, что благодаря предварительному научению, через которые мы прошли в детстве, для нас вид коров давно стал совершенно привычным. Поэтому излюбленные примеры легкого и мгновенного акта "видения" того, что одна истина следует из другой, ничего не проясняют относительно процесса обучения тому, как применять аргументы или следить за аргументацией, поскольку они являются не чем иным, как дополнительными примерами того, что люди, набившие руку в результате соответствующей практики, выполняют с полной уверенностью.

Любопытно отметить, что, хотя мы чаще метафорически используем глагол "видеть", когда говорим о мгновенном восприятии шуток, чем когда описываем мгновенное схватывание аргументов, ни один эпистемолог не предполагает, что наличие "ментальных актов" познания сути шуток должно предшествовать подшучиванию, в то время как они обычно утверждают, что употребление аргументации подразумевает наличие предварительных "ментальных актов" "видения" импликаций. Возможно, ситуация такова потому, что евклидовы "Начала" не содержат шуток. Но, скорее, причина заключается в очевидном обстоятельстве, что некий отдельный акт понимания (*seeing*) шуток не может быть каузальным предшественником произнесения шутки, т. е. подшучивание не является "выражением" предварительного "видения" шутки.

Теперь я хочу показать, что использование аргументации не "выражает" некий предшествующий и "внутренний" акт усмотрения импликации. Если кто-то рассказывает шутку, то это значит, что у него есть шутка, которую он может рассказать. Он не только может ее многократно рассказывать, но и понимает ее суть, когда ее рассказывает кто-то другой. Аналогично этому, если некто приводит аргументацию, то из этого следует, что он владеет аргументами, которые он может использовать: он может не только неоднократно их воспроизводить, но и признает их силу, когда они применяются кем-то другим. Однако тот факт, что способность использовать аргументацию предполагает способность "видеть" ее смысл, когда кто-то другой предъясвляет ему эту аргументацию, вовсе не означает, что такого рода "видение" причинно обуславливает его деятель-

ность до или во время того момента, когда он сам приводит эту аргументацию. Созерцательная метафора "видения" импликаций или шуток, которая прекрасно подходит для некоторых особых ситуаций, по той же самой причине не годится для иных ситуаций. Люди, слушающие остролова, сами не шутят, они лишь оценивают или не могут оценить его шутки. Публика является восприимчивой или невосприимчивой, проницательной или непроницательной, быстрой или медленной в своем понимании; но она не может быть оригинальной или неоригинальной, изобретательной или неизобретательной. Ей показалось что-то смешным или несмешным, или же она не сумела найти ничего смешного, но она не произносила и не делала ничего смешного или несмешного. Роль публики — понимать шутки, в то время как шутить — это дело шутника. Публику можно описать в созерцательных метафорах, но для шутника должны быть использованы слова, предназначенные для описания выполнения действий. Если бы не было сказано ни одной шутки, то нечего было бы и понимать. Чтобы острота показалась нам забавной, надо чтобы сначала она была произнесена. Сам шутник не может "видеть" юмора в своей остроте до тех пор, пока он не создаст ее, хотя он может "видеть" его до того, как он произнесет свою остроту перед широкой аудиторией. Понимание шуток предполагает произнесение шуток, так же как художественные галереи предполагают мольберты, а потребители предполагают производителей. Если бы идиомы построения, исполнения, изобретения и изготовления не были применимы к шутникам, художникам и фермерам, то идиомы, описывающие понимание шуток, восприятие картин и потребление фермерской продукции, не нашли бы применения.

Тот же принцип остается в силе и в отношении теории. Если бы доказательства не были предъявлены, их нельзя было бы признать; если бы выводы не были сделаны, то нельзя было бы принять или не принять умозаключения; если бы не были сделаны утверждения, то мы не могли бы согласиться или не согласиться с ними. Для того чтобы один судья согласился с вердиктом, нужно, чтобы другой судья вынес этот вердикт. Только построенная изложенная аргументация может быть проанализирована, и только тогда, когда умозаключение было по крайней мере обсуждено, может быть усмотрен или не усмотрен его смысл. Неверно, что мы сначала видим смысл, а затем выводим заключение или что мы сначала схватываем решение анаграммы, а затем приступаем к ее решению. Прежде чем назвать произведение чисел "верным", мы должны его найти.

Эту разницу между употреблением созерцательных и исполнительных идиом при описании интеллектуальной работы можно проиллюстрировать на другом примере. Когда дети приступают к изучению геометрии, то доказательства теорем им обычно предоставляют напечатанными в книгах или написанными на доске. Задача учащихся состоит в том, чтобы изучить, воспроизвести и принять эти доказательства. Их обучение заключается в том, чтобы они согласи-

лись с данными доказательствами. Но когда они приступают к изучению арифметики или алгебры, их работа организуется существенно иначе: они сами должны складывать, вычитать, умножать и делить. Они не изучают классические решения уравнений — им надо решать свои собственные уравнения. Они учатся, выполняя действия. Следовательно, в то время как созерцательные идиомы естественным образом применимы к указаниям и описаниям того, как изучается геометрия, исполнительные идиомы относятся к указаниям и описаниям того, как осваивается арифметика и алгебра. В первом случае учеников осуждают за то, что они не могут "увидеть" или "следить" за доказательствами, в другом — их критикуют за то, что они не могут "произвести" деление в столбик или "решить" квадратные уравнения. Подобным образом мы говорим скорее что перевод сделан или предоставлен, чем признан или усвоен.

К сожалению, формальная логика изначально преподавалась во всеми почитаемой геометрической манере, результатом чего явилось то, что эпистемология логических рассуждений и интеллектуальной деятельности в целом продолжает излагаться в созерцательных идиомах, то есть в терминах, которые подходят для классных комнат, оборудованных доской, но без ручек и бумаги, вместо того чтобы излагаться в терминах, которые подходят для классных комнат с ручками и бумагой, но без доски. Нам дают понять, что "познавать" — это не значит, что надо нечто разрабатывать, а это значит, что тебе нечто покажут. Если бы арифметика и шахматы были внесены в учебный план раньше геометрии или формальной логики, то теоретическая работа стала бы связываться с выполнением вычислений и решением гамбитов вместо того, чтобы быть борьбой за место, откуда лучше видна доска. У нас могла бы выработаться привычка говорить о выводе умозаключений лексикой футбольного поля вместо лексики трибуны для зрителей, и мы, возможно, стали бы рассматривать правила логики скорее как лицензии на право делать заключения, чем лицензии на право соглашаться с этими заключениями. Тогда бы нам не приходило в голову, что акт внутреннего "видения" импликации должен претворять использование какой бы то ни было аргументации, и стало бы очевидным, поскольку так оно и есть на самом деле, что человека можно описать как "видящего", что одна истина следует из другой только тогда, когда он читает или слышит, пусть только в своей голове, провозглашаемую аргументацию "это поэтому то", "так как это, следовательно, то", "если это, тогда то".

Я вкратце рассмотрю еще один пример злоупотребления терминологией. Есть определенные виды выражений, регулярно используемые как теоретиками, так и обычными людьми, которые правильно и уместно классифицируются как "абстрактные". Абстракцией являются миля, так же как и национальный долг, экватор, средний налогоплательщик, квадратный корень из 169 и крикет. Каждый более или менее образованный человек знает, как разумно использо-

вать большое число абстрактных терминов и как проследить их применение другими людьми; он владеет ими большей частью уверенно, согласованно, последовательно и адекватно применяет их в утверждениях общего характера, поучениях, вопросах и аргументах. При определенных обстоятельствах он признает, что классифицировать эти термины в качестве "абстрактных" весьма полезно. Если сын спросит его, почему экватор обозначен на карте, хотя он не видим для тех, кто его пересекает, или как так может быть, что в Англии в крикет играют многие годы, хотя никакой матч по крикету не длится более трех-четырёх дней, то человек будет готов ответить или уклониться от ответа, сказав, что экватор и крикет — это всего лишь абстрактные идеи. Сказать так — значит заявить, хотя вряд ли обычный человек выразит это такими словами, что утверждения, вопросы и доводы, которые включают в себя такие абстрактные термины, как "экватор", "средний налогоплательщик" и "крикет", находятся на более высоком уровне общности, чем предполагает их синтаксис. Они истолковываются так, как будто содержат отсылки к отдельным предметам, людям или матчам, тогда как на самом деле они относятся, различными способами, к сферам индивидуально не различаемых предметов, людей и матчей.

Если человек в определенный момент употребляет абстрактный термин, используя его осмысленно и сознавая эту осмысленность, то о нем можно сказать, что он использует абстрактную идею или даже мыслит абстрактную мысль или понятие. А от этих безобидных, хотя и не очень удачных выражений легко перейти к более симптоматичному и далеко идущему утверждению о том, что этот абстрактный термин "выражает" абстрактную идею, которую человек имеет здесь и сейчас. Тогда возникают животрепещущие вопросы. Как и когда он сформировал эту абстрактную идею? Где она была и что она делала в период между предыдущим и настоящим ее употреблением? Что она больше напоминает: плохо и нечетко очерченную мысленную картину или множество отчетливых мысленных образов, каждый из которых несколько отличается от другого? Тот факт, что сознания являются единственными хранилищами, в которых могли бы складываться такие ценные, хотя и бесплотные товары, естественно, не будет ставиться под сомнение.

В реальной жизни никто и никогда не рассказывает такого рода историй. Никто не станет отказываться присоединиться к игре под тем предлогом, что он занят формированием некоей абстрактной идеи, или не скажет, что он считает, что постижение понятий — это более сложный или более длительный процесс, чем деление в столбик. Никто не заявит, что он только что нашел абстрактную идею, после того как потерял ее несколько недель назад, или что идея среднего налогоплательщика недостаточно расплывчата или, наоборот, недостаточно похожа на фотографию, чтобы выполнять свою роль. Ни один учитель не заставит своих учеников сесть и выполнить несколько абстракций и не будет ста-

вить хорошие или плохие оценки за то, как они выполняют подобного рода задания. Не изобразит и писатель своего героя как абстрагирующего решительно, ловко или без особого энтузиазма. Ясно, что глагол "абстрагировать" не является подходящим глаголом для описания биографий, поэтому он не годится даже для призрачных биографий.

Рассмотрим другой пример. Географические горизонталы, несомненно, являются абстракциями. Солдат не обнаружит на холме ничего соответствующего горизонталы, обозначающей на карте высоту в 300 футов, в то же время он найдет реки и дороги, соответствующие условным обозначениям рек и дорог на карте. Но хотя горизонталы являются абстрактными обозначениями в том отношении, в каком не являются абстракциями условные обозначения для рек, солдат может довольно хорошо знать, как истолковать и использовать их. Идентифицировав тот лесок, где он находится, с рощицей, обозначенной на карте, он может сказать, на какой высоте над уровнем моря он находится, сколько ему еще надо взбираться вверх, чтобы достичь вершины, и сможет ли он увидеть мост через железную дорогу, когда рассеется туман. Он может нарисовать карту, грубо набросав горизонталы, он может назначать и проводить встречи в местах, отмеченных на имеющихся горизонталях, может осмысленно говорить о горизонталях. Поэтому как бы солдата ни удивило подобное заявление, он обладает абстрактной идеей горизонталы.

Но говоря, что солдат обладает данной идеей, мы не имеем в виду, что существует нечто неосознаваемое, что может обнаружить только он один, если направит свое внимание вовнутрь. Имеется в виду, что он может выполнять, регулярно или в данный момент, некоторые из только что описанных задач, а также неопределенное множество разных заданий подобного рода.

Вопрос "Как он сформировал эту абстрактную идею?" становится вопросом "Как он приобрел эту сноровку или умение?" На этот вопрос уже может дать ответ сам солдат. Он ответит, что прослушал курс лекций, где его научили читать и рисовать карты; его отправили в незнакомую местность с компасом и картой; ему предложили обратить внимание на то, как после паводка на склонах холмов, расположенных вокруг озера на высоте 12 футов над постоянным уровнем озера, образовалась полоса из водорослей; его спросили, что будет скрыто и что останется видимым, если кучевое облако опустится до высоты 300 футов над уровнем моря; его подняли на смех, когда он нарисовал карту, на которой линии горизонталы пересекались или прерывались. Солдату понадобилось три недели, чтобы начать хорошо ориентироваться. Мы можем перефразировать это и сказать, что он в течение трех недель формировал абстрактную идею горизонталы. Но правильнее и естественнее будет сказать, что ему понадобилось три недели, чтобы научиться читать по карте, и использовать горизонталы, и освоить употребление слова "горизонталь". При первом описании возникает соблазн предположить,

что на протяжении трех недель в его метафорических внутренностях что-то медленно дистиллировалось или концентрировалось или что в его метафорической темной комнате постепенно проявлялось нечто похожее на негатив, даже при том что он сам в это время играл в футбол, ел и спал.

"Горизонталы — это абстракции" или "линии горизонталей — это абстрактные обозначения на картах" — такого рода высказывания будут надлежащей и полезной инструкцией топографа для тех, кому понадобится читать или делать карты. Фраза "Линии горизонталей являются внешним выражением ментальных актов постижения высоты над уровнем моря, которые осуществляют картографы" подразумевает, что, читая карту, мы проникаем в непроницаемую тенью жизнь некоего анонимного субъекта.

(5) ГОВОРИТЬ И ОБУЧАТЬ

В этой главе, так же как и в других разделах книги, я старался провести различие между несколькими видами речи — речью, типичной для наших естественных, повседневно текущих разговоров и болтовни, сдержанной и контролируемой разговорной речью скрытного или неискреннего человека и искусственной, подготовленной, неразговорной речью наставника. В этой главе мы особое внимание уделим последнему виду речи, а именно дидактическому дискурсу, письменному или устному, опубликованному или адресованному себе самому, посредством которого человек обучает тому, чему он должен учить. Главная причина того, что мы столь долго топчемся вокруг методов, целей и даже интонаций дидактического дискурса, состоит в том, что понятие интеллекта проясняется именно в терминах дидактического дискурса. По крайней мере, значительная часть того, что мы подразумеваем под "интеллектуальными способностями", — это те способности, которые первоначально внедряются и развиваются преимущественно посредством дидактического дискурса и сами, *inter alia*, применяются затем в последующих речах при обучении тем же урокам или же их адаптированным расширенным вариантам. Дидактический дискурс — это средство передачи знания.

Однако есть еще одна, более общая, причина для обсуждения различных видов речи. Эпистемологи всегда понимали, что существуют тесные связи между мыслью и речью, но их прояснению препятствовало неявное допущение о том, что они предполагали, что говорить — значит осуществлять некоего рода атомарную и гомогенную деятельность. Они без каких-либо сомнений в своей правоте употребляли такие глаголы, как "утверждать", "предлагать", "объявлять", "заявлять", "описывать", "докладывать", "выражать", "рассказывать", "говорить" и "рассуждать", так как если бы они давали полное и однозначное представление о том, что происходит с человеком, когда его описывают как занятого

тем или другим из этих дел. Но именно в том, как люди говорят о чем-либо, не существует однозначных или атомарных способов и форм. Когда мы говорим, мы можем просто беседовать, либо уговаривать кого-то, либо убеждать, либо повелевать кем-то, либо развлекать, либо осуждать и т. д. Речь при заключении сделки отличается от бесед на профессиональные темы, а то и другое не похоже на то, как мы рассказываем анекдоты, угрожаем или побуждаем кого-либо к чему-либо. Даже то, что мы пишем, предназначено для прочтения с определенной интонацией, а то, что мы мысленно говорим самим себе, не "произносится" монотонно.

Здесь нас больше всего будет интересовать дидактическая устная и письменная речь. В отличие от большинства других видов речи, которые предполагают ответ или иную непосредственную реакцию, дидактическая речь предназначена для запоминания. От многих других видов речи ее отличает и то, что ее цель заключается в улучшении (обогащении или усилении) умственных способностей того, кто ее воспринимает. Обучать — значит учить кого-то делать определенные вещи, что включает также умение говорить о них. Предполагается, что ученик по прошествии значительного времени должен сохранять способность дальше делать то, чему его научили. Уроки предназначены для усвоения, а не для того, чтобы их забывали. Короче говоря, обучение — это преднамеренное оснащение человека знаниями. Конечно, не все обучение основывается на дидактической речи. Так, дети учатся на примерах, не все из которых продуманно отобраны для того, чтобы их повторяли. Одни уроки даются посредством преднамеренно установленных образцов или наглядных примеров, другие — путем обычной тренировки, третьи — в шуточной форме и т. д.

Итак, в отличие от большинства других видов речи, но подобно другим видам уроков дидактический дискурс следует запоминать, повторять и воспроизводить. Его можно повторять без потери смысла, можно передавать как в устном, так и в письменном виде. Уроки, которые преподаются таким образом, могут быть сохранены (в то время как уроки, проводимые в форме демонстраций и примеров, не могут сохраняться), следовательно, их можно накапливать, собирать, сравнивать, анализировать и критиковать. Так, мы можем изучать как то, чему наши деды научили наших отцов, так и то, что наши отцы добавили к тем урокам, которые они получили. Новые открытия, посредством которых они улучшили свой запас наставлений, могут быть включены в обучение их детей, поскольку не нужно быть гением, чтобы научиться тому, для открытия или изобретения чего надо было быть гением. Интеллектуальный прогресс возможен именно потому, что еще "не созревший" может быть обучен тому, что способен обнаружить только тот, кто "созрел". Наука развивается, поскольку студент при надлежащем обучении может начать с того места, где остановились Евклид, Гарвей и Ньютон.

Кроме того, дидактический дискурс является безличностным и не связанным с определенным местом в том смысле, что распространяемые с его помощью уроки могут быть прочитаны любым соответствующим образом обученным преподавателем любому соответствующе подготовленному ученику. При этом условия данного процесса не локализованы и не фиксированы в отличие от неповторимых ситуаций, в которых обмениваются высказываниями при обычном разговоре, совершении сделок, при убеждении или обвинении кого-либо. Если остроумный ответ, дорожный сигнал или обещание не сделаны конкретным человеком другому конкретному человеку в определенный момент, то шанс это сделать исчезает безвозвратно, но если Джон Доу пропустил вчерашний урок о сослагательном наклонении в латинском языке или не успел дочитать до конца главу о расстоянии до Луны и ее размерах, то его восприятие такого же урока или текста завтра или на следующей неделе может иметь ту же суть. Те, кто знаком с философскими дискуссиями о природе и статусе того, что называют "пропозициями", не упустят из виду момент, что предикаты, посредством которых описываются пропозиции, *ex officio* действительно принадлежат к сфере дидактического дискурса и не имеют отношения к остроумным ответам, шутивным стихотворениям, сомнениям, восклицаниям, соболезнаваниям, обвинениям, клятвам, приказаниям, жалобам или к любому другому виду недидактической речи. Не случайно некоторые теоретики любят определять "интеллектуальные операции" как операции с пропозициями, а другие предпочитают определять "пропозиции" в качестве результатов или инвентаря интеллектуальных операций. И те, и другие неявно отсылают нас к действиям и способностям давать, получать и использовать уроки, конечно же, явно не упоминая подобные несколько приземленные сюжеты.

Любая речь направлена на то, чтобы оказать какое-то определенное воздействие. Подразумевается, что вопрос должен быть услышан, понят, что на него следует дать ответ; предложение чего-либо должно быть рассмотрено и принято; угроза должна быть отклонена, а соболезнавание должно утешить. Предназначение дидактической речи заключается в том, чтобы дать наставление. Инструктор по плаванию рассказывает что-то своим ученикам, но он не нацелен на то, чтобы первым делом потребовать от них повторить то, что он им сказал. Ему надо, чтобы ученик сначала под его команды выполнил требуемые взмахи и гребки руками и ногами, а позднее мог выполнить те же движения уже без сопровождения в форме словесных или мысленных наставлений. В конечном счете, возможно, ученик будет учить плавать других новичков или же будет учить самого себя выполнять новые движения или старые движения, но в усложненном варианте. Освоить преподнесенный урок — значит не только и не столько уметь повторять его, но уметь выполнять целый ряд взаимосвязанных между собой вещей. Сказанное вполне приложимо и к урокам более акаде-

мического характера, таким, как уроки фонетики, географии, грамматики, стилистики, ботаники, арифметики и силлогистики. Подобные уроки учат нас тому, как говорить или делать нечто, причем в большинстве своем полученное не будет просто эхом слов из этих уроков.

Дидактическое воздействие может оказываться не только на другого человека, но и на самого себя. Человек может научить себя говорить и делать то, что не будет простым повторением слов, из которых давалось наставление. Он может не только дать себе предписания, которые он затем будет выполнять, оперируя руками, но и сказать себе то, из чего потом можно извлечь основу для новых дидактических шагов. Например, сказав себе, что в гараже находится семь канистр, в каждой из которых содержится по два галлона бензина, он затем может сказать себе, что в гараже находится четырнадцать галлонов бензина. Деятельность, которую мы называем "обдумыванием", "размышлением", "рассмотрением", "обсуждением" и "выдумыванием", как известно, может быть прогрессирующей. Она может приводить к новым результатам. Ответы на некоторые (но не на все) вопросы могут быть найдены просто в ходе приватного или межличностного обсуждения при условии, что используемые в них виды рассуждения будут правильными и что оно будет вестись с определенным мастерством, усердием и вниманием. Рассуждая в шутовском тоне, мы не сможем решить алгебраическую проблему, даже если будем при этом сыпать потоком алгебраических выражений.

Когда мы высказываем мнение об интеллектуальных умениях и интеллектуальной ограниченности человека, мы в первую очередь имеем в виду его подготовленность и стремление проделывать такого рода продвижения вперед. Может показаться, что, говоря о достижении новых результатов в интеллектуальной деятельности, я всего лишь веду речь о дедукции или, более широко, о логическом выводе. Но это далеко не единственная разновидность прогрессирующего мышления. При умножении или делении мы приходим к ответам, которые сперва были нам неизвестны, но мы не называем эти ответы "заключениями"; мы также не называем неправильные вычисления "ложными выводами". Собрав множество относящихся к делу фактов, историк должен осмыслить их прежде, чем дать согласованную оценку некоей военной кампании. Однако согласованность его окончательной оценки будет представлять собой единство, существенно отличающееся от единства цепочки теорем. Его анализ будет содержать множество выводов, при этом он должен быть свободен от противоречий, но, чтобы быть хорошим по критериям исторической науки, этот анализ должен обладать и другими интеллектуальными достоинствами. Высококачественный перевод также требует сосредоточенного мышления, однако правила и каноны, которые при этом должны соблюдаться, не сводятся лишь к правилам логического вывода. Корявость перевода свиде-

тельствует, скорее, не об ошибках мышления, а о недостатке культуры мышления.

Продумывание каких-либо вещей включает в себя то, что мы говорим или себе самим, или собеседникам определенные наставления об этих вещах. Принятие каждого из высказываний нацелено на то, чтобы подготовить или оснастить реципиента средствами для дальнейших шагов, например чтобы он мог применить это наставление в качестве посылки или принципа действия. Но на занятиях в классе, в межличностном общении или уединенном размышлении ни учитель, ни учащийся не бывают абсолютно искусными, терпеливыми, энергичными, бдительными или собранными. Случается так, что наставления приходится повторять, перефразировать, откладывать до другого времени; ответы и реакции их рецепта могут быть неуместными, неправильными, неуверенными или небрежными. Достигнутое вчера продвижение сегодня может оказаться полностью утраченным, наоборот, длительный застой в мгновение ока может уступить место значительному шагу вперед, отчего размышляющий человек приходит в недоумение: почему задание, которое вчера казалось столь трудным, сегодня кажется таким простым? А завтра, возможно, он будет сетовать на то, что достигнутые результаты ничего не решили, но лишь поставили перед ним новые задачи, такие же трудные, как и те, с которыми ему уже удалось справиться. Возможно, он нашел способ, как использовать вчерашнее утверждение в качестве посылки, но заключение, полученное сегодня, в свою очередь, может обернуться только посылкой для дальнейшей работы. Достигнутые им результаты всегда можно использовать в качестве уроков, из которых с должной сноровкой, усердием и удачей можно получить новые результаты.

Итак, как мы видим, хорошо известный факт, что размышление может быть прогрессирующим, даже если оно будет состоять из последовательного продуцирования инертных высказываний, не является необъяснимым. Некоторые виды адекватно изложенных и адекватно воспринятых предложений оказывают поучительное воздействие. Они учат нас совершать и говорить то, что не говорилось или не совершалось при их изложении. Некоторых мыслителей озадачивал вопрос: "Как может человек узнавать новое, лишь пересказывая себе, что он уже знает?" При этом их не ставил в тупик вопрос: "Как находящийся в воде новичок может научиться новым и правильным движениям со слов находящегося на берегу инструктора?" — или даже такой вопрос: "Как человек может научиться правильно плавать новым для него стилем, слушая наставления, которые он сам себе внушает?" "Каким образом человек может научиться делать новые дидактические действия, выслушивая поучающие высказывания, исходящие от его наставника, коллеги или от него самого?" — этот вопрос теперь уже не является загадкой.

(6) ПРИМАТ ИНТЕЛЛЕКТА

Теперь нам будет легко различить тот смысл, в котором интеллектуальные операции превалируют над проявлениями других ментальных способностей и "управляют" ими, от того смысла, в котором я отрицал тот факт, что при описании действий и реакций людей, которые включают в себя ментальные понятия, должно приниматься в расчет наличие интеллектуальных операций.

Интеллектуальная деятельность обладает культурным превосходством, так как это труд тех, кто получил и сам может дать высший уровень образования, а именно образование посредством дидактического дискурса. Это и есть то, что конституирует культуру или является *sine qua non* культуры. Грубо говоря, варвары и младенцы не занимаются интеллектуальным трудом, поскольку, если бы они это делали, мы должны были бы вместо этого называть их по крайней мере "полуцивилизированными" или "приближающимися к школьному возрасту". Есть некоторого рода противоречие в том, чтобы говорить о несколько совершенно необученном интеллекте (если только при этом не предполагается чья-то способность извлекать пользу от такого обучения), но не будет никакого противоречия в высказываниях о совершенно необученном сознании. Обучение человека требует того, чтобы он уже обрел способность получать такое обучение. Человек, который не умеет использовать или понимать обычную речь, не может понимать и тем более излагать лекции.

Поэтому абсурдно говорить, что уделять внимание, пытаться, желать, бояться, испытывать удовлетворение, постигать, учитывать, вспоминать, намереваться, узнавать, ссылаться, играть и болтать – это то, что может осуществляться только в соответствии с дидактически изложенными инструкциями, не важно, исходят ли они от внутреннего или внешнего наставника. Это, тем не менее, вполне совместимо с высказыванием о том, что некоторый уровень интеллектуальной образованности является *sine qua non*, к примеру, того, чтобы желать получить диплом юриста, насладиться остротой Вольтера, учитывать правила употребления условных предложений в греческом языке, идентифицировать магнето или сертификат на получение дивидендов. Даже если это так, то, когда мы описываем человека, делающего нечто, чего он не смог бы сделать без предварительно полученного обучения, это не означает, что нужно говорить, будто он должен воспроизводить все или некоторые из освоенных ранее уроков перед тем, как начать действовать. Я не смог бы сейчас прочитать предложение на греческом языке, если бы ранее не изучал греческую грамматику, однако перед тем, как истолковывать смысл на греческом, мне обычно не приходится напоминать себе о каких-либо правилах греческой грамматики. Я делаю это согласно правилам, но я не думаю о них. Я держу их в сознании, но не обращаюсь к ним до тех пор, пока у меня не возникают трудности.

У эпистемологов и моралистов наблюдается склонность предполагать, что обладать сознанием — значит иметь внутри себя, не только лишь потенциально, но и актуально, одного или двух наставников — Разум и Совесть. Иногда Совесть считают Разумом, вещающим в тоне воскресной проповеди. Предполагается, что раз эти наставники компетентны поучать, то они уже знают то, что их слушатели пока еще не знают. Мой Разум в отличие от меня самого уже полностью рационален, а моя Совесть — совершенно чиста и добродетельна. Так что им не надо ничему учиться. Если же мы спросим: "Кто научил мой Разум и мою Совесть тому, что они освоили и не забыли?" — то, вероятно, нам расскажут о соответствующих наставниках, приютившихся внутри их глубин. Несомненно, в детском мифе скрыт серьезный смысл, как есть смысл и в моем легкомысленном продолжении этой сказки. Будет вполне справедливо сказать, что, когда ребенок что-то наполовину знает, а наполовину извлекает из дидактического дискурса своих родителей и школьных преподавателей, он приобретает некую способность и склонность повторять себе уроки в их авторитетном тоне. В стандартных ситуациях ему не надо ломать голову над тем, что родители и учителя сказали бы ему или что он сам должен сказать себе. Он достаточно хорошо знает избитые места своих уроков, чтобы излагать их уверенно, правильно и с нужной степенью торжественности. Когда же он так поступает, то он, если угодно, "слышит голос Разума" или "Совести", говоря авторитетным тоном на языке, который является странной смесью, к примеру, его языка и языка его отца. Он с легкостью может давать себе наставления, которые, тем не менее, ему еще трудно соблюдать. Его проповедь с необходимостью опережает его практику, так как цель изложения ему дидактических речей заключается в том, чтобы через это внедрить в него более хорошие практики. Поэтому на этой стадии он уже может довольно хорошо усваивать, как и когда говорить себе, что нужно делать, хотя он еще толком не знает, как и когда это делать. Похожая ситуация может возникнуть, когда ученик ломает голову над фрагментом прозы на латыни. Испытывая трудности с синтаксисом предложения, он может "прислушаться" и "услышать" соответствующее правило синтаксиса, диктуемое ему с интонацией голоса, которая наполовину принадлежит ему самому и наполовину — его школьному учителю. Этот голос мог бы быть живописно назван "голосом латинской грамматики", однако в данном случае происхождение этого голоса будет слишком очевидным для всех, чтобы можно было всерьез говорить, что подлинным источником его грамматической совести являются предписания некоего внутреннего ангельского филолога.

Это упоминание совести и знания латинской грамматики возвращает нас к ранее отмеченному, но еще не рассмотренному вопросу, а именно к вопросу об интеллектуальной деятельности, отличной от теоретизирования. Знание грамматики, например, является знанием того, как составлять латинское предложе-

ние и делать его разбор, знание морали (если вообще можно употреблять это натянутое выражение) суть знание того, как вести себя в определенного рода ситуациях, в которых возникают проблемы не только теоретического или технического характера. Умение играть в шахматы или бридж — это интеллектуальное приобретение, которое проявляется в стремлении победить в игре; стратегия — это интеллектуальное достижение, которое проявляется в стремлении победить в сражениях или в военных кампаниях; обучение и опыт работы в мастерской учат инженера проектировать мосты, а не (кроме как *per accidens*) строить и излагать теории.

Нам не надо далеко ходить, чтобы понять причину того, почему мы называем подобные игры и занятия "интеллектуальными": не только образование, необходимое для того, чтобы овладеть этими видами мастерства, но также и многие из операций, необходимых при их применении на практике, идентичны тому обучению и тем операциям, которые нужны для построения, изложения и применения теорий. Умение составлять и делать разбор предложений на латыни — это мастерство, в то время как филология латинского языка — это наука, но методы обучения и применения того и другого частично совпадают. Инженерное искусство не продвигает физику, химию или экономику, но компетентность в инженерном деле несовместима с полным невежеством в этих областях теории. Если не вычисления, то хотя бы некоторого рода оценка вероятностей является составной частью более интеллектуальных карточных игр, и это одна из причин, по которой мы можем описывать их как "интеллектуальные".

Легко заметить, что интеллектуальное развитие является условием существования всех, кроме самых примитивных, занятий и увлечений. Любое продвинутое ремесло, игра, проект, развлечение, организация или производство с необходимостью слишком сложно для понимания необученных дикарей и младенцев, иначе мы не могли бы назвать их "продвинутыми". Нам необязательно быть учеными, чтобы решать анаграммы или играть в вист, однако мы должны быть грамотными и уметь складывать и вычитать.

(7) ЭПИСТЕМОЛОГИЯ

Перед тем как завершить эту главу, стоит рассмотреть некоторые академические и ведомственные сюжеты. Часть философии традиционно называется "теорией познания" или "эпистемологией". Теперь вопрос можно поставить так: "Какого рода теории о познании должны попытаться создать эпистемологи, если учесть тот факт, что мы обнаружили нечто радикально ошибочное в важных положениях теорий, которые они предлагали до настоящего времени? Если весь внушительный арсенал понятий, содержащий такие термины, как "идея", "поня-

тие", "суждение", "умозаключение" и т. д. был неправомерно перенесен из области функциональных описаний элементов опубликованных теорий в область описания актов и процессов построения теорий, то что тогда остается от теории познания? Если эти термины не означают скрытые проводочки и шестеренки, посредством которых, как это ошибочно предполагалось, должны осуществляться интеллектуальные действия, то что же является подлинным предметом теории познания?"

Выражение "теория познания" могло бы использоваться для обозначения одного из двух: (1) оно могло бы использоваться для обозначения места теории наук, то есть систематичного исследования структуры построенных теорий; (2) оно могло бы очерчивать область теории обучения, открытия и изобретения.

(1) Философская теория наук или, в более общем смысле, построенных, готовых теорий дает функциональный анализ понятий, утверждений и доказательств, а также других многочисленных видов выражений, которые входят в формулировку теорий. Она могла бы называться "логикой науки" или, метафорически, "грамматикой науки" (но слово "наука" не должно употребляться в таком узком смысле, чтобы исключать теории, которым не покровительствует Королевское Общество). Этот тип анализа не описывает или не принимает во внимание какие-либо эпизоды из жизни отдельных ученых. Поэтому в нем нет места и описаниям или ссылкам на какие бы то ни было предполагаемые эпизоды из частного мышления. Этот анализ специальными средствами описывает то, что существует или может обнаруживать себя в напечатанном виде.

(2) Так как реально существует практика и профессия учителя, то могла бы существовать область философской теории, которая занималась бы понятиями обучения, преподавания и проверки знаний. Она могла бы называться "философией обучения", "методологией образования" или, более возвышенно, "грамматикой педагогики". Это будет теорией познания в смысле приобретения знания. Эти исследования могли бы использовать термины, при помощи которых описываются определенные эпизоды реальной жизнедеятельности индивидов и даются рекомендации для учителей и экзаменаторов.

Великие эпистемологи Локк, Юм и Кант главным образом продвинули грамматику науки, когда они полагали, что обсуждают элементы скрытой жизненной истории людей, приобретающих знание. Они оценивали претензии на достоверность различных типов теорий, но делали это иносказательно, на околопсихологическом языке. Если закрепить, как здесь рекомендуется, торговую марку традиционной эпистемологии за ее подлинным местом — анатомией построенных теорий, то это имело бы благоприятное воздействие на наши теории сознания. Одним из сильнейших факторов, заставляющих нас верить в доктрину о том, что сознание является приватной сферой, служит прочно укорен-

нившаяся привычка соглашаться с тем, что должны существовать "когнитивные акты" или "когнитивные процессы", значение которых было извращено ярлыками традиционного подхода. Так, поскольку ничто из той деятельности Джона Доу, которую мы можем наблюдать, не соответствует требуемым актам обладания идеями, абстрагирования, высказывания суждений или перехода от посылок к заключениям, то казалось необходимым локализовать эти акты на подмостках его внутренней сцены, к которым есть доступ только у него самого. Изобилие убедительных биографических деталей, которые даются в эпистемологических аллегориях, было, по крайней мере для меня самого, другим сильным мотивом приверженности мифу о Духе в машине. Приписываемые события казались недоступно "внутренними", поскольку они и в самом деле были ненаблюдаемыми. Однако в действительности они ненаблюдаемы потому, что они были вымышлены. Они были каузальными гипотезами, в которые подставлялись функциональные описания элементов опубликованных теорий.

ГЛАВА X. ПСИХОЛОГИЯ

(1) ПРОГРАММА ПСИХОЛОГИИ

В этой книге я почти ничего не сказал о науке психологии. Это упущение может показаться даже нарочитым, если учесть тот факт, что всю книгу можно было бы назвать очерком по философской, а не по научной психологии. Отчасти эту оплошность я могу объяснить следующим образом. Я исследовал логическое поведение ряда понятий, которые все мы регулярно употребляем и которые не являются специальными понятиями. Это такие понятия, как обучаться, практиковать, пытаться, обращать внимание, притворяться, хотеть, размышлять, доказывать, уклоняться, проявлять осторожность, видеть, быть обеспокоенным. Каждый должен знать, как их употреблять, и все учатся этому. Нет особой разницы между тем, как эти понятия употребляют психологи, и тем, как их употребляют писатели-романисты, биографы, историки, учителя, судьи, пограничники, политики, детективы или люди с улицы. Но это еще далеко не вся история.

Когда мы размышляем о науке психологии или психологических дисциплинах, мы склонны, и нас к этому часто поощряют, ставить знак равенства между официальными программами психологии и исследованиями, которые реально проводят психологи, между их публичными заявлениями и их лабораторной деятельностью. Когда двести лет назад появилось слово "психология", люди были убеждены в истинности легенды о двух мирах. Исходя из посылки, что ньютоновская наука может объяснить все существующее и происходящее в физическом мире (что было ошибочной мыслью), они предположили, что может и должна существовать дополняющая ее другая наука, объясняющая все, что существует и происходит в постулируемом нефизическом мире. Если ученые-ньютонианцы изучали феномены первой области, то должны быть ученые, которые изучали бы явления другой области. Предполагалось, что словом "психология" будет называться единственное в своем роде эмпирическое учение о "ментальных феноменах". Более того, подобно тому как исследователи-ньютонианцы обнаруживали и проверяли свои данные посредством зрительного, слухового и осязательного восприятия, психологи должны обнаруживать и анализировать феномены своего мира-дубликата посредством некоего дополнительного незрительного, неслухового и неосязательного восприятия.

Никто, конечно, не отрицал реальности и возможности существования множества других как систематических, так и бессистемных исследований особенностей человеческого поведения. В течение двух тысячелетий историки изучали слова и поступки, взгляды и намерения отдельных индивидуумов или групп людей. Филологи и литературные критики изучали разговорную и письменную речь людей, их поэзию и театр, их религию и философию. Даже драматурги и писатели-романисты при изображении действий и реакций своих вымышленных героев стремились показать, как, на их взгляд, ведут или могут вести себя реальные люди. Экономисты изучают реальные и предполагаемые действия и ожидания людей в условиях рынка, стратеги — действительные и возможные дилеммы и тактические решения генералов, учителя — действия учеников при выполнении заданий, детективы и шахматисты — маневры и привычки, слабые и сильные стороны своих противников. Однако, согласно параньютоновской программе, психологи изучают людей совсем по-другому. Они обнаруживают и анализируют данные, которые недоступны учителям, следователям, биографам или друзьям. Эти данные, к тому же, не могут быть представлены на сцене или на страницах романа. Перечисленные выше исследования человека ограничивались, если так можно сказать, осмотром жилищ, в которых обитают реальные люди, психологический же подход будет заключаться в непосредственном обращении к их обитателям. До тех пор пока психологи не нашли ключ и не повернули его в замочной скважине, все, кто занимался изучением мышления и поведения человека, могли лишь без толку барабанить в закрытые двери. Наблюдаемые поступки и воспринимаемые слова людей сами по себе не являются проявлениями особенностей их характера или интеллекта, но служат лишь внешними симптомами или выражениями их подлинных и в то же время скрытых способностей.

Отказ от легенды о двух мирах означает также отказ от идеи о существовании запертой дверцы и ключа, который еще надо найти. Человеческие действия и реакции, произнесенные и произнесенные высказывания, интонации голоса, мимика и жесты — все это постоянно служило данными для тех, кто изучает человека. И все это, в конце концов, показало себя единственно верным предметом изучения. Только эти данные заслужили, но, к счастью, не получили претенциозного наименования "ментальные феномены".

Несмотря на то, что в официальной программе психологами было обещано, что главным предметом их исследований будут события, отличные по своей природе и "стоящие за" теми элементами человеческого поведения, которые только и были доступны другим исследованиям человека, психологам-экспериментаторам в их каждодневной практике волей-неволей пришлось нарушить это обещание. Исследователь не может весь день вести наблюдения за несуществующими вещами и описывать вымыслы. Связанные с реальной практикой

психологи нашли свое поприще в исследованиях действий, гримас и высказываний лунатиков и идиотов, а также людей, находящихся под воздействием алкоголя, усталости, страха, гипноза, последствий мозговых травм. Они изучали чувственное восприятие подобно тому, как это, к примеру, делают офтальмологи: отчасти — путем разработки и применения физиологических экспериментов, отчасти — посредством анализа реакций и вербальных отчетов участвующих в их опытах людей. Они исследовали умственные способности детей, накапливая и сравнивая результаты — как верные, так и ошибочные — решений различного рода стандартных тестов. Они подсчитывали опечатки, допускаемые машинистками в начале и в конце рабочего дня. Они исследовали способность запоминания различных слов и фраз у людей, фиксируя их успехи и промахи при пересказе заученного материала по прошествии различных отрезков времени. Они изучали поведение крыс в лабиринтах и цыплят в инкубаторах. Даже принцип "ассоциации идей", столь обворожительно "химический", нашел свое главное практическое применение в экспериментах по мгновенному произнесению испытуемыми вслух слов-ответов на те пробные слова, которые им говорили экзаменаторы.

В подобном несоответствии между программой и реальными действиями нет ничего особенного. Можно было ожидать, что в итоге возобладает здравый смысл в отношении вопросов и методов. Так, те описания целей и методов своих исследований, которые давали философы, очень редко согласовывались с их реальными результатами или с реальным характером их работы. К примеру, они обещали нам сообщить о Мире как Целом и прийти к этой картине посредством некоего процесса синоптического созерцания. По сути, они торговались, как отъявленные собственники, а их результаты, хотя они и были гораздо более ценными, чем могла бы быть обещанная грандиозная панорама, оказались совершенно не похожими на эту панораму.

Некогда химики настойчиво пытались узнать свойства флогистона, но поскольку им так и не удалось овладеть этим самым флогистоном, то они смирились с тем, что стали изучать его воздействия и внешние проявления. Фактически они изучали феномены горения и вскоре отказались от постулата о ненаблюдаемой субстанции горения. Идея о существовании последней была подобна блуждающему огоньку: он манит безрассудных смельчаков исследовать еще не отмеченные на карте дебри, и затем они составляют карты этих мест, не упоминая при этом о ложных сигнальных огнях. Если подобная же участь выпадет на долю постулата о существовании особой субстанции сознания, то психологические исследования не будут считаться проведенными впустую.

Как бы то ни было, мы все еще должны дать ответ на вопрос, какой должна быть программа психологии. При попытках ответить на этот вопрос мы сталкиваемся теперь со следующими трудностями. Как я пытался показать, данные

для изучения функционирования сознания человека одинаковы для реально практикующих психологов и экономистов, криминалистов и антропологов, политологов и социологов, для учителей и детективов, историков и участников различных игр, стратегов и государственных деятелей, предпринимателей и исповедников, родителей и влюбленных, биографов и писателей-романистов. Так как же тогда провести отбор "психологических" исследований, оставив при этом в стороне остальное? На основе какого критерия мы можем сказать, что результаты теста на интеллект являются продуктами психологических исследований, а показателям статистики всеобщих школьных экзаменов откажем в этом статусе? Почему историческое изучение побуждений и намерений, развитых и неразвитых дарований Наполеона не является психологическим исследованием, а изучение тех же характеристик некой Салли Бушэм будет таковым? Если мы отбросим ту идею, что психология занимается чем-то отличным от других гуманитарных исследований, и вместе с тем откажемся от тезиса, что психологи работают с данными, недоступными для других подходов к человеку, то в чем тогда будет состоять разница (*differentia*) между психологией и этими другими подходами и учениями?

Часть ответа на этот вопрос можно сформулировать следующим образом. Сельский почтальон знает подведомственную ему местность как свои пять пальцев: он знает все дороги, тропинки, ручьи, холмы и рощицы. Он сумеет найти дорогу при любой погоде, при любом освещении и во всякое время года. Тем не менее, он не географ. Он не сможет составить карту района или описать, как его округ примыкает к другим районам; он не знает точные координаты, протяженность или высоту над уровнем моря любого из тех объектов данной местности, который он прекрасно знает в другом отношении. Он не располагает классификацией видов почвы своей местности, не может сделать выводов об особенностях близлежащих районов, исходя из особенностей своего округа. Почтальон может упомянуть те же отличительные черты своего района, что и географ, но это не значит, что они будут говорить одно и то же. Почтальон не использует географические обобщения и географические способы измерения, не опирается на объяснения или предсказания, вытекающие из теорий общего характера. Подобным же образом мы можем предположить, что следовательно, исповедник, экзаменатор и писатель-романист могут быть хорошо знакомы с теми данными, которые собирают психологи, но там, где психолог будет подходить к этим данным с научной точки зрения, их трактовка будет ненаучной. Эта трактовка будет походить на предсказания погоды, которые делает на основе своего опыта пастух, — психолог же предпочтет подход ученого-метеоролога.

Однако этот ответ еще не устанавливает различия между психологией и другими научными или претендующими на научность исследованиями человеческого поведения, которыми занимаются, например, экономика, социология,

антропология, криминалистика и филология. Даже в публичных библиотеках изучают вкусы населения, используя статистический метод; тем не менее этот тип исследования нельзя отнести к психологии, хотя литературные пристрастия, несомненно, характеризуют сознание человека.

Как представляется, правильный ответ на поставленный выше вопрос будет заключаться в следующем: отказ психологии от грезы стать неким дополнением-дубликатом ньютоновской науки (благочестиво представленной в ложном свете) влечет за собой и отказ от того представления, что "психология" — это название единого исследования или же древа исследований. В той же мере, в какой "медицина" является названием достаточно произвольного консорциума более или менее связанных между собой исследований и методов, у которого — за ненадобностью — нет логически упорядоченной программы, термин "психология" может для удобства обозначать в некоторой степени случайное объединение различных исследований и методов. В конце концов мечта о пара-ньютоновской науке не только была порождена мифом, это была также пустая греза о том, что существовала или должна существовать только одна единая ньютоновская наука "о внешнем мире". Ложная доктрина об особой изолированной сфере "ментальных феноменов" основывалась на принципе, из которого также следовало, что для биологических наук не остается места. Ньютоновская физика была объявлена наукой обо всем, что существует в пространстве. Картезианская картина мира не предусматривала места для теорий Дарвина или Менделя. Легенда о двух мирах была также легендой о двух науках, и признание того, что существует множество наук, должно подтвердить предположение о том, что слово "психология" не является названием единой гомогенной теории. Лишь немногие наименования наук действительно обозначают такое единство теорий или хотя бы отражают некоторую перспективу в таком направлении. Так же как и слово "карты" не обозначает одну игру или "дерево" игр.

Приведенная выше аналогия между психологией и медициной вводит нас в заблуждение в одном важном отношении, а именно в том, что некоторые из самых прогрессивных и полезных психологических исследований сами по себе были медицинскими, если исходить из широкого значения этого слова. Среди прочих это главным образом относится к психологии Фрейда, одного из подлинных гениев: их нельзя оценивать как нечто сходное с семейством медицинских исследований, поскольку они сами принадлежат к этому семейству. В самом деле, влияние учения Фрейда было настолько сильным, и вполне заслуженно, а аллегории этого учения стали настолько популярными, что сейчас мы ясно можем наблюдать устойчивую тенденцию употреблять слово "психолог" для обозначения только того, кто изучает и лечит душевные заболевания. По той же причине слово "ментальный" обычно употребляется для обозначения "ментальных расстройств". Если бы слову "психология" изначально было придано

такое узкое значение, то, возможно, удалось бы избежать многих неудобств, связанных с этим термином. Но академический мир ныне слишком хорошо приспособился к более открытому и лояльному употреблению этого слова, чтобы подобная реформа могла стать возможной или желательной.

Вероятно, некоторые будут склонны протестовать: все же реально есть некие общие и поддающиеся формулировке отличия между психологическими и всеми другими видами исследований, касающихся способностей и черт характера людей. Даже если у психологов нет особых данных, на основе которых они строят свои теории, тем не менее их учения сами по себе отличаются от теорий филологов, антропологов или криминалистов. Психологические теории дают — или нацелены на то, чтобы дать, — каузальные объяснения человеческого поведения. Даже если мы допустим, что есть множество разных способов изучения функционирования сознания людей, психология отличается от всех остальных исследований тем, что она пытается найти причины такого функционирования.

Слово "причина" и выражение "каузальное объяснение", несомненно, звучат весьма солидно. При их произнесении сразу всплывает картина столкновений маленьких невидимых бильярдных шаров, которую мы — ошибочно — научились представлять в качестве подлинно научного объяснения того, что происходит в мире. Поэтому, когда нам обещают дать новое научное объяснение тому, что мы говорим и делаем, мы ожидаем услышать о чем-то, что является аналогом этих столкновений: о неких факторах или силах, о которых сами мы никогда не помышляли и скрытую, подпольную работу которых мы, конечно, не можем засвидетельствовать. Но, когда мы пребываем в более скептическом расположении духа, это обещание выявить скрытые причины наших собственных действий и реакций кажется чем-то невероятным. Мы довольно хорошо осознаем, по какой причине фермер вернулся с рынка, не продав поросят. Он обнаружил, что цены ниже, чем он ожидал. Мы хорошо понимаем, почему Джон Доу нахмурился и хлопнул дверью. Его обидели. Мы понимаем, почему героиня романа прочла одно из принесенных с утренней почтой писем наедине, поскольку автор дает нам необходимое каузальное объяснение. Девушка узнала на конверте почерк своего возлюбленного. Ученик осознает, почему он написал на доске 225, когда его спросили, сколько будет 15 в квадрате. Каждое из выполняемых им действий влекло за собой последующую операцию с числами.

Как станет вскоре ясно, есть множество видов действий, суетных движений и высказываний, субъекты которых не могут сказать, почему они их произвели. Но действия, которые могут быть объяснены их субъектами, не нуждаются в дальнейших и несоизмеримых с имеющимися типами объяснения. Там, где причины этих действий хорошо известны действующему лицу и окружающим его людям, обещания предъявить некие новые данные о реальных, но скрытых причинах не только остаются обещаниями, но и обещаниями особого рода — обе-

щаниями таинственных механических причин явлений, притом что их обычные причины хорошо известны. Велосипедист знает, что приводит во вращение заднее колесо его велосипеда: это давление, оказываемое им на педали и передаваемое натяжением цепи. Такие вопросы, как "Почему давление, оказываемое на педали, приводит к натяжению цепи?" и "Почему натяжение цепи приводит к вращению заднего колеса?", покажутся ему мнимыми. Таким же будет и вопрос "Почему он заставляет вращаться заднее колесо, надавливая на педали?"

Если взять обычный смысл выражения "каузальные объяснения", то тогда мы все умеем объяснять наши действия и реакции, и эти объяснения не будут прерогативой психологов. Когда экономист говорит о забастовке продавцов, то он в общепонятных терминах рассказывает о том, как, например, фермер привез своих поросят обратно на ферму, потому что обнаружил, что цены на них слишком низкие. Когда литературный критик рассуждает о том, почему поэт употребил другой размер в определенной строке стихотворения, то он принимает во внимание те сложности со стихосложением, которые могли возникнуть у поэта в данных обстоятельствах. Также и учитель не хочет слышать о каких-то событиях скрытого плана, позволяющих понять то, как мальчик пришел к правильному ответу при умножении чисел. Ибо он сам был свидетелем внешне представленных действий, которые подвели ученика к правильному ответу.

С другой стороны, во многих случаях мы не можем дать подобные объяснения нашему поведению. Например, я не знаю, почему я был таким молчаливым в присутствии одного знакомого; почему мне вчера приснился такой-то сон; почему я неожиданно мысленно представил себе ничем не примечательный перекресток в городе, который я едва знаю; почему я стал говорить быстрее после того, как раздался сигнал воздушной тревоги; как случилось, что я обратился к другу, перепутав его имя. Мы признаем, что вопросы подобного рода — это подлинно психологические вопросы. Вполне вероятно, что если бы у меня не было некоторых знаний по психологии, то я не смог бы понять, почему работа в саду мне покажется столь привлекательной, если мне необходимо написать одно неприятное письмо. Вопрос о том, почему фермер не продал поросят по определенной цене, — это не психологический, а экономический вопрос, но вопрос о том, почему он не продает поросят покупателю ни за какую цену, сохраняя при этом особое выражение глаз, вполне может оказаться психологическим. Сходные вещи имеют место в сфере чувственного восприятия и памяти. Опираясь на наше собственное знание, мы не можем сказать, почему прямая линия, проходящая через перекрестные штрихи, выглядит изогнутой, или почему нам кажется, что иностранцы на своем языке говорят быстрее, чем мы на своем. И мы признаем это вопросами, на которые должна ответить психология. Тем не менее, когда нам предлагают или обещают дать соответствующие психологические объяснения наших корректных оценок формы, размеров, яркости

или скорости, мы полагаем, что подобное обещание неверно. Пусть психолог разъяснит нам, почему мы заблуждаемся, но мы сами можем сказать и себе, и ему, почему мы не обманулись.

Для классификации и диагностики проявлений наших ментальных недостатков требуются специальные методики исследования. Для объяснения проявлений наших умственных способностей часто не требуется ничего, кроме здравого смысла; в крайнем случае могут понадобиться особые методы экономистов, ученых, специалистов по составлению стратегий или экзаменаторов. Но их объяснения — это не чеки, выписанные за счет более фундаментальных оценок. Поэтому нельзя сказать, что каузальные объяснения человеческих действий и реакций полностью или хотя бы по большей части должны классифицироваться как психологические. Кроме того, не все психологические исследования являются поиском каузальных объяснений. Многие психологи заняты — с большей или меньшей пользой для дела — изобретением методов измерения и сбором результатов этих измерений. Разумеется, они надеются на то, что их измерения когда-нибудь будут содействовать установлению точных функциональных корреляций или каузальных законов, но то, чем они занимаются, в лучшем случае — всего лишь подготовительная работа к этой предстоящей задаче. Поэтому то, что должно величаться как "психологическое исследование", не может быть определено как поиск каузальных объяснений.

Теперь становится понятным, почему в основной части этой книги я так мало сказал о психологии. Одной из целей данной работы была аргументация против ложного представления о психологии как о единственном эмпирическом учении о человеческих ментальных способностях, склонностях и проявлениях, а также и с ошибочными выводами, вытекающими из этого представления, а именно что "сознание" может быть адекватно описано только в специальных терминах, находящихся в частном владении психологического исследования. Ведь мы не можем, например, описать Англию исключительно в сейсмологических терминах.

(2) БИХЕВИОРИЗМ

Общее направление этой книги, вне всякого сомнения, а также без обиды для меня, будет признано "бихевиористским". Поэтому будет уместно сказать кое-что о бихевиоризме. Изначально бихевиоризм был учением о надлежащих методах научной психологии. Согласно этому учению, психологи наконец должны последовать примеру других передовых наук; их теории должны основываться на наблюдениях и экспериментах, которые могут быть воспроизведены и публично проверены. Но мы не можем публично проверить заявления о данных самосознания и интроспекции. Только внешнее поведение человека может

наблюдаться несколькими свидетелями, только оно может быть измерено и механически зафиксировано. Ранние сторонники этой методологической программы, видимо, колебались между двумя точками зрения: считать ли данные самосознания и интроспекции мифами, или же утверждать, что эти данные недоступны для научного исследования. Неясно, поддерживали ли они не слишком изощренную механистическую доктрину в духе Гоббса или Гассенди или же они оставались верными картезианской пара-механической теории, лишь ограничивая свои исследовательские процедуры методами, унаследованными от Галилея. Считали ли они, например, что мышление состоит именно в выполнении определенного комплекса звуков и движений, или же они полагали, что, хотя движения и звуки связаны с процессами "внутренней жизни", только первые, а не вторые суть феномены, доступные лабораторному исследованию.

Как бы то ни было, неважно, принимали ли ранние бихевиористы механическую или пара-механическую теорию, поскольку и в том, и в другом случае они заблуждались. Важно, что практика описания характерных для человека поступков согласно предложенной ими методологии, вскоре сделала очевидным для психологов, насколько призрачными были так называемые события "внутренней жизни", в игнорировании либо отрицании которых поначалу упрекали бихевиористов. Психологические теории, в которых не упоминались проявления "внутренней перцепции", на первых порах уподоблялись Гамлету, который при этом не является принцем датским. Но вскоре потесненный герой стал казаться столь безжизненным и бесхарактерным, что даже противники этих теорий не решались возлагать тяжкое теоретическое бремя на его призрачные плечи.

Писатели-романисты, драматурги и биографы всегда довольствовались тем, что показывали побуждения, мысли, волнения и привычки людей посредством описания их поступков, высказываний, представлений, выражений их лица, жестов и интонаций голоса. Сосредоточившись на том, на что обращала внимание Джейн Остин, психологи постепенно обнаружили, что в конце концов это и есть материал, а не просто внешние атрибуты субъектов их изучения. Конечно, они еще испытывали приступы излишнего беспокойства — как бы уклонение психологии от задачи описания духовного не обязало психологию описывать сугубо механическое. Но влияние пугала механицизма в течение последнего столетия значительно ослабла, одной из причин чего, среди прочего, было то, что биологические науки в этот период доказали свое право называться науками. Оказалось, что система Ньютона — не единственная парадигма естественных наук. Отрицая, что человек — это дух в машине, мы не нуждаемся в том, чтобы опускать его просто до уровня машины. В конце концов он может быть разновидностью животного, а именно высшим млекопитающим. Теперь нужно набраться смелости, чтобы совершить рискованный прыжок и предположить, что это млекопитающее — человек.

Методологическая программа бихевиористов имела революционное значение для психологии. Более того, она явилась одним из главных источников, укрепивших в философии подозрение в том, что легенда о двух мирах — это миф. В данном случае для нас не будет иметь особого значения то, что защитники этой методологической программы вдобавок имели склонность поддерживать теории, сходные с теорией Гоббса, и даже воображали, что истинность механицизма обусловлена истинностью их научно-исследовательского метода в психологии.

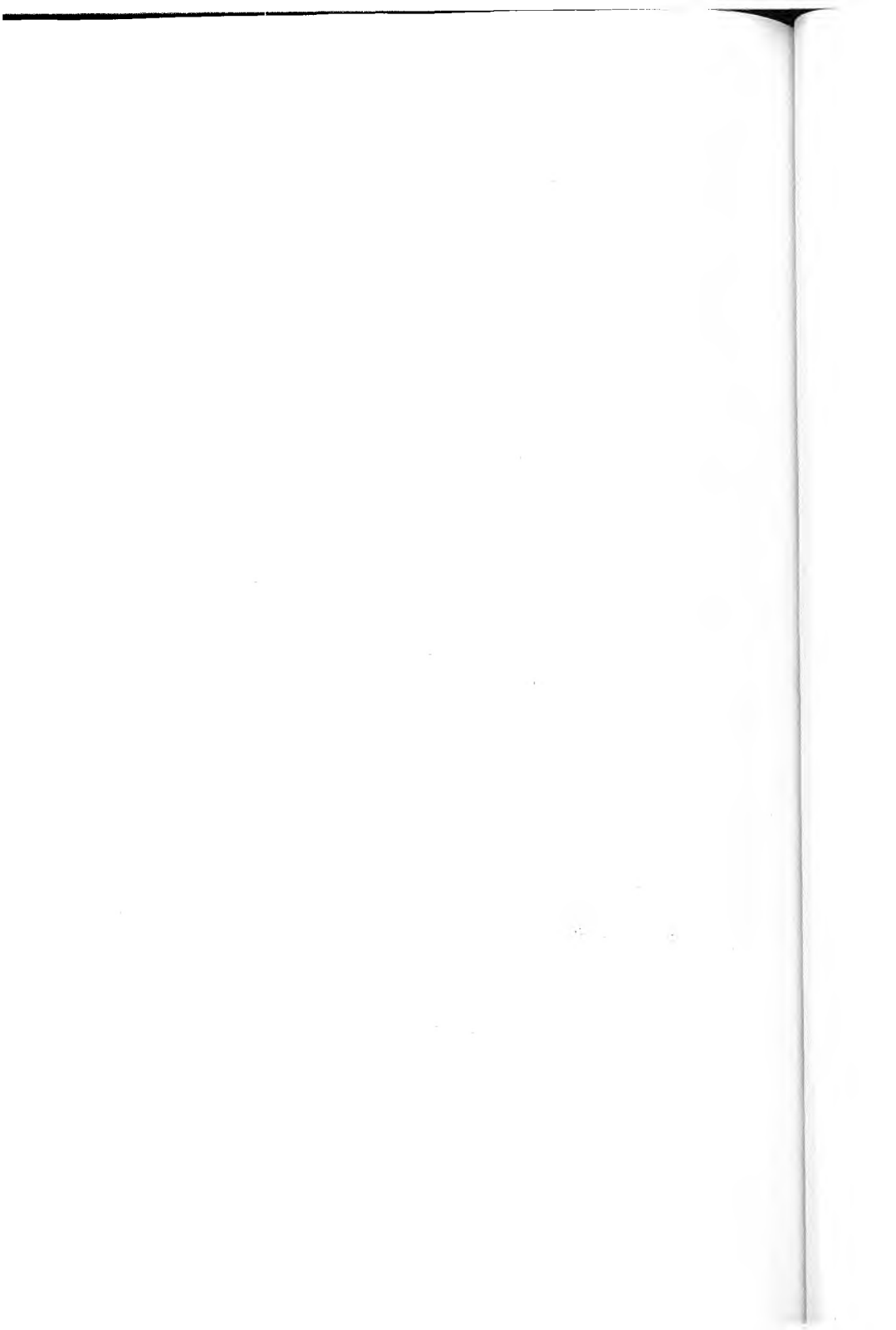
Я не стану говорить, насколько сильно повлияла длительная приверженность легенде о двух мирах на конкретные исследовательские действия практикующих психологов или в какой мере бихевиористский бунт привел к изменениям в их методиках. В итоге, возможно, вышло так, что польза от этого мифа перевесила его негативные влияния и бихевиористское восстание против него скорее привело к номинальным, чем к реальным реформам. Мифы не всегда оказываются препятствием для прогресса теорий. Действительно, часто на первых порах их значимость бесценна. Первых поселенцев поначалу поддерживает мечта о том, что за незнакомыми явлениями Нового Света стоит дубликат Старого Света и ребенок не так теряется в чужом доме, если перила в нем, куда бы они ни вели, на ощупь напоминают ему перила родного дома.

Однако в цели этой книги не входило способствовать развитию методологии психологии или обсуждать специальные гипотезы той или иной науки. Ее целью было показать, что предание о двух мирах — это миф, созданный философами, а не просто вымысел, и, прояснив это, начать устранять тот ущерб, который этот миф нанес самой философии. Я попытался обосновать эту позицию не посредством предоставления свидетельств о тех трудностях, с которыми столкнулись психологи, но путем доказательства того, что сами философы приписали неправильное логическое поведение основным ментальным понятиям. Если мои аргументы имеют какую-то силу, то оказывается, что эти понятия были неправильно локализованы в общем плане (хотя и противоположными путями на конкретном уровне) как механицистами, так и пара-механицистами, как Гоббсом, так и Декартом.

Если мы попытаемся сравнить теоретическую плодотворность учения о сознании Гоббса-Гассенди с картезианским учением, то, несомненно, должны будем признать, что картезианская картина была более продуктивной. Противостояние этих двух позиций можно проиллюстрировать на следующем примере. Представим себе, что одна рота защитников некой страны размещается в крепости. Солдаты другой роты замечают, что ров вокруг этой крепости пересох, ворота отсутствуют, а стены разрушены. Посмеиваясь над защитниками такого горе-форта, но при этом еще находясь во власти идеи, что страну можно защитить только в таких фортах, они располагаются в том месте, которое, на их

взгляд больше всего похоже на форт, а именно в тени разваленной крепости. Ни одна из этих позиций не пригодна для защиты; ясно, что у крепости-тени те же уязвимые места, что и у форта из камня, плюс еще некоторые другие. Тем не менее в одном отношении занявшие крепость-тень солдаты показали себя более подготовленными, поскольку они заметили слабые стороны каменной крепости, пусть даже они наивно полагают, что находятся в безопасности в сооружении, в котором нет ни единого камня. Эти оплошности не предвещают им победы, но воины показали, что у них есть определенная выучка. Они косвенным образом проявили свой стратегический ум: они поняли, что каменный форт, стены которого разрушены, не является цитаделью. Следующий урок, который они могут усвоить, это то, что тень такого форта также не является цитаделью.

Мы можем использовать этот пример в качестве иллюстрации главных обсуждаемых нами проблем. Согласно одной точке зрения, наши мысли тождественны тому, что мы говорим. Приверженцы противоположной точки зрения справедливо отвергают подобное отождествление, но делают это естественным, однако неверным способом: в форме утверждения, что говорить — это делать одно дело, а думать — это делать совершенно другое. Мыслительные операции нумерически отличаются от вербальных и управляют ими из некоего иного места, отличного от того, где происходят эти вербальные операции. Это, однако, тоже неверно, по тем же самым причинам, которые обусловили уязвимость положения о тождестве наших мыслей и того, что мы говорим. В той же мере, в какой непреднамеренная и необдуманная речь является не мышлением, а болтовней, какие бы мнимые операции ни считались происходящими в каком-то другом месте, они также могут происходить непреднамеренным и необдуманным образом, и они, в свою очередь, не будут мышлением. Однако предложить, пусть даже ошибочное, описание того, что отличает необдуманную и непреднамеренную болтовню от мышления, — значит признать их кардинальное различие. Картезианский миф действительно исправляет дефекты созданного Гоббсом мифа, только лишь дублируя его. Однако даже доктринальная гомеопатия включает в себя признание расстройств.



статьи

КАТЕГОРИИ

(1937-1938)

Перевод –

Н. Примаков

Научная редакция –

В.Н. Порус

ОБЫДЕННЫЙ ЯЗЫК

(1960)

Перевод –

И.В. Борисова

Главы из книги «ДИЛЕММЫ»

(1969)

Перевод –

М.С. Козлова



КАТЕГОРИИ

Учения о категориях и теории типов — это исследования в одной и той же области. И область эта в значительной степени еще не изучена. Более того, исследования в этой области в настоящее время затруднены определенными терминологическими расхождениями между философами, из-за которых они не понимают друг друга. В этой статье я прежде всего хотел бы снять определенные барьеры, разделяющие исследователей, прежде чем приступить к изложению собственной позиции.

Эта проблема достаточно серьезна. Я думаю, что дело не только в том, что категориальные высказывания (category-propositions) (то есть такие суждения, которые приписывают терминам принадлежность к определенным категориям или типам) всегда выступают как выражения определенных философских предпочтений, но и в том, что верно также и обратное. Поэтому, не прояснив природу того, что мы называем типами или категориями, мы остаемся в неведении и относительно природы философских проблем и методов.

Вначале мне придется сделать несколько замечаний исторического характера вовсе не для того, чтобы продемонстрировать свою эрудицию в области философской палеонтологии либо добавить респектабельности новейшим концепциям, найдя в них примесь нормандской крови, а просто затем, что это удобный способ одновременно поставить философские проблемы и разъяснить некоторые традиционные термины, относящиеся к нашей теме.

КАТЕГОРИИ АРИСТОТЕЛЯ

Что позволяло Аристотелю считать свой перечень категорий исчерпывающим? В его время слово "категория" означало то же, что наше слово "предикат" со всей неясностью и двусмысленностью этого существительного. Но перечень категорий у Аристотеля не являлся словарем всех существующих предикатов. Во всяком случае было бы правдоподобным предположить, что сам Аристотель задумал его как перечень предельных типов предикатов. Но что это могло бы означать?

Есть простые высказывания (propositions), то есть такие, которые не содержат в себе еще более простых высказываний, соединенных между собой, то есть в структуру таких высказываний не входят такие связки, как "и", "или", "если...

то", "хотя", "потому, что..." и т. д. Из этих простых высказываний некоторые являются сингулярными, то есть такими, которые относятся к единичному предмету — названному или указанному.

Расположив простые сингулярные высказывания об одном и том же конкретном предмете (или предметах) в некую последовательность, мы найдем, что они отличаются друг от друга своими предикатами. И эти предикаты составляют конечный список семейств или типов, различия между которыми можно обозначить, хотя и не определить, следующим образом.

Любое простое высказывание, например сообщающее нечто о Сократе, дает ответ (возможно, ложный) на некоторый вопрос о Сократе. На любой вопрос о Сократе можно дать целый ряд возможных ответов, однако не всякое высказывание о Сократе будет ответом на этот вопрос. Существует столько же различных типов предикатов, характеризующих Сократа, сколько существует различных вопросов о нем, не сводимых друг к другу. Так, на вопрос "каковы размеры?" можно ответить: "шести футов ростом", "пяти футов ростом", "десять камней", "одиннадцать камней" и т. д., но нельзя ответить: "с красивыми волосами", "в саду" или "каменщик". Вопросам типа "где это?" соответствуют предикаты места, вопросам типа "что это?" — предикаты рода, вопросам типа "какой?" — предикаты качества и т. д.

Любые два предиката в зависимости от того, отвечают ли они на один и тот же вопрос или нет, относятся к одной или к различным категориям. По-видимому, Аристотель довольствовался тем, что рассматривал обычный язык как ключ к пониманию перечня вопросов и, соответственно, типов предикатов.

Эта программа классификации типов впоследствии была расширена как самим Аристотелем, так и его последователями. Относительно какой-то конкретной вещи можно задавать не только такие вопросы, каждый из которых требует в качестве ответа приписывание этой вещи одного из возможных предикатов; по отношению к любому из таких предикатов уместен вопрос: "Кто (или что) обладает им?" Чтобы ответить на подобные вопросы, нужно назвать какие-то индивиды (или указать на них): "Сократ", "Федон", "Я" или "Королева". Очевидно, что путь от этих вопросов лежит не к ряду предикатов, а к ряду субъектов или носителей этих предикатов, то есть к индивидуальным субстанциям. Таким образом, *Сократ* относится к категории субстанции, тогда как *курносый* — к категории качества, а *муж* — к категории отношения. Если принять такое расширение, то слово "категория" означает уже не просто "тип предиката", а "тип термина", где под "термином" понимается "абстрагируемый фактор в ряду простых сингулярных высказываний".

Дошедший до нас аристотелевский перечень из десяти (иногда называют восемь) типов терминов, конечно, неудовлетворителен. Очевидно, что некоторые из якобы предельных по объему категорий — это лишь подчиненные раз-

новидности других, а критерии, которые использует Аристотель для того, чтобы определить принадлежность термина к той или иной категории, в высшей степени неясны, если их вообще можно назвать критериями. Но для его целей это не имело особого значения. Все что ему требовалось — это уметь отличать (а) качества от отношений, (b) то и другое — от субстанций и (с) все это от родов и видов. Пусть грубо и неточно, но он умел это делать. Но перед нами стоит другая задача, и поэтому нам следует отметить некоторые другие недостатки в его схеме.

1. Отнюдь не просто определить, в каком случае некоторое предложение (sentence) выражает простое высказывание. Ведь то, что предложение содержит только один глагол и не содержит связок, еще не означает, что выраженное им высказывание является простым, то есть что это предложение не может быть преобразовано таким образом, чтобы получилось предложение, содержащее связки и несколько глаголов. На самом же деле любое дескриптивное предложение или предложение, содержащее диспозиционное прилагательное вроде "робкий", или же всякое предложение, содержащее название некоторого рода (kind-name), может быть преобразовано или "развернуто". Даже самые простые с грамматической точки зрения предложения выражают не простые высказывания и, следовательно, могут быть развернуты. (Одна из основных тенденций современной логики состоит в том, чтобы со всей серьезностью отнестись к этому.) Отсюда следует, что вычленение термина — тоже непростая задача. Простые с грамматической точки зрения номинативные и предикативные выражения далеко не всегда являются логически простыми элементами или составляющими частями высказываний. Поэтому классификацию типов абстрагируемых факторов в простых высказываниях следует отложить до тех пор, пока не будет проведена классификация различных типов пропозициональных форм. Прежде всего нужно выяснить, что означают слова, образующие логическую форму (form-words), а именно "синкатегорематические" слова типа *все, некоторые, любой, этот, какой-либо, не, если..., то, или, и, чем* и т. п., а также что означают грамматические конструкции, и только затем мы могли бы надеяться выделить и индексировать какие-либо простейшие "категорематические" слова.

2. Кроме того, нам нужен метод, с помощью которого можно было бы представить и, что является особой задачей, установить однородность и разнородность категорий. Метод Аристотеля, если его вообще можно назвать методом, по-видимому, состоял в том, что составлялся перечень обычных вопросов повседневной речи, а затем наиболее важные типы назывались именами, производными от вопросительных слов. Хотя, по правде сказать, нет никаких оснований полагать, что запас греческих вопросительных слов — самый экономичный из всех возможных или самый богатый из всех, какие только можно пожелать. Как бы то ни было, подход Аристотеля не столь уж примитивен, как это

могло бы показаться. В конце концов любая пропозициональная функция — это всего лишь закомуфлированный "вопрос". Пропозициональную функцию "х курносый" можно отличить от вопроса "кто курносый?" только по практическим ассоциациям, а функция "Сократ есть j" выражает не более и не менее как вопросы типа "где Сократ?", "каков Сократ?" или "какой величины Сократ?" в зависимости от того, с каким *типом* связывается j¹.

Чтобы более точно определить, в чем был прав и в чем заблуждался Аристотель, мне придется ввести некоторые технические идиомы, которые еще понадобятся по ходу статьи. Очевидно, что предложения в определенном смысле состоят из частей; так, два высказывания могут отчасти быть подобными и отчасти отличаться друг от друга. Назовем любое выражение, входящее в состав предложений, которые без этого вхождения были бы различны, "сентенциональным фактором" ("sentence-factor"). В роли "сентенциональных факторов" могут, очевидно, выступать не только отдельные слова, но и сколь угодно сложные сочетания слов, а также целые предложения. Например, в предложении "Я — тот человек, который написал эту статью", выражения "Я", "человек, который", "который написал эту статью", "написал эту статью" суть сентенциональные факторы.

Я называю их "факторами", а не "частями", так как выражение "части" могло бы быть ошибочно истолковано так, что выделенные элементы могут существовать вне комбинаций, образующих предложения, или, что еще хуже, входить без разбору в любые такие комбинации, то есть как если бы это были независимые и произвольно передвигаемые фишки. Слово "фактор" здесь должно подчеркнуть то, что эти элементы необходимы для образования определенных сочетаний и фигурируют в них строго определенным образом.

Далее, хотя сентенциональные факторы не могут быть вычленены из всех сочетаний, тем не менее они могут быть абстрагированы от любого определенного сочетания. Если в каком-то предложении пропуск любого его фрагмента обозначить многоточием (или выражением типа "то-то и то-то"), это обозначение и будет указывать, что здесь должен быть подставлен сентенциональный фактор, и как это нужно сделать. Но само по себе многоточие, хотя и указывает, что пропуск должен быть заполнен, ничего не говорит о том, чем именно он должен быть заполнен, допуская бесконечное множество вариантов такого заполнения. Например, выражения "Сократ ..." или "Я — человек, который то-то и то-то" или "то-то и то-то, значит, завтра суббота" — это не предложения, а лишь схемы предложений (sentence-frames), пропуски в которых должны быть заполнены сентенциональными факторами. Понятно, что для этих трех разных

¹ Ср.: Lewis C., Langford. Symbolic Logic, pp. 332—334; Carnap R. Logical Syntax of Language, p. 296.

форм нужны и разные подстановки: например, в первое выражение можно подставить сентенциональный фактор "... уродлив", во второе — "... посетил вчера Эдинбург", а в третье — "сегодня пятница ...". При этом ни одна из подобных подстановок не может заменить другую.

Однако, хотя не всякий сентенциональный фактор можно подставить вместо любого пропуска, существует бесконечное множество однотипных факторов, которые можно подставлять вместо одного и того же пропуска. Таким образом можно отличить один сентенциональный фактор от другого (или других) в любом конкретном предложении, подставляя многоточие или "знаки пропуска" ("то-то и то-то", "х", "j", "р") на место другого фактора или факторов. Знак пропуска сам по себе не является ни словом, ни выражением, ни предложением; это не имя и не описание имени. Это всего лишь указание на то место, на котором должен находиться тот или иной (либо те или иные) из бесконечного множества сентенциональных факторов.

Далее, предложения и сентенциональные факторы могут быть английскими или немецкими, могут быть написаны карандашом, произнесены шепотом или громко выкрикнуты, жаргонными или нормативными — логика индифферентна ко всем этим различиям. Для простоты можно сказать (хотя зачастую это не совсем верно), что логику интересуют лишь высказывания и их элементы, то есть пропозициональные факторы (*factors of propositions*).

Когда в двух предложениях, сформулированных на разных языках или диалектах, сделанных разными людьми в разное время, говорится об одном и том же, то предмет, о котором идет речь, может рассматриваться как нечто отдельное от этих различных упоминаний о нем, причем нельзя сказать, что отношение между этим предметом и высказываниями о нем подобно отношению какого-либо населенного пункта к дорожным указателям, на которых написано его название. Конечно, мы различаем высказывания от предложений, выражающих эти высказывания, и, соответственно, пропозициональные факторы от сентенциональных факторов, в которых первые находят выражение. Но опять-таки, это не значит, что коровы или землетрясения существуют на свете *так же*, как пропозициональные факторы; действительно, монета, которую я держу в руке, имеет две стороны, но ведь из этого не следует, что у меня в руке три вещи: монета и две ее стороны.

Далее, мы видим, что место пропуска в данной схеме высказывания может быть заполнено *некоторыми*, но не *любыми* из возможных подстановок. Существует два способа такого заполнения. Чтобы заполнить выражение "Такой-то и такой-то находится в постели", необходимо вместо пропуска "такой-то и такой-то" подставить какое-либо существительное, местоимение или субстантивную группу, например дескриптивное выражение. Тогда следует признать, что, например, предложение "Суббота находится в постели" грамматически коррект-

но, но абсурдно. Следовательно, от возможных подстановок требуется не только соответствие определенным грамматическим типам, но они должны также выражать пропозициональные факторы определенных логических типов. В неабсурдных предложениях пропозициональные факторы категориально соответствуют друг другу; в абсурдных предложениях по крайней мере некоторые из пропозициональных факторов категориально несовместимы. Если данный пропозициональный фактор относится к определенному типу или категории, то его выражение, будучи подставленным в определенные схемы предложений, не приводит к абсурду.

Если моя интерпретация учения Аристотеля о категориях верна, то можно сказать, что в одном немаловажном отношении он был на правильном пути. Ведь вопросительные предложения, если отвлечься от их практических функций в качестве просьб или команд, суть те же схемы предложений, а вопросительные слова в них — знаки пропуска. Классифицируя типы вопросов, Аристотель пользуется общим методом, с помощью которого определяется множество типов факторов, отвечающих на эти вопросы, то есть подстановок на место пропусков.

Несовершенство его метода заключается в следующем. Он пытается классифицировать типы лишь небольшого подмножества пропозициональных факторов, а именно тех из них, которые входят в состав простых сингулярных высказываний. По традиции (которая часто приводит к недоразумениям) назовем их "терминами". Все термины являются факторами, но не наоборот. Аристотель не дает критериев, позволяющих определять, когда какой-либо сентенциальный фактор выступает, а когда не выступает в роли термина, и, по всей видимости, полагает, что грамматически простое слово всегда выступает как часть или элемент простого высказывания. Очевидно, он полагается только на здравый смысл и повседневное словоупотребление в тех случаях, когда надо решить, подходит ли данный фактор для заполнения данного пропуска. Хуже того, он не осознает, что типы факторов определяют собой логическую форму высказываний, в состав которых они входят, и сами зависят от последней, за исключением разве что индивидуальных субстанций, которые, как он признает, не могут быть подставлены на место качеств, отношений, величин, положений, родов и т. д. в высказываниях, которые он считает простыми.

Аристотель, как и логики более позднего времени, по-видимому, думал, что хотя термины соединяются в высказывания и хотя существуют различные типы терминов, тем не менее может быть лишь одна манера их сочетания. Ибо тот же самый термин, который в одном высказывании является "субъектом", в другом высказывании может выступать в роли "предиката".

Так же как любые буквы алфавита можно переставлять друг относительно друга, не изменяя при этом смысла этих букв, так и между формой высказывания и типами факторов, образующих ее, по всей видимости, не усматривалось

никакого взаимодействия. Никакой связи между формальными свойствами высказываний, от которых зависит возможность или невозможность вывода определенных следствий, и формальными свойствами или категориями терминов и других пропозициональных факторов установлено не было. Открытые Аристотелем правила силлогизма основаны на понятиях, выраженных такими словами, образующими логические формы, как *все, некоторые, этот, не, и, если...*, *то* и т. д., но они не связаны с его классификацией категорий терминов.

Это то же самое, как если бы в первой главе грамматики давались определения частей речи, таких, как существительные, предлоги, глаголы, союзы и т. д., а в другой главе — совершенно независимые определения синтаксических правил, тогда как в действительности именно эти правила должны были уже содержаться в понятиях существительного, глагола, союза и т. д. Таким образом, факторы, типы которых зависят именно от той определяющей роли, которую они играют в словосочетаниях, в которые они входят, трактуются как произвольно переставляемые фишки.

Знать все о логической форме высказывания означает знать все о логических типах его пропозициональных факторов. (Я взял на себя смелость, возможно, излишнюю, заменив в этой статье традиционную терминологию — "пропозициональные функции", "переменные", "значения" и т. д. Однако я поступил так по той простой причине, что последняя ведет ко многим недоразумениям, в частности остается неясным, говорим ли мы, когда речь идет о функциях, переменных, значениях и т. п., о некоторых выражениях или же мы говорим *посредством* этих выражений об определенном роде *вещах*. Например, что считать значением переменной в выражении "х курносый" — Сократа или "Сократа"? Терминология, которую я предлагаю, по-видимому, более прозрачна с семантической точки зрения, а ее отдельные элементы выглядят достаточно самоочевидными.)

ФОРМЫ СУЖДЕНИЯ И КАТЕГОРИИ КАНТА

Учение Канта о категориях исходит из совершенно иных оснований, и перечень категорий у Канта оказывается совсем не таким, как у Аристотеля. Как ни странно, Кант уверяет, что преследует ту же цель, что и Аристотель, но, если не довольствоваться слишком широким и туманным смыслом этого заявления, он заблуждается. К сожалению, для трех из четырех своих классов категорий Кант заимствует ярлыки у трех из аристотелевских десяти категорий, но, как мы увидим, "количество", "качество" и "отношение" означают для этих двух философов совершенно разные вещи.

Кант начинает с того, что составляет каталог форм суждения, то есть каталог отдельных случаев, в которых высказывания могут отличаться или не отли-

чатся друг от друга, не содержательно, а по форме. Он не пытается определить понятие формы и не дает иного обоснования своего каталога, кроме ошибочной ссылки на традиционную логику, в достижениях которой он усматривает истину в последней инстанции.

Все высказывания, по Канту, делятся: (1) по "количеству", то есть по объему своих субъектов, на общие, частные и единичные (соответствуют формам "все", "некоторые" или "этот"); (2) по "качеству" — на утвердительные, отрицательные или бесконечные; (3) по типам отношения — на высказывания вида "з есть p ", "если p , то q " и " p или q "; (4) по трем типам "модальности" — высказывания существования, возможности и долженствования. Эти формы суждения еще не категории, но это отправной пункт, из которого Кант, несколько загадочным образом, предполагает вывести последние.

В принципе, подход Канта гораздо более продуктивен, чем подход Аристотеля. Но, к сожалению, реализовал он его далеко не лучшим образом. Подгруппа "бесконечных" суждений — это иллюзия; существует несколько типов "общих" суждений, но та их разновидность, которую рассматривал Кант, проходит, скорее, по разряду гипотетических суждений; деление суждений на ассерторические, проблематические и аподиктические неверно, так как последние два — частные случаи гипотетических; деление суждений на категорические, гипотетические и дизъюнктивные — пересекающееся и явно неполное, поскольку (а) то, что имел в виду Кант, это различие простых и сложных высказываний, и (б) из последнего разряда он опустил конъюнктивные высказывания типа " p и q ".

Только для простых высказываний справедливо, что они должны быть утвердительными или отрицательными, общими, частными или единичными, тогда как в двухэлементных — конъюнктивных, дизъюнктивных или гипотетических — входящие в них простые высказывания могут быть разными. Различие между дизъюнктивными и гипотетическими формами суждения ошибочно. Не проведено четкого различия между общими (general) и необщими (non-general) высказываниями; не определено место высказываний типа "семь коров пасутся в поле", "большинство мужчин носят пиджаки" или "Джон, возможно, мертв". Наконец, среди простых сингулярных высказываний не различены высказывания о свойствах и высказывания об отношениях. Аристотелевская категория предикатов отношения полностью игнорируется. По сути дела, унаследовать из аристотелевского учения о категориях Канту не удастся почти ничего, так как он не замечает категориальных различий (type-differences) внутри субъектно-предикатных высказываний и использует названия "качество", "количество" и "отношение" лишь так, как это ему нужно для его совершенно иных целей. Например, у Аристотеля "зеленый", "сладкий" или "честный" означают качества, тогда как у Канта "качество" означает утвердительную или отрицательную форму высказывания. "Количество" для Аристотеля — название группы

предикатов, обозначающих величину или размер; для Канта оно указывает на логическую форму высказывания, определяемую словами "всякий", "некоторый" или "этот". Наконец, аристотелевские "отношения" — это предикаты вроде "двоюродный брат такого-то", "выше", "больше, чем", тогда как для Канта это то, что выражено такими связками, как "если... то", "или", а также (как ему следовало бы добавить) "и".

При этом все-таки надо признать, что Кант понимал важность для исследования категорий и типов некоторых фактов, на которые Аристотель в этом отношении не обращал внимания. Он понимал, что существует множество аспектов, в которых высказывания могут формально походить или отличаться друг от друга. Как мы видели, в учении Аристотеля о категориях роль таких слов, образующих логические формы, как "всякий", "некоторый", "любой", "если... то", "или", "и", "не", осталась незамеченной, и средневековые его последователи отправили их в архив под снисходительным ярлыком "синкатегорематических". Учение Канта (хотя сам он этого не заметил) возвращает их из архива логики на ее рабочий стол.

Аристотель, вообще говоря, склоняется к тому, что, хотя существует некоторое ограниченное множество типов факторов, есть только один способ их сочетания. (В своей теории предикабилей он почти догадывается, что для общих высказываний могут быть разные способы сочетания, но это не повлияло на его теорию терминов.) Кант видит, что существует бесчисленное множество способов сочетания, определяющих и определяемых видами вступающих в сочетание факторов. Аристотель предлагает "алфавитную" теорию факторов и простого их "комбинирования"; Кант же предлагает теорию "синтаксиса" этих комбинаций и, соответственно, "синтаксическую" теорию типов их факторов — по крайней мере так я интерпретирую его загадочные упоминания о "функциях объединения".

Однако кантовские категории не совпадают с его формами суждения. Каким-то неясным образом они оказываются проекциями этих логических форм на сферы естественных вещей и событий. Естественные факты — то есть факты, устанавливаемые посредством их наблюдения или их припоминания, посредством индуктивных или каузальных умозаключений из наблюдений, — воплощают всегда определенные структурные принципы, которые каким-то образом восходят к таблице форм суждения. Природу составляют протяженные вещи, занимающие определенное место в пространстве в определенный момент времени, движущиеся или покоящиеся в соответствии с законами причинности. Все эмпирическое должно, а все неэмпирическое не может быть реализацией этих категорий. Метафизические высказывания, таким образом, грешат против категориальных правил.

Здесь нет надобности рассматривать таинственную Метапсихологию, с помощью которой Кант пытается разом доказать, и что так должна быть устро-

ена Природа, и что мы можем знать, что она так должна быть устроена. Было бы уместнее представить различия, которые Кант якобы находит между своими логическими типами и категориями или естественными типами. Он, похоже, ошибочно предполагал, что существует два вида фактов и высказываний — логические и научные — и что формы последних — как бы приемные дети первых. Но это было бы абсурдным мнением, поскольку логические формы просто абстрагированы от некоторых отчасти схожих, отчасти различных высказываний, родословную которых, очень похоже, следует возводить непосредственно к книгам, написанным естествоиспытателями, историками, математиками и теологами. Так что предполагаемое различие, мне кажется, несколько надуманно.

Кант не помогает нам решить техническую проблему — как, абстрагируясь от конкретных факторов, представить и выразить в символической форме их однородность и разнородность. Не объясняет он и структуры категорий, отсылая нас к традиционной логике.

Прежде чем оставить историю вопроса, мы должны обратить внимание на одно предположение, которое вместе с Аристотелем и Кантом некритично разделяют многие современные философы. А именно: предполагается, что существует конечный перечень категорий или типов, например ровно десять (или восемь) типов терминов или ровно двенадцать форм суждения, так же как существует ровно двадцать шесть букв в английском алфавите и ровно шестьдесят четыре клетки на шахматной доске. Это чистой воды миф. В шахматной теории известно много гамбитов, но нет их полного перечня, и, хотя в английском языке существует множество разнообразных грамматических конструкций, их законченная классификация невозможна.

Схоластика — это вера в существование какой-то священной скрижали, на которой перечислены все категории, но мне не известны никакие основания для подобной веры.

В конце концов я не думаю, что какого-нибудь символизма формальной логики достаточно, чтобы охватить все возможные различия типов и форм. Но, разумеется, определенный символизм может быть вполне адекватен для того, чтобы представить все различия типов, с которыми мы сталкиваемся в ходе какого-то конкретного исследования.

ОБОБЩЕНИЕ ТЕМЫ

Когда высказывание является не истинным или ложным, а бессмысленным и абсурдным, хотя его лексика соответствует принятым нормам и его грамматическая структура правильна, мы говорим, что оно абсурдно потому, что по крайней мере одно из составляющих его выражений не принадлежит к типу выра-

жений, соединимых данным способом с другими выражениями в этом высказывании. Такие высказывания, можно сказать, посягают на границы типов и нарушают правила, регулирующие отношения типов. В последнее время логики обратили внимание на определенного рода категориальные сбои, имеющие место в высказываниях типа "Я лгу" или "Несоразмерное" несоразмерно". Эти случаи интересны, потому что абсурдность таких высказываний не очевидна, но обнаруживает себя, порождая противоречия или порочный круг, тогда как абсурдность высказывания типа "Суббота находится в постели" очевидна сразу, еще до того, как мы могли бы получить какое-нибудь противоречие, допустив, что это высказывание истинно.

Кроме того, вполне здравые, на первый взгляд, рассуждения могут привести нас к формулировке высказываний первого типа, тогда как к предложениям второго типа могло бы привести лишь желание сказать какую-либо чепуху. Иными словами, некоторые из категориальных сбоев заключают в себе подвох. Именно они вынуждают нас обратить внимание на категориальные правила; что касается остальных высказываний, то мы учитываем эти правила еще до того, как обращаем на них внимание. Однако было неверно ограничивать теорию типов теорией некоторых специальных категориальных правил.

Задать вопрос "К какому типу или категории принадлежит то-то и то-то?" значит спросить "В какого рода истинные или ложные высказывания может входить то-то и то-то и на каком месте оно может находиться в них?". В семантическом плане это значит "В какого рода неабсурдные предложения может входить выражение "то-то и то-то" и какое место оно может занимать в них?" и, наоборот, "Какого рода высказывания стали бы абсурдными, если бы выражение "то-то и то-то" было подставлено вместо одного из их факторов?". Я предпочитаю слово "абсурдные" словам "бессмысленные" (*nonsensical*) или "лишенные значения" (*meaningless*) по той причине, что двумя последними выражениями иногда характеризуют пустой набор звуков или грамматически неправильные конструкции. Кроме того, не так давно они стали употребляться в полемических целях в пользу одной конкретной теории. Слово "абсурд" удачно ассоциируется с *reductio ad absurdum*, и даже оттенок иронии в этом слове скорее на пользу, чем во вред — ведь множество шуток, по сути, основаны на легковесной игре с категориями.

ЧТО ТИПИЗИРУЮТ КАТЕГОРИИ?

Только о выражениях мы можем сказать, что они абсурдны, или же отрицать это. В природе нет ничего абсурдного. Даже проявления мышления — мнения, предположения, понятия — нельзя характеризовать как абсурдные или неабсурдные, ибо то, что абсурдно, — немислимо.

По этой причине в целом стоило бы рассуждать логически, применяя язык семантики, и строить наши теории и исследования так, чтобы всегда было ясно, что мы задумываемся над тем, соединимы ли такие-то и такие-то выражения таким-то и таким-то способом с другими выражениями.

Опасность состоит, конечно, в том, что мы можем непреднамеренно допустить, будто наши рассуждения сами собой совпадают с грамматическими требованиями, а также, словно это одно и то же, считать, что "существительное во множественном числе не сочетается с глаголом в единственном" и что "вместо многоточия в выражении "... ложно" можно подставлять "то, что ты сейчас говоришь", но не "то, что я сейчас говорю".

Тогда мы сказали бы, что абсурд является результатом неправильного соединения не выражений, а того, что они выражают, хотя на правильность этого соединения влияет и то, как мы оперируем с этими выражениями.

Не существует, однако, и не может существовать никакого объединяющего имени для всех *сигнификатов* (*significata*) выражений, поскольку это означало бы, что все *сигнификаты* принадлежат к одному типу. Именно в этом заключался коренной недостаток "идей" (в терминологии Локка) или "объектов" Мейнонга — слов, с помощью которых пытались выполнить эту невыполнимую задачу.

Другие обычно употреблявшиеся названия также имеют свои неудобства. Слово "термин" сохраняет некоторые из своих традиционных ассоциаций и, если вообще его стоит использовать, может употребляться для обозначения индивидов, свойств и отношений. Словом "концепт" не охватываются ни индивиды, ни целые высказывания, ни даже сочетания концептов. Поэтому я использую термин "пропозициональный фактор" (рассчитывая, что он устраняет все возможные категориальные двусмысленности), чтобы обозначить им любое выражение, простое или сложное, которое можно подставить вместо пропуска в той или иной схеме предложения (или то, что может быть значением переменной в той или иной пропозициональной функции). И если меня спросят, существуют ли пропозициональные факторы, много ли их, являются ли они ментальными объектами, на что они похожи, я отвечу: все эти вопросы нелепы, потому что "фактор" — это всего лишь место встречи всех категориальных двусмысленностей.

Конечно, можно и обойтись без такого слова. Оно выполняет чисто стенографические функции. Вопрос о том, к какой категории следует отнести факторы, может быть, по сути, представлен как проблема: каково совместное значение (*co-significance*) определенных классов выражений. Однако если идиома "фактор" (так же как идиома "идея") не гарантирует нас от мифологических ловушек, то семантические идиомы могут привести нас к смешению логических и семантических проблем.

Два пропозициональных фактора принадлежат к разным типам или категориям в том случае, если существуют такие схемы предложений, что если выражения этих факторов поочередно подставлять вместо одних и тех же знаков пропуска, то в результате высказывания будут в одном случае осмысленными, в другом — абсурдными. Возникает соблазн сказать, что справедливо и обратное: два фактора принадлежат к одному типу, если они могут заполнить один и тот же пропуск. Но, увы, это не совсем корректно, поскольку факторы "Я" и "автор этой статьи" могут быть взаимозаменяемыми подлежащими множества значимых предложений, но ими обоими нельзя заполнить пропуск в высказывании "... никогда не писал этой статьи". Это говорит о том, что все-таки не совсем правомерно утверждать, что каждый знак пропуска в определенной схеме предложения указывает категорию всех своих возможных подстановок. Если же знак пропуска допускает различные категориальные подстановки, то он сам является категориально двусмысленным, чего можно было бы избежать за счет более совершенного символизма. Ведь тот факт, что данный пропуск *может* быть заполнен подстановками, между которыми существуют определенные формальные различия, сам по себе говорит о типах этих подстановок.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЗАТРУДНЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С КАТЕГОРИЯМИ

Как мы приходим к знанию форм высказываний или типов пропозициональных факторов? Или, отказываясь от новомодной терминологии, спросим: что заставляет нас искать определения концептов или анализировать их? Ведь мы знаем, что, листая словари и энциклопедии, мы вряд ли найдем все что мы хотим узнать. По-видимому, с категориальными проблемами мы сталкиваемся в двух основных случаях.

(1) Существуют хорошо знакомые нам концепты, которые мы вполне в состоянии применять, например встречающиеся в формулировке тех проблем, решения которых нам хорошо известны. Тем не менее целые классы обычных высказываний, в которые входит один или несколько таких концептов, высказываний, которые мы могли бы с достаточным основанием признать истинными, опровергаются другими высказываниями, столь же хорошо обоснованными и содержащими другие, столь же известные нам концепты. Иначе говоря, мы сталкиваемся с антиномиями. Мы уверены в том, что некоторые высказывания из одной группы истинны в той же мере, в какой истинны высказывания из другой группы, но любое высказывание первой группы, по-видимому, противоречит всем высказываниям из другой группы. Я вижу искривленную палку, а палка прямая; я несу ответственность за некоторое действие, а это действие вытекает из моего характера, унаследованного мной от моих предков, сформированного школой и т. д.

Заметим, что если явное противоречие или, скорее, класс противоречий все же находят разрешение, то это становится возможным потому, что логические формы противоречащих друг другу высказываний на самом деле оказываются иными, чем мы предполагали ранее, поскольку именно формы высказываний или типов их факторов определяют их соответствие или несоответствие друг другу.

(2) Далее, когда мы приступили к исследованию того, как работают наши концепты и высказывания, мы сталкиваемся с некоторыми чисто техническими затруднениями. Мы еще толком не знаем, как использовать собственные профессиональные инструменты. Нам нужно открыть хитрые запоры, и неплохо было бы проверить свои отмычки заранее, а не полагаться на одно только свое мастерство. Наше исследование категорий и типов отношений, по сути, и есть такого рода техническая проблема. Но *любой* концепт, структура которого не выяснена, может привести к антиномиям, поскольку незнание его структуры равнозначно тому, что мы не знаем какие-то из его следствий, не знаем, совместимы ли высказывания, в которых фигурирует этот концепт. Концепты здравого смысла, науки, самой философии — все они порождают антиномии. Так, проблема внутренних связей производна от антиномий, связанных с техническим концептом *отношения*, используемого философами.

ЧЕМ ОБУСЛОВЛЕНА КАТЕГОРИИ?

То, что высказывание означает, как это давно известно, оно означает посредством своей формы. То же самое можно сказать и о том, что определяет его совместимость или несовместимость с другими высказываниями. Назовем "связями" ("liaisons") все логические отношения высказывания, а именно: что оно означает, посредством чего оно означает, с чем совместимо, с чем несовместимо. Теперь любой аспект, в котором высказывания различаются по форме, будет отражен в различии их "связей". Так, если два высказывания формально аналогичны друг другу во всех отношениях, кроме того, что фактор одного из них относится к иной категории, чем соответствующий фактор другого, то их связи будут соответственно различаться. Фактически пропозициональные связи не просто *отражают* формальные свойства высказывания и, следовательно, всех его факторов, но, в определенном смысле, они и есть эти свойства. Знать все о пропозициональных связях значит знать все о формальной структуре высказывания и наоборот. Хотя, очевидно, я могу принимать и признавать некое высказывание, не зная всех его пропозициональных связей. Фактически, я должен уже понимать его до того, как смогу рассмотреть эти связи, иначе я не оказывался бы жертвой антиномий.

Операция определения категории фактора не может быть отделена от операции обнаружения логических связей высказываний, в состав которых он вхо-

дит. В сущности, это одна и та же операция. Разумеется, мы сэкономим время, прямо подводя хорошо известные виды высказываний, над которыми логики работали десятки или сотни лет, под соответствующие формулы. Но то, что высказывание имеет форму "Все S суть P " или " $\$x.fx. \sim ux$ " не говорит нам ничего, если мы не умеем работать с символическими системами в соответствии с правилами их использования, то есть если мы не знаем, как считывать связи, схема которых отображается этими символами.

Формулировка связей некоторого высказывания — это дело формально-логических рассуждений и аргументации (в которых, конечно, необязательно, но вполне возможно преследовать полемические цели). Вот почему философствование — это аргументация, и как раз элемент логического рассуждения сегодня, как правило, упускается из виду, когда определяют философию как "анализ", который обычно понимают как разновидность расшифровки значений. Между тем такая расшифровка порой не вносит никакой философской ясности, так как не способна показать как раз те особенности высказываний и их факторов, незнание которых ввергает нас в антиномию, а именно — их связи, производные или конститутивные по отношению к их логическим типам и формам. Простого педантизма здесь не достаточно. Когда спор является философским и когда нет, это отдельный вопрос, обсуждение которого здесь было бы неуместным.

КАТЕГОРИАЛЬНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ

Я называю высказывание "категориальным", если оно сообщает что-либо о логическом типе фактора или множества факторов. Некоторые типы официально признаны и наделены фирменными ярлыками вроде "качества", "состояния", "субстанции", "числа", "логические конструкции", "категории" и т. д. Мы могли бы называть их "категориальными словами". Карнап, сбивая нас с толку, называет их "универсальными словами". Высказывания, в которых тип фактора просто называется по имени, отличаются лишь своей краткостью от высказываний, в которых тип фактора описывается.

Все подобные высказывания являются философскими высказываниями (разумеется, они не всегда произносятся профессиональными философами, получающими деньги за то, что они говорят). Я полагаю, что верно также и обратное.

Как мы видели, утверждения о том, что факторы относятся к тем или иным типам, равнозначны суждениям о том, приводят или не приводят к абсурду те или иные комбинации факторов. И поскольку лишь сочетания символов могут быть абсурдными или не абсурдными, постольку категориальные высказывания являются семантическими. Это не значит, что они ничем не отличаются от высказываний, которыми интересуются филологи, грамматики и лексикографы. Не существует категориальных высказываний английских в отличие от

немецких, западных в отличие от восточных. Это также не значит, что они ничего не сообщают о "природе вещей". Если недоумение ребенка, почему экватор можно пересечь, но нельзя увидеть или почему Чеширский Кот не может оставить после себя свою улыбку, касается "природы вещей", то можно сказать, что некоторые категориальные высказывания дают требуемую информацию о природе вещей, как они дают ее и в более серьезных случаях категориальных затруднений. Но есть ли у нас критерии абсурда?

ОБЫДЕННЫЙ ЯЗЫК¹

В своей аргументации философы часто прибегали к ссылкам на то, что мы говорим и что не говорим или, точнее, что мы можем и что не можем сказать. Такие аргументы имеются в сочинениях Платона и широко представлены в работах Аристотеля.

В последние годы некоторые философы, чрезвычайно обеспокоенные природой и методологией своей профессиональной деятельности, стали придавать такого рода аргументам большое значение. Другие философы опровергали их. Споры о достоинстве этих аргументов не дали поучительных результатов, поскольку обе стороны искажали существо проблемы. Я хочу сформулировать ее в неискаженном виде.

"обыденный"

В упомянутых спорах повторяется одно выражение — "употребление обыденного языка" (the use of ordinary language). Часто и совершенно ошибочно его заменяют выражением "обыденное употребление языка" (ordinary linguistic usage). Иногда сторонники такого подхода утверждают, что все философские проблемы связаны с употреблением обыденного языка или что все философские проблемы решаются или могут быть решены посредством рассмотрения обыденного употребления языка.

Откладывая на время разбор понятия *употребление языка*, я хочу начать с противопоставления словосочетания "употребление обыденного языка" по видимости похожему, но на самом деле совершенно другому словосочетанию "обыденное употребление выражения "...". Когда говорят об употреблении обыденного языка, слово "обыденный" имплицитно или эксплицитно противопоставляется "необычному", "эзотерическому", "специальному", "поэтическому", "символическому" или иногда "архаичному". "Обыденный" означает "общий", "современный", "разговорный", "общеупотребительный", "естественный", "прозаический", "несимволический", "понятный нормальному человеку" и противопоставляется обычно словам и выражениям, которые умеют употреблять лишь немногие люди, — таким, как специальные термины или искус-

¹ Перевод выполнен по изданию: *Philosophy and Ordinary Language*. Urbana, 1960, pp. 108—127.

ственная символика юристов, теологов, экономистов, философов, картографов, математиков, специалистов по символической логике и игроков в королевский теннис. Четкой границы между "общим" и "необщим", "специальным" и "неспециальным", "устаревшим" и "современным" не существует. Общеупотребительно или нет слово "карбюратор"? Можно ли сказать, что слово "бахрома" в ходу у обычного человека или же только у обычной женщины? Как быть с "непредумышленным убийством", "инфляцией", "коэффициентом" и "вне игры"? С другой стороны, ни у кого не вызовет сомнения, к какой стороне сей ничейной земли следует отнести слова "изотоп" или "хлеб", "материальная импликация" или "если", "бесконечное кардинальное число" или "одиннадцать", "weep" или "suppose"². Границы "обыденного" размыты, однако обычно мы не сомневаемся в том, принадлежит или не принадлежит конкретное слово или выражение к обыденному языку.

Но в другом выражении — "обыденное употребление выражения ..." — слово "обыденный" противопоставляется не "эзотерическому", "архаичному", "специальному", но "нетипичному" ("non-stock") или "нестандартному". Мы можем противопоставить типичное или стандартное использование столового ножа для рыбы или сфигмометра какому-то нетипичному использованию этих предметов. Типичное применение ножа для рыбы состоит в том, чтобы с его помощью разрезать рыбу; однако его можно использовать для разрезания семенного картофеля или в качестве гелиографа. Сфигмометр, насколько я знаю, можно использовать для проверки давления в шине, хотя это его применение нестандартно. Независимо от того, относится ли прибор или инструмент к общеупотребительным или специальным, существует различие между его типичным и нетипичным применением. Каким бы ни был термин — в высшей степени специальным или неспециальным, существует различие между его типичным и нетипичным употреблением. Если термин является исключительно специальным, то большинство людей не будут знать его типичного употребления, как и *a fortiori* какого-либо нетипичного его употребления (если таковое имеется). Если же он общеупотребителен, то почти все знают его типичное употребление, а большинство людей — также и некоторые его нетипичные употребления (если таковые существуют). Есть много слов, таких, как "of", "have" и "object", которые не имеют одного типичного употребления, как не имеют единственного типичного употребления, и слова string, paper, brass и pocket-knives. Многие слова не имеют нетипичных употреблений. К ним относится, на мой взгляд, слово "шестнадцать"; то же самое можно сказать и о "бледно-желтом нарциссе". Не имеют нетипичных употреблений, вероятно, и запонки для воротничка. Нетипичными являются, например, метафо-

² "Weep", "suppose" — думать, полагать, считать; слово "weep/ (уст.) практически вышло из употребления. (Здесь и далее — подстрочные примеч. перев.)

рическое, гиперболическое, поэтическое, широкое и узкоспециальное употребление слова. Кроме того что мы противопоставляем типичное употребление некоторым нетипичным употреблениям, мы часто хотим противопоставить типичное употребление какого-то выражения некоторым подразумеваемым, предлагаемым или рекомендуемым его употреблениям. Противоположность здесь не между правильным употреблением и неправильными употреблениями, но между правильным употреблением и тем, что предполагается или рекомендуется в качестве правильного.

Когда мы говорим об обыденном или типичном употреблении слова, нам не надо давать ему какие-то дополнительные характеристики, например одобрять, рекомендовать или подтверждать его. Мы не должны ссылаться на его типичность или что-то на ней основывать. Слова "обыденный", "стандартный" и "типичный" могут просто указывать на какое-то употребление, не описывая его. С философской точки зрения они бесполезны, и без них можно с легкостью обойтись. Говоря о нормальном ночном стороже, мы просто указываем на ночного сторожа, который, как мы знаем, в урочное время обычно находится на работе; при этом мы не сообщаем о нем никакой информации и не воздаем должного его надежности. Говоря о стандартном написании слова или о стандартной ширине колеи британских железных дорог, мы не характеризуем, не рекомендуем и не поощряем написание слова или ширину колеи; мы указываем на то, что наши слушатели поймут без раздумий. Иногда, естественно, такое указание не достигает цели. Иногда типичное употребление слова в одном месте отличается от его типичного употребления в другом месте, как, например, происходит со словом "suspenders"³. Иногда типичное употребление слова в одно время отличается от его типичного употребления в другое время — так изменилось употребление слова "nice"⁴. Спор о том, которое из двух или пяти употреблений слова является типичным, не есть философский спор о каком-либо одном из этих употреблений. Следовательно, с философской точки зрения он не представляет интереса, хотя его разрешение является иногда предварительным условием коммуникации между философами.

Когда я хочу рассказать о нетипичном употреблении некоего слова или ножа для рыбы, недостаточно бывает сослаться на него с помощью выражения "его нетипичное употребление", поскольку у него может быть несколько нетипичных употреблений. Чтобы привлечь внимание моего слушателя к конкретному нетипичному употреблению этого слова или предмета, я должен охарактеризовать его, например описать конкретный контекст, относительно которого известно, что данное слово употребляется в нем нетипичным способом.

³ Амер.: подтяжки; брит.: подвязки для чулок.

⁴ Милый; уст. притворно-застенчивый, жеманный.

Хотя это всегда можно сделать для типичного употребления выражения, потребность в таком описании возникает редко, разве что в философских спорах, когда коллеги-философы притворяются, будто они не имеют понятия о его типичном употреблении, — трудность, о которой, разумеется, они напрочь забывают, когда учат его употреблению детей или иностранцев или же наводят справки в словарях.

Теперь понятно, что обучение обыденному или типичному употреблению выражения — не всегда обучение употреблению обыденного или распространенного выражения, хотя и может быть таковым; точно так же как обучение стандартному употреблению инструмента необязательно есть обучение применению домашней утвари. Слова и инструменты, будь то необычные или общеупотребительные, в большинстве своем имеют типичные употребления, и при этом они могут также иметь нетипичные употребления или не иметь их.

Утверждая, что определенные философские проблемы связаны с обыденным или типичным употреблениями определенных выражений, философ не должен, следовательно, придерживаться точки зрения, согласно которой эти проблемы связаны с употреблением обыденных или разговорных выражений. Он может признавать, что субстантивированное прилагательное "бесконечно малые" отнюдь не относится к словам, употребляемым обычным человеком, и все же утверждать, что Беркли изучал обыденное или типичное употребление понятия "бесконечно малые" — а именно стандартный (если не единственный) способ, в котором это слово использовалось специалистами-математиками. Беркли изучал не употребление разговорного слова, но правильное, или стандартное, употребление достаточно эзотерического слова. Мы не противоречим себе, говоря, что он изучал обыденное употребление необыденного выражения.

Ясно, что то же можно сказать о многих философских дискуссиях. В философии права, биологии, физике, математике, формальной логике, теологии, психологии и грамматике должны изучаться специальные понятия, и для их выражения используются более или менее экзотические слова. Несомненно, изучение данных понятий свидетельствует о попытке с помощью неспециальных терминов прояснить специальные термины той или другой специальной теории, но сама эта попытка включает в себя обсуждение обыденных или типичных употреблений этих последних.

Несомненно также, что изучение философами типичных употреблений выражений, используемых всеми людьми, более важно, нежели изучение ими типичных употреблений выражений, которые используют только специалисты, например ученые или юристы. Специалисты разъясняют ученикам типичные употребления своих искусственных терминов с помощью неэзотерических терминов; им не приходится объяснять также типичные употребления этих неэзотерических терминов. Неспециальная терминология является в этом смысле

основополагающей для специальных терминологий. Таково же преимущество твердых денег над обменными чеками и билетами, таковы же и связанные с ними неудобства, напоминающие о себе при больших и сложных сделках.

Несомненно, наконец, что некоторые основные проблемы философии обуславливаются существованием логических неясностей, характерных не для той или иной специальной теории, но для мышления и рассуждения всех людей — специалистов и неспециалистов. Понятия *причина, очевидность, знание, ошибка, должен, могу* и т. д. употребляются не только отдельной группой людей. Мы употребляем их до того, как начинаем разрабатывать специальные теории или следовать этим последним — мы не могли бы разрабатывать такие теории или следовать им, если бы уже заранее не умели употреблять эти понятия. Они принадлежат к началам всякого мышления, включая мышление специалиста. Но это не означает, что все философские проблемы связаны с такими основополагающими понятиями. Действительно, архитектор должен позаботиться о материале для здания, однако это не должно быть единственным предметом его заботы.

"УПОТРЕБЛЕНИЕ"

Рассмотрим теперь следующий момент. Словосочетание "обыденное (т. е. типичное) употребление выражения "... " часто произносятся с ударением на слове "выражение" или на слове "обыденное", а "употребление" остается в тени. Должно быть наоборот. Важнейшее слово здесь — "употребление".

Вопрос, заданный Юмом, относился не к слову "причина" (*cause*), а к употреблению этого слова. И точно так же к употреблению слова "*Ursache*"⁵. Ведь употребление слова "причина" совпадает с употреблением слова "*Ursache*", хотя сами слова различны. Вопрос Юма не был вопросом о единице английского языка, который отличался бы от вопроса о соответствующей единице немецкого языка. Функции английского слова не являются ни английскими, ни континентальными. То, что я делаю со своими ботинками, произведенными в Ноттингеме, — а я в них хожу, — не есть нечто произведенное в Ноттингеме; однако это не произведено также ни в Лейстере, ни в Дерби. Мои операции с шестипенсовой монетой не имеют ни обработанных, ни необработанных граней — они вовсе не имеют граней. Мы можем обсудить, что я могу и чего не могу сделать с этой монетой, а именно что я могу или не могу на нее купить, на что я могу или не могу ее обменять и т. д. Но наше обсуждение не будет касаться даты чеканки, составных частей, формы, цвета или происхождения монеты. Речь идет о меновой стоимости данной или любой другой монеты того же достоинства, а не о самой этой монете. Обсуждение носит не

⁵ Причина (нем.).

нумизматический, а коммерческий или финансовый характер. Перенос ударения на слово "употребление" помогает прояснить тот важный факт, что исследованию подлежат не какие-либо другие характеристики или свойства слова, монеты или пары ботинок, но лишь функции этих или других предметов, с которыми мы производим такие же операции. Вот почему столь ошибочно классифицировать философские вопросы как лингвистические или нелингвистические.

Мне кажется, что философы взяли моду говорить об употреблении выражений, и даже возвели подобные разговоры в ранг добродетели, только в последние годы. Наши предки, было время, говорили вместо этого о *понятиях* или *идеях*, соответствующих выражениям. Во многих отношениях этот обычай был весьма удобен, и для большинства ситуаций хорошо было бы его сохранить. Впрочем, был у него и недостаток: он подталкивал людей к платоновским или локковским спорам о статусе и происхождении понятий или идей. Создавалось впечатление, будто философ, который хочет обсуждать, скажем, понятия *причины*, *бесконечно малых* или *раскаяния*, обязан сначала решить, обладают ли эти понятия внекосмическим или только психологическим существованием, являются ли они интуитивно постижимыми трансцендентными сущностями или же даны только в личной интроспекции.

Позднее, когда философы восстали против психологизма в логике, в моду вошел другой обычай: стали говорить о *значениях* выражений, а "понятие причины" было заменено на "значение слова "причина" или любого другого слова с тем же значением". Этот новый обычай тоже был уязвим для придирок антиплатоновского и антилокковского толка; однако его самый большой недостаток состоял в другом. Философы и логики того времени пали жертвами характерной — и ошибочной — теории значения. Они сконструировали глагол "означать", которым обозначили отношение между выражением и некоей другой реальностью. Значение выражения они считали реальностью, именем которой является данное выражение. Поэтому считали (или были близки к этому), что исследование значения выражения "Солнечная система" — то же, что исследование Солнечной системы. В какой-то мере реакцией против этой ошибочной точки зрения было то, что философы стали предпочитать идиому "употребление выражений" идиоме "... является причиной..." и "... Солнечная система". Мы привыкли говорить об использовании английских булавок, перил, столовых ножей, символов и жестов. Эта знакомая идиома не имеет ничего общего ни с какими странными отношениями ни к каким странным реальностям. Она обращает наше внимание на передаваемые посредством научения процедуры и техники обращения с вещами или использования вещей, не вызывая нежелательных ассоциаций. Обучение правильному обращению с веслом для каноэ, дорожным чеком или почтовой маркой не есть знакомство с дополнительной ре-

альностью. Не является таковым и приобретение навыка употребления слов "если", "должен" и "предел".

У этой идиомы есть еще одно достоинство. Там, где можно говорить об умении обращаться, распоряжаться и использовать, можно говорить и о неправильном обращении, распоряжении и использовании. Правила соблюдают или нарушают, кодексы выполняют или обходят. Научиться использовать выражения (как и монеты, марки, чеки и клюшки) — значит научиться делать с ними одно и не делать другого, а также узнать, когда можно и когда нельзя делать что-то. Среди вещей, которые мы узнаем в ходе освоения употребления языковых выражений, — то, что приблизительно можно назвать "правилами логики". Так, хотя и мать, и отец могут быть высокого роста, они оба не могут быть выше друг друга, и, хотя дяди могут быть богатыми или бедными, толстыми или тонкими, они не могут быть мужчинами или женщинами, но только мужчинами. Хотя суждение, что понятия, идеи или значения могут быть бессмысленными или абсурдными, было бы неправдоподобным, вполне можно утверждать, что некто может дать определенному выражению абсурдное употребление. Практикуемый или предлагаемый способ употребления выражения может быть логически незаконным или невозможным, но универсалия, состояние сознания или значение не могут быть логически законными или незаконными.

"УПОТРЕБЛЕНИЕ" И "ПОЛЕЗНОСТЬ" (UTILITY)

С другой стороны, обсуждение *употреблений* выражений часто бывает неадекватным. Люди склонны понимать значение слова "употребление" в том смысле, который, безусловно, допустим в английском языке, именно как синоним "полезности". Они полагают, следовательно, что обсуждать употребление выражения — значит обсуждать, для чего или в каком смысле оно полезно. Иногда такие соображения плодотворны с философской точки зрения. Но легко видеть, что обсуждение употребимости в одном смысле (в сравнении с бесполезностью) в корне отличается от обсуждения употребимости в другом смысле (в сравнении с неправильным употреблением), т. е. от обсуждения способа, метода или характера употребления. Женщина-водитель может уяснить, в чем состоит полезность запальной свечи, однако это не означает, что она научится соответствующим операциям с запальной свечой. Она не имеет (достаточных) навыков и компетенции, необходимых для манипуляций с запальной свечой, в отличие от навыков, которые необходимы для операций с рулем, монетами, словами и ножами. Запальные свечи в ее машине сами себе хозяева. Или, скорее, у них вообще нет хозяина. Они просто автоматически функционируют, пока не перестают функционировать. Они полезны, даже необходимы для нее. Но она не умеет обращаться с ними.

Напротив, человек, который научился насвистывать мелодии, может не считать это занятие полезным или хотя бы приятным для других людей или для себя самого. Он справляется, хотя и не всегда, со своими губами, языком и дыханием и опосредствованно также с производимыми им нотами. Он умеет свистеть и может показать, а возможно, и рассказать нам о том, каким образом ему это удастся. Однако насвистывание мотивов — бесполезное занятие. Вопрос: "Как ты регулируешь дыхание или движение губ, когда свистишь?" — требует положительного и развернутого ответа. Вопрос же: "Каково употребление, в чем полезность свиста?" — вызывает отрицательный и односложный ответ. Первый вопрос, в отличие от второго, касается технических деталей. Вопросы об употреблении выражения часто, хотя и не всегда, являются вопросами о способе обращения с ним, а не о том, зачем оно нужно человеку, который его употребляет. Они начинаются с "как", а не с "зачем". Последнего рода вопросы могут быть заданы, но в этом редко бывает необходимость, потому что ответ в данном случае обычно очевиден. В чужой стране я не спрашиваю, для чего нужен сантиметр или песета. Но я спрашиваю, сколько таких монет должен отдать за какой-то предмет или сколько монет смогу получить в обмен на полкроны. Я хочу знать, какова их меновая стоимость, а не то, что они нужны для покупок.

"УПОТРЕБЛЕНИЕ" И "ОБЫЧАЙ"

Гораздо более коварным, чем смешение способа употребления с полезностью, является смешение "употребления" (use), т. е. способа действия с чем-то, и "обычая" (usage). Многие философы, нацеленные преимущественно на проведение логико-лингвистических различий, ничтоже сумняшеся говорят так, словно "употребление" и "обычай" являются синонимами. Это грубейшая ошибка, и она простительна разве лишь в том случае, если вспомнить, что в устаревшем выражении "use and wont"⁶ слово "use" можно, пожалуй, заменить словом "usage", что "used to" действительно обозначает "accustomed to" и что претерпевать плохое обращение означает страдать от дурного обычая (to be hardly used is to suffer hard usage).

Слово "usage" обозначает обычай, практику или моду. Обычай может иметь локальное или широкое распространение, быть устаревшим или современным, сельским или городским, вульгарным или классическим. Обычай не может быть неправильным, как не может быть неправильной традиции или неправильной моды. Методы изучения лингвистических обычаев относятся к компетенции филологии.

⁶ "Wont" — устар. обыкновение, привычка.

Напротив, способ обращения с лезвием бритвы, словом, дорожным чеком или веслом для каноэ есть некая техника, умение или метод. Освоить эту технику — значит узнать, как производить конкретное действие; ее освоение не предполагает социологических обобщений, даже социологических обобщений относительно других людей, которые производят такие же или другие действия с лезвиями бритв, словами, дорожными чеками или веслами. Робинзон Крузо мог выяснить для себя, как следует изготавливать и метать бумеранг; но это открытие ничего не сообщило бы ему о тех австралийских аборигенах, которые действительно делают и используют бумеранги именно таким образом. Описание фокуса не есть описание всех фокусников, которые выполняют или выполняли этот фокус. И напротив, чтобы описать тех, кто владеет секретами этого фокуса, мы должны уметь каким-то образом описать сам фокус. Испожа Битон рассказывает нам, как готовить омлеты, но ничего не сообщает о парижских поварах. Бедекер может поведать нам о парижских поварах и о тех из них, кто готовит омлеты. Однако, если бы он захотел рассказать, как они готовят омлеты, ему пришлось бы описывать технологию процесса так же, как это делает госпожа Битон. Описание обычаев предполагает описание употребления, т. е. способа или технологии действия, более или менее широко принятой практики действия, которая и есть обычай.

Существует важное различие между использованием бумерангов, луков со стрелами и весел для каноэ, с одной стороны, и использованием теннисных ракеток, канатов для перетягивания, монет, марок и слов — с другой. Последние являются инструментами, которые связывают людей, т. е. инструментами общей деятельности или соревнования. Робинзон Крузо мог раскладывать пасьянс, но не мог играть в теннис или крикет. Так, человек, который учится пользоваться теннисной ракеткой, гребным веслом, монетой или словом, конечно, имеет возможность наблюдать других людей, использующих те же вещи. Он не может овладеть навыками подобных действий, требующих участия нескольких людей, не узнавая о других людях, выполняющих (правильно или неправильно) эти же действия, — и в нормальном случае он приобретает такие навыки, наблюдая за тем, как практикуют их другие люди. И все же приобретение навыков не есть некое социологическое исследование и не нуждается в последнем. Ребенок может научиться использованию пенни, шиллингов и фунтов дома и в деревенском магазине, и его владение соответствующими нехитрыми навыками не станет более совершенным, если он услышит о том, как в других местах и в иные времена люди использовали и сейчас используют (или же плохо используют) свои пенни, шиллинги и фунты. Совершенное умение употреблять что-то не предполагает исчерпывающего или даже относительно полного знания об обычае, даже когда умелое пользование предметами действительно предполагает определенное знание о практических навыках некоторых других людей. В детстве нас учили использовать мно-

жество слов, но не учили историческим или социологическим обобщениям относительно людей, их употребляющих. Если знание последних вообще приходит, то приходит позднее.

Прежде чем продолжить наше обсуждение, заметим, что между использованием весел для каноэ или теннисных ракеток, с одной стороны, и использованием почтовых марок, английских булавок, монет и слов — с другой существует важное различие. Теннисной ракеткой владеют с большим или меньшим совершенством, и даже чемпион стремится совершенствовать мастерство. Однако можно сказать, с некоторыми незначительными оговорками, что монеты, чеки, марки, отдельные слова, кнопки и шнурки для ботинок не открывают простора для таланта. Человек или знает, или не знает, как использовать их и как использовать их правильно. Конечно, литературная композиция или аргументация могут быть более или менее искусными, но романист или адвокат знают значения слов "кролик" или "и" не лучше обыкновенного человека. Здесь нет места для "лучше". Шахматист-чемпион маневрирует более умело, чем дилетант, однако допустимые движения фигур он знает не лучше последнего. Оба они отлично знают их или, скорее, просто знают.

Безусловно, квалифицированный шахматист может описать допустимые движения фигур лучше, чем неквалифицированный. Однако он выполняет эти движения ничуть не лучше последнего. Я обмениваю полкроны не лучше, чем вы. Мы оба просто производим правильный обмен. И все же я могу описать такие действия более совершенным образом, нежели вы. Знание о том, как следует действовать, отличается от знания о том, как рассказать об этих действиях. Этот момент становится важным, когда мы обсуждаем, скажем, типичный способ употребления слова "причина" (если допустить, что такой способ существует). Врач знает его типичное употребление так же хорошо, как и любой другой человек, но он, возможно, не сумеет ответить на вопросы философа, касающиеся этого употребления.

Чтобы избежать двух немаловажных смещений — "употребления" с "полезностью" и "употребления" с "обычаем", — я пытаюсь использовать, *inter alia*, вместо глагола и существительного "use" (употреблять, употребление) слова "employ" и "employment" (применять, применение). Поэтому я говорю следующим образом. Философам часто приходится описывать типичный (реже — нетипичный) способ применения выражения. Иногда такое выражение принадлежит диалекту, иногда — специальному словарю, а иногда представляет собой нечто неопределенное. Описание способа применения выражения не требует информации о преимущественной или незначительной роли такого способа его применения и ничего не выигрывает от такой информации. Ведь философ, как и другие люди, уже давно научился применять это выражение и пытается описать то, что уже умеет.

Техники не моды, но они могут быть модными. Некоторые из них бывают модными или же имеют распространение по каким-то другим причинам. Ведь не случайно способы употребления слов, как и монет, марок и шахматных фигур, *имеют тенденцию* сохранять свою тождественность во всем сообществе и на протяжении длительного времени. Мы хотим понимать и быть понятыми и учимся родному языку у старших. И без всякого давления со стороны законов и словарей наш словарный запас имеет тенденцию к единообразию. Причуды и идиосинкразии в этих вопросах вредят коммуникации. Причуды и идиосинкразии в отношении почтовых марок, монет и движений шахматных фигур исключаются ясно сформулированными законами. В известной мере аналогичные требования предъявляются многим специальным словарям, будучи сформулированы, например, в руководствах и учебниках. Хорошо известно, что тенденции к единообразию допускают исключения. Однако поскольку естественным образом существуют многочисленные весьма распространенные и давние лексические обычаи, философ может иногда позволить себе напомнить читателям о способе применения выражения, указывая на то, "как говорят все", и на то, "как не говорит никто". Читатель рассматривает способ применения, которому он давным-давно научился, и укрепляется в нем, когда узнает, что на его стороне большие батальоны. В сущности, конечно, указание на численное превосходство в философском отношении бессмысленно, да и с точки зрения филологии рискованно. Вероятно, при этом стремятся прояснить логические правила, имплицитно управляющие каким-то понятием, т. е. способом употребления какого-то выражения (или любого другого выражения, выполняющего ту же функцию). Может быть, употребление данного выражения для выполнения конкретной функции широко распространено, но в любом случае оно не представляет интереса для философии. Анализ функции не сводится к массовому наблюдению: последнее не поможет анализу функций. Но массовое наблюдение нуждается иногда в помощи такого анализа.

Прежде чем закончить обсуждение употребления выражения "употребление выражения "...", я хочу привлечь внимание к одному интересному моменту. Мы можем спросить, знает ли человек, как следует и как не следует употреблять определенное слово. Но мы не можем спросить, знает ли он, как употреблять определенное предложение. Когда группа слов приняла форму фразы, мы можем спросить о том, знает ли он, как следует употреблять эту фразу. Но когда ряд слов еще не принял формы фразы, мы можем спросить о том, знает ли он, как надо употреблять входящие в нее слова, но не о том, знает ли он, как надо употреблять этот ряд слов. Почему мы даже не можем спросить, знает ли он, как употреблять определенное предложение? Ведь, казалось бы, мы говорим о значениях предложений, точно так же как и о значениях входящих в них слов; и если знание значения слова означает знание способа его употребления, то можно

было бы ожидать, что знание значения предложения будет знанием того, как следует употреблять предложение. Однако это рассуждение явно неверно.

Приготавливая пирог, повариха использует соль, сахар, муку, фасоль и бекон. Она использует (пусть иногда и неправильно) эти продукты в качестве ингредиентов. Но она не использует сам пирог. Пирог не есть ингредиент. Она использует также (хотя и в другом смысле и, может быть, неправильно) скалку, вилку, сковороду и духовку. Инструменты, с помощью которых она готовит пирог. Но пирог не есть один из инструментов. Пирог приготовлен (плохо или хорошо) из ингредиентов с помощью инструментов. Повариха использовала те и другие для приготовления пирога, но этот последний нельзя отнести ни к ингредиентам, ни к инструментам. В некотором смысле (но лишь в некотором) предложение (плохо или хорошо) построено из слов. Для этого их использует говорящий или пишущий. Он составляет из слов предложение. Таким образом, предложение как таковое не есть то, что он употребляет правильно или неправильно, вообще употребляет или не употребляет. Композиция не есть часть себя самой. Мы можем просить человека сказать что-то (например, задать вопрос, отдать команду или рассказать анекдот), используя определенное слово или фразу, и он будет знать, что именно его попросили сделать. Но если мы просто попросим его произнести или записать какое-то определенное слово или фразу, он увидит разницу между этой просьбой и предыдущей. Ведь сейчас ему говорят не употребить, т. е. *инкорпорировать*, но просто произнести или записать слово или фразу. Предложения — то, *что* мы говорим. Слова и фразы — то, *с помощью чего* мы говорим.

Бывают словари, в которых собраны слова или лексические обороты. Но нет словарей, где были бы собраны предложения. И это объясняется не тем, что такие словари были бы бесконечно большими, а значит, практически неосуществимыми. Напротив, работу над ними нельзя даже начать. Слова и обороты находятся под рукой как бы в резервуаре, и люди могут использовать их, когда хотят сказать какие-то вещи. Но высказывания об этих вещах не являются вещами, которые имелись бы в резервуаре, к которому люди могли бы обратиться, если бы захотели сказать эти вещи. То, что слова и обороты могут, а предложения не могут быть употреблены неправильно, поскольку предложения в этом смысле не могут быть употреблены вовсе, полностью согласуется с тем важным фактом, что предложения могут быть построены правильно или неправильно. Мы можем излагать вещи плохо или грамматически неверно и можем сказать вещи грамматически правильные, но лишённые смысла.

Отсюда следует, что имеется большая разница между тем, что подразумевается под "значением слова или фразы", и тем, что подразумевается под "значением предложения". Понять слово или фразу — значит знать, как они употребляются, т. е. уметь заставить их играть свою роль в широком круге предложе-

ний. Но понять предложение — не значит знать, как заставить его исполнить свою роль. Это пьеса без роли.

Соблазнительно предположить, что вопрос: "Как соотносятся значения слов со значениями предложений?" — мудреный, но осмысленный и что он напоминает вопрос: "Каково отношение меновой стоимости моего шиллинга к меновой стоимости конверта с моей зарплатой?" Но такое предположение неверно с самого начала.

Если я знаю значение слова или лексического оборота, то знаю нечто вроде неписанных правил или неписаного кодекса или общего рецепта. Я научился корректно употреблять это слово в неограниченном множестве различных обстоятельств. В этом смысле мое знание напоминает то, что я знаю, когда знаю, как следует пользоваться ножом или пешкой в шахматах. Я научился использовать это слово или действие всегда и повсюду, где для него имеется поле применения. Идея же о возможности повсюду использовать какое-то предложение принадлежит к разряду фантастических. Предложение не имеет роли, которую оно могло бы снова и снова исполнять в разных пьесах. Оно вовсе не имеет роли, если только не считать, что и пьеса играет какую-то роль. Знать, что оно означает, не значит знать нечто вроде кодекса или совокупности правил, хотя оно и требует знания кодексов или правил, которые управляют употреблением составляющих его слов или фраз. Имеются общие правила или рецепты построения определенных видов предложений, но не общие правила или рецепты построения конкретных предложений вроде "Сегодня понедельник". Знание значения предложения "Сегодня понедельник" не есть знание общих правил, кодексов или рецептов, управляющих употреблением этого предложения, поскольку нет такой вещи, как использование, а значит, и неоднократное использование этого предложения. Я думаю, что это связано с тем фактом, что простые предложения и предложения, являющиеся частями сложного предложения, имеют смысл или не имеют смысла, тогда как этого нельзя сказать о словах, и что квазипредложения могут быть абсурдными или бессмысленными, а квазислова не абсурдны и не бессмысленны, но просто лишены значения. Я могу говорить глупые вещи, но слова не бывают ни глупыми, ни неглупыми.

ФИЛОСОФИЯ И ОБЫДЕННЫЙ ЯЗЫК

Модная фраза "Употребление обыденного языка" может вызвать у некоторых людей мысль о существовании философского учения, согласно которому: а) все философские исследования производятся в отношении к общеупотребительным, а не к более или менее специальным, академическим или эзотерическим терминам, и б) вследствие этого все философские дискуссии должны формулироваться исключительно посредством общеупотребительных слов. Этот вывод

ошибочен, хотя в его заключении есть своя правда. Даже если бы было верно (а это не так), что все философские проблемы связаны с неспециальными понятиями, т. е. со способом использования общеупотребительных выражений, то из этого (ложного) допущения не следовало бы, что обсуждение этих проблем должно вестись или лучше всего вести на языке английских, французских или немецких присяжных.

Из факта, что филолог изучает те английские слова, которые имеют кельтское происхождение, не следует, что он должен говорить о них — или наилучшим образом скажет то, что должен сказать о них, — словами кельтского происхождения. Из факта, что психолог обсуждает психологию остроумия, не следует, что он непременно должен проявлять остроумие в своих текстах. Ясно, что в своих сочинениях он не обязан блистать остроумием.

В большинстве своем философы использовали многие специальные термины прежней или современной логической теории. Иногда мы хотим, возможно, чтобы они были чуть более скептически. Но мы не упрекаем их за использование технических средств. Попытайся они обойтись без последних, нам пришлось бы пожалеть об их многословии.

Однако рабская приверженность жаргону, будь то унаследованному или изобретенному самостоятельно, является, конечно, плохим качеством для любого автора — философа и нефилософа. Она приводит к уменьшению числа людей, способных понять его сочинения и подвергнуть их критике, что может направить его мысль по изолированному руслу. Употребление жаргона, без которого можно обойтись, свидетельствует о дурных литературных манерах и плохой педагогической тактике, а кроме того вредит уму самого мыслителя.

Это относится не только к философии. Чиновникам, судьям, теологам, литературным критикам, банкирам и (пожалуй, прежде всего) психологам и социологам можно дать хороший совет: надо стараться писать ясно и прямо. И тем не менее Гоббс, обладавший достоинством ясного и прямого слога, был менее философичен, нежели Кант, которому недоставало ясности, а поздние диалоги Платона хотя и более трудны для перевода, но отличаются достоинствами, отсутствующими в ранних диалогах. Да и простота изложения обоснования математики у Милля сама по себе не убедит нас в том, что следует предпочесть его учение более эзотерической теории Фреге.

Короче говоря, не существует обязанности воздерживаться от эзотеризма, которая *a priori* или специально налагалась бы на философов, но есть обязанность, общая для всех мыслителей и писателей: надо стараться мыслить и писать как можно более энергично и ясно. Но ясность изложения не всегда свидетельствует о силе мысли, хотя обычно эти два качества идут рука об руку.

Между прочим, глупо было бы требовать, чтобы язык специальных журналов был таким же эзотерическим, как язык книг. Можно рассчитывать на то,

что коллеги согласятся употреблять придуманные их собратом искусственные термины и что это не помешает взаимопониманию. Но книги пишутся не только для коллег. Судья не должен говорить с присяжным на том же языке, на каком может говорить со своими коллегами. Иногда, но действительно лишь иногда, можно было бы посоветовать ему обращаться даже к своим товарищам по профессии и к себе самому на том же языке, что и к присяжному. Все зависит от того, помогают или вредят делу употребляемые им специальные термины. Скорее всего, они окажутся помехой, если они наследие того времени, когда сегодняшние вопросы даже не возникали. Именно это оправдывает регулярные и благотворные восстания философов против философского жаргона предшественников.

Есть еще одна причина, по которой философы иногда должны избегать специальных терминов, почерпнутых в других областях. Даже когда философ рассматривает основные понятия, скажем, физической теории, его задача обычно состоит в том, чтобы установить логические пересечения, которые существуют между понятиями этой теории и понятиями математики, теологии, биологии или психологии. Очень часто основная проблема философа — установление этих пересечений. Решая такого рода проблемы, он не может попросту использовать понятия одной из этих теорий. Он должен отстраниться от обеих сравниваемых теорий и обсуждать их понятия в терминах, которые не принадлежат ни к одной из них. Он может придумать собственные термины, но в целях большей понятности может предпочесть понятия обычного человека. Они обладают необходимой нейтральностью, даже если им недостает той частичной кодификации, которая дисциплинирует специальные термины, используемые профессионалами. Употребление таких "меновых" терминов регламентировано не так жестко, как употребление бухгалтерских терминов, но, когда нам надо определить коэффициенты обмена разных валют, мы обращаемся к "меновым" терминам. Переговоры между теориями могут и должны вестись с помощью дотеоретических понятий.

До сих пор, надеюсь, я успокаивал, а не провоцировал. Сейчас я хочу сказать две вещи, спорные с философской точки зрения.

(а) Есть особая причина, по которой философы, в отличие от других профессионалов и специалистов, отбрасывают *in toto* все специальные термины своих предшественников (за исключением некоторых специальных терминов формальной логики), — причина, по которой слова, относящиеся к жаргону эпистемологов, этиков, эстетиков и т. д., кажутся скорее грунтовыми однолетками, нежели выносливыми многолетними растениями. Эта причина такова. Профессионалы, которые используют специальные термины бриджа, права, химии и водопроводного дела, учатся использовать их отчасти по официальным инструкциям, но больше — благодаря своему участию в технических процедурах и непосредственных операциях со специальными материалами или объектами.

Вынужденные ездить на своих (нам незнакомых) лошадях, они самостоятельно знакомятся с упряжью.

Но другое дело термины самой философии (за исключением терминов формальной логики). Не существует особой области знания или умения, в которой философы *ex officio* становятся специалистами, кроме, конечно, самого философствования. Мы знаем, посредством какого рода специальной работы овладевают понятиями *прорезывание*, *деликт*, *сульфаниламид* и *посадка клапана*. Какая же специальная работа должна быть проделана философами, чтобы овладеть соответственно понятиями *познание*, *ощущение*, *вторичные качества* и *сущности*? Какие упражнения и трудности научили их тому, как следует употреблять эти термины, чтобы не употреблять их неправильно?

Аргументы философа, содержащие эти термины, рано или поздно приобретают тенденцию к бессмысленному круговращению. Ничто не может заставить их указывать на север, а не на северо-северо-восток. Игрок в бридж не может легкомысленно и бездумно играть с понятиями *прорезывание* и *ренонс*. Если он попытается заставить их работать удобным для себя образом, они окажут сопротивление. В этом отношении неофициальные термины повседневного дискурса напоминают специальные термины. Они тоже упираются, если их используют неверно. Нельзя сказать, будто некто знает, что нечто имеет место, когда в действительности это не так; точно так же как нельзя сказать, что игрок в бридж, начинающий партию, объявил ренонс. Употреблению глагола "знать" нам пришлось учиться в школе нелегкой повседневной жизни, а использованию выражения "объявить ренонс" — за столом для бриджа. Подобной школы, в которой можно было бы научиться употреблению глаголов "познавать" и "ощущать", не существует. Поэтому философские аргументы, которые, как считается, должны развертывать эти единицы, не выигрывают и не проигрывают никаких сражений, ведь философы вовсе не выводят их на поле боя. Значит, отказ от философского жаргона и обращение к тем выражениям, должному употреблению которых нам всем пришлось научиться (как шахматист выучил возможные движения фигур), часто имеет смысл. Обращение же от официального языка науки, игры или права к словарю обычного человека часто (если не всегда) будет выглядеть смешным. Одной из противоположностей слова "обыденный" (в выражении "обыденный язык") является выражение "жаргон философов".

(6) Сейчас мы обсудим совсем другой, весьма важный сегодня момент. Обращению к тому, как мы говорим и не говорим или что мы можем и что не можем сказать, часто упорно противостоят сторонники и упорно способствуют противники одной позиции. Согласно ей, философские споры могут и должны разрешаться посредством формализации противоположных тезисов. Теория является формализованной, если она переведена с естественного языка (неспециального, специального или полуспециального), на котором была первоначально создана,

на тщательно продуманный символический язык, подобный, например, языку *Principia Mathematica*. Утверждается, что логика теоретической позиции может быть подчинена правилам посредством распределения ее неформальных понятий между содержательно нейтральными логическими постоянными, поведение которых в выводе регулируется набором правил. Формализация заменит логические головоломки логическими проблемами, поддающимися решению с помощью известных и передаваемых посредством обучения процедур исчисления. Таким образом, одной из противоположностей слова "обыденный" (в выражении "обыденный язык") является слово "символический" (notational).

Некоторые из тех, кому мечта поборника формализации представляется всего лишь мечтой — а я принадлежу к их числу, — утверждают, что логику повседневных утверждений, и даже логику утверждений ученых, юристов, историков и игроков в бридж, в принципе невозможно адекватно представить посредством формул формальной логики. Так называемые логические постоянные, отчасти благодаря продуманному ограничению, действительно имеют рассчитанную логическую силу. Однако неформальные выражения и повседневного, и специального дискурса имеют собственные нерегламентированные логические возможности, которые нельзя без остатка свести к логическим возможностям мажоранеток формальной логики. Название романа А. Е. У. Мэйсона "Они не должны быть шахматистами" имеет прямое отношение и к специальным, и к неспециальным выражениям профессиональной и повседневной жизни. Это не означает, что изучение логического поведения терминов несимволического дискурса не облегчается благодаря использованию средств формальной логики. Конечно, формальная логика здесь помогает. Так игра в шахматы может помочь генералам, хотя нельзя заменить военные действия партией в шахматы.

Я не хочу детально обсуждать эту важную проблему. Я хочу только показать, что сопротивление одной из форм обращения к обыденному языку предполагает приверженность программе формализации. Лозунг "Назад к обыденному языку" может быть девизом тех людей, которые избавились от мечты о формализации (хотя часто его провозглашение диктуется другими соображениями). В этом смысле данный лозунг должны отвергать только те, кто надеется заменить философствование вычислением.

ВЕРДИКТ

Должна ли философия в конечном счете рассматривать употребление выражений? Спросить так — значит просто спросить, относятся ли к компетенции философии обсуждения понятий, скажем, *свободный выбор*, *бесконечно малые*, *число* или *причина*. Разумеется, относятся. Такие рассуждения всегда предпринимались и не оставлены и поныне.

Выигрываем ли мы или проигрываем, твердя, что занимаемся изучением типичного употребления, скажем, слова "причина", в значительной мере зависит от контекста наших обсуждений и от интеллектуальных привычек людей, с которыми мы спорим. Конечно, это весьма многословный способ сообщить о том, чем мы заняты, а кавычки не ласкают взгляд. Но важнее этих мелочей то, что поглощенность вопросами о методах имеет тенденцию отвлекать нас от следования самим методам. Как правило, излишне беспокоясь о своих ногах, мы бежим хуже, а не лучше. Поэтому позвольте нам хотя бы через день произносить понятие *причинность*, вместо того чтобы вдаваться в рассуждения о нем. Или, еще лучше, позвольте нам хотя бы через день просто использовать его.

Однако данная многословная идиома имеет и большие преимущества, возмещающие указанный недостаток. Если мы занимаемся проблемами восприятия, т. е. обсуждаем вопросы, касающиеся понятий зрения, слуха и обоняния, то нас могут вовлечь в решение проблем оптиков, нейрофизиологов или психологов, и мы можем даже сделать этот ошибочный шаг сами. Поэтому полезно постоянно напоминать себе и другим о том, что мы стараемся объяснить, как употребляются некоторые слова, а именно такие, как "видеть", "просмотреть", "слепой", "делать видимым" и многие другие подобные выражения.

И последнее. Я кратко сказал об изучении способов использования выражений и их описании. Но эти способы многомерны, и лишь некоторые их стороны представляют интерес для философов. Различия в стилистических красотах, риторической убедительности и социальной уместности должны быть предметом рассмотрения, но не философского; философы могут заняться этими аспектами разве лишь *per accidens*. Черчилль допустил бы грубый риторический промах, если бы вместо: "We shall fight them on the beaches..." сказал: "We shall fight them on the sands..."⁷ Слово "sands" навело бы на мысль о детских праздниках в Скегнесе. Но такого рода неправильное употребление слова "sands" не должно интересовать философов. Нас интересует неформальная логика использования выражений, природа грубейших логических ошибок, которые люди совершают или могут совершить, определенным образом составляя группы слов; или, если говорить более содержательно, та логическая сила, какой обладают выражения в качестве составных частей теорий и точки опоры конкретных аргументов. Вот почему в своих дискуссиях мы спорим с выражениями и одновременно об этих выражениях. Мы пытаемся зафиксировать то, что показываем, — привести в систему те самые логические законы, которые мы при этом подмечаем.

⁷ "Beach" — берег, взморье, пляж; "sand" — песок; *pl.* песчаный пляж. В обоих случаях подразумевается "Мы дадим им бой на берегу..."

О КНИГЕ Г. РАЙЛА "ДИЛЕММЫ"

Известно, что особое место в философском мышлении на всем пути его развития занимали характерные трудности *согласования* разных точек зрения на один и тот же предмет. Такие трудности в изобилии явлены в реальных спорах, соперничестве, конфликтах, сложности "единения" разных пониманий. Наиболее острый характер они принимают в тех случаях, когда позиции поляризуются, представляются несовместимыми, что стимулирует теоретические, идейные "тяжбы", которым не видно конца. Опыт сочетания альтернативных позиций силой теоретической мысли философов выявил эффект *антиномий* (апорий, парадоксов, дилемм). В той или иной форме они постоянно присутствуют в философском поиске, составляя не просто его периферию, а своего рода "живой нерв". Порой это отражено уже в самом названии трудов: "Да и нет" (П.Абеляр), "Или — или" (С.Кьеркегор) и др. Напряженность антиномий-проблем проявляется в том, что не представляется возможным ни безусловно принять, ни безусловно отбросить ни одну из двух противостоящих друг другу позиций. Признанию же их равной силы, обоюдной истинности наше разумение тоже противится, ибо они воспринимаются как несовместимые и, взятые вместе, самое меньшее — грозят "расколоть" единое видение реальности, ввергнуть нас в принципиальный дуализм. Понятно, что в плоскости практической, жизненной — где, говоря словами поэта, "дышат почва и судьба", — конфликты альтернативных позиций способны принимать еще более острый, накаленный характер — вплоть до борьбы не на жизнь, а на смерть.

На протяжении веков под действием разных факторов в поле внимания философов попадали то одни, то другие противоречия видений, пониманий тех или иных реалий. На рубеже XIX—XX вв. обнаружение логических противоречий в фундаменте математики стимулировало тщательное изучение причин возникновения парадоксов и путей их преодоления (работы Б.Рассела и др.).

Внимание к данной проблематике, интерес к различным ее аспектам стали отличительной чертой аналитической философии XX столетия, заняв важное место не только в специально-логических изысканиях, но и в иных работах, в том числе опирающихся на аналитические ресурсы обычного языка. Именно к этому кругу работ и относится написанный с достаточно широких позиций

труд Г. Райла "Дилеммы" (1954 г.)¹, посвященный анализу противоречий, возникающих при "стыковке", согласовании различных систем знания, точек зрения на один и тот же предмет. На классическом и современном материале с помощью особых процедур тщательного неформального анализа каждого случая Райл подтверждает вывод, уже прозвучавший и в "логической", и в "лингвистической" ветви аналитической философии, — вывод о том, что логико-эпистемические тупики, в которые попадает "теоретизирующий" ум, связаны с характером, особенностями действия языка. Анализ, разрешение концептуальных замешательств, противоречий он тоже склонен был считать важнейшей задачей философии и творчески разрабатывал, развивал, варьировал (стандартных решений здесь нет!) приемы, методики выхода из таких тупиков.

Поскольку в данное издание входят только две главы из данной работы, очертим ее композицию и основные идеи. Книга включает в себя восемь глав: I. Дилеммы. II. "Это должно было быть". III. Ахиллес и черепаха. IV. Наслаждение. V. Мир науки и повседневный мир. VI. Специальные и неспециальные понятия. VII. Восприятие. VIII. Формальная и неформальная логика.

Обрисовав суть своего замысла и подхода (гл. 1), Райл далее разбирает две классических философских антиномии: апорию Зенона "Ахиллес и черепаха" и дилемму "фатализм — свобода воли". Подробно, с множеством иллюстраций анализируя противоборство фатализма и взгляда, допускающего способность людей в известных пределах влиять на ход вещей, Райл подводит читателя к выводу: дилемму порождает смешение двух планов рассуждения — логического, с одной стороны, и относящегося к реальному ходу событий — с другой. Иначе говоря, аргумент фаталиста расценивается как ловушка, порождаемая невольным переносом логической необходимости на реальный ход событий. Кстати, "ключ" к механизму возникновения данной ловушки (и родственных ей затруднений) был дан в "Логико-философском трактате" Л. Витгенштейна. Вслушаемся, о чем говорят следующие афоризмы: "5.135 Из существования какой-то одной ситуации никак нельзя заключать о существовании другой, совершенно отличной от нее ситуации. 5.136 Какой-то причинной связи, которая оправдывала бы такое заключение, не существует. 5.1361 Выводить [дедучировать] события будущего из событий настоящего невозможно. ... 5.1362 ... Поступки, которые будут совершены впоследствии, не могут быть познаны сейчас. Знать о них можно было бы лишь в том случае, если бы причинность — подобно связи

¹ Ryle G. Dilemmas. L., 1954. Работа представляет собой курс лекций, прочитанный в 1953 году по программе м-ра Тэрнера, завещавшего регулярную финансовую поддержку лекций на тему: «Философия науки и отношения или дефицит отношений между разными разделами знания».

логического вывода — представляла собой *внутреннюю* необходимость..."². Витгенштейн здесь распутывает то характерное *смещение логического следования с причинной связью*, которым страдал докантовский рационализм и которое еще в ранних своих работах принципиально выявил и проанализировал Кант. Важной его заслугой стало четкое разграничение хода *событий* и хода *рассуждения*. Соответственно, были разграничены основания бытия (или становления) и основания познания. При этом все существующее, ход событий, Кант характеризовал как случайное и подчиняющееся причинности. Иное дело — ход рассуждения, управляемый не причинностью, а законами логики с ее безусловной необходимостью³. Именно в этом ключе Витгенштейн в приведенном размышлении подчеркивает, что событийное и логическое лежат в разных плоскостях, что в отличие от связей логических, имеющих дедуктивный (априорный) характер, причинность — индуктивно устанавливаемая, эмпирическая связь.

Г. Райл в "Дилеммах" конкретизирует и обогащает опыт таких аналитических разграничений. Он показывает, что логическая импликация — *если предсказанное событие произошло, то предсказание этого события истинно*, и наоборот, — незаметно переносится на действительность. И тогда логически необходимая связь высказываний подставляется на место реальной связи событий, принимая облик практической неизбежности. Так, мысленно предпослав любому ничтожному событию (Х кашлял 25 января 1953 года в 19 часов) предваряющее высказывание о нем, мы склонны считать, что данное предсказание было истинно в сколь угодно далеком прошлом. Затем незаметно совершается обратный ход: от истинности предсказания заключают о неизбежности того, о чем оно говорит. Это подталкивает к выводу: происходящему предписано случиться. Райл подмечает в этом рассуждении ряд неявных аномалий в употреблении понятий. Одна из них — одинаковое применение понятия истины к высказываниям как о прошлом, так и о будущем. Этим затушевывается логико-эпистемическая разница хроник и прогнозов. Не учитывается, что предсказание случайного события указывает лишь на возможность такового, истинность же или ложность предсказания выясняется в будущем (р. 15—35). Таким образом, к данной дилемме приводит, как полагает Райл, трудность совмещения того, что мы знаем о нашем повседневном контроле над вещами, событиями, с тем, что известно об импликациях истин в будущем времени.

² Витгенштейн Л. *Философские работы*. Часть 1. М., Гнозис, 1994, с. 38.

³ Кант И. *Новое освещение первых принципов метафизического познания*. — *Его же*. Соч. в 4 томах, т. 1, с. 284, 298 и др. Позднее в «критический» период своего творчества, изучая архитектонику научно-теоретического знания, обладающего необходимостью и строгой всеобщностью, Кант обратится от *естественной* причинности к *априорному* толкованию причинной обусловленности — какой она предстанет в мире научных теорий (прежде всего классической механики).

Учение о детерминизме на всем протяжении своего развития в самом деле постоянно сталкивалось с дилеммами. И дело тут не только в невольном переносе логической необходимости на реальный ход вещей. История науки и философии вообще полна конфликтов между жестким (механистическим) и другими упрощенными формами детерминизма, с одной стороны, и опытами объяснения сложных реалий, не поддающихся этим простым объяснениям — с другой. Вспомним споры детерминизма и витализма, детерминизма и телеологизма, сопровождавшие поиск более совершенного концептуального аппарата для уяснения сложных типов причинной обусловленности. На рубеже XIX—XX вв. довольно острый характер приняла дилемма механистического детерминизма и вероятностных форм причинности в статистических процессах. Но наиболее резкой альтернативой механистического детерминизма действительно выступало учение о "свободе воли", что нашло столь отчетливое выражение в знаменитой антиномии детерминизма и автономной по отношению к нему морали в философии Канта. Некоторые аспекты этого сложного противоречия остроумно и убедительно, с множеством изобретательно придуманных живых иллюстраций выявляет и показывает читателю автор "Дилемм" (гл. II). Один из выводов, к которому приходит философ, таков: концептуальные трудности, как правило, заявляют о себе не на исходном уровне привычного применения соответствующей группы понятий, а при их обобщении. Так, анализ дилеммы фаталиста убеждает в том, что в своем первоначальном, обычном применении в конкретных ситуациях выражения "имеет место", "должно произойти", "событие", "до и после", "необходимость", "причина", "предотвращать" и др. нисколько не озадачивают. Но уже на первом уровне их обобщения почва как бы уходит из-под ног и возникает угроза путаницы.

А вот пример другой дилеммы. Если человек знаком с историей гедонистической психологии, гедонистической и утилитаристской этики — напоминает Райл, — то он знает, что на всем протяжении их существования вспыхивали локальные битвы между сторонниками этих теорий и их противниками. Более того, внутренний спор по этим вопросам идет в каждом из нас. Мы понимаем, что, как правило, за исключением необычных обстоятельств, люди действительно стремятся к тому, что они любят, что их радует, а не наоборот. Это трюизм. И в то же время общий вывод, будто во всех целенаправленных актах мы неизменно стремимся обеспечить себе максимум удовольствия, вызывает чувство сопротивления. Этот вывод звучит уже не как трюизм, а как громкое научное открытие. При этом применение понятий "удовольствие", "неудовольствие", "нравится", "не нравится" и др. тоже не вызывает затруднений на исходном уровне обыденного рассуждения. Не нуждаясь в особом исследовании понятий, люди с легкостью говорят о винах, шутках, новеллах, которые им нравятся или не нравятся. В жизни они прекрасно знают, чего хотят и чего не

хотят, что у них вызывает симпатию и что — неприязнь. Но как только начинается *обобщенный* разговор об удовольствии и его роли в человеческом поведении, так тотчас же возникают трудности. Это относится не только к сфере собственно философии. Отмечается, что задолго до начала философствования общие вопросы такого рода обсуждаются на разные лады во многих пересекающихся сферах рассуждения. Воспитатель, моралист, говоря о нормах поведения, психолог, рассуждая о мотивах человеческих поступков, экономист, изучая потребности, художественный критик, сравнивая так или иначе эстетическую ценность произведений, — все вынуждены говорить об удовольствии и в общих терминах. И опять-таки противоречия гедонистической этики возникают, по мысли Райла, в обобщенном рассуждении, при пересечении разных его сфер. Мы сами чувствуем, поясняет философ, что исходные понятия "желания" и "нежелания", "симпатии" и "антипатии", которые так широко представлены в наших повседневных биографиях, "подвергаются странной и подозрительной трансформации, когда их представляют в качестве основных сил для объяснения всех человеческих выборов и склонностей" (р. 62). Свободно и легко рассуждая о конкретных радостях и переживаниях людей, мы не знаем, как обобщить эти мысли, оформить их в теории или схемы. Глаголы "радоваться", "желать" и т.п. нам доступны и понятны, не влекут за собой каких-то особых проблем. Абстрактные же существительные "удовольствие" и др. вызывают замешательство. Мы понимаем, что эти неудобные абстрактные существительные есть некая дисциплина того, что покрывается удобными конкретными глаголами. Переходя к обобщениям, мы всякий раз чувствуем, что одно дело *применять* само понятие, но совершенно другое дело — описывать *его применение*, подобно тому как использовать деньги на рынке — это одно, а связно рассуждать об экономике — совсем другое. Продуктивность в одном деле совместима с некомпетентностью в другом. Человек, беспомощный в финансовых операциях, может быть прекрасным теоретиком стоимостных отношений и наоборот. И тем не менее, отмечает Райл, "мы не только научились думать в терминах поговорок, педагогики, судебных и проповеднических обобщений о человеческих симпатиях и антипатиях, но и испытываем необходимость объединить эти обобщения в связное целое" (р. 62), в некую общую схему пружин человеческого поведения. И вот тут-то мы втягиваемся в ловушки дилемм, природу которых важно осознать.

В качестве примера характерной для XX века внутрифилософской дилеммы взят спор приверженцев формальной логики и философии. Область исследования, именуемая формальной логикой, всегда была более или менее тесно связана с философией. Однако начиная со второй половины XIX в. она выросла в современную строгую науку широкого диапазона действия, располагающую мощным аналитическим аппаратом в виде формальных (символических) ис-

числений. В результате логика обрела большую самостоятельность, значительно обособившись от философии. Вооруженные новейшей логической техникой, получив возможность решать все новые и новые классы задач своими строгими средствами, логики стали порой критически-иронично относиться к старомодным мыслительным опытам философов, предлагая вооружить их — вместо идущего ощупью метода проб и ошибок — точными методами логического исчисления. В ответ последовали заявления оскорбленных философов о том, что они не намерены приумножать число тривиальных формул, что ни одна сколько-нибудь интересная философская проблема еще не была решена вычислением. Более того, они подчеркивали и делают это поныне, что, вопреки ожиданиям Лейбница, Рассела и других, вопросы, решаемые исчислением, — совершенно иного рода, чем проблемы, вызывающие философский интерес и характерные затруднения.

Критики формальной логики подчеркивают искусственный, безжизненный характер ее схем. Отмечается: в отличие от полнокровных содержательных понятий, с которыми имеет дело философия, компетенцию формальной логики составляют как бы "бесплотные" понятия ("не", "все" и др.), да и тем — по сравнению с обычным рассуждением — логика предписывает искусственно ограниченные функции. В самом деле, в формальной логике исследуются главным образом выводные способности содержательно нейтральных терминов (и, или, если...то и др.), логических констант или пропозициональных связок, составляющих стержень логического вывода. Более того, формальная логика оперирует далеко не всеми, а лишь некоторыми содержательно нейтральными выражениями и в самом деле предписывает им хотя и четко очерченные, но более узкие, чем в обычном языке, обязанности. Наконец, критики формальной логики подчеркивают, что выводная работа логических констант не порождает никаких парадоксов. Для философа же наиболее интересны понятия, которые по тем или иным причинам вызывают затруднения. Споры такого рода создают впечатление соперничества логиков и философов.

Так очерчена данная дилемма у Райла. Между тем, заключает он, функции философа и формального логика разнородны по целям и процедурам, хотя и не отделены друг от друга полностью. Так, логик не исследует поведение понятий "и", "не" и др. в естественном рассуждении. На его долю выпадает особая теоретическая задача — изучение способов искусственно упрощенного поведения логических констант и их взаимовыведения. Перед ним также стоит задача разработки принципов самих исчислений — объединения логических констант в дедуктивные системы. Проблема философа в другом. Он исследует не только типы логического поведения, но и специальное содержание своих понятий. Его функция — изучить те термины повседневного и специализированного рассуждения, значения которых не предписаны сколько-нибудь строго и носят

переменный характер. Таких терминов большинство. И обычно нет способа выделить из них скрытые логические константы. Философ, по мысли Райла, должен определить логическую силу таких терминов путем выявления их реальных функций. Признается, что формальная логика, безусловно, помогает в решении философских задач. Однако надежды на сведение философских проблем — посредством некоторых стереотипных операций — к стандартным проблемам формальной логики считаются беспочвенной мечтой. Формальная логика способна дать философии в лучшем случае компас, но не разработанный в деталях конкретный курс. Так, знание стереотипных движений в искусственных условиях военного парада или учения не идентично умению вести себя в бою. Однако и в новых необычных ситуациях необходимо применять стандарты солдатской тренировки. Разрешение тяжбы, повторяет свое общее заключение Райл, — в уяснении особых теоретических задач формальной логики в отличие от философии, в более четком размежевании этих смыкающихся, но в целом имеющих разные задачи сфер исследования.

Понятно, что проблемы, привлечшие внимание Райла, затрагивают и сферу науки. Историкам науки хорошо известно о борьбе конкурирующих воззрений. Вспомним о концепциях прерывности и непрерывности вещества и света в истории физики, устойчивости и изменчивости в составе и строении химического вещества и в его реакциях, скачка и постепенности в эволюционном развитии органического мира и многие другие. Как правило, каждая из соперничающих теорий схватывает одну из взаимодействующих друг с другом "противоположных" характеристик объекта в абстракции от другой. На стадии анализа, размежевания аспектов противоположные системы экспериментальных результатов или теоретических представлений кажутся несовместимыми, а соответствующие научные проблемы принимают вид резко очерченных дилемм. Райл отмечает, в частности, что сама внутренняя логика хорошо организованных дисциплин нередко рождает тяжбу между ними и другими дисциплинами или общим знанием. Это может быть связано с тем, что специалист стремится подчинить своей концептуальной муштре, своему разумению фрагменты других областей знания, иные "концептуальные упряжки". К примеру (он приведен у Райла), фундаментальные физические теории покрывают в ряде аспектов содержание других естественных наук, и возникает представление, будто физик размышляет о мире как таковом и что мир должен описываться только в терминах физики. Между тем в ней не идет речь о мире в широком смысле слова, в положениях фундаментальных физических теорий раскрываются лишь некоторые аспекты вещей. Концептуальные сбои возможны и в тех случаях, когда соответствующая форма деятельности и обслуживающая ее система мышления (языка) сама находится в процессе развития, преобразования. Это имеет место, например, когда в геометрию включаются неевклидовы геометрии, из физики

XIX в. вырастает физика XX в. Что-то подобное происходит, скажем, при расширении юридического законодательства и во многих других аналогичных ситуациях. В таких случаях отрегулированные и привычные функции многих терминов видоизменяются и их использование может давать сбои.

В самом деле, мир многообразен. Его предметы и явления входят в различные системы связей. То одной, то другой своей гранью поворачиваются они и к человеку в пестрой мозаике его деятельности, жизни. Научные теории действительно опускают в своих формулах, оставляют невыраженными многие аспекты изучаемых явлений. Разные системы познания предмета выделяют различные его стороны и дают неоднородную информацию о нем. Связанные с этим затруднения нередко возникают в науке. Нелегко достигается размежевание близких сфер исследования, например таких, как психология, социальная психология и социология, что, безусловно, сказывается и в языке. С другой стороны, существуют иллюзии однотипности и соперничества по сути разных разделов или уровней исследования. Во избежание возможной здесь путаницы всякий раз требуется уточнять предмет каждой области знания в отличие от смежных и пересекающихся с ней областей, различать, разграничивать смежные, но неодинаковые познавательные задачи. Трудности, связанные с понятиями определенных разделов знания, как правило, возникают на стыках разных областей, в том числе на границах теоретических систем и обыденных представлений.

С эффектом "нестыковки" часто сталкиваются при сопоставлении мира науки и повседневного мира реальной жизни. Мы нередко чувствуем, отмечает Райл, что мир, части и элементы которого описываются наукой, — иной, чем мир, описываемый в терминах здравого смысла. Например, в пору становления экономической науки остро ощущалось несоответствие между положениями экономистов о мотивах поступков людей и обычными представлениями людей о самих себе, своих близких, знакомых. В самом деле, в экономических расчетах может быть систематически представлен в колонках цифр бюджет всей жизни человека. Однако реальная его жизнь при этом ускользает. Аналогично этому, скажем, в бухгалтерских отчетах библиотеки о купленных книгах не отражено их конкретное содержание с различием тем, мыслей, позиций, языка, стиля. Химические формулы вина или хлеба не схватывают особого аромата и вкуса, ощущаемых пекарем, дегустатором, обычным человеком. Теории о внутреннем строении материалов не содержат в себе повседневного знания о вещах. Многие размышляют сегодня, пишет Райл, о явном различии между миром атомной физики, нейрофизиологии, с одной стороны, и повседневным реальным миром — с другой и т.д.

В главе "Восприятие" автор демонстрирует трудности сопоставления и координации того, что сам человек знает о видимом, слышимом и т. п., с тем, что он находит в теоретических курсах оптики, акустики, нейрофизиологии. Трудно-

сти здесь возникают, по мысли Райла, тогда, когда мы находим, что хорошо известные нам явления, связанные с глаголами "видеть", "слышать" и т. п. из соответствующего семейства понятий, оказываются как бы вне закона благодаря другому семейству понятий: зрительный нерв, нервный импульс, световые волны и т. п. Аналогичен эффект соотнесения научных формул и обыденного опыта и во многих других случаях. Известно, например, что точные научные теории должны базироваться на объективном измерении. Поэтому цвета, ароматы, запахи и т. п. физиологические явления не могут принадлежать к фактам физики, химии, входить в формулы соответствующих теорий. Отсюда — логически неизбежное молчание формул о цветах, ароматах, мелодиях и т. п., молчание бухгалтерских отчетов о содержании, стилистике книг и т. п. С этим обстоятельством тоже могут быть связаны некие ловушки. Одна из них — ошибка истолкования логической беспристрастности как логической враждебности, впечатление, будто то, что не может быть выражено в формуле, отрицается этой формулой и другие.

Все это затруднения, связанные с недостаточной осознанностью многогранности явлений и возможности их рассмотрения с разных позиций. Разрешение таких недоразумений видится в философском анализе специфики различных подходов к предмету. В частности, отмечается, что экономист и другие исследователи вообще не характеризуют никакого конкретного человека. Экономист толкует об экономических типах (капиталист, наемный работник, арендатор, налогоплательщик и т. д.), социолог — о социальных типах (рабочий, интеллигент и т. д.). Их характеристики безлики. Они лишь в общем виде рассуждают о каждом, кто затронут экономическими или социальными отношениями. Когда нам ясно, пишет Райл, в сколь разных смыслах говорится о человеке, скажем, в экономических и моральных утверждениях, то "конфликт" между экономикой и реальной жизнью больше не беспокоит нас. А в экономических рассуждениях о прибыли и убытках мы больше не усматриваем общего диагноза человеческих мотивов и намерений. Различия всевозможных подходов к предмету должны быть тщательно проанализированы и выявлены. Во избежание путаницы важно понимать, сколь велика разница между делом экономиста, историка, биографа и лиц иных профессий, изучающих человека. Для корректной ориентации мы должны отдавать себе отчет в том, что физик, историк, лирический поэт и человек с улицы создают очень разные, но все же совместимые и даже взаимодополняющие друг друга картины одного и того же мира.

В работе, главы из которой предлагаются вниманию читателей, проанализированы причины возникновения мнимых дилемм, кажущейся несовместимости теорий, несводимости воедино разных точек зрения на один и тот же предмет. Показано на примерах, что дилеммы — следствие ложных аналогий между разными подходами к объекту, незаметного изменения смысла понятий при пере-

носе их в новый контекст, при осмыслении предмета с иной точки зрения. Основным "местом" возникновения дилемм считаются пограничные области, стыки систем рассуждения или теорий, а их причины усматриваются в смешении линий рассуждения, идущих по заведомо разным направлениям и преследующих разные цели. Разъясняется, что различие проблем, решаемых в смежных системах познания, завуалировано отсутствием резких границ между аспектами объекта, а также нечетким размежеванием познавательных установок. Это, по убеждению Райла, и порождает дилеммы, требующие философско-эпистемологического исследования, уяснения специфики каждой области, прав и полномочий каждого подхода по сравнению с другим.

При этом подчеркивается, что дилеммы — это трудности концептуального характера. В частности, совмещение разных линий мышления нередко сопровождается нарушением их границ и смешением функций понятий. Причина многих затруднений — ложный перенос понятий, схем, моделей, выработанных для одних целей, на иного характера случаи, ошибочно принимаемые за идентичные первым. Разделяя идею позднего Витгенштейна о функциональной природе понятий⁴, Райл концентрирует внимание на том, что даже к одним и тем же объектам понятия могут применяться неодинаково, "играть" в разных системах рассуждения разные "роли". Недостаточное осознание такой перемены "ролей" ведет к путанице. Дело усугубляется также тем, что состав и научных, и повседневных понятий весьма неоднороден. К тому же логические функции большинства понятий внешне не выявлены. В условиях достаточно сильного контроля над нашим мышлением сложившихся понятийных схем науки, морали и пр. и отсутствия сколько-нибудь точных руководств, регламентирующих роли большей части понятий мы нередко оказываемся в плену ложных схем их применения.

Анализ дилемм тесно связан у Райла с идеей познавательных (языковых) контекстов, с координацией, взаимодействием концептуальных систем. Понятия каждого раздела знания неразрывно связаны между собой, образуя как бы концептуальные "упряжки". Вне связи с целым отдельные элементы таких систем — их понятия, рабочие принципы, операции — часто вообще теряют смысл, не функционируют. Их использование за рамками соответствующего контекста чревато функциональными сбоями. Райл разъясняет, что в пунктах, линиях связи разных теоретических систем, а также теорий и обыденных представлений мы оказываемся перед лицом специфических трудностей. Отлаженный внутренний контроль каждой из систем понятий в таких случаях значительно ослабляется. Специалист, прекрасно владеющий аппаратом в своей области, все менее успешно оперирует им по мере выхода за ее пределы. Скажем, хоро-

⁴ Это, однако, не исключает соответствия терминов научной теории реальным свойствам и качествам вещей (р. 88).

ший экономист, геометр и иной теоретик может не столь успешно ориентироваться в соответствующих прикладных разделах. Внешняя, "публичная" логика понятий за пределами их собственной области оказывается иной, чем внутри нее. И потому способность употреблять специальный язык теории не связана необходимым образом с умением применять его за рамками данной теории. Аналогичные трудности проявляются и в случаях развития или изменения отдельно взятой системы мышления (языка) или деятельности, при котором видоизменяются роли большинства понятий.

Философ подчеркивает, что интересующие его логические дилеммы чаще всего связаны с естественным, непрофессиональным мышлением (языком), с неформальными связями, переплетениями понятий. Удельный вес такого мышления велик не только в повседневной жизни, но и в науке. Райл был убежден в том, что языки науки с уточненными понятиями не устраняют зависимости специалиста от естественного языка, усвоенного с детства. Использование рычагов и педалей, пишет он в этой связи, предполагает наличие пальцев и ступней (р. 35). В реальном процессе познания невозможно резко разграничить специальные (технические) и обычные (естественные) способы рассуждения. Между ними весьма размытая граница, которую переходят в обоих направлениях. Хотя понятия (слова) естественного языка соотнесены с другими понятиями, имеют в языке свои "места" и относительно определенные функции, они, разумеется, не столь точны и регламентированы, как термины специальных языков. В их неуточненности, значительной неопределенности и усматривается причина философских затруднений. Даже в тех случаях, когда в недоразумении повинен специальный словарь теорий, их причины все-таки кроются в первоначальных, нестрогих способах рассуждения. Дело в том, что в межтеоретических сферах специалист в значительной мере выходит за рамки своей области, вступает в сферу нейтрального по отношению к теориям повседневного словаря, все менее строго оперирует специальными понятиями. И именно тут его подстерегают характерные трудности, издавна привлекавшие внимание философов. С переходом же к более точным рассуждениям функции терминов сужаются и все более точно фиксируются и, как правило, не вызывают трудностей, противоречий. Но чем большему искусственному уточнению подвергаются термины в языке науки, тем меньший интерес они представляют для философии. Конфликты, логические тупики на стыках, пересечениях систем знания выходят за рамки компетенции формальной логики и требуют не столько формально-логического, сколько содержательно-философского анализа. Они, как правило, разнотипны и связаны не с логической "статикой", а с логической "динамикой". Это делает невозможной их формальную идентификацию. Четкая логическая регуляция существует только для мертвых философских вопросов. Установление такой регуляции означает их смерть. Такова точка зрения Райла.

Иными словами, Райл показывает, что при рассмотрении объекта в разных системах мышления возникает впечатление, будто некоторые из них несовместимы. Отсюда — особого рода теоретические конфликты. Многообразные неявные пересечения различных систем знания тают опасность смешения целей, когда говорят о разных аспектах предмета, не осознавая этого в должной степени. Райл считает, что чаще всего разные сферы знания не являются соперничающими. По его мнению, они дают разные, но вовсе не взаимоисключающие одна другую, а взаимодополняющие картины одного и того же объекта, системы объектов, наконец, мира.

Сложность соотнесения и синтеза разобщенных способов изучения объекта в самом деле существенно связана с характером языка. Кроме уже сказанного, следует учитывать и то, что каждая из систем знания, в соответствии со своими задачами и средствами исследования, не только выделяет в объекте свой круг вопросов, но и создает свой особый язык для выражения именно данного специфического содержания. В каждой области создается своя "идиоматика", часто адекватно не переводимая на язык другой системы знания⁵. Это препятствует синтезу односторонних систем знания и разрешению соответствующих дилемм. С другой стороны, на границах близких друг к другу сфер исследования сказывается и обратное: трудность размежевания аспектов предмета как по существу, так и в плоскости их понятийного выражения. В этих случаях понятия нередко переносятся из одного контекста в другой. Причем часто не осознается, что в новой системе они меняют свой смысл. К ним продолжают применять прежние схемы. Происходит смещение контекста, нарушение границ концептуального аппарата. Это также служит почвой для появления дилемм.

В дилеммах отчетливо видны трудности сочетания разных рядов понятий, невозможность буквального переноса отработанных концептуальных схем на новые, более сложные или просто иные случаи. Правда, каждая дилемма — сигнал не только языковых препон как таковых, но и требование глубже познать соответствующий предмет, его реальные связи, зависимости. Но ведь это невозможно отделить от уточнения, развития концептуального аппарата. Интересуясь главным образом планом работы языка, соотнесения различных систем понятий, контекстов рассуждения, Райл в своем популярном курсе лекций не ставил перед собой задачи воссоздать в *теоретической* форме все сложное конкретное содержание, скажем, проблем детерминизма. Однако он привлек столь разнообразный иллюстративный материал, что интересующие его понятия предстали в действии, работе, в неразрывном сочетании с конкретными ситуациями и поведением людей. Читатель, по-видимому, согласится с тем, что предпринятый в книге Райла анализ дилемм интересен и поучителен.

⁵ Известны, в частности, сложности перевода языка психологии на язык физиологии высшей нервной деятельности и другие подобные случаи.

"Дилеммы" Райла — классическая работа в жанре аналитической философии, и потому исследуемые в ней проблемы и сегодня не утратили своей актуальности. Правда, их решение (такова позиция философов этой школы) не поддается никаким рецептурным правилам, общим рекомендациям. Его [решение] нельзя задать формулой, "высказать", можно лишь наглядно, конкретно продемонстрировать. Читателю, оказавшемуся (не без помощи автора) в той или иной ловушке, предстоит помучиться, поискать выход, прибегнуть к опыту осмысления трудности и выхода из нее, наглядно развернутому, "показанному" философом-аналитиком. Такая практика предполагает, что в результате кое-то от этих приемов выхода из тупика будет освоено, станет навыком и пригодится в ситуациях научных, философских и иных споров, в том числе и концептуальных противостояний, характерных для идеологических и политических дискуссий, нередко опутанных лукавой "логикой" псевдоальтернатив.

доктор философских наук

М.С. Козлова

ДИЛЕММЫ¹

1. ДИЛЕММЫ

Существуют разного рода конфликты между теориями. Один знакомый вид конфликта, когда два (или более) теоретика предлагают соперничающие решения одной и той же проблемы. В простейших случаях их решения соперничают в том смысле, что если одно из них верно, то другие неверны. Разумеется, гораздо чаще спор² весьма запутан: каждое из предлагаемых решений в чем-то верно, в чем-то неверно, а в чем-то просто неполно или невнятно. В существовании такого рода разногласий нет ничего досадного. Даже если в конце концов все соперничающие теории, кроме одной, полностью опровергнуты, все же их состязание помогло проверить и развить силу аргументов в пользу той теории, что выдержала испытание.

Но не этим видом теоретического конфликта мы будем заниматься. Я надеюсь заинтересовать вас спорами совершенно иного характера, а стало быть и совершенно иным способом разрешения этих споров.

Часто возникают споры между теориями или — шире — между учениями, которые представляют не соперничающие решения одной и той же проблемы, а, скорее, решения или возможные решения разных проблем и тем не менее кажутся несовместимыми. Мыслитель, принимающий одну из них, как будто логически вынужден отвергать другую, несмотря на то, что с самого начала явно расходились цели исследований, приведших к появлению этих теорий. В такого вида спорах мы часто обнаруживаем, что один и тот же мыслитель (вполне возможно, мы сами) весьма склонен защищать обе стороны и в то же время всецело отвергать одну из них просто потому, что склонен поддержать другую. Он и вполне удовлетворен логической правомочностью каждой из этих двух точек зрения, и уверен, что одна из них должна быть совершенно неверной, если другая хотя бы в общем и целом верна. Внутреннее управление в каждой из

¹ Перевод выполнен по изд.: Ryle G. *Dilemmas*. Oxford University Press. 1969, pp. 1-35. — Текст перевода заново сверен с оригиналом. В нем исправлены погрешности журнальной публикации: Вопросы философии. 1996, № 6, с.113—133. — *Здесь и далее примечания переводчика.*

² Issue — спор (тяжба), в котором одна сторона отрицает то, что другая утверждает как факт.

этих точек зрения представляется безупречным, но их дипломатические отношения оставляют впечатление междоусобного раздора.

Этот цикл лекций задуман как исследование многообразных конкретных примеров дилемм этого второго вида. Но прямо сейчас я приведу три знакомых примера — для иллюстрации того, что описал пока лишь в общих чертах.

Нейрофизиолог, изучающий механизм восприятия, как и физиолог, изучающий механизм пищеварения или размножения, основывает свои теории на самых надежных свидетельствах, какие может обеспечить его работа в лаборатории, — на том, что он сам, его сотрудники и ассистенты могут наблюдать невооруженным глазом или с помощью приборов, и на том, что им позволяет услышать, скажем, счетчик Гейгера. Однако теория восприятия, к которой он приходит, по сути, предполагает как бы неустранимую расщелину между тем, что люди (и он сам) видят или слышат, и тем, что есть на самом деле. — расщелину настолько широкую, что у него явно нет и не может быть лабораторного свидетельства, подтверждающего существование хоть какой-то связи между тем, что мы воспринимаем, и тем, что есть в действительности. Если его теория истинна, то любому человеку в принципе недоступно восприятие физических и физиологических свойств вещей; и тем не менее теории нейрофизиолога базируются на самом лучшем свидетельстве экспериментального исследования и наблюдения физических и физиологических свойств таких вещей как барабанные перепонки и нервные волокна. Работая в лаборатории, нейрофизиолог прекрасно использует свои глаза и уши; записывая же результаты, он должен подвергать их обманчивые свидетельства строжайшему контролю. Он уверен, что никак не может быть похоже на истину то, что они говорят нам, — именно потому, что в высшей степени достоверным было то, о чем они сообщили ему в лаборатории. С одной точки зрения (разделяемой и обычными людьми, и учеными), реально исследуя мир, мы обнаруживаем то, что в нем есть, посредством восприятия. С другой же точки зрения (исследователя, изучающего механизм восприятия), — то, что мы воспринимаем, никогда не совпадает с тем, что есть в мире.

Стоит отметить одну-две характерных черты этого затруднения. Во-первых, это не спор двух физиологов. Несомненно, были и есть соперничающие физиологические гипотезы и теории, некоторые из которых будут побеждены другими. Но в данном случае сталкиваются не два или более соперничающих объяснения механизма восприятия. В спор вступают заключение, к которому, казалось бы, приводит *любое* объяснение механизма восприятия, и принимаемая каждым человеком повседневная теория восприятия. Точнее, говоря, что спор идет между физиологической теорией восприятия и другой теорией, я, пожалуй, слишком широко толкую слово "теория". Ведь пользуясь своими глазами и ушами, будь то в саду или в лаборатории, мы не используем никакой теории, которая разъясняла бы, каким образом с помощью зрения, слуха, вкуса

и пр. мы узнаем цвета, формы, положения и другие характеристики объектов. Мы узнаем эти вещи (а иногда заблуждаемся), не руководствуясь никакой теорией. Мы находим применение своим глазам и языкам, когда еще не умеем в общем виде рассуждать о том, применимы ли они, и продолжаем применять их, невзирая на какие-то общие доктрины, толкующие об их применимости или же о неприменимости.

Характеризуя эту ситуацию, иногда говорят, что здесь налицо противоречие между научной теорией и теорией Здравого Смысла. Но даже это вводит в заблуждение. Прежде всего, это наводит на мысль, будто ребенок, глядя глазами и слушая ушами, в конечном счете становится на точку зрения какой-то теории — только теории расхожей, дилетантской, несформулированной, — а это совершенно неверно. Он вообще не задумывается о теоретических вопросах. Это предполагает, далее, будто способность узнавать вещи с помощью зрения, слуха и пр. зависит от здравого смысла или является частью здравого смысла — в том обычном значении этого выражения, которое подразумевает особый тип и меру природной смекалки, позволяющей справляться с не вполне обычными, непредвиденными практическими обстоятельствами. Здравый смысл или его нехватка проявляется не в умении или неумении пользоваться ножом и вилкой. Его [здравый смысл] проявляют, когда имеют дело с умеющим внушать доверие пройдохой или исправляют механическую поломку без нужных инструментов.

Вроде бы неизбежные выводы из объяснения восприятия, предлагаемого физиологом, кажется, подрывают репутацию не просто иной теории восприятия, а самого восприятия, т. е. отправляют в отставку не только некое предполагаемое мнение всех обычных людей о надежности их глаз и ушей, а сами их глаза и уши. В любом случае это видимое противоречие надо описывать не как противоречие между двумя теориями, а, скорее, как противоречие между теорией и ходячим мнением, между тем, что придумали некоторые специалисты, и тем, что каждый из нас не может не знать из опыта, — как противоречие между доктриной и обыденным знанием.

Теперь обратимся к дилемме совсем иного рода. Всякий знает, что если человеку в детстве не дать должного воспитания, то, повзрослев, он, скорее всего, не будет вести себя как должно; если же он получил хорошее воспитание, то, очень возможно, и в зрелые годы будет вести себя достойно. Всякий знает и то, что определенные действия лунатиков, эпилептиков, клептоманов или утопающих достойны сожаления, но не осуждения — и, разумеется, не похвалы. Подобные же действия нормального взрослого человека в нормальных ситуациях одновременно достойны и сожаления, и осуждения. Однако если плохое поведение человека говорит о плохом воспитании, то отсюда, видимо, следует, что винить за это нужно не его самого, а его родителей, а затем, в свою очередь, конечно же, и прапородителей, и прапрапородителей, а в конечном счете — никого.

Мы совершенно уверены и в том, что человека можно воспитать моральным, и в том, что человека невозможно *воспитать* моральным; но то и другое не может быть истинным одновременно. Размышляя об обязанностях родителей, мы не сомневаемся, что именно их следует винить, если они не формируют поведение, чувства, мысли своего сына. Размышляя же о поведении сына, мы не сомневаемся, что за какие-то его поступки следует винить именно его (а не их). Наш первый вывод, кажется, исключает наш второй вывод, а значит — если сделать следующий логический шаг — исключает и сам себя³. В чем-то похожие затруднения мы испытываем и тогда, когда на место его родителей подставляем наследственность, окружение, Судьбу или Бога.

В этом затруднении значительно ярче, чем в предыдущей дилемме (возникающей при объяснении восприятия), проявлена такая характерная черта. Здесь часто обе, вроде бы явно противоречащие друг другу, позиции равно готовы принять один и тот же человек. [Скажем,] по понедельникам, средам и пятницам он убежден, что воля свободна, по вторникам же, четвергам и субботам — что могут быть найдены или уже найдены причинные объяснения поступков. Даже если он всеми силами старается отречься от одного взгляда в пользу другого, его убеждения громко провозглашаются оттого, что они безосновательны⁴. В глубине души он скорее предпочел бы признать, что оба взгляда верны, нежели утверждать, будто знает, что поступки не имеют причинных объяснений или что людей никогда нельзя винить за их поступки.

Другая заслуживающая внимания черта этого затруднения такова. Соперничающие решения одной и той же проблемы требуют подкреплений. Свидетельства или доводы в пользу одной гипотезы явно недостаточно сильны, покуда еще имеют некоторую силу свидетельства или доводы в пользу ее соперниц. Если еще есть что сказать в их пользу, значит, пока еще недостаточно сказано в ее пользу. Необходимо найти больше свидетельств и лучшие доводы.

Но в логической дилемме, которую мы сейчас рассматривали, и во всех дилеммах, которые еще будем рассматривать, каждую из казалось бы несовместимых позиций можно сколь угодно хорошо подкрепить — было бы желание. Ни у кого нет желания собирать новые свидетельства в пользу утверждения, что хорошо воспитанные дети склонны вести себя лучше, чем плохо воспитанные, — как и в пользу утверждения, что некоторые люди иногда ведут себя предосудительно. Определенного рода теоретические споры — вроде тех, что нам предстоит разбирать, — должны улаживаться не внутренним укреплением каждой

³ То есть они взаимоисключают друг друга.

⁴ В оригинале: "пустой звук". Итоговая фраза этого фрагмента: *give forth a loud because hollow sound*, — звучит как поговорка, близкая по смыслу русской поговорке: "много шума из ничего".

из позиций, а третейским судом совсем иного характера, например — раскрою карты, — не дополнительными научными изысканиями, а философскими исследованиями. Наша забота — не состязание направлений мысли, а тяжба между ними, где ставка делается не на то, какое из них выиграет, а какое проиграет состязание, а на то, каковы их права и обязательства в отношении друг друга, а также всех иных возможных позиций-истцов и позиций-ответчиков.

В двух спорах, с которыми мы уже ознакомились, казалось бы, явно противоборствующие теории или точки зрения в общем и целом были взглядами на один и тот же предмет, а именно на человеческое поведение в одном случае и на восприятие — в другом. Но они не были соперничающими решениями одного и того же вопроса об этом предмете. Высказывание, что люди склонны вести себя так, как их приучили, является, пожалуй, несколько тривиальным ответом на вопрос: "Какие изменения вызывают в человеке адресуемые ему брюзжание и уговоры, подаваемые примеры, а также советы, нотации, наказания и пр.?" Высказывание же, что некоторое поведение заслуживает порицания, есть обобщенные ответы на вопросы такого характера: "Действовал ли он, попирая нормы?", "Было ли это совершено под чужим давлением или в припадке эпилепсии?"

Аналогично этому высказывание, что одни вещи мы можем обнаружить зрительно, другие — на слух, но никакие — путем грез, гаданий, фантазий, воспоминаний, это не истинный или ложный ответ на вопрос: "Каков механизм восприятия?" Это, скорее, банальное обобщение ответов примерно на такие вопросы: "Как ты узнал, что часы остановились?" или "... что краска не высохла?"

Если слово "рассказ" понимать в расширительном смысле, то об одном и том же предмете возможны два или двадцать рассказов совершенно разного рода, причем каждый из них может быть подкреплен лучшими из возможных доводов в пользу рассказов этого рода. И все же представляется, что иногда принятие одного из этих рассказов требует признания полной никчемности по крайней мере одного из остальных — и не просто как лишенного ценности *рассказа* этого типа, а как лишенного ценности *типа* рассказа. Даже безупречная в своем роде репутация такого рассказа не делает его стоящим, поскольку лишен ценности (*worthless*) сам его тип.

Теперь, чтобы выявить еще кое-какие важные моменты, я хочу проиллюстрировать понятие тяжбы между теориями или учениями еще одним хорошо известным примером. В восемнадцатом и, вновь, в девятнадцатом столетии впечатляющее развитие науки, казалось, предполагало отступление религии. Механика, геология и биология поочередно толковались как вызов религиозной вере. Представлялось, что идет соревнование за призовое место, которое религия утратит, если оно будет выиграно наукой. Ретроспективно можно увидеть, что импульс, сообщенный философии в первой половине XVIII и второй половине XIX столетия, в значительной мере определен серьезностью именно этих споров.

Первоначально заявленные претензии были просты. Теологи доказывали, что в физике Ньютона, геологии Лайеля или биологии Дарвина нет истины. Лидеры же новой науки соответственно доказывали, что нет ничего истинного в теологии. После одного-двух раундов обе стороны в определенных пунктах отступили. Теологи перестали защищать способ установления возраста Земли по епископу Эшеру и признали, что способ его определения, скажем, по Лайелю, в принципе верен. Исходя из геологических посылок, невозможно было дать ответы на геологические вопросы. С другой стороны, картины вроде предложенной биологом Т. Х. Гексли — который представил человека шахматистом, играющим с невидимым противником, — стали рассматриваться как образец не хорошей (научной), а плохой (теологической) спекуляции. У этой картины не было и признака экспериментального основания. Она не была физической, химической или биологической гипотезой. В других же отношениях она сильно проигрывала в сравнении с христианской картиной. Она была не только безосновной, но и обесцененной⁵, тогда как христианская картина, каким бы ни было ее основание, не только не была обесцененной, но и учила различать то, что обесценено (лишено ценности) и что поистине ценно. Поначалу теологи не подозревали, что геологические или биологические вопросы не имеют непрерывной связи с вопросами теологии⁶, а многие ученые тоже еще не догадывались, что вопросы теологические не имеют непрерывной связи с вопросами геологии или биологии. Между их вопросами не было зримой или осязаемой перегородки. Предполагалось, что искушенность в одной области уже включает в себе умение разбираться с проблемами в другой.

Этот пример показывает не только то, как теоретики определенного вида могут невольно прибегать к положениям из области мышления совсем иного вида, но и то, как трудно им понять, даже когда уже началась межтеоретическая тяжба, где именно следовало бы расставить предупредительные знаки "Не вторгаться!". В стране концепций лишь ряд успешных и неудачных попыток предъявления иска о нарушении права владения позволяет определить границы владений и право прохода.

И еще один важный момент выявила эта историческая, но все еще не архаическая тяжба между теологией и наукой. Было бы грубейшим упрощением — пусть даже на какой-то момент и полезным — полагать, что теология призвана ответить всего лишь на один вопрос о мире, тогда как, например, геология или биология призвана ответить на другой — но тоже всего лишь один — вопрос о мире, принципиально отличный от теологического. Возможно, чиновники пас-

⁵ То есть была лишена не только экспериментальных оснований, но и ценностей. Здесь автор использует слово "cheap": дешевое и обесцененное.

⁶ Т. е. лежат в иной плоскости, являются проблемами иного порядка.

портных служб и впрямь стараются получить в конкретный момент времени ответ на один вопрос, причем их вопросы заранее распечатаны в виде анкет и пронумерованы. Теоретик же имеет дело не с одним лишь вопросом и даже не с перечнем пронумерованных вопросов. Он сталкивается с запутанным клубком трудно формулируемых, переплетающихся, ускользающих вопросов. Очень часто у него нет ясного представления о том, каковы его вопросы, пока он не выйдет на путь к ответу на них. Большую часть времени он даже не знает, каков общий характер той теории, которую пытается построить, и еще меньше — каковы точные формы и взаимосвязи составляющих ее вопросов. Часто, как мы увидим, он надеется — и иногда эта надежда сбивает его с толку, — что его пока еще зачаточная теория по своему общему характеру будет подобна некоей достойной уважения теории из другой области, уже достигшей завершения или столь близкой к этому, что уже видно ее логическое построение. Глядя в прошлое, умудренные опытом, мы можем сказать: "Тем сутяжничавшим теоретикам стоило бы понять, что некоторые из положений, которые они отстаивали и опровергали, относились не к соперничающим рассказам одного типа, а к рассказам совершенно разного типа, между которыми нет соперничества." Но как они могли это понять? Проблемы и решения проблем в отличие от игральных карт не имеют ни "рубашек", ни знаков достоинств, напечатанных на лицевой стороне. Даже то, какие были козыри, мыслитель может узнать только на поздней стадии игры.

Конечно, есть области мысли, между которыми не могут с легкостью происходить неумышленные вторжения в чужие владения. Проблемы судьи или криптографа настолько разграничены с проблемами химика или, что мы посмеялись бы над всяким, кто всерьез вздумал бы, уладить юридические вопросы с помощью электролиза или разгадать шифр с помощью радиолокации, — хотя и не смеемся с ходу над программами "эволюционной этики" или "психоаналитической теологии". Но хотя мы и прекрасно знаем, что методы радиолокации неприменимы к решению проблем криптографа, поскольку его вопросы иного рода, у нас все же нет быстрого или легкого способа классификации вопросов криптографии и навигации как резко различающихся по типу. В ведении криптографов вопросы не одного-единственного, а разных типов. Так же и у мореплавателей. И тем не менее не только видом предмета, но и логическим стилем все или большая часть вопросов криптографии настолько сильно отличаются от всех или большей части вопросов навигации, что не приходится удивляться, если человек, достаточно компетентный в обеих дисциплинах, способен думать интенсивно и быстро в одной и лишь медленно и неэффективно — в другой. И хороший судья также может оказаться малосмышленным в вопросах покера, алгебры, финансов или аэродинамики, даже если он неплохо натаскан в их терминологии и технике. Вопросы, принадлежащие к разным областям мысли,

часто различаются не только видом предмета изучения, но и стилем мышления, которого они требуют. Так что разделение видов вопросов требует очень тонких различений некоторых едва уловимых черт.

Иногда говорят — это связано с общей сутью того, что хочу выразить я, — что термины (или понятия), входящие в вопросы, утверждения и доводы, скажем, верховного судьи, иных "категорий", нежели те, под которые подпадают термины (понятия) химика, финансиста или шахматиста. Так что соперничающие ответы на один и тот же вопрос хотя и давались бы в разных терминах, но все же в терминах родственных, относящихся к одной и той же категории или категориальной группе, тогда как между ответами на разные вопросы не могло бы быть соперничества, поскольку такие вопросы формулировались бы в терминах, относящихся к инородным "категориям". Эта идиома⁷ может быть полезна как привычное мнемоническое средство, вызывающее удачные ассоциации. Но она может оказаться и помехой, если наделить ее функциями отмычки. Я думаю, с этим словом "категория" стоит повозиться⁸, но исходя не из обычного соображения, что, мол, существует точный, профессиональный способ его употребления, якобы позволяющий нам открывать как отмычкой, какие угодно замки. Я, напротив, исхожу из того необычного соображения, что существует неточный, дилетантский способ применения этого слова, когда оно сравнимо с дверным молотком, которым можно достаточно громко стучаться в дверь, если мы хотим, чтобы она для нас отворилась. Это не дает ответов ни на какие наши вопросы, но может побудить людей в свободной манере, без церемоний ставить вопросы⁹.

Аристотель в наилучших целях, для решения стоявших перед ним задач тщательно разработал свой знаменитый перечень из выявленных им десяти форм основных вопросов¹⁰, которые можно задать об индивидуальной вещи (или лице). Мы можем спросить, какого она рода, какая она, насколько высока, широка или тяжела, где находится, каковы ее временные характеристики, что она делает, что делают с ней, в каком она состоянии — и задать еще один-два других вопроса. Каждой форме вопроса соответствует область возможных ответов, один из которых (в отношении индивидуальной вещи, о которой идет

⁷ Имеется в виду применение в контексте философии слова "категория".

⁸ В оригинале: "помучиться".

⁹ Метафора двери, которая отворится, если долго стучать (библ.: талцйте, да отверзнется) соединяется здесь с пониманием философии как вопрошания.

¹⁰ Или видов, рубрик вопросов ("heads"). "A head" (в грам.) — одновременно рубрика и — ключевое слово, скрепляющее, передающее суть целой группы связанных с ним выражений. Оба значения присутствуют в философском понятии "категорий", разработанном Аристотелем.

речь), будет, в общем, истинным, а остальные — ложными. Выражения, удовлетворяющие одной форме вопроса, не будут ответами — истинными или ложными — ни на один другой. Выражение "158 фунтов" не дает ни истинной, ни ложной информации о том, чем занимается Сократ, где он сейчас находится или что он, за создание. Отсюда о выражениях, удовлетворяющих одной форме вопроса, говорят, что они одной категории, а о выражениях, удовлетворяющих разным вопросам, — что они разных категорий.

Теперь, оставив в стороне тот факт, что аристотелев перечень возможных форм вопросов об индивидуальной вещи¹¹, вероятно, избыточен и, бесспорно, слишком растяжим¹², мы должны отметить другой, гораздо более важный, факт, а именно что лишь в ничтожно малой части вопросов, которые могут быть заданы, запрашивается информация об определенных индивидуальных вещах. Разве, например, экономисты, статистики, математики, философы или грамматисты задают вопросы, ответами на которые (истинными или ложными) служили бы утверждения типа "он — каннибал" или "сейчас оно закипает"?

Некоторые верные последователи Аристотеля, подобно всем верным последователям, иссушающие учение властителя их дум, толковали его перечень категорий как своего рода бюро с ящичками, в том или ином из которых может и должен найти место каждый термин, применяемый или применимый в специальном и неспециальном рассуждении. Любое понятие должно принадлежать либо Категории I, либо Категории II, либо... Категории X. Даже в наши дни есть мыслители, отнюдь не считающие наследство, оставленное нам Аристотелем, нестерпимо бедным, а, напротив, находящие его необычайно богатым. О любом предъявляемом им понятии они готовы заявить: "Это Качество? Если нет, то это должно быть Отношением". Вызовом таким взглядам мог бы стать вопрос: "В какие из ваших двух или десяти ящичков вы поместите следующие шесть терминов, выбранных почти наугад только лишь из условного словаря игры в бридж: "синглет", "kozyрь", "уязвимый", "шлем", "ренонс", "прорезка"¹³? Словари

¹¹ Или индивидуалии (англ.: "individual").

¹² Т. е. допускает неограниченное расширение.

¹³ Синглет — единственная карта данной масти на руках у игрока. Уязвимый — игрок, находящийся "в зоне" риска, когда в зависимости от уже набранных им очков ситуация игры определяет либо больший его "подсад", либо больший выигрыш. Шлем — получение 12 (малый шлем) или 13 (большой шлем) взятков в контракте. Ренонс — отсутствие какой-то масти у игрока. Прорезка — ситуация, когда один из игроков имеет "вилку" старших фигур в одной из мастей и при ходе в эту масть может с вероятностью 50 % получить обе взятки, если недостающая фигура находится "под прорезкой". (Английские термины игры в бридж, их русский перевод и смысл разъяснила вице-президент Российского международного спортивного бриджа Елена Майтова.)

юриспруденции, физики, теологии и музыкальной критики не беднее словаря бриджа. На самом деле для терминов или понятий, применяемых нами в обычном или специальном рассуждении, нет именно двух или именно десяти разных логических *métiers*¹⁴, а имеется неопределенно много разнообразных *métiers* такого рода и неопределенно много аспектов, в которых они различаются.

Я привел шесть терминов бриджа — "синглет", "козырь", "уязвимый", "шлем", "ренонс", "прорезка" — как пример того, что ни один из них не попадает в какой-либо из десяти аристотелевых ящичков. К тому же следует отметить, что, хотя все они равно принадлежат специальному жаргону одной карточной игры, ни один из них не является термином той же категории (в широком смысле слова "категория"), что и какой-то другой из оставшихся пяти. Можно спросить, является ли карта бубновой, трефовой, пиковой или червовой, но нельзя — является ли карта синглетом или козырем, как и о том, закончилась ли игра шлемом или ренонсом, находится ли пара игроков "в зоне риска" или в "прорезке". Ни один из этих терминов не входит ни с одним из оставшихся ни в то же самое множество, ни в резко разделенные между собой множества. То же верно для большинства терминов (хотя, естественно, не для всех), которые можно взять наугад из словарей финансистов, экологов, хирургов, автомехаников и юристов.

Отсюда прямо следует, что ни высказывания, включающие такие понятия, ни вопросы, на которые можно ответить — истинно или ложно — с помощью таких высказываний, нельзя автоматически занести в готовый перечень логических видов или типов. Мы можем довольно легко и быстро классифицировать короткие типовые предложения [для упражнений], относя их к тому или иному установленному грамматическому образцу. Но мы не располагаем соответствующим перечнем логических образцов, сверившись с которым могли бы сразу выполнить логический разбор утверждений и вопросов. Логик, не умеющий играть в бридж, как бы он ни был проникателен, не может простым наблюдением выявить, что означает и чего не означает утверждение "У Норты ренонс". Ведь все, что он может сказать в результате простого наблюдения, так это то, что данное предложение, возможно, сообщает информацию того же рода, что дается и утверждением "У Норты кашель".

Соединим некоторые нити нашего рассуждения. Иногда мыслители спорят не потому, что их суждения действительно противоречат друг другу, а потому что им так кажется. Они сами думают, что дают соперничающие (во всяком случае в их подтексте) ответы на одни и те же вопросы, хотя на самом деле это не так. То есть они спорят, не понимая друг друга¹⁵. Для характеристики таких взаимных недопониманий, может быть, уместно сказать, что обе стороны в оп-

¹⁴ Специализаций, сфер (франц.)

¹⁵ По сути, говорят о разном, полагая, будто говорят об одном.

ределенные моменты¹⁶ крепят свои аргументы на понятиях¹⁷, принадлежащих разным категориям, хотя сами полагают, будто крепят их на разных понятиях одной и той же категории, или наоборот. Но сказать это можно лишь к месту — не более. Что такие противоречия суть противоречия этого общего вида — остается еще показать. Показать же это можно, лишь детально выясняя, насколько — в логическом рассуждении — разнятся между собой *métiers* этих вызывающих затруднения понятий, разнятся в большей или меньшей мере, чем невольно полагают спорящие.

Далее я намерен разобрать несколько образцов того, что, по-моему, можно толковать как тяжбы, а не просто состязание теорий или учений, и выяснить, что в таких спорах вроде бы ставится на карту, а на что делается действительная ставка¹⁸. Постараюсь также показать, какого рода разбирательства могут и должны улаживать реальные взаимные претензии.

Правда, в связи с предложенной мной программой я должен принести одно извинение и сделать одно *démenti*¹⁹. Г-н Тэрнер, завещавший регулярную финансовую поддержку таких лекций, высказал пожелание, чтобы обсуждаемые в них проблемы относились к теме "Философия Наук и Отношения или Недостаточность Отношений между разными Областями Знания". Он полагал, насколько я понимаю, что мы должны будем удостоверить главным образом недостаточность²⁰ таких отношений — минимум сентиментальности, который я нахожу приятным 'связующим' средством²¹.

Так что, вероятно, я наилучшим образом выполнил бы пожелания м-ра Тэрнера, если бы выбрал для обсуждения — вслед за большинством моих предшественников — какие-то споры, в которые вовлечены две (или больше) полноценных науки. До меня, например, доходили слухи о спорах за лидерство между физическими и биологическими науками, а также спорах о границах компетенции между психологами и судьями. Но я не вправе претендовать на роль арбитра в таких спорах просто из-за профессиональной неосведомленности. У меня нет информации из первых рук, и мало из вторых, о специальных идеях, на

¹⁶ "At certain points", что означает также: "кстати, когда уместно".

¹⁷ Крепят, как двери с помощью петель, и др. К этой метафоре не раз прибегал Витгенштейн наряду, скажем, с такими ее аналогами, как рельсы и движущиеся по ним поезда, и др.

¹⁸ Или: что в таких тяжбах составляет мнимые претензии, а на что заявляются реальные права.

¹⁹ Официальное опровержение (франц.)

²⁰ "Want" (англ.) — недостаточность, желательность и др.

²¹ В тексте медицинская метафора: "astringent" — препарат, стягивающий кожу (при порезе, ранении) и свертывающий кровь.

которые опираются эти системы мысли. Я давно уже научился с сомнением относиться к врожденной пронизательности философов, обсуждающих специальные вопросы, которые они профессионально не изучали, — как еще раньше я научился не доверять суждениям тех критиков бечевников²², которые сами никогда не имели дела с перегонкой судов. Конечно, арбитры должны быть нейтральными, но вместе с тем им следует знать не понаслышке, за что и против чего так страстно борются спорящие.

Тем не менее я не очень сокрушаюсь из-за своей некомпетентности. С одной стороны, теоретические дилеммы, которые я буду рассматривать, в некоторых важных отношениях, пожалуй, напоминают какие-то из тех более эзотерических дилемм, которые я вынужден обойти молчанием. Если мне удастся пролить свет на обсуждаемые вопросы, то ответ, возможно, упадет и на те вопросы, о которых я умолчу. С другой, притом более важной стороны, я подозреваю, что наиболее серьезные взаимные недопонимания между специальными теориями возникают не из-за логической сложности применяемых в них сугубо специальных понятий, а из-за лежащих в основе понятий не специальных, используемых в этих теориях, как и в любом ином мышлении. Путешественники — для многообразных целей своих столь непохожих странствий — используют средства передвижения довольно сложных конструкций и самого разного изготовления, — и все же они пользуются теми же общими дорогами и дорожными знаками, что и любой другой человек. Примерно так же и мыслители для своих особых целей могут применять все типы специально сконструированных понятий, но все-таки они должны при этом использовать те же общеупотребимые понятия. Сомнения и ошибки путешественника при выборе пути тоже обычно возникают не из-за неполадок в его особом средстве передвижения, а потому, что общая дорога — вещь непростая. Она равным образом подводит и водителя лимузина, и скромного велосипедиста, и пешехода.

[25] *Démenti*, которое я хочу сделать в связи со своей программой, таково. Я сказал, что, когда между интеллектуальными позициями возникают недопонимания того рода, что я кратко описал и показал на примерах, спор не может быть решен путем дальнейшего внутреннего укрепления каждой из позиций. Тип мышления, на основе которого была развита биология, — не тот тип мышления, что улаживает взаимные претензии биологов и физиков. Такие межтеоретические вопросы не являются внутренними вопросами этих теорий. Это не биологические и не физические вопросы. Это — философские вопросы.

Наконец, смею предположить, что заявленная мною тема вызвала определенное ожидание — может быть, надежду, а возможно, и опасение, — что я буду обсуждать некоторые споры философских школ, скажем, затяжную вражду Иде-

²² Буксировщиков судов.

алистов и Реалистов или вендетту между Эмпиристами и Рационалистами. Но не этими семейными спорами я хочу вас заинтересовать. Я и сам не очень интересуюсь ими. Дело не в них.

Но, говоря, что дело не в этих широко разрекламированных спорах, я не имею в виду, что все философы действительно сходятся во мнениях. Куда ближе к истине (рад это отметить) было бы сказать, что при обсуждении живых, а не мертвых проблем философы, если они чего-нибудь стоят, редко бывают единодушны. Живая проблема — вроде пригорода, где никто не знает, каким путем надо идти. Поскольку нет троп, нет и общих троп. Где есть общие тропы, есть тропы. А тропы напоминают об уже расчищенном подлеске.

Несмотря на то, что философы — люди весьма критичные — да они и должны быть такими, — их раздоры (*wrangles*) — все же не побочный продукт их приверженности той или иной партии или интеллектуальной школе. Конечно, среди нас и в нас самих действительно немало приверженцев, гонителей ересей и агитаторов; только это не философы, это что-то другое под тем же многострадальным именем. Карл Маркс был достаточно мудр, чтобы отвергать обвинение в том, что он — марксист. Да и Платон не был, на мой взгляд, столь уж правоверным платоником. В нем был слишком силен философ, чтобы думать, будто сказанное им есть последнее слово. Это уже его последователи стали идентифицировать следы его шагов с направлением и конечной целью его пути.

II. "ЭТО ДОЛЖНО БЫЛО БЫТЬ"

Теперь сразу перехожу к подробному обсуждению одной конкретной дилеммы. Это — дилемма, которая, думаю, время от времени беспокоила всех нас, хотя — в ее простейшей форме — не слишком часто и не очень подолгу. Но она переплетается с двумя другими дилеммами, которые обе, пожалуй, почти всех озадачивали всерьез. В чистом виде она основательно не обсуждалась никем из значительных западных философов, хотя к некоторым ее аспектам подступались Стоики. Но среди прочих проблем она обсуждалась в связи с теологической доктриной о Предопределении и, я подозреваю, подспудно оказала влияние на некоторых защитников и противников Детерминизма.

Вчера вечером я в определенный момент кашлял, а в другой определенный момент лег спать. Следовательно, в субботу было истинно то, что в воскресенье в одно время я буду кашлять, а в другое — отправлюсь спать. В самом деле, и тысячу лет назад было истинно, что в определенные моменты в определенное воскресенье тысячу лет спустя я буду кашлять, а потом лягу спать. Но если это было истинно заранее — всегда заранее, — что я буду кашлять и лягу спать в эти два момента в воскресенье 25 января 1953 года, то, значит, я не мог этого не сделать. В сложном утверждении "было истинным, что я нечто сделаю в опреде-

ленное время, а я этого не сделал" заключалось бы противоречие. Это аргумент совершенно общего характера. Все, что кто-либо когда-либо делает, все, что когда-то с чем-то где-то происходит, не могло не быть сделанным или не произойти, если было заведомо истинно, что тому-то предстоит быть сделанным или тому-то предстоит произойти. Таким образом, все — в том числе все что мы делаем — было предзадано в любой предшествующий момент времени. Все что есть должно было быть. И значит, ничего из уже произошедшего нельзя было избежать, и ничего из того, что реально не было сделано, невозможно было сделать.

Эту мысль — что для всего происходящего было заведомо истинно, что ему предстоит произойти, — иногда передают в образной форме, говоря, что Книга Судьбы была полностью написана в начале времен. Когда что-то действительно происходит — значит просто, так сказать, перевернута страница с сюжетом, который во все времена уже существовал в записи. Кое-кого из фаталистов эта картина привела к предположению, что Бог, если таковой существует, или мы сами, если нам достаточно повезет, можем иметь доступ к этой книге и читать будущее. Но это лишь затейливое украшение того, что само по себе является строгим и на вид суровым аргументом. Мы можем назвать его "аргументом фаталиста".

И вот заключение этого аргумента от предшествующей истины — а именно что ничего нельзя изменить — прямо идет вразрез с обычным знанием о том, что в некоторых вещах мы виноваты сами, что некоторые из грозящих несчастий можно предвидеть и предотвратить и что всегда есть место для мер предосторожности, планирования и взвешивания альтернатив. Говоря о ком-то, даже в наши дни, что рожденный быть повешенным не утонет, мы произносим это как шуточный архаизм. Мы действительно считаем, что от самого человека очень во многом зависит, быть ли ему повешенным, и что у него больше шансов утонуть, если он отказывается учиться плавать. И все-таки даже мы не совсем защищены от фаталистского взгляда на вещи. В ходе сражения я вполне могу почти поверить, что где-то на вражеской стороне лично для меня заготовлена именная пуля или что такой пули нет, так что прятаться в укрытие или бесполезно, или незачем. В карточных играх и за рулеткой легко поддаться настроению, что наше везение или невезение, так или иначе предопределено, хотя мы прекрасно понимаем, что так думать — нелепо.

А как можно отрицать, что все происходящее было предопределено от века? Что неладно с аргументом от предшествующей истины к неизбежности того, о чем заведомо истинна заведомая истина? Ведь, безусловно, логически невозможно, чтобы пророчество было истинным, а предреченное событие не произошло.

Прежде всего надо заметить, что посылка данного аргумента не требует, чтобы кто-либо, даже Бог, что-то знал об этих предшествующих истинах или, если выразить это более образно, чтобы была кем-то написана или могла быть

кем-то внимательно прочитана Книга Судьбы. Именно это отличает чистый аргумент фаталиста от смешанного теологического аргумента о предопределении. Этот последний аргумент основан на предположении, что по крайней мере Бог заведомо знает о том, что должно произойти, а возможно, и предопределяет это. Чисто фаталистский же аргумент основан только на принципе: то, что это произойдет, было истинно до того, как оно произошло, иными словами, на принципе: то, что есть, должно было быть, — а не на том, что кому-то было известно, что это должно произойти. И все-таки, даже если мы упорно стараемся все время помнить об этом, довольно легко нечаянно переистолковать первоначальный принцип в предположение: прежде чем это произошло, кому-то было известно, что ему было предписано произойти. Ибо в представлении о вечном, но не подтверждаемом пред-существовании истин в будущем времени есть какая-то невыносимая пустота. Когда мы говорим: "Это было истинно тысячу лет назад, что я буду говорить сейчас то, что я говорю", как трудно придать какую-то плоть этому "это", о котором говорится, что оно уже тогда было истинно. Настолько трудно, что мы невольно воплощаем его в знакомый облик ожидания, которое когда-то у кого-то было, или предвидения, которым кто-то когда-то обладал. Но тем самым мы обращаем принцип, вызывавший беспокойство своего рода полной банальностью, в предположение, не вызывающее беспокойства, поскольку оно квази-исторично, абсолютно ничем не подтверждаемо и, скорее всего, попросту ложно.

Говоря: "Было истинно, что..." или "Ложно, что ..." — мы весьма часто, хотя, конечно, не всегда, комментируем какое-то реальное заявление или мнение человека, которого можно идентифицировать. Иногда же мы даем комментарии более общего характера о чем-то, во что верили или сейчас верят какие-то люди, которых не удалось и, скорее всего, не удастся идентифицировать. Можно ссылаться на веру в дурной глаз, не зная никого, кто ее разделяет; мы знаем, что ее разделяло много людей. Так что фразы "Это было истинно" или "Это ложно" можно сказать, вынося вердикт о заявлении и автора с именем, и автора безымянного. Но посылка аргумента фаталиста — "То, что это произойдет, было истинно до того, как оно произошло" — не подразумевает никого, с именем или безымянного, кто сделал бы это предсказание.

И еще третий смысл может подразумеваться фразой "Это было истинно тысячу лет назад, что тысячу лет спустя эти слова будут произнесены в этом месте". То есть *если бы* кто-то предсказал, что это произойдет — а этого, разумеется, никто не сделал, — он был бы прав. Здесь мы имеем дело не с действительно сделанным предсказанием, которое оказалось истинным, а с оказавшимся истинным возможным предсказанием. Событие, о котором идет речь, сделало истинным не действительное пророчество. Оно сделало истинным то, что лишь могло-бы-быть пророчеством.

Да и можно ли сказать хотя бы это? Настоящая пуля может поразить цель, но разве может поразить цель пуля, которая лишь могла-бы-быть? Или точнее было бы сказать лишь, что поразить цель могла бы пуля, которая могла-бы-быть? Исторически звучащие фразы "Оказалось истинным", "Сбылось", "Осуществилось" вполне успешно применяются к реально сделанным предсказаниям. Однако в заявлении, что оказалось истинным предсказание, которое могло-бы-быть сделано, или что его сделало истинным соответствующее событие, заключен трюк, возможно, и незаконный. Если лошадь, на которую не сделали ставок, выигрывает забег, можно сказать, что она принесла бы денежный выигрыш тем, кто на нее поставил, если бы таковые были. Но нельзя сказать, что она действительно принесла выигрыш тем, кто на нее поставил, если бы таковые были. Нет ответа на вопрос: "Сколько денег она для них выиграла?" Соответственно мы не можем с чистой совестью сказать о событии, что оно подтвердило предсказания, которые могли быть сделаны на его счет. Нет ответа на вопрос: "В каких пределах точности были верными эти предсказания о времени и громкости моего кашля, которые могли-бы-быть сделаны?"

Обратимся к понятиям истинности и ложности. Характеризуя чье-то утверждение — например, утверждение в будущем времени — как истинное или ложное, мы обычно, хотя и не всегда, хотим не просто отметить, что предсказанное произошло или не произошло, а выразить что-то гораздо большее. Есть что-то порочащее в "ложном" и что-то почтительное в "истинном" — некий намек на неискренность или искренность автора, на опрометчивость или осмотрительность его как исследователя. Это проявляется в нашем нежелании характеризовать как истинные или ложные чистые догадки, когда в них открыто признаются. Если вы пытаетесь угадать, кто выигрывает забег, ваша догадка окажется верной или неверной, правильной или неправильной, но истинной или ложной — едва ли. Для открыто заявляемых догадок эти эпитеты не годятся, ибо один из них излишне хвалебен, другой же враждебно свержкритичен в отношении автора догадки, не заслуживающего ни того, ни другого. Там, где строят догадки, нет места для искренности или неискренности, для тщательности или небрежности исследования. Сделать предположение не значит дать заверение или объявить результат исследования. Те, кто строит догадки, ни достойны доверия, ни недостойны его.

Несомненно, иногда мы используем слово "истинный" без сопутствующего смысла "вызывающий доверие" и — намного реже — слово "ложный" без оттенка "доверия не заслуживает". Однако осторожности ради давайте переформулируем аргумент фаталиста в понятиях не столь насыщенных — "верное" и "неверное". Теперь он будет звучать так. Для каждого происходящего события предшествующее ему предположение — если его кто-то сделал, — что это событие должно произойти, будет верным, а противоположное предположение

— если его кто-то сделал — будет неверным. В сравнении с первоначальной эта формулировка звучит уже менее тревожно. Слово 'предположение' устраняет скрытую угрозу вещего знания или существования уймы предварительных прогнозов, равно достойных заведомого доверия до наступления события. Ну, а теперь о том, верно или неверно понятие предположений в будущем времени.

На большинстве скачек до забега кое-кто предполагает, что победит одна лошадь, а кое-кто — что выиграет другая. Очень часто бывает, что ставки сделаны на каждую лошадь. Если затем бега состоятся и есть победитель, то окажется, что некоторые из сделавших ставки загадали верно, остальные же — неверно. Сказать: "Чья-то догадка, что Эклипс победит, была верной" — значит сказать не более чем: "Он полагал, что победит Эклипс, и Эклипс победил". Но можно ли сказать ретроспективно, что его предположение, сделанное до скачек, было верным еще до скачек? Он сделал верный прогноз два дня назад, но была ли его догадка верной в течение этих двух дней? Конечно же, неверной она в течение тех двух дней не была, но отсюда не следует — хотя может показаться будто следует, — что на протяжении тех двух дней она была верна. Может быть, мы колеблемся, надо ли сказать, что его догадка была верна в течение тех двух дней, хотя никто не мог этого знать; или что в течение тех двух дней, как оказалось, правильности его догадки еще только предстояло подтвердиться, то есть что победа, сделавшая догадку верной, фактически еще не состоялась. Пока не произошло предсказываемое событие, предсказание не сбылось. Именно здесь "верное" сходно со "сбылось" и существенно отличается от "истинного". Конечно, почтительные коннотации ²³ "истинного" могут присоединяться к предсказаниям того или иного лица с момента их высказывания, так что если эти предсказания окажутся неверными, то, беря назад слово "истинный", мы вовсе не обязательно берем назад и то почтение, которое оно выражало. Установление неправильности [предсказания], конечно же, отменяет оценку "истинное", но, как правило, не столь решительно, чтобы склонить нас к оценке "ложное".

Слова "истинный" и "ложный", а также "верный" и "неверный" — прилагательные, и этот грамматический факт склоняет нас предположить, что истинность и ложность, правильность и неправильность и даже, пожалуй, выполнимость и невыполнимость должны быть качествами или свойствами, постоянно присущими высказываниям, которые они характеризуют. По аналогии с сахаром, что он сладок и бел с начала и до конца своего существования, мы склоняемся к выводу, что истинность или правильность предсказаний и догадок должны быть чертами или свойствами их носителей все время, независимо от того, в состоянии ли мы выявить их присутствие или нет. Но если мы учтем, что "покойный", "оплакиваемый" и "вымерший" — тоже прилагательные, только, ко-

²³ Сопутствующие смыслы.

нечно, применимые к людям или тварям не покуда они существуют, а лишь когда перестают существовать, мы, может быть, лучше воспримем идею, что и "правильный", чем-то их напоминая, служит просто посмертным и поминальным эпитетом, каковым — более явным образом — является и эпитет "свершившийся". Он скорее похож на приговор, чем на описание. Так, говоря: "Если бы кто-то предположил, что сегодняшние скачки выиграет Эклипс, его догадка оказалась бы верной", я даю вам не большую информацию о прошлом, чем та, что дается в вечерней газете, сообщающей, что Эклипс выиграл скачки.

Теперь я хочу рассмотреть вывод фаталиста, а именно: коль скоро все, что есть, должно было быть, значит, ничего нельзя избежать. Данный аргумент, казалось бы, вынуждает нас заявить: поскольку предшествующая истина необходимо предполагает событие, истинным предсказанием которого она является, то отсюда, кажется, следует, что это событие неким зловещим образом влекомо, или направляемо, или завещано этой предшествующей истиной — как если бы и мой кашель вчерашним вечером должен или обязан был случиться в силу предшествующей истины, что этому предстоит произойти, — истины, пожалуй, чем-то напоминающей то, как орудийный залп через пару секунд заставляет стекла дребезжать. Какого же рода эта необходимость?

Чтобы выявить это, давайте допустим обратное, что некто сформулировал строго аналогичный аргумент, гласящий: для всего, что происходит, *после этого* всегда истинно, что оно произошло.

Я кашлял вчера вечером, стало быть, истинно сегодня и будет истинно тысячу лет спустя, что я кашлял вчера вечером. Но эти последующие истины в прошедшем времени не могут быть истинными без того факта, что я кашлял. Выходит, мой кашель был предопределен и должен был случиться благодаря истинности этих последующих его констатаций. Ясно, что нечто беспокоившее нас в первоначальной форме данного аргумента в этой новой его форме устраняется. Мы с легкостью принимаем как само собой разумеющееся, что происшествие предполагает истинность последующих, реальных или мыслимых, записей о том, что оно действительно произошло, и что истинность таких записей предполагает само это происшествие. Ибо тут даже не возникает впечатления, будто происшествие есть результат или действие этих истин о нем. Напротив, в данном случае нам совершенно ясно, что именно это происшествие делает истинными последующие истины о нем, а не последующие истины заставляют происшествие произойти. Эти последующие истины — тени, отбрасываемые событиями, а не события — тени, отбрасываемые этими истинами о них, поскольку таковые принадлежат последующему, а не предшествующему этим событиям времени.

Почему то, что последующая истина о произошедшем необходимо предполагает это произошедшее, не вызывает у нас такого беспокойства, как то, что истина,

предваряющая происшествие, требует этого происшествия? Почему формула "Все что есть, всегда должно было быть", казалось бы, предполагает, что ничего нельзя предотвратить, тогда как обратная формула "Все, что есть, всегда будет тем, что было", вроде бы этого не предполагает? Нас не очень беспокоит тот злополучный факт, что, если лошадь уже убежала, слишком поздно запирают двери конюшни. Но иногда нас беспокоит мысль, что если лошадь либо собирается, либо не собирается убежать, то заранее запирают двери конюшни либо бесполезно, либо нет необходимости. Важную роль в данном аргументе играет следующее. Думая о том, что предок необходимо предполагает потомка, мы невольно приравниваем это необходимое предположение к причинной детерминации. Орудийный залп заставляет оконные стекла дребезжать спустя несколько секунд, но дребезжащие стекла не заставляют орудийный залп произойти за несколько секунд до этого, хотя они могут быть прекрасным свидетельством того, что несколькими секундами ранее был орудийный залп. Тогда мы соскальзываем к размышлению о предшествующих истинах как *причинах* происшествий, в отношении которых они оказались истинными, в то время как простой вопрос о соотношении их дат спасает нас от мыслей, будто события суть действия последующих истин о них. События не могут быть действиями того, что следует за ними, точно так же как мы не можем быть отпрысками своих потомков.

Так что давайте повнимательнее присмотримся к понятиям: *необходимо влечь за собой, заставлять, вынуждать, требовать* и *предполагать*, на которых крепится данный аргумент. Как понятие *требования*, или *предполагания*, с которым мы работали, соотносится с понятием *причинения*?

Совершенно верно, что без победы Эклипса делающий ставку не может правильно предположить, что Эклипс победит, и все-таки совершенно неверно, будто его предположение заставило Эклипса победить или стало причиной его победы. Высказывание "Его догадка о том, что победит Эклипс, была верна", логически предполагает или требует, чтобы Эклипс победил. Утверждать одно и отрицать другое значило бы противоречить самому себе. Сказать, что делавший ставку предположил верно, значит, всего лишь сказать, что победила лошадь, победу которой он предугадал. Одно утверждение не может быть истинным без истинности другого. Но событие не может быть одной из импликаций некой истины — подобно тому, как одна истина может требовать или предполагать другую истину. События могут быть действиями, но не импликациями. Истины могут быть следствиями других истин, но они не могут быть причинами действий и действиями причин.

Весьма сходным образом истина, что некто объявил ложный ренонс²⁴, предполагает ту истину, что у него на руках была по крайней мере одна карта

²⁴ Ренонс при наличии требуемой масти (англ. — "revoke").

требуемой масти. Но то, что он объявил ренонс, не заставило и не принудило его иметь на руках карту такой масти. Он не мог объявить [ложный] ренонс, не имея на руках карты такой масти, но это "не мог" не подразумевает никакого рода принуждения. Одно высказывание может предполагать другое высказывание, но не может вложить карту в руки игрока. Вопросы о том, что заставляет события происходить, что их предотвращает и можем ли мы им способствовать или нет, совершенно не затрагиваются тем логическим трюизмом, что утверждение о действии — "нечто происходит" — верно, если только это происходит. Множество обстоятельств могло помешать победе Эклипса на скачках; множество других обстоятельств могло увеличить его отрыв от следующей за ним лошади. Но одно обстоятельство вообще никак не влияло на скачки, а именно то, что если кто-то предположил, что победит Эклипс, он предположил верно.

Теперь мы в состоянии отделить одно бесспорное и очень банальное истинное утверждение от другого, впечатляющего, но совершенно ложного утверждения; оба они, кажется, передаются формулой: 'То, что есть, всегда должно было быть'. Бесспорная и очень банальная истина такова: для всего происходящего верно, что если кто-то в любое время, предшествующее данному событию, сделал предположение, что оно произойдет, его предположение оказалось верным. Тот *двойной факт*, что событие не могло произойти, не окажется эта догадка верной, а такая догадка не могла оказаться верной, не произойди само событие, вообще ничего не говорит нам ни о том, что было причиной данного события, ни о том, можно ли было его предотвратить или хотя бы предсказать его с достоверностью или вероятностью на основании того, что произошло раньше. Угрожающее утверждение "То, что есть, должно было быть" при определенном его толковании сообщает нам всего лишь ту банальную истину, что если истинно высказывание (а) что нечто произошло, то истинно и высказывание (b) о том что первое высказывание (а) истинно, — когда бы ни делалось это второе замечание (b) о первом утверждении (а).

Впечатляющее, но ложное утверждение, к которому, кажется, вынуждает нас эта формула, гласит, что *все происходящее неизбежно или предопределено* и, что звучит еще хуже, *логически неизбежно или логически предопределено* — наподобие того, как логически неизбежно за каждым четным числом следует нечетное. Так что же означает "неизбежный"? Сход снежной лавины, вероятно, практически не предотвратим. Альпинист, оказавшись непосредственно на пути снежного схода, сам ничего не может сделать, чтобы остановить его или уклониться от него, хотя землетрясение, случись оно по счастливому совпадению, пожалуй, могло бы изменить направление схода, или же альпиниста можно было бы спасти с помощью вертолета. Его положение гораздо хуже, но именно только гораздо хуже, чем положение велосипедиста, едущего на полмили впереди громадного парового катка. Крайне маловероятно, что паровой каток вооб-

ще нагонит его, и даже если это произойдет, то, скорее всего, водитель притормозит или сам велосипедист вовремя посторонится. Но эти затруднительные положения альпиниста и велосипедиста различаются лишь степенью. Лавина практически непредотвратима, но не логически неизбежна. Логически неизбежными могут быть лишь заключения из заданных посылок, а лавина — не заключение. Доктрина же фаталиста, напротив, гласит, что все абсолютно и логически неизбежно в таком смысле, в каком сход снежный лавины не является абсолютно или логически неизбежным; что мы все абсолютно и логически бессильны там, где даже злосчастный альпинист просто попал лишь в отчаянно скверную переделку, а велосипедист вообще вне реальной опасности; что узы Закона Противоречия вынуждают все идти так, как оно идет, подобно тому как за нечетными числами обязательно следуют четные. Какого же рода узами являются эти чисто логические узы?

Конечно, в бесконечно многих случаях истинность одного высказывания с необходимостью делает истинным другое высказывание. Истинность того, что сегодня понедельник, делает необходимой истинность высказывания, что завтра — вторник. Невозможно, чтобы сегодня был понедельник, без того что завтра будет вторник. Заявивший: "Сегодня понедельник, но завтра — не вторник" — воспринимался бы как человек, чья левая рука не ведает, что творит правая. Однако сами события не могут сделаться необходимыми посредством истин — таким образом, каким одни истины влекут за собой другие истины или делают их необходимыми. Вещи и события могут быть темами посылок и заключений, сами же быть посылками и заключениями они не могут. Словом "следовательно" можно предварять утверждение — к человеку же или снежной лавине ни "следовательно", ни "возможно, нет" не прикрепишь. В какой-то мере это аналогично высказыванию: в то время как в предложении может входить или не входить инфинитив с отделенной частицей [to], дорожное происшествие не может быть ни наделено таким инфинитивом, ни лишено его, — даже если ему сопутствует множество предложений с таким инфинитивом или без него. Правда, снежный сход может быть практически неизбежен, а заключение некоторого аргумента может быть логически неизбежным, однако в снежном сходе ни присутствует, ни отсутствует неизбежность следования вывода из аргумента. Теория фаталиста — это попытка перенести на происходящее неизбежное следование заключений из обоснованных посылок. То, что мы хорошо осведомлены о практической неизбежности некоторых вещей вроде снежных лавин, помогает нам свыкнуться с точкой зрения, будто все действительно происходящее неизбежно, только неизбежно не так, как бывают неизбежны одни лавины, а другие — нет, а так, как неизбежны логические следствия, если даны их посылки. Наш фаталист попытался характеризовать случайные происшествия с помощью предикатов, присущих лишь заключе-

ниям из аргументов. Он попытался увенчать мой кашель логическим заключением Q. E. D.²⁵

Прежде чем обратиться к извлечению некоей морали из дилеммы: *все, что есть, должно было быть, и: кое-что из случившегося можно было предотвратить*, — я хочу вкратце обсудить еще один момент, возможно, представляющий только специальный интерес для профессиональных философов. Если в том районе города, где были опасные перекрестки, дорожный инженер сконструировал объездной путь, он вправе заявить об уменьшении числа дорожных происшествий. Он может сказать, что за счет реконструкции его участка дороги была предотвращена масса инцидентов, которые случились бы, не будь осуществлена такая реконструкция. А теперь, допустим, мы попросим его дать нам перечень конкретных случаев, которые он предотвратил. Ему ничего не останется, как только посмеяться над нами. Если инцидент не произошел, значит, нет и "того", что заносят в перечень "предотвращенных случаев". Он может сказать, что происшествия таких-то видов, которые обычно случались часто, теперь редки. Сказать же: "Столкновение вчера в полдень вот этой пожарной машины с той молочной цистерной на этом углу, к счастью, было предотвращено", не может. Такого столкновения не было, потому он и не может сказать: "Это столкновение было предотвращено". Обобщим сказанное. Указывая конкретное происшествие или давая ему название, мы никогда не сможем сказать о нем: "Это происшествие было предотвращено", и этот логический трюизм как бы подталкивает нас к заявлению: "Никакие происшествия нельзя предотвратить" и, следовательно, "Нечего и пытаться гарантировать или предотвращать какое-либо происшествие". Так что, пытаясь сказать, что кое-что из происходящего можно было предотвратить; что некоторые несчастные случаи, скажем, на воде, не произошли бы, умей их жертвы плавать, мы, кажется, попадаем в странную логическую переделку. О конкретном человеке можно сказать, что он бы не утонул, если бы умел плавать. Но мы не можем заявить: тот прискорбный несчастный случай на воде был бы предотвращен уроками плавания. Ибо если бы тот человек научился плавать, он не утонул бы, и тогда мы не смогли бы обсуждать именно данный несчастный случай, о котором готовы сказать: *это* было бы предотвращено. Мы вообще лишились бы всякого 'это'. Предотвращенные несчастья — не несчастья. Короче говоря, логика не позволяет нам сказать о каком-то конкретном несчастье, что оно было предотвращено, а это звучит как присловье: никакие несчастья логически не предотвратишь.

Рассмотренная ситуация аналогична следующей. Если бы мои родители в свое время не встретились, я не родился бы, и, если бы Наполеон знал некоторые вещи, которых он не знал, битва при Ватерлоо не состоялась бы. Итак, мы

²⁵ Аббревиатура: "что и требовалось доказать".

готовы сказать, что определенные случайности воспрепятствовали бы моему рождению и сражению при Ватерлоо. Но тогда не было бы ни Г. Райла, которого историки могли бы называть рожденным, ни битвы при Ватерлоо, которую можно было бы описывать как состоявшуюся. То, что не существует или не происходит, невозможно именовать, индивидуально указывать или включать в перечень и потому невозможно характеризовать как то, существование или происшествие чего было предотвращено. Так, хоть мы и вправе говорить, что некоторые виды происшествий можно предотвратить, это не передается фразой, что можно было бы предотвратить этот обозначенный инцидент — не потому, что он был неотвратим по своему типу, а потому, что и "отвратимое" и "неотвратимое" столь же мало пригодны быть эпитетами обозначенных случаев, как и "существует" и "не существует" предикатами обозначенных вещей и людей. Как нельзя — не впадая в абсурд — наделять названное лицо эпитетом "нерожденный", так — не прибегая к чуждаковато-дотошному многословию — не дашь ему и эпитет "рожденный". Невозможно задать вопрос: "Были ли вы рождены или нет?" — разве что он взят из специального страхового полиса. Кто мог бы его задать? Невозможно спросить и о том, была ли или не была разыграна битва при Ватерлоо. Что она была разыграна, согласуется с тем, что она должна быть в нашем распоряжении, дабы о ней вообще можно было говорить. Невозможен перечень неразыгранных сражений, а перечень разыгранных сражений содержал бы то же самое, что и перечень сражений. Вопрос: "Могла бы не состояться битва при Ватерлоо?" — с определенной точки зрения абсурден. И все-таки его абсурдность — нечто совсем иное, чем ложность того, что стратегические решения Наполеона были навязаны ему законами логики.

Некоторые из нас, полагаю, почувствовали, что доктрина фатализма сохраняется так долго потому, что не найдено средство от духа логического трюкачества, сопутствующего таким аргументам, как: "Инциденты могут быть предотвращены; следовательно, этот инцидент мог бы быть предотвращен" или "Я в состоянии сдерживать свой смех; следовательно, я мог бы сдерживать этот безудержный хохот". Ведь если бы я сдерживал смех, это вовсе не было бы безудержным хохотом и, следовательно, не было бы *этим* хохотом. Для меня было бы логически невозможно сдерживать *его*. Ибо он был не сдержанным приступом хохота. То, что он произошел, уже содержится в моей ссылке на "этот безудержный смех". Так что, пытаясь сказать, что этот приступ смеха необязательно должен был случиться, впадаешь в определенное противоречие. Если же я говорю, что "необязательно должен был рассмеяться", такого противоречия не возникает. Именно указательное местоимение "*этот*..." сопротивляется сочетанию с "...не произошел" или "... мог бы не произойти".

Это, как мне представляется, выявляет важное различие между предшествующими истинами и последующими истинами или между предсказаниями и ле-

тописями²⁶. Утверждения, упоминающие битву при Ватерлоо в прошедшем времени, могут быть истинными или ложными после 1815 года. После 1900 года могут быть истинными или ложными утверждения в настоящем и прошедшем времени, упоминающие обо мне. Но до 1815 и 1900 годов невозможны истинные или ложные утверждения с индивидуальным упоминанием битвы при Ватерлоо или меня, и не потому, что нам еще не были даны имена, и не потому, что не произошло еще чего-то такого, что требуется для весьма подробного предсказания будущего, а по некой более глубокой причине. Предсказание какого-то события, в принципе, может быть сколь угодно конкретным. То, что фактически ни один предсказывающий не может знать или обоснованно полагать, что его предсказание истинно, — неважно. Допустимо, что, будучи наделен живым воображением, он вполне мог бы придумать какую-то историю в будущем времени со всевозможными подробностями, и эта вымышленная история могла бы оказаться истинной. Но одного он сделать не смог бы — логически, а не просто эпистемологически. Он не мог бы создать сами будущие события для героев или героинь своей истории, ибо, пока остается проблематичным, будет ли разыграна битва при Ватерлоо в 1815 году, он не может полноценно использовать фразу "битва при Ватерлоо" или местоимение "эта". Пока остается неясным, собираются ли мои родители обзавестись четвертым сыном, он не может использовать имя "Гильберт Райл" или местоимение "он" как местоимение, обозначающее их четвертого сына. Короче говоря, утверждения в будущем времени не могут выражать единичное, а способны передавать лишь общие высказывания, тогда как утверждения в настоящем и прошедшем времени могут сообщать и то, и это. Точнее, *таким образом*, утверждение, что нечто будет иметь место или произойдет, является общим утверждением. Предсказывая следующую фазу Луны, я действительно располагаю Луной, о которой высказываю утверждение, но не располагаю следующей ее фазой, о которой делаю утверждение. Может быть, поэтому авторы романов никогда не пишут в будущем времени, а только в прошедшем. В беллетристике, обращенной в будущее, они не располагали бы даже внешним видом героев и героинь, так как будущее время их зыбких повествований о том, что могло-бы-быть-предугадано, оставляло бы открытым даже вопрос о том, родились ли их герои и героини. Но поскольку моя фраза "Я не располагаю тем, о чем можно было бы делать утверждения", ворошит гнездо логических ос, я здесь обойду этот вопрос.

Я предпочел начать постепенное подкрепление своего размышления с этой конкретной дилеммы по двум-трем связанными между собой соображениям. Но не потому, что этот спор имеет или когда-либо имел первостепенную важность в Европейском мире. Ни один философ первого или второго ранга не

²⁶ Вар.: прогнозами и хрониками.

защищал фатализм и не прилагал серьезных усилий к тому, чтобы его опровергнуть. Его не жадут принять ни религия, ни наука. К нему не прибегают ни левые, ни правые доктрины. С другой стороны, всем нам присущи нотки фатализма; все мы действительно знаем на собственном опыте, каково это — воспринимать ход событий как непрерывное разворачивание свитка, написанного от начала времен и не допускающего ни добавлений, ни исправлений. И все же, хоть нам и не чужда эта идея, мы, тем не менее, относимся к ней вполне бесстрастно. Мы не являемся ни ее тайными ревнителями, ни ее тайными гонителями. Понимая, что аргументы в пользу фатализма трудно опровергнуть, мы, тем не менее, почти всегда сохраняем бодрую уверенность в том, что заключения фаталиста ложны. В результате мы можем воспринимать этот вопрос в духе критичных театралов, а не избирателей, которых призывают отдать голоса. Это не животрепещущий вопрос. Одно из соображений, почему я начинаю с него, — в этом.

Второе соображение таково. Этот вопрос мало обсуждался Европейскими мыслителями, поэтому у меня была полная свобода самостоятельно формулировать не только то, что казалось мне ложными шагами в аргументе фаталиста от предшествующей истины, но и сам аргумент. Мне не нужно было делать обзор традиционной полемики между философскими школами, поскольку здесь практически не было такой полемики, как затянувшиеся споры о Предопределении и Детерминизме. Вы сами на собственном опыте знаете все, что здесь нужно знать. У меня не припрятаны в рукаве козырные карты эрудиции.

Наконец, третье соображение. Этот вопрос в определенном смысле очень прост, очень важен и поучительно труден. Он прост тем, что предполагает так мало стержневых понятий — поначалу только неспециальные понятия: *событие, прежде и после, истина, необходимость, причина, предотвращение, вина и ответственность*, — и мы все, конечно же, умеем с ними справляться, — впрочем, умеем ли? Это — не профессиональные, а общеупотребимые понятия²⁷, так что никто из нас не может в них потеряться — но так ли уж не может? Важен этот вопрос вот почему. Если истинно заключение фаталиста, то почти все наше обычное религиозное, моральное, политическое, историческое, научное и педагогическое мышление пошло бы совершенно ложными путями. Мы не можем формировать завтрашний мир, коль скоро ему уже раз и навсегда была придана форма. Это трудный вопрос, потому что нет никакого предписанного правила или дискуссионного приема, который помог бы его уладить. Я разработал целую систему несколько сложных аргументов, и все они нуждаются в расширении и подкреплении. Подозреваю, что логический ледок под некоторы-

²⁷ Букв.: понятия общей дороги (англ. "highway" — общественная дорога), а не понятия ремесленников, мастеров ("craftsmen").

ми из них уж очень тонок. Меня не беспокоило бы, если бы лед проломился, поскольку шаг проломившей его ноги уже сам по себе отчасти был бы решительным ходом. Но даже такой ход не был бы исполнением какого-то предписанного правилом логического маневра. Маневры по правилам существуют только для мертвых философских вопросов. Именно их смерть и придала решительным шагам статус подчиненного правилам маневра.

Извлекаем же некоторые уроки из существования этой дилеммы и попыток ее разрешения. Она возникла из двух, казалось бы, невинных и не подвергаемых сомнению высказываний — высказываний, настолько хорошо укорененных в том, что приблизительно можно назвать "обыденным знанием", что у нас едва ли должно возникнуть желание наделять их высшим титулом "теорий". Этими двумя высказываниями были: первое — что некоторые утверждения в будущем времени истинны или оказываются истинными, и второе — что мы часто можем, а иногда даже должны иметь гарантию того, что какие-то определенные вещи действительно произойдут, а другие определенные вещи не произойдут. Ни одно, ни другое из этих на вид невинных утверждений не является ни философской спекуляцией, ни гипотезой ученых, ни теологической доктриной. Это просто банальности. Однако надо отметить, что эти банальности не часто кем-нибудь формулируются. Люди говорят о таком-то конкретном предсказании, что оно сбылось, или о том, что такое-то конкретное предположение оказалось верным. А заявление, что некоторые утверждения в будущем времени истинны, — обобщение этих конкретных пояснений. Но это такое обобщение, которое обычно не выносят на обсуждение. Подобным образом об определенных преступлениях говорят, что их не следовало совершать, или о катастрофах — что их можно или нельзя было предотвратить. Довольно редко требуется отступить от этого правила и утверждать в общем виде, что иногда люди поступают плохо и что с нами порой случаются неприятности по собственной вине. Тем не менее при определенных обстоятельствах — задолго до научных и философских спекуляций — люди действительно делают такого рода обобщения. Высказывать общие положения, с конкретными примерами которых все прекрасно знакомы, — дело учителя и проповедника, судьи и врача, Солона и Эзопа. С одной стороны, ни для кого не может быть новостью то общее положение, что у каждого дня есть свое "вчера" и свое "завтра"; и все же, с другой стороны, это может быть и своего рода новостью. Когда-то это общее положение было представлено нам впервые и было весьма удивительным, несмотря на то, что с раннего детства мы каждый день думали о конкретном вчера и конкретном завтра. В обобщениях совершенно известных вещей, по крайней мере вначале, заключен элемент неизвестного. Мы еще не знаем, как нам следует и как не следует с ними обращаться, хотя прекрасно знаем, как обращаться с ежедневными частностями, которые в них обобщены. В понедельник утром мы не спотыкаясь справля-

емся с "будет" и "было", когда же приходится иметь дело с общими понятиями *будущего* и *прошлого*, мы уже не чувствуем твердой почвы под ногами.

Две банальности, из которых выросло данное затруднение, не находятся между собой в прямом конфликте. Это реальные или мнимые следствия одной банальности враждуют с другой банальностью либо плюс к тому с ее реальными или мнимыми следствиями. Пока эти следствия не замечены, две банальности соперничают не настолько, чтобы у кого-то возникло желание сказать: "Я принимаю утверждение, что некоторые высказывания в будущем времени сбываются, так что я, естественно, отвергаю утверждение, что некоторым вещам не нужно и не должно было случиться". Это происходит оттого, что первое утверждение, кажется, косвенно подразумевает, что тому, что есть, предстояло быть от века; что это, в свою очередь, подразумевает, что никто ни в чем не виноват; что некоторые мыслители вынуждены были выбирать одну из этих двух банальностей. Аристотель, например, с некоторыми оговорками, отвергал ту банальность, что высказывания в будущем времени истинны или ложны. Некоторые стоики отвергали ту банальность, что мы отчасти в ответе за происходящее. Если же мы принимаем обе банальности, так это потому, что думаем: ошибочны выводы фаталиста из фразы "Это было истинно...", или ошибочны определенные выводы из фразы "В чем-то мы виноваты сами", или же ошибочны и те и другие.

Но тут возникает трудный общий вопрос: почему получается, что такие понятия, как *будет*, *быть*, *было*, *правильный*, *должен*, *вынуждать*, *предотвращать* и *вина* — в их самом конкретном, исходном, применении, — в основном ведут себя с примерным послушанием, но становятся на дыбы уже на первом уровне обобщения этих конкретных применений? Мы едва ли можем ошибиться и неправильно дать или взять логическую сдачу на нашем ежедневном рынке употребления слов "завтра" и "вчера". Мы отлично знаем, как с их помощью делать наши повседневные покупки и продажи. Однако при общем подходе, когда мы пытаемся торговать тем, "что есть", "что должно быть", "что было" и "что должно было быть", мы очень легко запутываемся в счете. Со словом "следовательно" мы чувствуем себя на твердой почве, а со словом "необходимо" — на зыбкой. Почему получается, что мы сбиваемся в расчетах, пытаюсь применять в оптовых сделках те понятия, которыми в жизни, в ежедневной розничной торговле, оперируем вполне успешно? В дальнейшем я собираюсь что-то ответить на этот вопрос. А пока что я просто отвлекусь от него.

Между тем стоит обратить внимание и на другую сторону дела. Я уже отметил, что затруднение, пусть и небольшое, в действительности зависит от относительно небольшого числа понятий, а именно и прежде всего — от понятий *событие*, *до и после*, *истина*, *необходимость*, *причина*, *предотвращение*, *вина* и *ответственность*. Но ведь среди них нет какого-то одного понятия, которое было бы возмутителем логического спокойствия. Беспокойство возникает при

взаимодействии между ними всеми. Я говорю об этом, так как философы (например, Юм) порой анализируют их порознь. Соотношение двух исходных банальностей вовлекает целую сеть конфликтных интересов. И дело не просто в каком-то одном непокорном узелке в ядре одного из вовлеченных понятий. Все их нити сплелись в один запутанный клубок.

Я оговариваю это потому, что из определенного рода заявлений философов — а, полагаю, не из их практики — кое-кто почерпнул ту идею, будто занятия философией и состоят или должны состоять в распутывании одного за другим таких логических узелков. Эта идея настолько нелепа, что принять ее — все равно что признать вполне возможным и нормальным, если бы, скажем, Юм по понедельникам анализировал употребление понятия "причина" (cause), а по вторникам, средам и четвергам переходил в алфавитном порядке к анализу употребления слов "causeway", "cautery", " и "caution"²⁸.

Идея характеризовать как 'анализ' тот род концептуального исследования, что и составляет философствование, не вызывает у меня ни особых возражений, ни особого расположения. Но совершенно неверна идея, будто такого рода исследование — это что-то вроде автоинспекции, проверяющей одну концептуальную "машину"²⁹ за другой. Напротив, если проводить это сравнение дотошно, то концептуальное исследование всегда напоминает, скорее, расследование дорожным инспектором "концептуальной пробки" на дороге, созданной по меньшей мере двумя потоками машин, несущихся к общему перекрестку от разных теорий, точек зрения и банальностей.

В связи с этим последним возникает еще один вопрос. Ребенка можно научить массе слов — одному за другим; или же, чтобы выяснить значения некоторых незнакомых слов в трудном отрывке текста, он может обратиться к словарю и искать эти слова по одному — в алфавитном или в каком-то ином порядке. Этот факт наряду с другими подталкивает к концепции, что идеи или понятия, соответствующие этим словам, — это что-то вроде шахматных фигур, монет, фишек, фотоснимков — или слов, которые поддаются перемещению, исследованию отдельно друг от друга. Но о том, что соответствует слову, не следует думать, будто и оно, подобно слову, есть своего рода фишка, хотя в отличие от самого слова невидимая фишка. Посмотрите на игрока, защищающего воротца в крикете. Это — конкретный человек, которого можно отозвать из команды игроков, взять у него отдельное интервью, сфотографировать его или сделать ему массаж. Но его роль в игре, то есть то, что он защищает воротца, так тесно связана с тем, что делают остальные игроки, что, если бы они прекратили игру,

²⁸ "Мостовая", "прижигание", "осторожность".

²⁹ "Vehicle". В тексте игра слов: "vehicle" — и средство передвижения, и средство выражения.

он не мог бы продолжать стоять в воротах. Он один выполняет свою особую роль, и все же выполнять ее один он не может. Чтобы он мог защищать ворота, должны быть ворота, часть крикетного поля между линиями нападающих, мячик, бита, подающий мячик и отбивающий его. Но даже этого недостаточно. Должна происходить именно игра, а, скажем, не похороны, или состязание в борьбе, или танец; более того, это должна быть именно игра в крикет, а, скажем, не в пятнашки. Тот же человек, что защищает ворота в субботу, может в воскресенье играть в теннис, но он не может защищать ворота, играя в теннис. Он может переключаться с одного вида спортивных занятий на другой, но ни одна из его функций не может быть перенесена в другую игру. Очень сходным образом ведут себя и понятия, которые в отличие от слов представляют собой не вещи, а скорее, функционирование слов, подобно тому как защита воротец представляет собой функцию вратаря. И как функции вратаря, подающего, отбивающего мячик, и остальных игроков связаны между собой, так и функционирование слова переплетается с функционированием других членов той команды, за которую играет это слово. Одно слово может иметь две и более функций, но ни одна из этих функций не может меняться местами с другой.

Приведу примеры. Игра вроде покера или бриджа имеет хорошо отработанную и хорошо организованную специальную терминологию, что в той или иной степени свойственно почти всем играм, ремеслам, профессиям, хобби и наукам. Естественно, что специальные термины, характерные для игры в бридж, нужно освоить. Как же мы их осваиваем? Ясно одно. Мы не можем освоить употребление одного из них, не имея представления, как употребляются все остальные. Нелепо объяснять молодому человеку, что значит "бить козырем определенную масть", не познакоив его прежде с понятиями "масть", "козырь" и "партнер". Но если он получил представление, как эти термины вместе функционируют в языке бриджа, значит, он начал осваивать азы этой игры. Или рассмотрите профессиональный словарь английских законодателей. Может ли студент претендовать на понимание одного или семи из этих специальных терминов, не имея понятия о законе? Или же претендовать на знание закона, не понимая хотя бы значительной части его терминологического аппарата? Терминологический аппарат науки — тоже своего рода команда, а не просто набор терминов. Роль одного из них принадлежит — вместе с ролями других — к особой игре или работе всего аппарата. Человек, просто запомнивший словарные значения тысячи специальных терминов физики или экономики, еще не становится физиком или экономистом. Он еще не научился оперировать этими терминами. Потому что еще не понял их. Не освоив идей экономической теории, он еще не владеет ее специальными понятиями.

То, что истинно в отношении более или менее специальных терминов игр, юриспруденции, наук, сфер деятельности и профессий, истинно также — с важ-

ными оговорками — в отношении “терминов”³⁰ повседневного рассуждения. Их положение по отношению к терминам специалистов очень напоминает положение гражданских лиц по отношению к офицерам, младшему командному составу и рядовым различных армейских подразделений. Права, обязанности и привилегии военных точно предписаны, их форма, погоны, нашивки, пуговицы и т. д. показывают, каков род их войск, ранг, звание; их действия определяются уставом, дисциплиной и ежедневными приказами. Но свои своды правил, привычки, этикет имеют и гражданские лица; упорядочены их работа, зарплата и налоги; довольно устойчивы, хотя и не регламентированы жестко, их принадлежность к социальным кругам, тип одежды и развлечения. Мы также знаем, насколько сильно в наш XX век размыты различия между гражданскими лицами и военными. Так и граница между неспециальными и специальными формами речи — размытая граница, и ее часто пересекают в обоих направлениях. И хотя у неспециальных “терминов” нет официально предписанных им функций, все же у них есть свои функции, привилегии и привычки. Они напоминают скорее гражданских лиц, нежели солдат, но в большинстве своем — также скорее послушных налогоплательщиков, нежели цыган.

Функции специальных терминов, то есть соответствующие им понятия, более или менее строго регламентированы. Относительно определены и предписаны также виды взаимодействия функций, для которых они предназначены. Но и неспециальные термины, хотя и не принадлежат к какому-то организованному единству, тоже имеют свои индивидуальные места в неопределенно многих частично совпадающих и резко не разделенных milieus.

Таким образом, можно понять, что функции терминов сужаются и четче предписываются по мере того, как они становятся более официальными. Их роли в рассуждении могут быть более точно определены по мере сужения их полномочий и области применения. Следовательно, чем точнее декларируются и предписываются их обязанности, тем менее они интересны в философском отношении. Термины игры в бридж почти не вызывают логических затруднений. Иначе было бы невозможно решить спор и выиграть роббер³¹. Логические затруднения возникают чаще всего в связи с понятиями, не облеченными четкими полномочиями, то есть понятиями гражданскими, которые — вместо призыва на действительную службу и подготовки для вполне определенного, предписанного им места назначения в определенном организационном подразделении — формировались в особых, но не четко предписанных местах, в тысяче нерегламентированных групп и неформальных объединений. Вот почему, например, такая проблема, как проблема фаталиста, хотя и зарождается совсем

³⁰ Слов и выражений.

³¹ Партия игры.

слабеньким ростком, так быстро разрастается, ветвясь, казалось бы, в самые отдаленные области человеческих интересов. Вопрос, могут ли быть истинными утверждения в будущем времени, быстро разрастается в тысячу вопросов, в том числе и о том, можно ли что-то выиграть, научившись плавать.

Некоторые мыслители — на которых произвела должное впечатление прекрасная логическая отработанность специальных понятий давно сложившихся и хорошо организованных наук, вроде чистой математики и механики — настаивают на том, что интеллектуальному прогрессу мешает такой пережиток, как неофициальные понятия неспециализированного мышления. Это равносильно представлению, будто есть что-то ущербное — дилетантское или инфантильное — в делах и досуговых занятиях гражданских лиц, не призванных на военную службу. Члены Портлендского клуба, М.С.С.³² или юридический факультет университета могли бы даже с большим основанием противопоставить их собственный, искусственно уточненный и даже изошренный лексикон манере выражения мыслей в повседневной речи, не прибегающей к искусственным ухищрениям. Совершенно верно, конечно, что научное, юридическое или финансовое мышление не выполнимо в одних лишь разговорных идиомах. Но совершенно неверно, что люди могли бы, пусть даже в Утопии, получать свои первые уроки рассуждения и мышления в тех или иных специальных терминах. Пальцы и ступни — для многих специальных целей — крайне неэффективные инструменты. Но заменить пальцы и ступни ребенка рычагами и педалями — плохая затея, тем более что применение рычагов и педалей само предполагает применение пальцев и ступней. Так и специалист, когда ему придется использовать искусственные термины своей профессии, не перестает зависеть от понятий, которые начал осваивать в детской, — как и водитель, вся сноровка и внимание которого сосредоточены на технически сложной и тонкой работе машины, не может не считаться с технически простым оборудованием общей дороги. Он не смог бы пользоваться машиной, не пользуясь дорогами, хотя как пешеход, каковым он часто бывает, может пользоваться теми же дорогами, не пользуясь машиной.

³² Marylebone Cricket Club — Мэрилебонский крикетный клуб.

ЛАТИНСКИЕ И ИНОСТРАННЫЕ СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ

A fortiori - тем более

Ad hominem - к человеку, относимое к человеку

Ad infinitum - до бесконечности

Delirium tremens - белая горячка

En route (фр.) - по пути

Esprit de corps (фр.) - корпоративный дух

Ex officio - по положению, по обязанности

In abstracto - отвлеченно, само по себе

Inter alia - между прочим

Ipsa facto - в силу самого факта

Mal de mer (фр.) - морская болезнь

Oratio recta - прямая речь

Oratio obliqua - косвенная речь, иносказание

Per accidens - акцидентальным образом, по случайности

Par excellence (фр.) - по преимуществу

Sotto voce - тихим голосом

Versus - против

Vice versa - наоборот

Vis-a-vis (фр.) - лицом к лицу, напротив

Viva voce - устно, живым голосом

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Абстрактные понятия 126, 223, 283-284, 297-298

Аристотель 39, 57, 73, 118, 153

Аргументация 55, 128, 287-292

Безыскусная речь 181-185, 274, 304
(см. также **Признания**)

Беседа — см. **Безыскусная речь**

Биология 123, 313

Бихевиоризм 91, 316-318

Боль 108, 111, 114, 201, 238

«**В голове**» 36, 44-48

Вера 138-139

«**Видение**» (шутки, значения и т.д.)
294-296

Внимание и термины внимания 98,
117, 137, 140-148, 154, 160, 203, 219,
222, 287

 логика внимания 143-145

 сосредоточение внимания 147-148

 и готовность 151-152

«**Внутреннее**», «**внутри**» 22-25, 45-48,
83, 196, 239, 261

«**Волевые акты**» 71-76, 80, 83

Воля — см. **Действия**, **Свобода воли**, **Волевые акты**

Возбуждения и описывающие их слова 90, 99, 101, 103-105, 111, 168, 180
(см. также **Настроения**, **Мотивы**, **Чувства**)

Воображаемое 45-48, 240, 246, 249-251, 261

 и притворство 257

 особый статус образов 242-249
 «слышимое» 45, 240-241, 258, 260-263

 «услышанное» 250, 262

 «видимое» 44, 47, 229, 240-242, 258-259, 267

 и видимое 240, 247-248

 «ощущение запаха» 246, 59

 и обоняние 247

Восприятие — см. **Наблюдение**

Впечатления — см. **Ощущения**

Вторичные качества 215-217

Выбор 76

Вымышленное — см. **Воображаемое**

Выполнение (действий) 41, 59, 62-64, 68, 78, 92, 103 (см. также **Диспозиции**)

Высказывания 185, 301

Гассенди П. 317, 319

«**Глаголы обладания**» — см. **Достижения**

Гоббс Т. 28, 317, 319

Готовность — см. **Внимание**, **Подготовка**

Действия 42, 71-75, 80, 96

 автоматические 117

 их причины 95, 119-120, 314

 добровольные и недобровольные
 75, 77

Джеймс У. 91

Дидактический дискурс — см. **Обучение**, **Высказывания**, **Интеллект**, **Теоретизирование**, **Искусственная речь**

Диспозиции и диспозициональные слова 42, 51-53, 59, 64, 79, 81, 92-93, 95, 98, 102, 118, 122-124

Диспозициональные утверждения
123-130

 логика 123-125, 143-144

- не сообщают о фактах 123-126, 128-130
не дедуцируются из законов 129
- Добровольный 71, 77-83
- Достижения и обозначающие их слова 135-136, 152-156, 219, 233, 269, 291-294
- Другие сознания 24, 31, 59-61, 69, 74, 97, 120, 158, 171, 180-184, 203 (см. также Солипсизм)
- «Дух в машине» («призрак в машине») 25, 30-31, 36, 41, 44, 58, 60, 64, 68, 71, 90, 120, 158, 163, 219, 308 (см. также Миф Декарта)
- Души, трехчастная теория 70, 107, 251
- Задачи и описывающие их термины 38, 135, 153-156, 176-7, 219, 232-233, 255
- Закон, открытый гипотетический 126-127, 147 (см. также «смешанно-категорическое»)
- Законосообразные и законоподобные утверждения 52-53, 79, 95, 97, 119, 123, 126-129, 147, 169, 173
- Запоминание 178, 264-270
не является источником знания 266-268
и воспоминание 264-265
- Знание 223-224 (см. также Теории, Мышление)
знание как 36-41, 49-50, 63, 67, 78, 258, 261
знание что 36-40, 138-139, 155, 162
и диспозициональные слова 53, 55, 64, 129, 138
и глаголы способностей 138-139
- Знание о себе 169-180
как акт высшего порядка 190-196, 254-255
систематическая неуловимость «Я» 185-186, 193-196
личностные местоимения: индексные слова 186-189, 195
- Имение в виду — см. Сериальные действия, Запоминание
- Импульсы 93, 121, 237 (см. также Мотивы)
- Интеллект 35, 41, 57, 131, 271-306
его превосходство 35, 304-308
- Интеллектуальные (умственные) способности и описывающие их термины 34-38, 49-59, 79, 258
разумное (неразумное) поведение 31, 38, 41, 59, 117, 131, 149-152, 177-178, 253-254
максимы 38-40
использование правил 54
- Интроспекция 22-25, 66, 74, 80, 157, 165-169
- Искусственная речь 148, 182, 184, 274, 278, 299, 304 (см. также Обучение)
- История 64
- Кант И. 307
- Категориальные ошибки 26-32, 42, 86-87, 100, 169, 206
- Категории 20, 31
- Компетенция и склонности 78, 87, 135-138
- Локк Дж. 162, 307
- Материя — см. Физический мир
- Ментального поведения понятия 19, 25-26, 29, 31, 34-35, 70
- «Ментальное» 43, 197, 239, 271, 313
- Ментальные действия 19-20, 25, 32, 57, 69, 71-72, 75, 88, 97-98, 111, 238
их связь с физическими событиями

- ми 22, 29, 64, 71-73, 87, 97-98, 111, 140, 170, 218-219, 226-227, 237
 неосознаваемые 24, 160, 164
- Механицизм 83-89, 317
- Миф Декарта 20, 21-33, 42, 158, 198, 318 (см. также «Дух в машине»)
- Модальные высказывания 131-136
 «может», «мог бы», «должен» 55, 79, 125, 131-136, 145-146
 в сравнении с гипотетическими 133-134, 145
- «Может», «мог бы» — см. Модальные высказывания
- Мотивы и обозначающие их слова 90-104, 113, 116-119, 138-139, 172
 склонности второго порядка 118-119
- «Мысленное видение» — см. Воображаемое, «В голове»
- Мышление 38, 41, 43, 49, 52, 117, 148-149, 184, 191, 221-223, 226, 256, 259, 273-276
 в обычном и искусственном смысле 273-276
 мышление и речь 36, 43, 55, 184, 198, 273, 285-2866, 299-303
 мышление и предположение 256-257
 суждение и заключение 234, 281-303
- Наблюдения и термины наблюдения 154, 197, 200-205, 211, 218
 рецепты восприятия 216-217, 224-229
 проблемы восприятия 205, 220
- Наслаждение 113-115, 137
- Настроения и обозначающие их слова 90, 100-101, 105-110, 114, 238
- Научение, учеба 51, 58, 64, 67, 68, 134, 150-152, 226-227, 264, 275, 396
 и дидактический дискурс 275-276, 299-303
- Непонимание 59—68
- Образы — см. Воображаемое
- Обучение 57, 150-151, 275, 277, 299-304
- Объяснение 58, 85-86, 95-96, 119-120, 140, 147, 314-315
- Ожидание 222-224 (см. также Сериальные действия)
- Оптическая метафора 141-142, 161-163, 175, 178, 293-295
- Осторожность — см. Внимание
- Оценки 74-76, 80, 83, 88, 180
- Ощущение 91, 111-112, 115, 197-238
 обычное и искусственное использование термина 198-199, 236-238
 «чистых ощущений» язык 199, 201, 204, 207, 221, 230, 236
 ощущения и объекты 199-201, 216
 наличие ощущений 198, 202, 204, 206, 211, 215, 218, 227
- Память — см. Запоминание
- Пара-механические гипотезы 29-33, 72, 76, 120, 123, 185, 218, 237, 245, 264, 285, 313, 317
- Пара-политический миф 33
- Подготовка — см. Обучение
- Познание 35, 69, 251
- Полудиспозициональные термины 55-57
- Понимание 59-68, 151, 171-172
- «Потому что» — см. Объяснение
- Привилегированный Доступ 21-24, 34-35, 42-43, 59, 62, 65, 69, 74, 90, 121, 125, 157, 167, 169, 179, 180, 206, 213, 215, 241-243, 283-285, 294-295 (см. также «Дух в машине»)
- Привычки 20, 51, 54-56, 96-97, 116, 137, 139, 150

- и мотивы 116
- Признания 109, 182-183
- Притворство 109, 138, 173, 181, 190, 251-257, 263-264
 высшего порядка деятельность 255-256
- Причинная связь 127-128 (см. также Законосообразные утверждения)
- Психология 31, 61-62, 83, 167, 236, 309-319
 программа 311
 и миф двух миров 309—312
- Разговор — см. Искусственная речь, Безыскусная речь, Признания, Беседа, Обучение
- Разум (reason) 55, 271-272, 275, 278, 305
- Самосознание 22, 159-165, 184, 192, 196
- Свобода воли 30, 80, 82-83, 194-195 (см. также Действия)
- Сериальные (последовательные) действия 177-179
- Симуляция — см. Притворство
- Склонности — см. Мотивы
- «Смешанно-категорическое» 55-56, 129-130, 143-146, 149, 214
- События и термины событий 25, 55-56, 90, 92, 123-124, 140, 146, 154-155
- Совесть 161, 305
- Сознание (consciousness) 22, 24, 90, 141, 157-165, 197, 202 (см. также Внимание)
- Сознание (mind) 44, 48, 55, 59, 169-171, 197-199
 и тело 32, 60, 71-72, 91, 111, 170-171, 188, 197-199, 236
- Солипсизм 68-69, 158
- Способности 34, 71, 125, 155, 233, 269, 275, 285, 304
- Тела — см. Физический мир
- Тенденции 136-138
- Теории 277-282
 теоретизирование 35, 142, 151, 185, 256, 282, 287
 теория и практика 35, 39-40, 50, 55, 58
 обладание теорией 277-281, 287, 306
 построение теории 277-280, 285, 295, 307
- Теория познания 306-307
- Удовольствие — см. Наслаждение
- Умения, мастерство 42, 51, 54, 68, 139
- Умозаключение 289-291
- Успехи — см. Достижения
- Феноменализм 229-234
- Физический мир 21-23, 84-89, 196, 309
- Формальная логика 296
- Фрейд З. 24, 159, 313
- Хатчесон Ф. 100
- Чувства 90-95, 107-116, 199, 236-237
 и возбуждения 111-113
- Чувственное — см. Чувственные объекты, Чувственных данных теория «Чувственные объекты» 211, 213, 218, 230-231
- Чувственных данных теория 207-218, 249
 аргумент от иллюзий 209-210, 213-214
- Эмоции 90-91, 101, 110, 120

Эпистемологические термины 185,

201, 258, 276, 282-299

Эпистемология 306-307

Этические высказывания 133, 305

Юм Д. 100, 168, 186, 243, 263, 307

**В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ "ДОМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ КНИГИ"
ВЫШЛИ В СВЕТ КНИГИ:**

- ФРЕГЕ Г. "ИЗБРАННЫЕ РАБОТЫ". — 160 с.
"АНАЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ" (Антология). — 540 с.
БОРРАДОРИ Д. "АМЕРИКАНСКИЙ ФИЛОСОФ: Беседы с Куайном, Данто, Патнэмом, Рорти, Нозиком и др.". — 208 с.
СОВРЕМЕННЫЙ ЛИБЕРАЛИЗМ (учебное пособие) — 256 с.
НИКИФОРОВ А. Л. КНИГА ПО ЛОГИКЕ (учебное пособие). — 240 с.
НИКИФОРОВ А. Л. "ФИЛОСОФИЯ НАУКИ: История и методология" (учебник). — 280 с.
ГЕМПЕЛЬ К. "ЛОГИКА ОБЪЯСНЕНИЯ". — 240 с.
ПАТНЭМ Х. "ФИЛОСОФИЯ СОЗНАНИЯ". — 240 с.
ФИЛОСОФИЯ XX В.: ШВЕЙЦАРИЯ. КЮНГ Г. "ОНТОЛОГИЯ И ЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЯЗЫКА". — 240 с.
РАССЕЛ Б. "ИСКУССТВО МЫСЛИТЬ". — 240 с.
РАССЕЛ Б. "ИССЛЕДОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЯ И ИСТИНЫ". — 400 с.
ОСТИН Д. "ИЗБРАННОЕ". — 336 с.
ТОДОРОВ Ц. "ВВЕДЕНИЕ В ФАНТАСТИЧЕСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ". — 140 с.
ТОДОРОВ Ц. "ТЕОРИИ СИМВОЛА". — 320 с.
АЙМЕРМАХЕР К. "ЗНАК. ТЕКСТ. КУЛЬТУРА." — 256 с.
РОРТИ Р. "ДОСТИЖЕНИЕ СВОЕЙ СТРАНЫ: История левого движения в США XX в." — 256 с.
МИЛОШ Ч. "ИЗБРАННЫЕ ЭССЕ". — 320 с.
ВИТГЕНШТЕЙН Л. "ГОЛУБАЯ И КОРИЧНЕВАЯ КНИГИ" и др.
МИХАЙЛОВ И. "РАННИЙ ХАЙДЕГГЕР". — 336 с.
ГУССЕРЛЬ Э. "ИДЕИ К ЧИСТОЙ ФЕНОМЕНОЛОГИИ...". — 288 с.
ФЛЕК Л. "ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НАУЧНОГО ФАКТА". — 224 с.
УОЛЦЕР М. "КОМПАНИЯ КРИТИКОВ: социальная критика и политические пристрастия XX века". — 356 с.

**В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ "ИДЕЯ-ПРЕСС" И "ДОМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ КНИГИ"
ВЫЙДУТ В СВЕТ КНИГИ:**

- КОЗЕР Л. "ФУНКЦИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНФЛИКТА". — 240 с.
КУЛИ Ч. "ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ПРИРОДА И СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК". — 320 с.
УОЛЦЕР М. "О ТЕРПИМОСТИ". — 240 с.
ПРИСТ С. "ТЕОРИИ СОЗНАНИЯ". — 336 с.
ДАНТО А. "НИЦШЕ КАК ФИЛОСОФ". — 336 с.

74-17

99014840

26-70

Научное издание

РАЙЛ Гилберт

ПОНЯТИЕ СОЗНАНИЯ

Перевод с английского языка
под редакцией д. ф. н., проф. Филатова В. П.

к/зз

Корректор *Бондарева Л., Юрьева Л. Н.*
Художественное оформление *Жегло С.*
Оригинал-макет *Свирский Я.*

В оформлении книги использованы рисунки *Дениски Назарова*

Издатель *Олеся Назарова*

Идея-Пресс
ИД № 00208 от 10 октября 1999
Дом интеллектуальной книги
ЛР № 071525 от 23 октября 1997

Наши книги
спрашивайте в московских магазинах

справки и оптовые закупки по адресу:
м. "Парк культуры", Зубовский бульвар, 17, комн. 5, 6
книжный магазин "Гнозис", тел. 247.17.57

Подписано в печать 20.11.99
Формат 60×90/16. Гарнитура Оффicina. Объем 26,5 п. л.
Печать офсетная. Бумага офсетная № 1
Тираж 1500 экз. Заказ № 19

Отпечатано в Производственно-издательском комбинате ВИНТИ,
140010, г. Люберцы, Московской обл., Октябрьский пр-т, 403.
Тел. 554-21-86

созд

л

